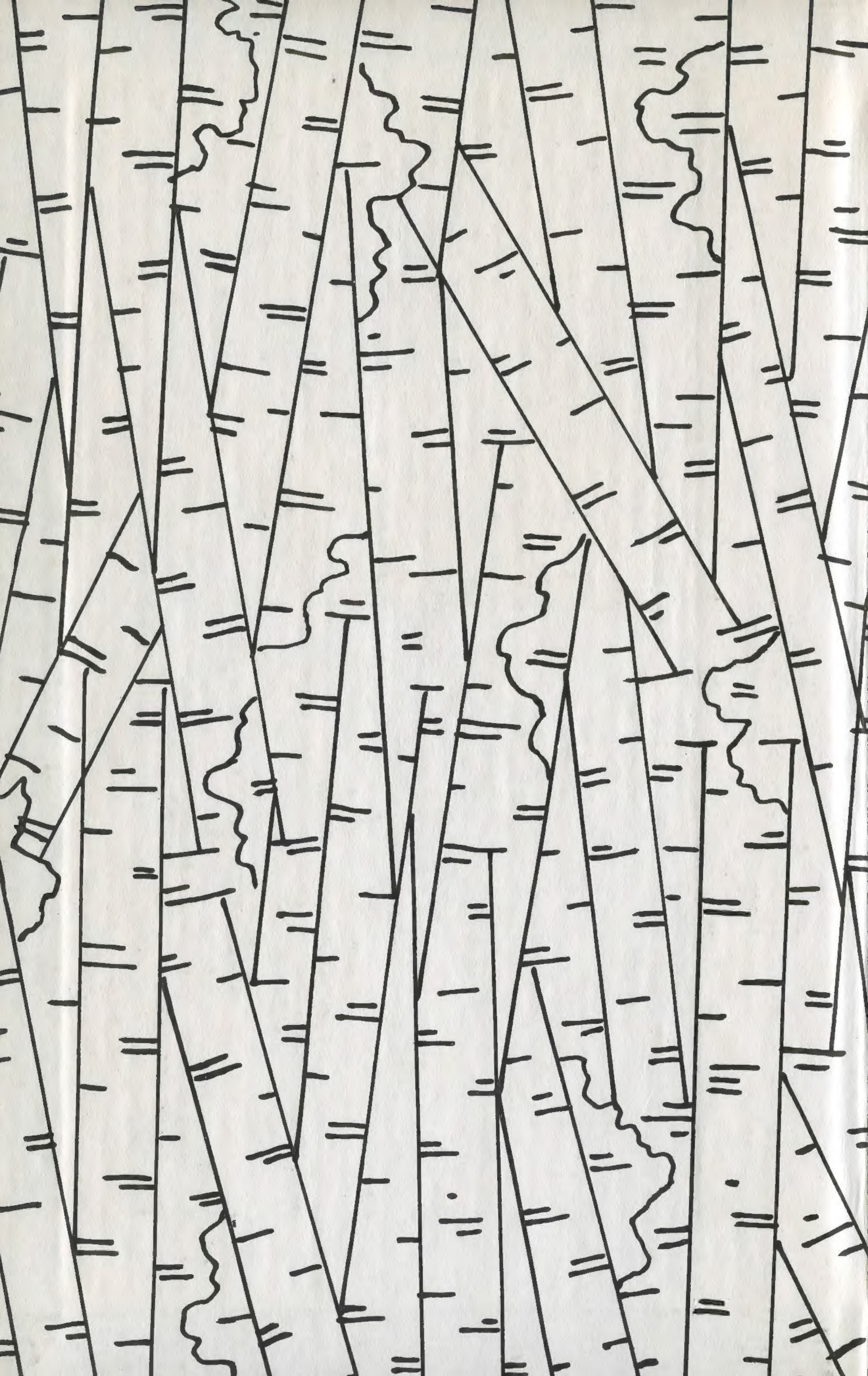
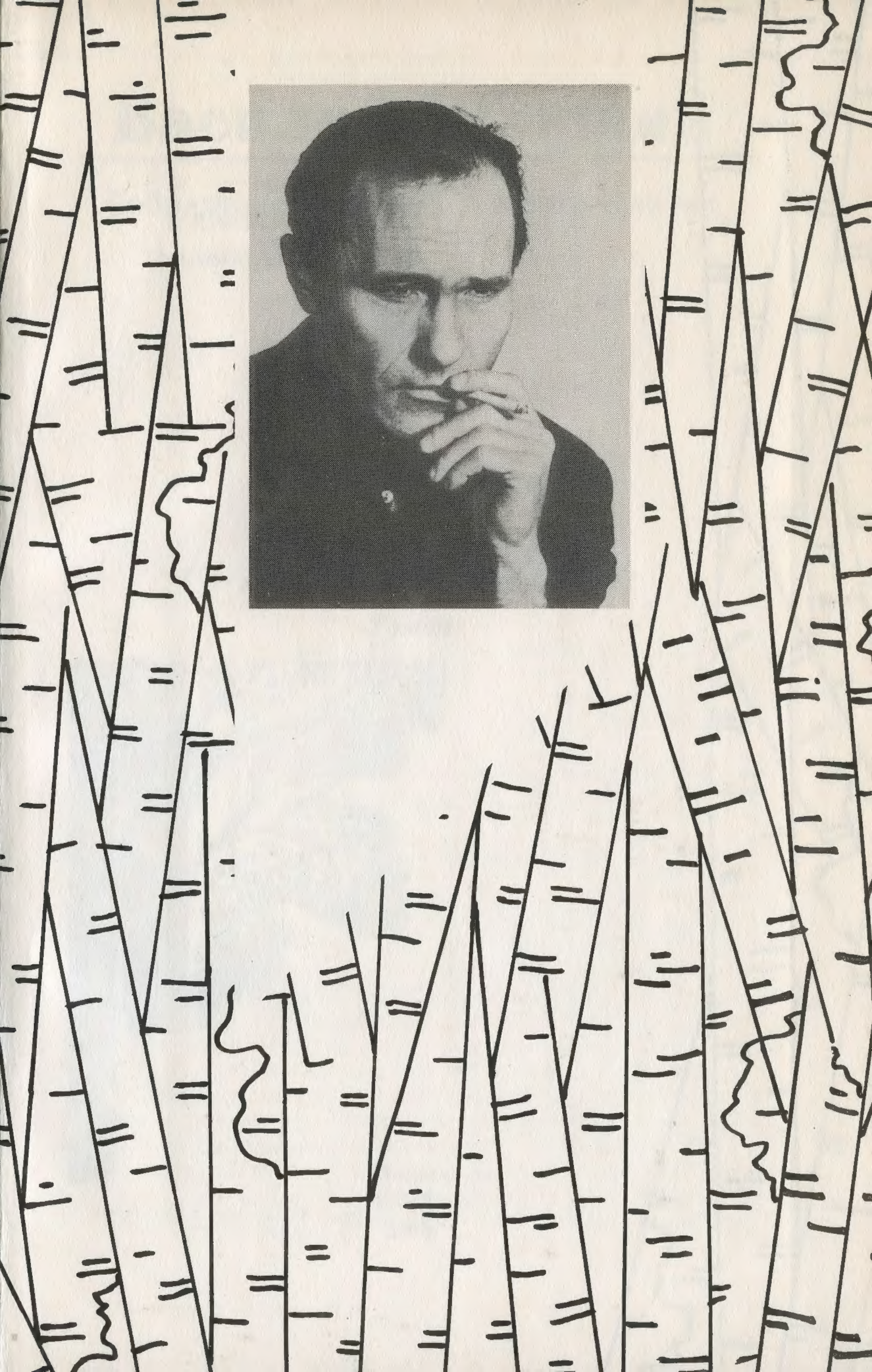
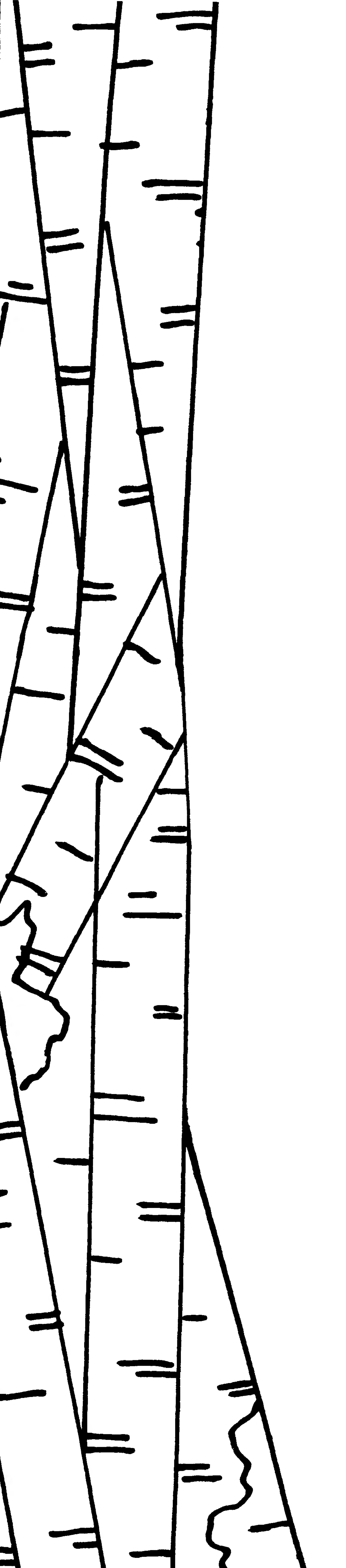
ВАСИЛИЙ
ШУКШИН









К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

«ЛЮБАВИНЫ»

Роман



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК Р2
Ш 93

Шукшин В. М.

Ш 93 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга четвертая. «Любавины»: Роман. М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. — 544 с.

В четвертый том Собрания сочинений В. М. Шукшина вошел роман «Любавины», книга 1-я и книга 2-я.

Ш $\frac{4702010200 — 046}{В72 (03) — 98}$

ISBN 5-86150-046-2

Книга первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Любавиных в деревне не любили. За гордость. Жили Любавины, как в крепости: огромный крестовый дом под железной крышей, вокруг дома — заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными, злыми глазами.

Мужиков Любавиных пятеро: отец и четыре сына. Спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами вприщур.

Старик Емельян Спиридоныч — огромный и угловатый, как коряга. Весь зарос волосами. Волосы растут у него даже в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют — можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорее — побаивались, поэтому слушались.

Старший — Кондрат. Медлительный, лобастый, с длинными руками. Больше смотрел вниз. А если взглядывал на кого, то исподлобья, недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание «покалякать» с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого. Верил только отцу, отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно. Знал в жизни одно — работать. И работал от зари до зари — молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и

отец, презрительно. Не выносил, когда при нем много разговаривали.

Второй сын — Ефим.

Этот помягче был. Умел разговаривать с людьми, иногда улыбался. Но улыбался так — для солидности. Был он мужик хитрый. Сам про себя знал: не оплошает в трудную минуту, найдет выход.

Жил он отдельно, своим хозяйством. Как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца... Но своей самостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил. Приходил советоваться к родным. Охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое, свое. Братья понимали, что Ефим себе на уме. Было ему за тридцать.

Третий — Макар. Самый «суетливый» из всех Любавиных. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал. Лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый смешок. Любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочался — выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за голенища нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро.

Парни боялись его. Он знал это.

Самый младший из братьев — Егор. Задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного разговорчивее и веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то до боли привлекательное: что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное — вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами.

Эти двое не были еще женаты.

2

Ранняя весна 1922 года.

Темными мокрыми ночами с шумом, томительно и тяжко оседал подтаявший снег, и в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком: пи-у...

За деревней, на сухих прогалинах, до самой зари хороводилась молодежь. Балалаечники, настроившись по двое,

высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд.

Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю — плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались... Просилась наружу горячая молодая сила.

А над рекой, пронизывая сырую, вязкую тишину медным витым перебором, голосила великая сводница — тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки.

Жизнь шла своим чередом.

Первым, как всегда, проснулся Емельян Спиридоныч. Он спал на кровати. Укрывался зимой и летом тулупом.

Скинул на пол босые ноги, достал пятерней промеж «крыльцев», зевнул и пошел в сени умываться.

На печке неслышно, как тень, завозилась хозяйка — Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала:

— Господи, господи, прости нас, грешных...

В горнице жалобно скрипнуло старое кроватное железо — проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул, понесло махрой. Он тоже один спал — жена лежала в больнице, в уезде.

На полатях досыпали свои законные — по молодости — минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину полатей. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брата, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко... Но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем.

Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудлатую голову. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Седня пригрет здорово.

— Все уж... паска на носу, — откликнулась Михайловна. Она затапливала печку.

Емельян Спиридоныч обулся, встал на припечье, тряхнул Егора:

— Подымайтесь.

Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез с полатей. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он упол-

зал все дальше в глубь полатей и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом. Толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно:

— Ты гляди, что выделывает, боров... спрятаться хочет. Эй!

Макар поднимался злой и помятый. Ворчал:

— Пихает, как колоду... Они же вострые!

Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться — задавать корм, скоту поить лошадей...

Занимался рассвет.

По всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра. Переговаривались, покашливали люди. Из края в край, то стихая, то с новой силой, весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из закутка свинья.

Небо было ясное. Воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока.

Макара слегка пошатывало — не выспался.

В конюшне, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата:

— Сделай один, а? Я где-нибудь придавлю с часок. Прямо с ног ведет — до того спать охота.

— Лезь, спи, — согласился Егор. — Только подальше куда-нибудь.

Макар забрался на сеновал, зарылся в сухое пыльное сено, с величайшим удовольствием зажмурился... Засыпая, забормотал:

— Жили же цари, мать их в душу! Спали сколько влезет...

Егор погнал на реку лошадей.

По Баклани густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте, на изгибе, вода прибивала к берегу. Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку... Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать.

Сразу за рекой начиналась тайга — молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну... А дальше к югу, верст за сорок, зазубренной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда, с гор, брала начало бешеная Баклань, оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед.

Безлюдье кругом великое. И кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие «горы», «с гор», «в горы», но никто никогда не сказал бы «за горами». Никто не знал, что там. Может, Монголия, может,

Китай, что-то чужое. Свое было к северу. Туда и тайга пореже и роднее, и пашни случались, и деревни — редко, правда, там, где милостью божьей тайга уступала людям землю. Уступила она землицы и бакланским — пашни начинались за деревней большой черной плешиной в таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани (к районному селу и уездному городку). А на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос.

Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река — она одна шумела на всю округу.

Быстро светлело. От воды поднимался туман. Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды, вздрагивали — вода была студеная.

Напилась последняя — маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоныча.

Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани — суббота была, — пошел будить Макара.

— Айда завтракать.

— А?

— Пошли. Все.

— Пошли, — повеселевший Макар — маленько урвал, — разминая затекшие ноги, пошагал в дом.

Завтракали все вместе.

Во главе стола — Емельян Спиридоныч. По бокам — сыны. Ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой.

Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал в лохматый рот. С удовольствием, громко жевал. Поесть в этом доме любили.

Наконец старик отвалился, размахнул на половинки большую, как веник, бороду... Сказал, покосившись на икону:

— Слава богу.

Стали подыматься. Зашарили по карманам кисеты.

Емельян Спиридоныч, сыто икая, заговорил о делах:

— Мы с Кондратом седня поедем в Березовку. Я сон хороший видал, — может, к добру.

В Березовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей, жеребца. Этот жеребец не давал старику Любавину покоя ни днем ни ночью. Но татарин ломил

страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза приезжал ни с чем. Последний раз сгоряча заявил татарину:

— Сукин ты сын, идол! Полмешка мильенов — тебе мало?! Не продашь — я его так уведу, харя!

Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука.

— У тебя коней больше... смотри!

Сегодня Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой:

— Вижу, быдто за поскотиной, наспроть Логушиной избенки, сидит волк. Во-от такой волчина — лоб, как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю: бежать? — догонит, хуже будет. Я взял да лег...

— В штанах ничего не оказалось? — поинтересовался Макар.

Емельян Спиридоныч нехорошо поглядел на сына.

— Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта — у тебя враз окажется, сопляк.

— Они шибко умные стали, — хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха.

— Ты вот что, — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара, — перекуешь седня всех коней и договорись насчет борон.

Макар сразу поскучнел — он решил было денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу.

— Платить надо кузнецу-то. А то уж неловко даже! — громко заявил он оттуда.

— Скажи — нечем пока платить. После.

— Не будет ковать.

— А ты раньше время не распускай слюни. Не будет — тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашшой.

Егор надегтяривал у порога сапоги.

— Шуга-то не прошла еще, — буркнул он.

Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко, спокойно сказал:

— Ни хрена с тобой не случится. Барышня кака! Иди, Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла.

Кондрат молчком оделся и вышел.

Емельян Спиридоныч долго надевал тулуп, минут пять искал папаху... Подпоясался цветной опояской, взял под мышку рукавицы-лохмашки, остановился у порога.

— Ну? — у него привычка такая была: перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: «Ну?».

— Ты... это... — Михайловна пошла его проводить. — Много шибко запросит, так уж не берите. Что их, косяк целый держать? А ребятам строиться скоро — деньги надо...

— Там поглядим, — уклончиво сказал Емельян Спиридоныч. Он никогда серьезно не советовался с женой.

Когда отец вышел, Егор распрямился и сказал брату с горечью:

— Договорился на свою голову?

Тот откликнулся из горницы:

— Ты думаешь, он без этого не нашел бы нам работы? У него жила не выдержит.

Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу.

На скрип двери Макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло.

— Не прячь, я уж видал его.

— Кого?

— Обрез твой. Доиграться можешь. Давеча поил коней — приметил: двое каких-то приехали опять. С Колокольниковым из сельсовета шли.

— Из уезда нагрянули?

— Наверно, откуда же...

Макар картинно подбоченился, прищурился на брата.

— Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать, этим властям всяким. А вы с девками пузыри пускаете. Конечно, они скоро на голову сядут.

Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос — как относиться к властям. Они не трогали его. У Макара с ними особый счет, он уже отсидел месяца три в районной каталажке — за хулиганство.

3

В тот день в Баклань действительно приехали незнакомые люди.

Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди в высоких негнущихся пимах, в новеньком, белой овчины полушубке шагал предсельсовета — Елизар Евстигнеич Колокольников. За ним, в двух шагах, — приезжие.

Один — старый, с бородкой, второй — совсем еще молодой парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у парня — косо, через бровь — шрам.

Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег.

Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из карманов рук, ногой толкнул дверь сеней (положение председателя не позволяло ему иначе открывать двери).

Вошли в избу. Завидев чужих, из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе.

— Кобыла старозаводская, — строго заметил Елизар.

— Откуда ж она знала! — вступилась за дочь хозяйка, пухлая, с заспанным лицом баба.

— Еслив не знала, так надо весь день нагишом ходить?

— Так уж нагишом! — откликнулась из горницы девка.

— Вот тут остановитесь, товарищи, — обратился Елизар к приезжим. — Это мой брат здесь живет.

— У тебя другого места нет, кроме брата! — обернулась баба. — К себе-то почему не ведешь?

Елизар скрипнул новыми настывшими пимами, смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу:

— Граммофон!

Та сердито махнула рукой и принялась за тесто.

— Вот здесь, значит, остановитесь, — снова обратился Елизар к старику и парню.

Они терпеливо стояли у порога, старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и переступал с ноги на ногу, — видно, промерз.

— Немедленно истопишь баню! — приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке.

— Приедет хозяин, затоплю, — все так же непримиримо ответила та, не оборачиваясь. — Не шуми тут много.

Елизар вконец обозлился, но строжиться перестал — опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлестче. Спросил:

— А он иде?

— Сено увезли продавать.

— А-а... Ну, значит... — Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить. — Значит, к вечеру вам тут баньку

истопют. Это с дороги полезно, — он изобразил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины.

Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой — полезно.

— А я, значит... это... побежал, — Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел: так, кажется, и не понял — угодил или нет?

Старик спокойно разделся, прошел к лавке, сел. Парень тоже заскрипел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее.

— Тебя как называть можно? — спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков.

— Агафьей.

— А меня — Василий Платоныч. А его вот — Кузьма. Фамилия у нас одинаковая — Родионовы.

— Сын, что ли?

— Племянник. Ты не сердись на нас. Мы ненадолго.

— Чего там, — примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик.

Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье — крепкая, легкая на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой.

— Здрасте, — смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта, прошла к матери.

У Кузьмы слегка побагровел шрам.

— Дай закурить, дядь Вась, — тихонько попросил он.

— Из уезда, что ли? — поинтересовалась Агафья.

— Из уезда, — ответил Платоныч. — А чаек нельзя придумать, Агафья?

— Сейчас будем завтракать. Клавдя, убирай со стола. Дочь моя, — сочла нужным пояснить Агафья. — Сами, конечно, городские?

— Ага.

— Замерз парень-то. Иди вон к печке, погрейся. Шибко уж легкая у тебя эта штука-то.

— Зато кожаная, — не то серьезно, не то издеваясь, вставила Клавдя.

Кузьма кашлянул в ладонь и сказал:

— Ничего, так отогреемся.

4

Дорога за ночь хорошо подмерзла. Лошадь шла ходко, коробок дробно тарахтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка.

Емельян Спиридоныч, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал.

Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил:

— Но-о, шевелись, — опускал голову и снова принимался постегивать концом вожжей по своему сапогу.

Кругом ни души. Просторно. Еще на всем сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи.

Проехали пашню, начался редкий чахлый осинник. Запахло гнильем.

Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик; навстречу неслась тройка.

Емельян Спиридоныч выпростал из воротника голову, всмотрелся. Кондрат тоже глядел вперед.

Тройка быстро приближалась. Лошади шли вмах; коренной смотрел зверем; пристяжные почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался — без устали, звонко хохотал. Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридоныч долго глядел вслед ей.

— Соловьи! — вздохнул он. И снова полез в воротник.

Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридоныч высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью.

— Слышь! — окликнул он сына.

— Ну?

Емельян Спиридоныч заворочался на месте, откинул воротник совсем.

— Знаешь, кто это проехал?

— Почта.

— Правильно, — отец в упор, вопросительно смотрел на сына.

— Ты чего? — не выдержал тот.

— Денюжки проехали, а не почта, — тихо сказал он. — Они их в железном ящике возют. Ночью покормются — назад поедут.

Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на него. Ждал.

— Кусаются такие денежки, — сказал Кондрат, не глядя на отца.

Емельян Спиридоныч задумался. Смотрел вперед хмуро.

— Тц... У людей как-то получается, язви тя.

Кондрат молчал.

— Тут бы те сразу: и жеребец, и по избе нашим оболтусам.

Кондрат понукнул воронка. Емельян Спиридоныч снова полез в воротник. Вздохнул.

— Это Иван Ермолаич, покойник, — тот сумел бы.

— Кто это?

— Дядя мой по матери. Тот сумел бы. У его золотишко не переводилось. Лихой был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге.

Больше не разговаривали.

5

В баню пошли втроем: Николай Колокольников — хозяин, у которого остановились приезжие, и Платоныч с Кузьмой.

Николай, широкоплечий, кряжистый мужчина с красным обветренным лицом, недавно вернулся из уездного города. Навеселе. Где-то хватил дорогой с мужиками.

Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил: стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна.

— Да почему?!

— А вот... так. Я по себе знаю. Как задумаешься иной раз: почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца — нет? Или: где бог сидит?..

Клавдя фыркнула (из-за нее, собственно, и начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет) и, мельком глянув на Кузьму, кокетливо ввернула:

— На небесах.

Отец накинулся на нее:

— Да небеса-то... эт что, по-твоему? Это же нормальный воздух! Попробуй усиди на ем. А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что?

Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам:

— Об чем я говорил? А-а... про месяц.

— А у попа спрашивал, где бог сидит?

— Спрашивал. «В твоей, — говорит, — глупой башке он тоже сидит». У нас поп сурьезный был.

Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. Николай твердо заявил, что нет. Навоз — туда-сюда, а что соль какую-то привозят некоторые, это от глупости. И от учения, кстати.

Пошли в баню. Разделись при крохотном огоньке самодельной лампочки. Николай окупнулся и полез на поло́к.

— Ну-ка бросьте один ковшичек для пробы.

Платоныч плескануд на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку...

На полке́ заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело; он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия... Поло́к ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полка́ валил каленый березовый дух.

Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало, — казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью, Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель.

— М-м... О-о! — мучился Николай. — Люблю, грешник!

Наконец он свалился с полка́ и пополз на карачках на улицу.

— Ну и здоров ты! — с восхищением заметил Платоныч.

Николай, отдуваясь, ответил:

— У нас отец парился... водой отливали. Кха!.. Насмерть заходился.

— Зачем так? — не понял Кузьма.

Николай не сумел ответить — зачем.

— Поживешь, брат, — узнаешь.

Уходили из бани по одному. Первым — Кузьма.

Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдей. Она была одна.

— Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни, — сказала без дальних разговоров.

Кузьма растерялся: под гимнастеркой у него была рубаха, а рубаха эта... того... не первой свежести.

— Ладно, я так посижу. Сейчас отец твой придет, ему обязательно надо отдохнуть. Он там чуть не помер.

Клавдя подошла совсем близко, заглянула в его серьезные, строгие от смущения глаза.

— Ты чего такой? Как теленочек. Ты ведь — парень. Да еще городской, — она засмеялась.

Тонкие ноздри маленького ее носа вздрагивали. Смотрела серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Рубец у Кузьмы маково заалел. Парень начал соваться по карманам — искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверно, что-нибудь сказать, и не находил, мучительно не находил ни одного слова.

В сенях звякнула щеколда. Клавдя упружисто повернулась и пошла в горницу.

Кузьма сел на скамейку, прикурил, несколько раз подряд глубоко затянулся.

Вошла Агафья. За ней шумно ввалился Николай.

— Квасу скорей! — он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к крынке с квасом и осушил до дна.

— Фу-у... Во, парень, какие дела! — сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. — Хорошо у нас в деревне! Сходил в баню... — он завалился на кровать, свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки. — Пришел домой — и сам ты себе голова. Никто над тобой не стоит. Так?

— А в городе кто стоит?

— Ну в городе... Вы сами откуда?

— Из-под Москвы.

— Из рабочих?

— Да.

— Хорошо получали?

— Ничего.

— Так. А зачем к нам?

Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость: не умел легко врать. Обязательно краснел.

— Нужно, — сказал он.

Николай улыбнулся.

— Ты не из трепачей... А скажи... этот Платоныч, он партейный?

— Да.

— Толковый старик, видно. Глянется вам Сибирь-то наша?

Кузьма погасил о подошву окурок, отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил:

— Мы знаем ее.

— Как?

— Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же... недалеко.

Николай даже приподнялся на локте, с интересом посмотрел на парня.

— Во-он он, значит, из каких! И много отбарабанил?

— Девять лет.

— То-то он такой худенький старичок, — вмешалась в разговор Агафья. — А у тебя мать-то с отцом живые?

— Нет. Померли. Здесь же.

— Они что, тоже сосланные были? — опять приподнялся Николай.

— Тоже.

— Сколько ж тебе было, когда без них остался?

— Года два, что ли.

— Дядя тебя и подобрал?

— Ага.

Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листал искуренный наполовину численник.

Пришел Платоныч. Распаренный, повеселевший... Близоруко сощурившись (без очков он был трогательно беспомощный и смешной), нашел глазами хозяйку.

— Хоть за баню и не говорят спасибо, но баня, надо сказать, мировая.

Николай встал с кровати.

— Ляг, отдохни, Платоныч.

— Лежи, — махнул тот рукой, — я не имею привычки отдыхать.

Николай снял с гвоздя брюки, долго шарил в карманах.

— Братца моего раскусили или еще нет? — спросил он.

— Как раскусили?

— Что он за человек?

— Нет. А что?

— Ну, узнаете еще... — Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением, усмехнулся, тряхнул головой. — Попер в председатели! Работать не хочет, орясина. Он смолоду такой был — все норовил на чужом хребту прокатиться.

Николай вытащил наконец несколько бумажек, протянул жене.

— Сбегай, возьми. Мы откупорим... со знакомством.

Платоныч кашлянул, сказал просто:

— Дело такое, Николай, мы не пьем. Мне нельзя, а он... ему рано.

Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф.

— Ну, после бани, я думаю, можно... По маленькой? — просительно сказал Николай.

— Нет, спасибо.

Николай крякнул, посмотрел на жену: деньги в надежных руках. Она их уже не выпустит — не тот случай. Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках — огромный, расстроенный. Тяжело глядел на свою ловкую половину. Та как ни в чем не бывало собирала на стол ужинать. Платоныч и Кузьма невольно рассмеялись.

— Не тоскуй, Микола, — сказал Платоныч.

Николай крепко, с шумом потер ладонью небритую щеку. Признался:

— У меня теперь голова три дня не будет работать. Какую я ошибку допустил, мать честная! — он запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину. — Главное — сам же... свернул трубочкой и сунул под хвост. Затемнение какое-то нашло.

— Все тебе мало, душа сердешная. Трубочкой он свернул! — обиделась Агафья.

Николай повернулся к ней, строго сказал:

— Пока не разговаривай со мной. Не волнуй зазря.

Поужинали. Клавди не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить.

В сенях, в темноте, его вдруг коснулось что-то мягкое, и в ухо горячо дохнули:

— Выходи на улицу

Кузьма даже сморщился — так больно и сладко сделалось в груди.

Во тьме тихонько засмеялись, прошумели легкие шаги, открылась дверь в избу... В светлом квадрате мелькнула маленькая аккуратная голова, и дверь закрылась.

Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступеньку... Сдавил голову руками и сказал вслух с тихим ужасом, счастливо:

— Елки зеленые!

Встал, пошел в избу.

Платоныч разговаривал с Николаем. Агафья убирала со стола.

Кузьма на мгновение задержался у порога, потом быстро снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глядя ни на кого, вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этого. Хозяева действительно не заметили.

А Клавдя смотрела через узкую щель в горничной двери и улыбалась. Через некоторое время вышла и она. Платоныч как бы между прочим проводил ее глазами и продолжал беседовать.

Было тепло. Буйный апрель, навоевавшись за день, устало прилег, шелестя прошлогодней, жухлой листвой. Густым током наплывал тяжкий запах талой земли.

Молчали. Опять Кузьма думал, что нужно же, черт возьми, что-нибудь говорить, и не мог выдавить из себя ни слова. Шалый низовой ветерок, играя, налетал то сбоку, то мягко и осторожно подталкивал сзади, раздувал цигарку, подхватывал искорки, и они впивались в темноту и гасли шагах в трех впереди.

Рядом, совсем близко шла Клавдя. Она раза два поймала его за рукав, негромко сообщая:

— Ой, я осклизнулась...

Кузьма неловко поддерживал ее.

— Мы куда идем? — спросил он.

— На вечерку. А что? Тебе не полагается?

— Да ну!..

— А вы надолго приехали?

— Неизвестно.

— А зачем?

— Это... я потом расскажу. Вообще — вам помочь жизнь наладить. По-новому.

Клавдя неподдельно изумилась:

— Господи, да какие же вы помощники?!

Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело его за живое.

— Это ты рано так о нас... Зря, пожалуй. Ты ведь не знаешь ничего.

— Чего я не знаю?

— Понимаешь, какая штука!.. — громко начал Кузьма. — Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди... — он кинул на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И замолчал. Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то

осекся, застыдился. С горечью отметил: «Заорал чего-то, как дурак». Вспомнил про «теленочка».

— Ты чего замолчал?

Кузьма кхакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожиданно для себя, довольно резко, непонятно для чего и с какой стати заявил:

— Живешь ты, Клавдя, и, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя же так, елки зеленые! — замолчал и подумал: «Сейчас повернется и уйдет».

Но Клавдя и не думала уходить. Тогда он упрямо сказал:

— Так, конечно, легче. Но так же нельзя...

— Ты чего это? — спросила Клавдя серьезно.

— Что?

— Ты почто так со мной разговариваешь?

Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним происходит. Клавдя тоже замолчала. Потом вдруг сказала:

— Влюбчивый ты, наверно? А?

— Как это?

— В меня-то небось влюбился?

Кузьма ахнул про себя и сбился с ноги — он все время следил, чтобы идти в ногу с девушкой.

— Знаешь что... — Клавдя остановилась. Подумала немного и сказала твердо: — Не пойдем на вечерку. Ничего там хорошего нет. Айда на бережок, посидим. А? — она осторожно и властно повлекла его за собой. Голос ее зазвучал доверчиво и обещающе — из самой груди. — Пойдем, там хорошо так...

Шли. Разговаривали несвязно. Говорила больше Клавдя.

— Небось плохой меня считаешь?

— Ну... Зачем ты?

— А я, Кузенька, думаю тоже. Ночи не сплю, думаю. Любить мне охота... А некого. Наши... здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде. Поглянулась бы я тебе... У нас тут девки разные... Есть лучше меня.

— Ну... зря ты. Что там... — бормотал Кузьма.

— Тебе хорошо будет со мной. Ты вон какой стеснительный... Дай-ка я тебя поцелую, терпения больше нет, — она едва дотянулась до его лица (он не догадался наклониться) и вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому затвердевшие, пропахшие табаком...

6

Емельян Спиридоныч с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по-киргизски ноги, — мастерил скворечню. Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь.

— Ты чего дома? — нахмурился отец.

— Лодку смолить надо. Спустил ее на воду, а в нее как в сито...

Егор отложил в сторону плашки, поднялся.

— Макар в кузне?

— Там.

— А ты себе другого дела не нашел?! — Емельян Спиридоныч пнул недостроенный скворечник. — Лоботрясы!

Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сени.

— Пойду к Беспаловым, — заявил Емельян Спиридоныч (было два семейства в Баклани, куда ходил Емельян Спиридоныч, — Беспаловы и Холманские, богачи под стать Любавиным и такие же нелюдимые и спесивые). — Мать придет — скажи, чтоб в баню ишо подкинула, я, может, засижусь.

Кондрат кивнул.

— Егорка! — позвал он.

— Чего он такой? — спросил Егор, войдя в избу. — Из-за жеребца, что ли?

— Сходи за Макаркой.

— Зачем?

— Надо. Чтоб сразу шел.

— Жеребца-то не купили?

— Не твое дело.

Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный.

Макар пришел потный, в копоти — помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца.

— Чего?

— Пошли со мной, — велел Кондрат, направляясь в горницу

Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом.

Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы сказал Егору:

— Иди засыпь овса Монголке. Поболе, — и захлопнул за собой дверь.

Егор сунулся было за ними.

— Тебе куда сказали идти? — рявкнул Кондрат.

— Ключи от амбара там... Чего ты орешь-то?

Из горницы, звякнув, вылетела связка ключей.

Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой.

— Где у тебя обрез? — сразу начал Кондрат.

— Какой обрез? — Макар сделал изумленное лицо.

— Не корчи из себя дурачка. Где он?

— А зачем тебе?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез.

Кондрат бережно принял его — тяжеленький, аккуратный, — погладил широкой черной ладонью иссиня-сизый куцый ствол.

— Где ж ты его, поганец, держишь?! Сунься кто-нибудь — и враз увидют.

— Я только почистить принес. А зачем он тебе? — глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском.

— Не твое дело. Иди в кузню.

Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел — обиделся.

Когда огней в деревне уже не было и в тишину пустых улиц простуженно бухали цепкие кобели, с любавинского двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке.

В переулке, где кончается любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла наперерез всаднику. Монголка настороженно вскинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее.

— Я это, — стоял Макар. — Возьми, братка... Шибко охота. Я лучше эти дела знаю, чем ты.

Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата. Тот неразборчиво, сквозь зубы, матернулся, толкнул Монголку вперед и исчез в темноте.

Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце. Влез на полати и затих.

Домой Кондрат явился перед рассветом. Бледный, без шапки... Держался рукой за левый висок.

Молчком прошел в горницу, попросил самогону.

Емельян Спиридоныч в одном исподнем забегал из избы в горницу — боялся спрашивать. Он догадался, где был сын.

— Коня потерял, — прохрипел Кондрат.

Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково засуетился.

— Надо уметывать... По коню могут узнать, — вслух соображал он. — Рубаху скинь: на ей кровь.

Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли.

— Ничо, ничо! — торопил отец. — Кистенем, видно, угодили?

Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и... выронила.

— Господи батюшка, отец небесный... Омеля, тут кровь.

— Сожги.

Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа.

— Ну что? — Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, негромко, чтобы не побудить ребят на полатях, выругался: — Твою в креста мать. Не видела никогда? — поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. — Мы с Кондратом уедем ден на пять, скажешь — к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще... нет, днем уехали. Слышишь?

— Слышу.

— Ребятам так же скажи. А если, случай чего, придут, станут спрашивать... — Емельян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел: — ...ты ничего такого не видела. Завтра с утра растрезвонь, что Монголку у нас украли. Поняла?

Он направился в горницу, но вдруг резко обернулся и сказал сипло и страшно:

— Да сама-то веселее гляди! Чего ты, как с того света явилась!

Кондрат, обхватив голову большими руками, бережно качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, мерещился ему до сих пор легкий присвист страшного железа на плетеном ремешке. На массивном лбу его мелким бисером выступил пот.

— Болит?

— Спасу нет.

— Ничо, живой остался. Счас поедем. Отвезу тебя к Игнату — там и отходим.

Емельян Спиридоныч присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил:

— Кобылу... кобылу-то!.. Золотая была животинка, — смахнул твердой, потрескавшейся ладонью слезу, уронил на колени тяжелые руки, докончил шепотом: — Ах ты, господи... Нет уж, видно, не умеешь — не берись, — был он сейчас огромный, взъерошенный и жалкий. Спросил: — Как получилось-то?

— Потом, — выдохнул Кондрат, с трудом разнимая побелевшие от боли губы. — Трое их было. Обрез вышибли — и... чем-то по голове.

Емельян Спиридоныч встал:

— Поедем.

Они вышли из дома. Но Емельян Спиридоныч тут же вернулся, влез на полати, растолкал Макара (Егора не было дома).

— Езжай прямо сейчас... Знаешь, где Бомская дорога в Быстрянский лес заворачивает?

— Ну.

— Шапку там потерял Кондрат. И обрез поишши.

Макар все понял:

— Эх... Так и знал.

— Скорей, едрена мать!.. Разговаривать он будет! До света чтоб успел! — и опять выбежал, не оглянувшись на жену: она все стояла посреди избы.

7

Еще с зимы приметил Егор одну девку — Марью.

Была Марья из многодетной семьи вечного бедняка Сергея Федорыча Попова.

Давно-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень Сергунька. Откуда — никто не знал. Был он балалаечник и плясун. Девкам пришелся по душе. Плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне — Малюгину Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, напоил его и ухлестал вусмерть.

А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену — снять все, что на ней имеется. Мать пришла, потихоньку благословила молодых и сняла с дочери последнее платьишко — без этого муж не пустил бы ее на порог.

Стали Поповы жить. Поставили небольшую избенку, наплодили детей кучу... И так и остались в постоянной бедности. Сергей Федорыч начал закладывать. А к старости еще сделался какой-то беспокойный. Шумел, ругался со всеми — каждой бочке затычка.

Был он невысокого роста, растрепанный, с маленькими сердитыми глазками, — смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то нахохлены и все прыгают-прыгают грудкой вперед — очень решительно.

Он плотничал. Не было случая, чтобы он, нанявшись к кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску не было никому. Не боялся ни бога, ни черта.

Рассказывали — был в старое время в деревне колдун. Кого невзлюбит этот колдун, тому не даст житья. Сейчас выйдет утром за поскотину, поколдует на зарю — и человек начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того колдуна хуже огня. А он ходил надутый и важный, — нравилось, что его боятся.

Один раз Сергей Федорыч плотничал у него по найму, и они, конечно, поругались. Колдун говорит:

— Хочешь, я на тебя порчу напущу?

— Напустишь? — спрашивает Сергей Федорыч.

— Напущу, так и знай.

— Неужели правда напустишь?

— Напущу.

Тогда Сергей Федорыч среди бела дня скинул штаны, похлопал себя по заду и говорит:

— Напускай скорей... вот сюда.

После этого два дня гулял по деревне и всем говорил:

— У него язык не повернулся колдовать — до того она у меня красивая.

Степанида в старости сделалась сухой, жилистой и тоже шумливой. Только глаза сохранила прежние — веселые, живые и умные.

Ругались они с мужем почти каждый день. Начинал обычно Сергей Федорыч.

— Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил! — горько заявлял он.

Степанида, подбоченившись, отвечала:

— Никогда-то я тебя не любила, петух красный. Ни вот столечко не любила, — она показывала ему кончик мизинца.

Сергей Федорыч растерянно моргал глазами:

— Врешь, куделька, любила. Шибко даже любила.

Степанида, запрокинув назад сухую сорочью голову, смеялась — искренне и непонятно.

— Любила, да не тебя, а другого. Эх ты... обманутый ты на всю жизнь человек!

Сергея Федорыча как ветром сдувало с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на визг:

— Да любила же, кукла ты морская! Я же все помню! Помню же...

— Что ты помнишь?

— Все. Ночи всякие помню.

— А я другие ноченьки помню, — вздыхала Степанида. — Какие ноченьки, ночушки милые!.. Заря, как кровь молодая... А за рекой соловей насвистывает, так насвистывает — аж сердце заходится. И вся земля потихоньку стонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай.

Сергей Федорыч лохматил маленькой крепкой рукой не по возрасту буйный красный хохол на голове — смотрел на жену тревожно. Не верил.

А Степанида продолжала вспоминать дорогое сердцу времечко:

— А как к свету ближе, станет кругом тихо-тихо: лист упадет на воду — слышно. Похолодает...

Сергей Федорыч начинал нервно гладить ладонью себя по колену. Пробовал снисходительно улыбнуться — получалось жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь съеживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко:

— Дура, дура... Кхах! Вот дура-то! Выдумывает — сидит что ни попадя. Ну зачем ты так? — он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет. — Она думает: мне это горе...

Степанида подходила к мужу, небольно шлепала его по круглому упрямому затылку:

— Притих?

У них было одиннадцать детей.

Два старших сына погибли в империалистической, в шестнадцатом году, одного зашибло лесиной, когда готовили плоты по весне. Один служил в городе милиционером. До последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. Когда появлялся в деревне — крупный, красивый, спокойный, — у стариков наступал светлый праздник. Они гордились сыном.

С утра до ночи хлопотали, счастливые, — старались, чтоб все было, как у добрых людей. Собирали «вечер».

Выпив, пели старинные песни.

Зачем я стретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Ведь мне назначено судьбою
Идти в доле-кие края...

Хорошо пели.

Сергей Федорыч, облокотившись на стол, сжимал в руках маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал любимую:

Эх ты, воля моя, воля,
Воля вольная моя!..

Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну:

— Это он, когда еще парнем был, шибко любил эту песню.

Была одна противная слабость у Сергея Федорыча: хватив лишнего, любил покуражиться.

— Кто я?! — кричал он, размахивая руками, стараясь зацепить посуду на столе. — Нет, вы мне скажите: кто я такой?!

Степанида смотрела на него молча, с укоризной — умно и горько. Сергей Федорыч от ее такого взгляда расходился еще больше.

— А я вам всем докажу! Я...

Сын легко поднимал его на руки и относил в кровать.

— Зачем ты так, тятя?.. Ну вот, родимчик, все испортил.

— Федя! Сынок... Скажи своей матери... всем скажи: я — человек! Они у меня в ногах будут валяться! Я им!..

— Ладно, тятя, усни.

Сергей Федорыч покорно умолкал. Степанида подсаживалась к нему — без этого он не засыпал.

— Ты здесь? — спрашивал он, нащупывая ее руку.

— Здесь, здесь, — откликалась она. — Спи.

— Ага.

Он засыпал.

А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из города бумагу: «Погиб при исполнении служебных обязанностей».

И вот раз (зимой дело было) поехали они за сеном.

Погода стояла теплая. Падал снежок. Было тихо.

Навьючили хороший воз, выбрались на дорогу и поехали шажком. Ехать далеко.

Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу: из-за гор налетел сухой резкий ветер; снег, наваливший с утра, не успел слежаться — сразу весь поднялся в воздух. Сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел. Лошадь стала.

Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать порожнем. Сперва казалось — едут правильно, потом лошадь начала проваливаться по брюхо в снег. Опять остановились.

Сергей Федорыч выпрыгнул было из саней — поискать дорогу но тут же провалился и едва влез обратно. Ветер валил с ног.

Лошадь легла. Они тоже легли.

Лежали тесно — лицом к лицу.

Всех их быстро заметало сугробом.

На Сергее Федорыче были старенькие сапоги. Ноги стали мерзнуть.

— Стеша... тут нам однако и конец пришел, — сказал он.

— А ты не пужайся. Зато вместе.

— Неохота же умирать-то!.. «Не пужайся»! Храбрая выискалась!

Помолчал и добавил:

— Обидно почему-то!

— Мне тоже обидно. Только ты не жалуйся — это нехорошо.

— Почему нехорошо?

— Не знаю.

— Дурацкие рассуждения! Ты бы хоть сейчас не учила.

— Я тебя никогда не учила, глупый.

Замолчали.

— Ребятишек только жалко, — прошептала Степанида.

Сергей Федорыч засопел.

— Ноги заходятся, — сердито сообщил он.

Степанида с трудом сползла вниз.

— Разувайся... Давай их сюда.

Кое-как стащили сапоги, и она устроила закоченевшие ноги мужа у себя на груди, у тела. Когда они стали отходить в тепле, поднялась такая боль, что Сергей Федорыч заскулил по-собачьи. А Степанида уговаривала:

— Ничего, теперь лучше будет. Теперь они не замерзнут.

Так их и нашли.

Утром, чуть свет, выехали на нескольких подводах и сразу же за деревней наткнулись.

Привезли в больницу.

Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку — подарок.

Лежала Степанида на больничной койке — вся какая-то ясная, чистая, светлая... Смотрела на людей ласково и благодарно — никогда в жизни ей ничего не дарили.

Сергей Федорыч был несколько смущен таким вниманием к его старухе. Когда они оставались одни, он подсаживался к ней и строжился:

— Ты что же это, мать, не ешь ничего? А? Ну-ка немедленно съешь вот этот суп! Ты посмотри только, суп-то какой!..

— Я уж наелась, старик, — отвечала она. — Люди-то какие хорошие!

Сергей Федорыч отворачивался, мял в руках клинышек бородки, покашливал...

А через два дня Степанида умерла. Тихо. Ночью.

Сергей Федорыч схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался. Ковырялся у себя в завозне, строгал, пилил... и помалкивал.

Стал как будто меньше ростом. Полинял. Желтизной начал отдавать. Последнее время чудить стал.

Приволок как-то большой камень, вытесал из него квадратную толстую плиту (месяц работал), высек посередине крест и навалил эту плиту на могилку жены.

А на масленице явилась она к нему во сне и сказала:

— Тяжело мне, старик. Сними ты его...

Утром, еще не рассвело хорошо, он помчался с ломиком на кладбище и свалил камень с могилы.

Осталось на руках у Сергея Федорыча семеро детей. Старшей, Марье, — девятнадцать лет. Марья лицом походи-

ла на мать — чернобровая, с ясными, умными глазами. А характером удалась в брата Федора — спокойная, рассудительная, с открытой, доброй душой. Очень терпеливая.

Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих чистых глаз таила постоянную светлую усмешку. Люди, когда на них смотрят такие глаза, становятся доверчивыми.

Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась. Не умела. От товарок своих не отставала; пела задушевные девичьи песни, умела сплясать... Причем, глядя на нее, трудно было подумать, что вот она — несуетливая, тихая, с внутренним сдержанным величием — может выйти на круг и сплясать. А когда плясала, никто этому не удивлялся. Делала она это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто — душа хотела.

Ухажеров у Марьи не было. Как-то так — не было. Ее это не тревожило. Правда. Хитрить она не умела.

Когда расходились с вечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади, шагах в десяти. Девушки пели хором «подгорную». Десять-двенадцать сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх, к небу:

Ох, разрешите познакомиться вот с этим паренько-ом!..

Тальянка захлебывалась в переборах, торопилась, выговаривала...

А голоса дружно подхватывали и поднимали выше:

Эх, довести его до дела, —
Чтоб качало ветерком...

Егор любил безобидные девичьи песни под гармошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу неподвижно сидеть в своей ограде на ослизлом бревне — слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной морозец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная, милая гармошка будила какое-то непонятное сильное чувство. Накипала в груди странная горячая радость.

...Шел Егор, слушал песни и думал, что сегодня он опять не подойдет к Марье. Он последнее время часто думал о ней. Несколько раз хотел подойти и не мог — боялся. И гордость мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь свел, — у того это лихо получалось. Удерживало опасение,

что когда-нибудь ядовитый братец некстати припомнит ему эту слабость.

Понемногу расходились. Гармонист свернул в переулок — унес с собой свою голосистую легкую грусть. Уходили парами в ночь.

Остались три-четыре — не занятые. Шли впереди, разговаривали, смеялись. Среди них и Марья.

Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней.

Он отошел в сторонку, выждал, когда девки свернут за угол, маханул через плетень и огородами, по вязкой земле, напрямик чесанул к Марьиной избе. Бежал, как будто за ним гнались, легко и податливо. Бежал, стиснув зубы... Про себя упрямо и весело повторял: «Так! Так! Так!». Раза два нарвался на кобелей. Один перепугал насмерть: видно было — прыгнул через прясло, здоровенный, как телок, и молчком, сливаясь с черной землей, скользящим наметом пошел наперерез. Егор сходу пружинисто дал козла — к плетню... Успел вывернуть березовый колышек... Волчком закрутился на месте, описывая концом колышка низкие круги. Натянутой тетивой — мягко, глуховато — гудела на колу отставшая берестинка. Раза три пробовал мрачный кобелина нырнуть под гудящий круг, но отскакивал. Потом также молча убежал.

...Через последний плетень Егора перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал: «Чего я так?».

Потом стоял около ветхих ворот Марьиного двора, до боли сжимал в руках суковатый стежок — пробовал унять волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он обозлился. Прошелся по переулку. Закурил. Сворачивая папиросу, заметил, что руки трясутся. «Что со мной делается?».

Так и встретил Марью — со стежком в руках, злой и встревоженный неодолимым волнением.

Марья слабо вскрикнула, схватилась за грудь.

— Не пужайся, — Егор смотрел почему-то на небо. — Я это.

— Господи, напугал-то как! — Марья перевела дыхание. — Ты чего?

— Ничего, — Егор старательно затоптал окурок, незаметно откинул в сторону кол. Недовольно спросил: — Спать, что ли, хочешь?

— Нет.

Егор достал железную коробочку с леденцами — носил в кармане на всякий случай, — нашел Марьину руку, сунул не глядя.

— На, — и сморщился: стало до тошноты стыдно. Эта сволочная коробочка извела его за весь вечер — звякала в кармане, напоминая о необходимости делать все, как положено, как делают другие. Макар на досуге учил его этой науке...

— Зачем, Егор? — Марья вертела в руках коробочку; в темноте, совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. Это было еще хуже. Хоть бы уж взяла и молчала.

— Да бери! — сорвался на крик Егор. — Откуда я знаю — зачем?!

— Ты чего такой?..

— Какой? — Егор остервенело крутнул головой, в упор уставился на нее.

— Тебе чего надо-то от меня?

— Ничего не надо!

— Ну пропусти тогда, — она положила на столбик коробочку, обогнула неподвижно стоявшего Егора, скрипнула воротами...

Егора точно кто вдавил в землю — хотел уйти и не мог сдвинуться с места.

— Егор! — тихонько позвала Марья.

— Ну.

— Ты зачем приходил-то?

Егору послышалась в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовый расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью — тяжело, грубо, чтобы чистые глаза ее помутились от ужаса.

Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбике так и лежит злополучная коробочка с леденцами. Его даже кольнуло в сердце. Бегом вернулся назад, схватил ее и запустил в огород.

Пошел на Баклань-реку. Сел на берегу, стал слушать, как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой. Взнуздал на конюшне Воронка, вывел за ворота... Вскакивая, шатнул его своей тяжестью. Сильный мерин с места взял вмах. Под копытами гулко застонала земля. Навстречу со свистом понеслась ночь...

Конь сам выбирал себе дорогу. Егор, стиснув зубы, в такт лошадиному скоку упрямо твердил: «Так! Так! Так!».

Вылетели за деревню.

Егор осадил разгоряченного коня, спрыгнул... Сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям.

...Уже на востоке тихо стал заниматься рассвет, прокричали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не поднял головы. Воронок несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко. Егор вскинул наконец голову, поднялся, погладил мерина по шее. Поехал домой. Грустно было, и зло брало на Марью и на себя.

8

Утром Платоныч едва добудился Кузьму.

Тот натянул до ушей тонкое лоскутное одеяло (один большой нос торчал наружу) и выдавал такой свист с переливом, что Платоныч с минуту стоял над ним — с удовольствием слушал. Потом крепко тряхнул гуляку.

— Кузьма! А Кузьма!

Свист на секунду прекратился. Кузьма пошевелился, сладко чмокнул губами и снова выдал веселую руладу.

— Вставай, Кузьма!

Кузьма открыл глаза, огляделся. Они спали на полу, на старых, вытертых полушубках.

— Подъем!

Кузьма деловито вскочил и тут же сел, поспешно спрятал длинные худые ноги в коротких кальсонах под одеяло: увидел дверь горницы и все вспомнил.

В избе никого не было: хозяин ушел на работу, Агафья убиралась в ограде. Клавдина шубейка висела на стенке рядом с тужуркой Кузьмы.

— Ты где был вчера? — негромко спросил Платоныч.

Кузьма натягивал под одеялом галифе. Вместо ответа зырко глянул на горничную дверь, покраснел.

— Что ты спросил?

— Где был вчера?

— Да так... прошелся по деревне.

— А-а... Ну умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал, хочу рассказать тебе...

— Что придумал?

— Потом.

Наскоро перекусили.

Выходя, встретились с Агафьей.

— Вы позавтракали? Я там на столе оставляла, — она пытливо заглянула в глаза Кузьме.

— Мы — уже. Спасибо, — ответил Платоныч.

Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо.

— По-моему, тут кто-то из города шурует, — заговорил Платоныч, когда вышли за ворота. — Или же человек специальный — в город ездит. Но связь с городом есть, это точно...

Кузьма плохо его слышал. Шаг за шагом вспоминал и снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча звучал далеко и безразлично; он рассказывал о том, что нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни.

Дело, ради которого они сюда приехали, было такое.

Месяца два назад к югу от Баклани начала действовать шайка отчаянных людей. Сначала их приняли за обычных грабителей, но потом поняли (после налета на деревни): наводит головорезов опытная и мстительная рука. В деревнях громили сельсоветы, избы-читальни, в одном селе сбили замок с каталажки и распустили арестованных.

Как только банду начинали преследовать, она уходила в глухомань, и там ее достать было трудно. Чоновцам нужна была помощь местного населения и верных людей.

Губернское ГПУ выслало в эти места несколько человек — выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в Сибирь, чтоб помочь возродить жизнь на тех небольших заводишках в уездных городах, которые стояли немые и холодные — с гражданской войны.

Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился. Кузьму уговаривать не пришлось.

По документам они числились представителями губернского ОДН — общества «Долой неграмотность». А Платоныч загорелся мыслью построить в Баклани школу — руками самих крестьян. Благо это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда.

— ...Походим по дворам, посмотрим, — говорил Платоныч. — Может, двух зайцев сразу поймаем. Только осторожно, конечно. Тебе хорошо бы с парнями сойтись...

Кузьма согласно кивал головой:

— Сойдусь.

— Девка-то нравится? — неожиданно спросил Платоныч. Как обухом огрел.

Кузьма насупился.

— Какая девка?

— Хозяйская, — Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки. — Эх, ты... чекист, голова садовая! — потом посерьезнел, сказал: — Взрослеть надо, Кузьма. Сколько уж тебе, я все забываю?..

— Двадцать.

— Ну вот. Ты, я вижу, в мать свою. Та до тридцати лет все краснела, как девушка.

В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств.

— Не получится это у вас, — любезно сказал Колокольников. — Не будут строить.

— Посмотрим.

— Весна как раз пришла. У каждого своей работы...

— По пять дней отработают — ничего не случится.

— Опробуйте, конечно...

В первом же доме, у Беспаловых, хозяин, добродушный зажиревший мужик с узкими внимательными глазками, выслушал их, прямо и просто сказал:

— Нет.

— Почему?

— Это же дело добровольное?

— Конечно.

— Ну вот. Мне это не подходит. Некогда.

— Один день...

— Ни одного. Даже посмотреть на нее не пойду.

В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили:

— Наши голодранцы церкву без нас ломали? Ну и школу пусть без нас строют. А то — умные какие... Разлысили лоб. Вот к им и идите. К голож...

— Без выражений можно?! — обозлился Платоныч. — Вам же школа-то нужна.

— Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо живется.

На улице Платоныч задумался.

— Крепкий народ. Неужели все такие?

— Мы неправильно сделали, что к богатым пошли, — сообразил Кузьма.

— Пожалуй, — согласился Платоныч. — Пойдем подряд, без разбора.

9

Игнатий Любавин жил на заимке. Один.

До девятнадцатого года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в девятнадцатом все отобрали. Но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверно, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук двадцать ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Вслух.

Это был сухой, благообразный старик метра в два ростом. Тихий... Все покашливал в платочек — привычка такая была — и посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдание.

Они с Емельяном были сводные братья — от разных матерей. Роднились плохо. Редко бывали друг у друга — только по надобности какой.

Емельян Спиридоныч не выносил старшего брата. За скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», — говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же. И в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридоныче: «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет. А дуб срубить легко».

Приехали к Игнатию уже при солнце.

Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться — голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвало.

— Света белого не вижу, — шептал он бескровными губами. — Устосовали они меня...

Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше.

Игнатий встретил их в ограде.

— Вижу из окна: вроде конь ваш... Что это с Кондратом?

— Упал, — кратко пояснил Емельян Спиридоныч.

Игнатий белыми длинными пальцами осторожно разнял спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану.

— Откуда упал?

— С крыльца.

Игнатий насмешливо посмотрел на брата.

— Соврать даже не умеешь, Емеля-пустомеля!

— А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди в дом.

Игнатий секунду помедлил.

— Там у меня... — хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом. — Пошли.

В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом. С виду городской. Глаза большие, синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая, нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене. Смотрит пристально.

— Это брат мой. А это племяш, — представил Игнатий.

Молодой человек легко поднялся, протянул руку:

— Закревский.

Емельян Спиридоныч небрежно тиснул его влажную ладонь. Про себя отметил: «Выгинается, как вша на гребешке».

— Ушиблись? — с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся.

Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу уложил в кровать.

— Сейчас... обмоем ее, травки положим. А потом уснуть надо. Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться?

— Мм...

— Правильно. Только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?

— Не знаю. Могут.

— Ая-я-я!.. Как они ее разделали!.. Головушка бедная!

Емельян Спиридоныч сидел напротив желтолицего, курил. Швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверно, на ком-нибудь надо было зло сорвать.

Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый.

— Где это сына?.. — спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоныча.

Тот поднял голову, негромко, чтобы не слышал Игнатий, сказал:

— А тебе какое дело, слюнтяй?

Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоныча. Потом улыбнулся. Тоже негромко сказал:

— Невежливый старичок. Хочешь, я тебе глотку заткну, бурелом ты?.. Ты что это озверел вдруг? А?

Емельян пристально смотрел на него.

— Один разок дам по мусалам — мокрое место останется, — прикинул он и гневно нахмурился. — Не гляди на меня, недоносок! Змееныш такой!

Закревский дернул рукой в карман.

— Хватит! Сволочь ты!.. — голос его нешуточно зазвенел.

Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что́ он достал из кармана. А когда опустил глаза, увидел: снизу из белой руки, на него смотрит черный пустой глазок дула.

— Вы что, сдурели? — раздался над ними голос Игнатия.

Закревский спрятал наган, неохотно объяснил:

— Спроси у него... Начал лаяться ни с того ни с сего.

— Ты что тут?! — грозной тучей навис Игнатий над братом.

— Не ори, — отмахнулся тот. — Пусть он его еще раз вытащит... я ему переставлю глаза на затылок.

— Ты белены, что ли, объелся, — не унимался Игнатий. — Чего ты взъелся-то?

— Прекрати, ну его к черту, — поморщился Закревский. — Он не с той ноги встал. Достань выпить.

Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, так же легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридоныч хмуро наблюдали за ним.

Игнатий налил три стакана, подвинул один на край стола — Емельяну Спиридонычу. Тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан. Глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами — наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких, в ниточку, губах. Емельян Спиридоныч нахмурился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом.

Игнатий и Закревский переглянулись.

— Хорош самогон у тебя, — похвалил Емельян Спиридоныч.

— Первачишко. Еще налить?

— Давай. Мутно что-то на душе.

— Зря с человеком-то поругался, — Игнатий кивнул в сторону Закревского. — Он как раз доктор по такой хвори.

— А он мне нравится! — воскликнул Закревский. — Давай выпьем... старик?

Странно — Емельяну Спиридонычу человек этот не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закревского, протянутый к нему.

Выпили, Некоторое время молча ели.

— Отчего же на душе мутно? — поинтересовался Закревский.

— Если б я знал! Жизнь какая-то... хрен ее разберет.

— Я думал, таких ничего не берет, — с удовольствием сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею. Придвинулся ближе.

10

Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов.

Федор жил в маленькой избенке с двумя окнами на дорогу. Он влезал в нее согнувшись, очень осторожно, точно боялся поднять невзначай потолок с крышей вместе.

В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек. И великий труженик.

Работал играючи, красиво; около кузницы зимой всегда толпился народ — смотрели от нечего делать. Любо глядеть, как он — большой, серьезный — точными, сильными ударами молота мнет красное железо, выделывая из него разные штуки.

В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо Феди (так его ласково называли в деревне, его любили). Крепко, легко играет молот мастера: тут! Тут! Тут! Вслед за молотом бухает верзила-подмастерье — кувалда молотобойца: ух! Ах! Ух! Ах!

Федя обладал редкой силой. Но говорить об этом не любил — стеснялся. Его спрашивали:

— Федя, а ты бы мог, например, быка поднять?

Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно:

— Брось. Чо ты, дурак, что ли?

Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле, — он был прекрасен.

По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. Летом — в огороде, в подсолнухах.

Сперва из подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка, потом слышался могучий вздох... и появлялся Федя, большой и страшный.

Выходил на дорогу и, нагнув по-бычьи голову, громко пел:

В голове моей мозг высыхает;
Хорошо на родимых полях.
Будет солнце сиять надо мною,
Вся могилка потонет в цветах...

Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал:

— Кто первый? Подходи!

А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом вдоль ограды и беседовал с супругой.

— Литовку-то куда девала? — спрашивал Федя.

Из избы через открытую дверь вызывающе отвечали:

— У меня под юбкой спрятана. Хозяин!

Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал. Потом говорил участливо:

— Смотри не обрежься. А то пойдет желтая кровь, кхххх-х-х...

В избе выразительно гремел ухват, Федя торопливой рысцой отбегал к воротам. На крыльце с клюкой или ухватом в руках появлялась Хавронья, бойкая крупная баба. Федя не шутя предупреждал ее:

— Ты брось эту моду — сразу за клюку хвататься. А то я когда-нибудь отобью руки-то.

— Бык окаянный! Пень грустный! Мучитель мой! — неслось в чистом утреннем воздухе.

Федя внимательно слушал. Потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал:

— Спой чего-нибудь. У тебя здóрово выйдет.

Хавронья тигрицей кидалась к нему, Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, у прясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хавронья обычно не выбегала, Федя знал это.

Яша выходил к нему, подсаживался рядышком. Закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали «камедь».

— Бурые медведи! Чалдоны проклятые! — кричала Хавронья через улицу. — Я из вас шкелетов наделаю!..

Дружки негромко переговаривались.

— Седня что-то мягко.

— Заряд неважный, — пояснял Федя.

Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу:

— Ксплотатор! (он страшно любил такие слова).

— Ты еще там!.. — задыхалась от гнева Хавронья. — Иди поцелуй Анютку кривую! Она тебя давно дожидается...

Яша умолкал. Анютка эта — деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и... говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того — еще раззвонила по деревне, что Яша Горячий приходил ее сватать, но она, Анютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он, — говорила она серьезно. — Если бы пил поменьше...» — «Да ты подумай, Анютка, — советовали ей мужики. — Не швыряйся шибко-то... У вас же старая любовь». — «Нет, нет, нет, — даже и не уговаривайте! Слушать даже не хочу». Мужики гоготали, а Яша выходил из себя: грозился, что убьет когда-нибудь Анютку.

Федя был дома, когда пришли к нему.

Хавронье нездоровилось — лежала на печке с видом покорной готовности выносить всякие несправедливости судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок.

— Здравствуйте, хозяева! — громко сказал Платоныч. (Он сначала было озлился, помрачнел, а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. «Ничего, Кузьма, вот увидишь — школа будет. Не на тех они нарвались», — заявил он.)

На «здравствуйте» Федя поднял от замка голову, некоторое время молча разглядывал старика и парня.

— Здорово живете.

— Вот какое дело, хозяин, — заговорил Платоныч, без приглашения направляясь в передний угол, — надо вам в деревне школу иметь... Надо ведь?

Федя, наморщив вопросительно лоб, смотрел на него.

— Надо, конечно, — сам себе ответил Платоныч. — Ребятишки учиться будут. Да. А школы нет. Как быть?

Федя хмыкнул — ему понравилось начало.

— Как же быть?

— Не знаю, — сознался Федя.

— Строить! — воскликнул Платоныч, будто сам удивляясь и радуясь столь простому решению.

— Во-он ты куда! — догадался Федя. Отложил в сторону замок. — А как... кто строить-то будет?

— А все вместе. Каждый по пять-шесть дней отработает — и школа готова. Леса вам не занимать.

Федя выслушал и, не раздумывая, просто сказал:

— Можно.

Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. Встал, потрогал застегнутые пуговицы пальто.

— Вот и хорошо. Хорошо, брат!.. Пошли, Кузьма. До свидания.

— Будь здоров.

На улице Платоныч молодо сверкнул глазами:

— Чего я тебе говорил?

— Один только...

— Все будут! — Платоныч смешно вскинул голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик.

Зашли к Поповым.

Они как раз обедали. На столе дымился чугунок с картошкой. На лавках вокруг стола сидела детвора — один другого меньше. Каждый доставал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катая с руки на руку, макал в соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Запивали молоком из общей кружки, в которую Марья часто подливала свежего. Молока было немного, ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, к кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали.

— Здравствуйте, хозяева!

Все обернулись; шесть маленьких рожиц с одинаково ясными «поповскими» глазами с любопытством рассматривали Платоныча и Кузьму.

— Проходите, — пригласил Сергей Федорыч, вытирая полотенцем руки.

Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда бы ему присесть.

— Вон на кровать можно, — показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю жизнь.

Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой дерюгой.

Сергей Федорыч отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати. Достал кисет.

— Курите?

Платоныч отказался, а Кузьма закурил.

Еще ни в одной избе не испытывал Кузьма такого острого, саднящего душу чувства жалости к людям, как здесь. «Вот кому новая жизнь-то нужна», — думал он, разглядывая ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и... вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с ним, бережно хранил... Ему казалось, что он ее помнит; он даже встречал женщин, похожих на мать. Но эта... елки зеленые! — до того похожа. Невероятно, странно, что она сидит здесь, живая. Можно подойти и потрогать ее рукой. Кузьма не отрываясь смотрел на Марью. Не слышал, о чем говорит Платоныч с хозяином. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не помнил даже, как вышли на улицу... В глазах стояла Марья.

— Что такое, дядь Вась?.. А? Ты видел, какая она?

Платоныч строго посмотрел на племянника. Негромко и серьезно сказал:

— Не нравятся мне такие штуки, Кузьма. Ты что это?

Кузьма промолчал. Понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить.

Молчали до следующего двора. Перед тем как войти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно:

— Что с тобой делается? Ты можешь объяснить?

— Потом объясню. Вечером.

11

Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня (за шапкой ездил и за обрезом), ворота раскрылись — въехал Егор.

— Ты где был? — спросил Макар.

— Недалеко.

Утро было хмурое. Небо заволокло тучами; они низко плыли над землей, роняли в грязь редкие холодные капли.

— Кондрата нашего, однако, убили, — сказал Макар.

Егор застыл около коня.

— Где?

— Не совсем... Вон видишь, что делается! — Макар показал братнину шапку, всю в крови.

— Скажет тоже — убили!

— Может помереть.
— Дрались, что ли?
— Ага.
— С кем?
— Не знаю.
— У тебя курево есть? — Егор присел на ясли. — Я прокурился.
Макар сел рядом, достал из кармана кисет, подал брату. Нахмурился, разглядывая окровавленную шапку.
— С кем он? — опять спросил Егор.
— Не знаю. Не могу никак понять: чем так звезданули? От гирьки не бывает рвано. А тут вишь... — он сунул под нос Егору шапку.
— Брось ты ее! — откачнулся Егор.
По крыше конюшни забарабанил редкий, но крупный дождь, — ранний собрался. Первый в этом году.
— Пахать скоро, — вздохнул Макар.
Егор подобрал с земли соломинку закусил в зубах.
— Втюрился я, Макар...
Макар живо повернулся:
— Ну-у! В кого?
— В Марью Попову.
Макар заулыбался: такая любовь сулила много хлопот Егору.
— Как же теперь?
— Не знаю. Хоть «Матушку-репку» пой.
— М-дэ-э... — сочувственно протянул Макар. — Плохо твое дело, Егор, шибко плохо. Даю голову на отсечение — он даже разговаривать об этом не станет.
Егор сам знал, что говорить с отцом о Марье — все равно что шилом пахать. Глупо. Емельян Спиридоныч понимал одно: невеста должна быть с приданым. Он за Кондрата высватал некрасивую, хворую девку, зато из богатого дома. «С лица воду не пить», — заявил он.
— Пощупал уж ее? — спросил Макар.
Егор дрогнул ноздрями, сплюнул.
— Оглоед!.. Только одно знаешь. Все, что ли, такие?
— Что ж ты с ней... оленей ловил?
— Перестань, а то в зубы заеду!
— Я заеду! — в глазах у Макара загорелся веселый злой огонек. — Попал — так не чирикай.
Егор бросил соломинку, подобрал другую.

— В общем, не видать тебе Марьи, как своих ушей, — сказал Макар, поднимаясь.

Егор задавил сапогом окурок, каким-то не своим голосом тихо сказал:

— Поглядим.

Домой Емельян Спиридоныч приехал на другой день.

Кряхтя, боком влез в дверь, скинул с плеча мешок.

— Здорово ночевали, — весь опухший, темный, с мутными глазами.

— С приездом! — весело откликнулся Макар. Он был один дома. Куда-то собирался: стоял перед самоваром в синей сатиновой рубахе, смотрелся в него.

Отец выжидающе уставился на сына.

— Никто не был?

— Никого. Монголка-то прибежала.

Емельян слезливо заморгал.

— Сама?

— Сама. Ночью. Как заржет под окном... Я думал, мне сон снится.

Емельян Спиридоныч снял рукавицу, высморкался в угол.

— Поеду в город — рублевую свечку Миколе-угоднику поставлю, — поклялся он, устало присаживаясь на припечье. — Иди коня выпряги.

— А где Кондрат?

— Там.

Макар вышел, но тотчас вернулся обратно с широко открытыми глазами.

— Эти... приезжие зачем-то идут.

Емельян Спиридоныч выронил кисет. Встал, хотел идти в горницу, но в сенях уже скрипели шаги. Оба — отец и сын — замерли посреди избы, глядя на дверь.

— Здравствуйте, хозяева! — вошли Платоныч и Кузьма.

— Доброго здоровья! — приветливо откликнулся Макар.

Он несколько суетливо подставил один стул и... сам сел на него. Но тут же вскочил, поправил рубаху.

Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувствовал этот взгляд. Тоже уставился на Кузьму — тревожно.

Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. Емельян Спиридоныч мучительно решал: сесть ему или продолжать стоять? Или вообще уйти в горницу?

— Мы вот по какому делу: решили в вашей деревне школу строить. Поможете?

Емельян Спиридоныч сдвинулся наконец с места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу. Приготовился с удовольствием разговаривать.

— Школу, значит, строить? — Макар бесцеремонно рассматривал Платоныча. — Большую?

— Хорошую нужно.

— Так. А сортир там будет?

Емельян Спиридоныч гневно обернулся на сына. У Кузьмы багрово потемнел шрам. Один Платоныч сохранял спокойствие.

— Ты что, мастер по сортирам?

— Ага. Я очки вырубаю. И какие очки, ты бы знал!.. — Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно. — Не очки, а загляденье! Люди сутками сидят на них, и вставать неохота. Сидят и смеются... от радости.

Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоныча. У того чуть заметно дергалось левое веко.

— Знаешь... Это интересно. Фамилию твою можно узнать? — Платоныч полез в карман за карандашом.

Макар настороженно сузил глаза:

— Зачем?

— А нам такие мастера нужны. Как фамилия?

— Ну, это ты зря, дядя... Я ж пошутил, — Макар невесело улыбнулся.

— Как фамилия?! — строго прикрикнул Платоныч.

Макар сутуло повел плечами.

— Любавин. Только не ори на меня.

— Ты чего это, борода, разоряешься? — спросил Емельян Спиридоныч. — Гляди, это тебе не старинка, — под лохматыми бровями его тускло мерцали, играя, злые глаза.

Платоныч, не оборачиваясь, резко сказал:

— В помощи вашей мы больше не нуждаемся. А за издевательство над общим делом можно спросить! — он круто повернулся и пошел к выходу.

Емельян Спиридоныч посторонился.

Кузьма, глядя на него, замедлил шаг.

— Вот именно — не старинка! Это ты правильно сказал.

— Будь здоров, сопля, — миролюбиво ответил Емельян Спиридоныч.

Кузьма, ощерив стиснутые зубы, пошел грудью на старика — длинный, тонкий, прямой и безрассудный. Боль и гнев

стояли в его глазах. Но был он слаб, до смешного слаб против квадратного Емельяна Спиридоныча. Тот в молодости ломал через колено дышло от брички.

— Кузьма! — остановил его Платоныч. — Пойдем.

Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридоныч подошел к Макару, наотмашь, хлестко стеганул его по лицу портянкой.

— Балабонишь много!

Макар крутнул головой, хищно оскалился... Отошел к окну. Проводил глазами отступающего от кобеля Кузьму, плюнул на крашеный пол.

— С одного раза до смерти зашиб бы... такого. А приходится молчать. Как их Колчак не угробил?!

— Меньше вякай про это! — рыкнул отец. Стащил сапог с ноги и мрачно задумался. — Они нам еще завьют горе веревочкой.

— Просидели тут в семнадцатом годе, — не то упрекнул отца Макар, не то сказал с сожалением. — Про... Сибирь.

Емельян Спиридоныч посмотрел на сына, ничего не сказал. Подумал, спросил с издевкой:

— Что же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вон они, не так уже далеко были, партизаны-то, — забыл сгоряча Емельян Спиридоныч, что было Макару в ту пору пятнадцать-шестнадцать лет — вояка еще зеленый.

Сам же сообразил, что сказал глупость, добавил уклончиво:

— Ничо, не пропадем пока.

— Это — как сказать. Я вон стретил вчера Елизара Колокольникова, он говорит: «Передай, — говорит, — отцу, чтоб нынче в пахоту не нанимал никого». Гумага какая-то ему пришла от начальства. «Сами, — говорит, — управляйтесь».

Емельян Спиридоныч опять невесело задумался. Потом озверел вдруг:

— Ты скажи ему, чтоб он не совал нос куда не надо! А то я его вместе с гумагой энтой в Баклань спущу. Председатель... — матюкнулся и полез на печку отсыпать пропитую ночь. Не стерпел и еще подал оттуда: — Хлебушка им дай, а людей не нанимай!

— Прям стишок получился, — сострил Макар.

— А ты чего лоботрясничаешь?! — вконец обозлился Емельян Спиридоныч. — Куда выпялился?!

Макар струсил.

— В карты пойду поиграю. А чего делать-то? Коней перековал...

— Бороны надо чинить!

— Там очередь... Не дошло. А Федя еще косится на нас...

Емельян Спиридоныч отвернулся к стенке, сказал с сердцем сам себе: — Я им покошусь! Обормоты...

Макар поскорее вышмыгнул из избы; плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку: он всегда тяжко хворал с похмелья и ненавидел весь свет.

Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму.

— Неправильно делаешь, дядя Вася, — с ходу заявил Кузьма, останавливаясь.

Платоныч двинулся в переулок, к следующему дому.

— Пошли. Что неправильно?

— Форменные богачи, а ты на них с карандашиком... Напугал кого! Вообще надоело мне возиться с этой школой. Нас для чего послали?

— Иди ближе и не кричи так. Слушай меня. Неправильно делаешь ты, а не я. Помню, для чего послали. Но только напрасно ты думаешь, что к дуракам послали, — обогнули с разных сторон большую лужу, сошлись снова. — Вся деревня у нас вот где должна быть, — Платоныч протянул руку ладонью кверху. Она была маленькая, ладонь, сморщенная. — Всех надо вот так видеть. И знать. И блох не ловить — главное. А от школы я не отступлюсь. Не они, так дети ихние спасибо скажут. Так, Кузьма. Будь умнее. Не торопись.

Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор.

Емельян Спиридоныч только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном, пил с передышками квас. Блаженно кряхтел.

Егор вошел с улицы — полушубок нараспашку. Не снимая шапки, сразу начал:

— Тять, хочу жениться.

— Хм. Кого хочешь брать?

— Марью... Попову.

Емельян Спиридоныч отставил ковш. Даже не захотел повысить голос.

— Ты што, смеешься надо мной?

— Не смеюсь. Люблю девку.

— Иди кобылу мою полюби. Здоровый балда, а умишка ни на грош. Больше не подходи ко мне с таким разговором.

— Тогда сам пойду сватать, — решил Егор. — Со мной не будет, как с Кондратом, — он, не поворачиваясь, стал отходить к двери. И хоть он и ждал этого, едва успел увернуться: ковш, брызгая во все стороны квасом, пролетел около его головы, ударился о косяк и, звякая, покатился по полу.

— Собака! Научились с отцом разговаривать!! — послал Емельян Спиридоныч громовым голосом вслед сыну.

Егор вылетел из сеней, вытирая рукавом лицо — квасом попало. Навстречу на крыльцо поднимался Макар.

— Ломанул чем-нибудь? — спросил он, улыбаясь. Егор загородил ему дорогу:

— Пошли со мной.

— Куда?

— К Поповым. Сватать.

Сросшиеся смоляные брови Макара поползли вверх.

— Он што... согласный?

— Согласный. Пойдем самогону достанем...

Егор развернул брата и, не давая ему опомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел: не верилось.

— А чего ты такой выскочил?

— Эта... Я потом расскажу. Пойдем.

— Врешь, — понял Макар и остановился. — Ты чего надумал?

— Выручи, Макар, пошли. Высватаем, приведу в дом — не выгонит. Побоится позора. А выгонит — хрен с ним. Но все равно будет по-моему.

Макар думал. Такое сватовство лично ему могло выйти боком. Но очень хотелось досадить отцу. В душе он был согласен с Егором. Вскинул голову, озорно сверкнул глазом.

— Пошли.

Купили в одном известном им доме три бутылки самогону и направились к Поповым. Первым — Макар. Азартная, ярая душа его разыгралась не на шутку. Его уже нельзя было остановить. Вздумай сейчас Егор удариться на попятную — он пошел бы сватать один. За себя.

— Замесили дельце! — потирал он, довольный, руки.

Огня у Поповых еще не было. Макар впотьмах налетел на табуретку. — Дядя Сергей!

— Оу!

— Где ты тут? Запаляй огонь — гости пришли! — распоряжался Макар.

Марья зажгла лампу и, когда увидела у порога серьезного, собранного Егора и сияющего Макара посреди избы, вспыхнула горячим, предательским румянцем. Сергей Федорыч понял позже.

— Вам чего, ребяты?..

— Нам-то?.. — Макар, к немалому удивлению хозяина, быстро разделся, прошел к столу. За ним так же быстро и решительно смахнул с плеч полушубок Егор. — Нам для начала капустки. Есть? А потом потолкуем, — Макар значительно посмотрел на Марью. Она не знала, куда девать свои ясные, посчастливевшие глаза.

Сергей Федорыч понял наконец. Приосанился. Первый раз, за первую дочь пришли свататься. Теперь — не ударить лицом в грязь.

— Вон вы какие гости-то! — сказал он, как бы решая для себя: не выставить ли сразу таких гостей?

Но долго не смог притворяться.

— Марья, неси капусту, — сел к столу. Потрогал маленькой высохшей рукой бутылку. — Запотела, сволочь.

Макар достал из кармана большой шмат сала (заходил по дороге к брату Ефиму), сдул с шершавой корочки табак, шлепнул на стол.

Ребятишки внимательно смотрели на них с печки.

Сергей Федорыч отхватил ножом хороший кусок, бросил им.

— Только с хлебом ешьте.

Марья принесла в чашке капусту. Поставила на стол и отошла в сторонку.

— Та-ак. А сам Емельян Спиридоныч к бедным не ходит сватать? — спросил Сергей Федорыч.

— Ему некогда, — ответил Макар.

Хитрый Ефим зачуял недоброе.

Отрезая Макару сало, невзначай спросил:

— Зачем тебе сало-то?

— Выпьем тут с дружками.

Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное дело, То ли драку или чего похуже.

Проводил Макара, собрался — и ходом к отцу.

С порога спросил:

— Где ребята?

— Не знаю. А што?

— Приходил сейчас Макар ко мне, попросил сала. А у самого карманы оттопырены, — по-видимому, бутылки с самогоном. Не затеяли они чего?

Емельян Спиридоныч, набрякая темной кровью, спросил:

— Егорка был с ним?

— Был, Только тот не заходил, а на улице дожидался. Но пошли вместе.

Емельян Спиридоныч вскочил с места, тяжело забегал по избе.

— Ах, подлецы! Сукины дети!.. Ведь они сватать Маньку пошли! Ну-ка... где мои сапоги?! — наливаясь гневом, заорал он. Сам увидел их у порога.С трудом натаскивая прямо на голую ногу, тихо и страшно гудел: — Головы пооткручиваю паразитам... Месиво пойду сделаю!

— Чью Маньку-то?

— Попову.

Ефим даже ахнул: голь перекатная!

— Макар, што ли?

— Егорка... Гад сумеречный! Пошли.

Сергей Федорыч быстро захмелел. Обхватил маленькую косматую головенку тихо, с тоской запел:

Эх ты, воля, моя воля!..

Оборвал песню. Из-под пальцев на стол быстро-быстро закапали слезы.

— Старуха моя... Степанидушка... Не дожила ты до этого дня. А хотела она...

Егор стиснул зубы и пошевелился, чтобы унять дрожь.

— Тять, зачем ты об этом? Не надо, — попросила Марья.

Макар сохранял деловое настроение.

— Так что, Федорыч?.. Отдаешь за нас Марью?

Сергей Федорыч помолчал и вдруг громко сказал:

— Нехорошие вы люди, Макар! И Егор... тоже ж — Любавин. Корни-то одни. Не хотел бы я с вами родниться, но... пускай. Видно, чему быть, того не миновать.

Макар слегка опешил от такого ответа. Завозился на месте, Егор хмуро и трезво смотрел на пьяненького Сергея Федорыча. А тот помолчал и опять повторил упрямо:

— Плохие вы люди, Егор. Потёмые.

— Тятя!.. — встряла было Марья.

— Ты молчи! — приказал отец. — Ты ничего еще не понимаешь...

Ефим осторожно подкрался к маленькому, низкому окну. Заглянул с краешка.

— Здесь. За столом сидят.

Слабенькая, легкая дверь с треском расхлобыстнулась от пинка... Как чудище, страшное и невозможное, вырос Емельян Спиридоныч в тесной избушке. Как гром с ясного неба грянул.

— Марш отсюда!

Первым опомнился Макар. Встал. Не знал, что делать: вылетать сразу или немного поартачиться?

Егор сделался белым, сидел, стиснув в руке граненый стакан с самогоном. Не шевелился.

— Я кому сказал! — рявкнул Емельян Спиридоныч.

В тишине, мучительной и напряженной, тоненько звякнул лопнувший стакан в руке Егора.

Макар двинулся к выходу.

Егор сунул окровавленную руку в карман... Тоже поднялся.

Медленно одевались. Слышно было, как со стола мягко и дробно каплет разлитый самогон.

Сергей Федорыч забыл закрыть рот — смотрел на Любавиных.

Последним на улицу вышел Емельян Спиридоныч. Догнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову сшиб его с ног. Тот вскочил было сгоряча, но Емельян Спиридоныч еще раз достал его. Егор упал навзничь. Отец прыгнул на него, начал топтать ногами.

Оба молчали. Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за руки, оттаскивая.

— Убьешь ведь. Убьешь, што ты делаешь? — дышал он в затылок отцу.

Тот легко отбросил его, рванулся опять к Егору. Егор хотел встать, скользил на кровяном снегу, не мог подняться. Емельян Спиридоныч опять кинулся на него, но в это мгновение страшная, резкая боль в голове заслонила от него свет, — никто не заметил, когда Макар выдернул из плет-

ня кол и тенью скользнул к отцу... Емельяна Спиридоныча шатнуло, он пошел было задом на посадку, но устоял, закрутил очугуневшей головой, заревел, как недорезанный бык, и двинулся на сыновей.

— Поднимайся, Егор, скорей! — сдавленным голосом торопил Макар, заслоняя его от отца.

Емельян Спиридоныч шел напролом, ничего не желая видеть — никакой опасности. Колышек тихо прошумел... Хрястнул, сломившись. Емельяна Спиридоныча опять качнуло...

Егор поднялся, побежал к плетню, Макар — за ним, думая, что он убегает совсем. Егор ухватился за кол, легко, как спичку, сломил его.

— Не бежи, Макар!

Макар вернулся. Только вывернул себе другой кол — побольше.

Ефим тоже не дремал: ему подвернулось под руку коромысло... Он переломил его, сунул половинку отцу.

Дышали тяжело, с хрипом. Удары звучали мягко и глухо. Молодые действовали дружно, напористо; под их натиском Емельян Спиридоныч с Ефимом отступали все дальше в глубь ограды.

Макар вьюном крутился меж кольев, часто доставал своим то отца, то брата Ефима.

Егору попадало чаще, но зато его удары были крепче; он все подбирался к отцу... И один раз, изловчившись, угодил ему в лоб. Емельян Спиридоныч глубоко вздохнул, выронил кол и, зажав лицо руками, пошел прочь. Макар последним ударом сзади свалил его с ног. Кинулся к Ефиму... Тот отпрыгнул в сторону и, бестолково размахивая половинкой коромысла, заорал:

— Караул!

Из сеней выскочил Сергей Федорыч. Грянул ружейный выстрел.

— Разойди-ись! Постреляю всех! — завизжал он, клацая затвором берданки.

— Егор... уходим, — Макар побежал из ограды. Егор, прихрамывая, — за ним.

За воротами Макар развернулся и запустил свой кол в Сергея Федорыча.

— Постреляешь у меня!.. Хрен моржовый! Дай-ка твой — я им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не быть.

В этот момент гулко треснул и широко в ночь раскатился еще один выстрел берданки; где-то вверху просвистело.

— Пошли, ну их...

— А куда? — Макар высморкался сукровицей в рваный подол рубахи.

— К дяде Игнату пока... А там поглядим.

— Зайдем тогда коней прихватим? Неизвестно, сколько придется бегать.

Егор согласился.

— Не торопись только. Плохо мне.

12

У Игната шел пир горой. Дым, гвалт, обрывки песен, крученый мат... Где-то в углу, невидимая, из последних сил, отчаянно хлопая мехами, взвизгивала гармонь.

Какой-то детина с покатыми плечами в косую сажень во что бы то ни стало хотел пройтись вприсядку. Но его каждый раз вело с ног; он падал, с трудом молча поднимался и, распрямившись во весь свой огромный рост, жеманно подбоченивался, точно по-бабьи вскрикивал: «Ух ты-и!..» — приседал с маху и... заваливался на спину.

За столом, в центре, сидел Закревский. Улыбался, трепал кого-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам... Он первый увидел незнакомых. Остановил на них мутный, подозрительный взор:

— Кто такие?

Макар, не отвечая, презрительно сощурился. Егор искал глазами Игната. Его почему-то не было среди этих людей.

Закревский легко поднялся с места, пошел к Макару. На ходу резко и трезво бросил кому-то:

— Вася, выйди на улицу, посмотри.

Макар сунул руку за пазуху.

— Кто такие? — еще раз спросил Закревский, заглядывая Макару в самую душу.

— Я не могу с тобой разговаривать: у тебя чижелый дух изо рта идет. Отойди маленько, — Макар легонько уперся стволом обреза в грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад. Тот метнул испуганный взгляд на Егора, опять на Макара, на дверь...

— Где дядя Игнат? — спросил Егор.

Закревский обмяк, улыбнулся, отвел от груди обрез.

— Черти драные... перепугали насмерть! Проходи! — он потянул Макара к столу — Вы Любавины? Отец послал? Золотой старик... Садись. Садись, другом будешь!

Макар спрятал обрез, оберегая избитые бока, втиснулся между пьяными. Никто больше не обращал на них внимания. Егор с трудом пробрался в горницу

Кондрат лежал на кровати с перевязанной головой.

— Ты зачем здесь?

— Так... В гости.

Кондрат приподнялся на локте:

— Дома что-нибудь?..

— Ничего дома... Лежи. Што это за народ здесь?

— Знакомые Игната. Извели меня вконец, паразиты... Вторые сутки пьют.

— А где дядя Игнат?

— В город уехал.

В горницу с бутылкой и стаканом в руках вошел Закревский.

— Вот они, голуби! Так... — он, ласково глядя на Егора, зазвякал горлышком бутылки об стакан, наполнил его с краями вровень, сунул под нос Егору. — Пей! За свободную жизнь... Мне нравится ваша порода.

Егор отвел в сторону стакан:

— Не хочу. Нездоровится.

— Не-ет, выпьешь... — Закревский силой стал совать в лицо Егору стакан. Водка плескалась на руки и на грудь им обоим.

Егор наотмашь вышиб из рук Закревского стакан.

— Пристал как банный лист...

— Вот вы какие! — с восхищением воскликнул Закревский. — Эх! — он трахнул бутылку об пол, качнулся, поворачиваясь. — Но вы не можете быть сильнее меня. Понимаешь?! Вася! — он пинком распахнул дверь горницы, из прихожей тугой волной ударил гул затяжной попойки. — Вася!

В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой русой бородой. Молодо и трезво поблескивал собачьими глазами на хозяина.

— Пригласи человека к столу, — Закревский показал на Егора.

— А он рази не хочет? — искренне изумился Вася.

— Он ждет особого приглашения.

Вася медленно подошел к Егору. Не успел тот сообразить, в чем дело, Вася сгреб его в охапку и так сдавил, что у Егора от боли глаза полезли на лоб. Вася отнес его к столу, бросил на лавку.

— Сядь тут.

Макар, увидев брата, потянулся к нему:

— Егор! Брательник мой хороший...

Но его кто-то перехватил, увлек в сторону. А Егору услужливо подставили стакан водки. Он выпил. Кто-то подставил еще стакан. Он выпил еще. Поднял глаза — подставлял стаканы все тот же Вася.

Закревский со стороны наблюдал за ними. После второго стакана он подсел к Егору, обнял тонкой рукой за шею.

— Правильно сделали, что пришли. Хочешь денег? Баб?.. А? — глаза Закревского блестели неподдельной радостью. — Чего хочешь — говори...

— Я?

— Ты.

— А ты?

— Я хочу дать свободу русскому характеру... Натворить побольше! Мы раскиснем к черту с такими властями. Согласен?

— Не знаю, — Егор снял жиденькую горячую руку со своей шеи. — Не лапай, я не баба.

— Пей еще! — потребовал Закревский.

— Давай.

Рядом громко орал Макар:

— Согласный! Все!.. — он засхал ковшом в гущу бутылок и стаканов. — Я такой жизни давно искал, гады милые!.. Душить будем!

Егор выпил третий стакан, кинул его куда-то в людей, нашел грудь Закревского, забрал в кулак тонкую белую рубашку, подтащил к себе:

— А я несогласный. Больше не говори мне разные слова... а то ударю.

Хлопала, хрипела и взвизгивала гармонь. Грохотали по полу сапоги, качались стены. Качались и плавали в глазах чужие люди...

На третьи сутки, в глухую полночь, Макар явился домой. Один. На тройке. И вел сзади еще пару своих лошадей, тех, которых они захватили с Егором, когда уходили из дома.

Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу — в новеньком полушубке, в папахе, красивый и смелый. Слегка покачивался.

— Здрасте!

В избе слабо мерцала керосиновая лампа. Не спали. Емельян Спиридоныч лежал на печке, весь обмотанный тряпками, злой и слабый (в той драке ему попало больше всех). Увидев сына, он поманил рукой жену.

— Сходи за Ефимом. Скорей, — шепнул Емельян Спиридоныч.

Макар услышал эти слова, прошел к столу, выложил на белую скатерть два нагана.

— Бесполезно, папаша: пришью на месте, — сел, закинул ногу на ногу. — Я подобру зашел. Сказать, что коней, которых взяли, отдаем обратно. Нас с Егором больше не ждите. На этом до свидания, — он собрал наганы, встал.

Емельян с яростью, беспомощно глядел на него с печки.

— Нашли себе дружков?

— Ага. Верные люди.

— Поддорожники, ворюги... Проклинаю вас обоих!

— Это неважно. Поправляйся, папашенька. Не сердись на нас. А здорово мы вас ухайдакали!..

Мать не выдержала, топнула ногой:

— Варнак ты окаянный! Отец он тебе или кто? Уходи с глаз моих долой!

Макар оглянулся на нее, ничего не сказал. Вышел.

13

Не мог ничего Кузьма объяснить дяде Васе ни вечером, ни после. Он сам ничего не понимал. Он все время чувствовал, что чем-то обязан Клавке, хотя, сколько ни искал в себе, не мог найти и понять, за какую радость он благодарен ей. Стыдно было смотреть на Клавдю, и он изо всех сил старался, чтобы она этого не заметила.

И вместе с этой неловкостью и тяжелой обязанностью, долгом — не обидеть человека, который непонятно зачем влез в его жизнь, вместе с тихой тоской и болью за какую-то непоправимую ошибку, вместе со всем этим в душе его упорно — днем и ночью — распускалась цветастая радость. Марья... Марья была недалеко. И он знал, что когда-нибудь он возьмет ее за руку и близко посмотрит в ее глаза. Знал,

ему не будет неловко и стыдно при ней, а будет очень, очень легко. Он ждал этого часа. И дождался...

Однажды утром, светлым весенним утром, Агафья, собирая на стол завтракать, между прочим рассказала, как вчера братья Любавины приходили сватать Марью Попову. После первых ее слов у Кузьмы вспотели ладони. Он оглох... Не слышал всего, только в конце стал понимать, что она рассказывает.

— ...те собрались — да за ними. Там драку учинили! Ухлестали друг друга до смерти.

— Как «до смерти»? — не понял Платоныч. Он внимательно слушал.

— Ну, как... Самого-то чуть живого домой привели. Помрет, говорят.

— Что делают! — воскликнул Платоныч. — А сыновья где?

— Убежали. У них не первый раз такое.

— Вот так сватовство! Ну и чем это кончится?

— Да ничем. Побегают-побегают и придут.

— Куда ж они могут убежать?

— В тайгу. Куда больше.

— Любавины их фамилия?

— Любавины. Макарка у них заводила-то. С малолетства с гирями ходит. Егор — тот вроде спокойнее...

— Все они там — один другого лучше. Дикари, — вставил Николай.

— Ну, а Ма... девушка что? — спросил Кузьма.

— Да што... Ничего. Обрадовалась было девка, да и осталась ни с чем. Ишо опозорили на всю деревню таким сватовством.

Кузьма вышел на улицу, зашел в сарай, сел на дровосеку — хотелось побыть одному.

Клавдя нашла его там.

— Все уж... испекся, — сказала она, остановившись над ним.

Кузьма не поднял головы, — как сидел, склонившись к коленям, так продолжал сидеть. Клавдя опустилась рядом, обняла.

— Горе ты мое, горюшко...

Уткнулась ему в грудь, затряслась в рыдании. И продолжала:

— За что я несчастная такая, господи!.. Как сердце чуяло! Я приведу ее тебе... Может, ты выдумал все, а? Милый

ты мой, длинненький! Я приведу, а сама погляжу: может, и нету у вас никакой любови? А правда — так черт с вами... Оставайтесь тогда. Неужели она лучше?

Кузьма подавленно молчал.

Клавдя сдержала слово, вечером пришла с Марьей.

Марья держалась просто, спокойно взглянула на Кузьму, поздоровалась.

Тому показалось, что табурет поехал из-под него... Он кивнул головой.

Девушки прошли в горницу. Дома никого больше не было (Платоныч ушел в гости к Феде Байкалову, они подружились за это время).

Кузьма поднялся, хотел уйти. Колени мелко и противно тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь горницы открылась... Именно этого мучительно ждал и боялся Кузьма — когда откроется дверь.

— Ты куда? — спросила Клавдя.

Кузьма промолчал.

— Зайди к нам.

Он пошел прямо в кожане, Клавдя подтолкнула его в спину.

Марья сидела у стола в синеньком ситцевом платье, под которым как-то не угадывалось тело ее. Кузьма стал перед ней; она снизу с детской, ясной улыбкой вопросительно глядела на него.

Клавдя остановилась позади Кузьмы; от ее взгляда — он чувствовал этот взгляд — он не мог ничего сказать.

Так стояли долго. Слышно было, как на завалинке шебаршат куры, разгребая сухую землю.

— Он любит тебя, Манька. Влюбился, — громко сказала Клавдя.

Марья вспыхнула вся, резко поднялась. Полные красивые губы ее задрожали — не то от обиды, не то от растерянности. Кузьме стало жалко ее.

— Правда, — сказал он. — Она правду говорит.

У Марьи сверкнули на глазах слезы. Она зажмурилась, качнула головой, стряхивая их.

— Вы что... зачем так?

— Ты у него спроси. Вчера меня целовал, а сегодня...

Кузьма твердо, спокойно, даже с каким-то удовольствием сказал:

— Врет она, Маша. Я не целовал ее. Она врет.

Клавдя прошла вперед, опустилась на колени перед божницей, размашисто перекрестилась.

— Истинный мой Христос. Гляди — крещусь.

— Честное слово, не было. Крестись. Не было — и все, — стоял на своем Кузьма.

Клавдя, не поднимаясь с колен, дотянулась до Марьи, обхватила ее ноги, прижалась лицом. Заплакала.

— Было, Манюшка, милая... Не отнимай его у меня, милая... Присохло к нему мое сердце... Изведусь я вся, господи! Руки на себя наложу!.. — она плакала страшно — навзрыд, как по покойнику. У Кузьмы по спине пошел мороз.

Марья насилу подняла ее, посадила на кровать и разревелась сама.

— Да я-то... я-то знать ничего не знаю. Зачем вы меня-то, господи?.. Отпустите вы меня отсюда...

Кузьма ничего не соображал, понимал только, что все это, наверно, скоро кончится. Он не слышал, как ушла Марья... Смотрел в окно. Очнулся, когда Клавдя тронула его. Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел выйти из горницы. Она загородила ему дорогу.

— Манька далеко уже. Не ходи.

— Я не за ней. Пусти.

Клавдя решительно тряхнула головой, вытерла рукавом заплаканные глаза.

— Пойдем вместе.

На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за собой к хозяйским постройкам.

— Куда ты?

— Не разговаривай.

Подошли к сеновалу. Клавдя втолкнула его в темную дверь. Шепотом приказала:

— Лезь.

Кузьма зашуршал сеном — полез наверх. Сзади карабкалась Клавдя.

Долезли до самого верха. Клавдя опрокинулась на спину. Нашла руку Кузьмы, потянула к себе.

Жаркий туман кинулся Кузьме в голову. Чтобы унять дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул воздух и перестал дышать... Потом громко, со стоном выдохнул.

— Ну что ты!.. А? — почти крикнула Клавдя.

Прижала его к себе, торопливо зашептала:

— Милый... Ну? Что ты?..

Потом закусила губу и замолчала.

. . . .

— Вот... Теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупой, — устало и спокойно сказала Клавдя.

Кузьма молчал. Смотрел через пролом в крыше на небо.

Красная опояска зари тускнела. Горячие краски ее поблекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. Ночь опускалась над степью и над селом. Большая тихая ночь.

14

Гринька Малюгин влопался — поймали в чужой конюшне.

Этот Гринька был отпетая голова.

Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки.

Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производителя, привел на росстань, где уже собрался народ (на пасху дело было), поплевал на руки, развернулся и хряпнул жеребца меж глаз. Рослый жеребец как стоял, так пал на передние ноги.

Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные вожжи, свил вчетверо, запер дверь и исполосовал Гриньку чуть не до смерти.

Когда Гринька отлежался и стал ходить (но еще не сидеть), он раздобыл ведерко керосину, облил ночью родительский дом, вокруг, по окладу и подпалил. А сам ушел в тайгу.

С тех пор где-то пропал.

Потом объявился: разъезжал на паре, грабил в дальних деревнях. Но в своей никого не трогал, хоть, случалось, наезжал ночами.

Один раз мужики накрыли его: пасечник Быстров донес.

Засадили Гриньку в тюрьму.

Вскоре, воспользовавшись заварухой семнадцатого года, когда не до него было, он сбежал, и ночью с двумя товарищами нагрянул к старику Быстрову.

Про эту историю рассказывали в деревне так.

...Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. А в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой.

Пасека была недалеко от деревни — на виду. А в деревне, с краю, жил сын Быстрова — Кирька.

И вот спит ночью Кирька, и снится ему такой сон: подошел к нему какой-то человек, взял за нос и говорит: «Спишь? Отца-то с матерью убивают». Вскочил Кирька сам не свой — на улицу. Смотрит, а в отцовском доме такой свет в окнах, какого по праздникам не бывало. И пес — цепной кобель у них был, Борзей звали — аж хрипом заходится, лает. Кирька схватил лом — и туда, как был — в подштанниках.

Прибежал, подкрался к окну, заглянул. Видит: сидят за столом трое — Гринька и его дружки. Гринька — посередке. Пьют. На столе всевозможная закуска, оружие ихнее лежит. Рядом ни живая ни мертвая стоит сестра Вера — прислуживает им. Отца с матерью не видно.

В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз кончилась медовуха. Гринька послал одного в погреб — нацедить из логуна свежей. Тот пошел... Кирька с ломом — к крыльцу. Встретил — и ломом его по голове. Тот вытянулся. Кирька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего товарища, не выдержали — поднялся еще один. Кирька опять к крыльцу. И второго уходил так же. И тут уж не выдержал сам — ворвался в дом, размахнулся ломом. А он возьми да зацепись за матку в потолке, лом-то — криво пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька — за наган, но не успел. Кинулся на него Кирька... Покатились вместе на пол. Гринька был здоровее — подмял Кирьку под себя и подтаскивает к столу — к нагану. Сестра догадалась, смахнула со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как вкопанная. А Гринька душит ее брата — тот посинел уж. Едва прохрипел сестре:

— Борзю...

Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес в три прыжка замахнул в избу и с ходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно... Вынес на себе раму и ушел.

— Где отец? — спрашивает Кирька.

Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол — ноги подкосились.

Кирька отдернул одеяло... Под ним лежат отец с матерью рядышком. Мертвые.

С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирька и с ним человек пять мужиков, искали его по тайге. Но разве

найдешь! Отлеживался Гринька, как медведь, в глухом месте.

Потом Кирька переехал с семейством жить в другую деревню, и это дело забылось.

И снова Гринька объявился; стали опять ходить слухи: ездит по деревням с товарищами, колупает мужичков побогаче. Поймать не могли.

И наконец Гринька попался... В своей же деревне, до обидного просто.

Лунной, хорошей ночью подломил конюшню Ефима Беспалова, выбрал пару жеребцов, взнуздал... И тут на пороге появился сам Ефим:

— Здорово, Гринька!

Гринька вскинул голову — на него в упор смотрят два ствола тульской переломки, с картечным зарядом... А чуть выше — внимательные глаза хозяина.

Гринька улыбнулся:

— Здорово, Ефим.

— Пойдем? — предложил Ефим.

Гринька постоял в раздумье.

— Не отпустишь?

— Нет.

— Заплачу́ хорошо...

— Нет, Гринька, не могу.

Гриньку посадили на ночь в пустую избу, шесть человек несли охрану. А утром стали судить своим способом. Дали в зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый конский бич; кто хотел, подходил и бил Гриньку.

Завелись с конца деревни... Шли медленно. Охотников ударить было много.

Гринька смотрел вниз... Поднимал голову, когда кто-нибудь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить. И распалял этим своим взглядом людей еще больше. Били что есть силы, старались угодить по лицу, чтоб не глядел так, сволочь такая!.. А он глядел. Когда было особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом снова вспыхивал его звериный, бессмысленный взгляд, не умоляющий о пощаде, а запоминающий.

К середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смот-

реть — все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими ручьями стекала на шею, под хомут.

Таким застали его Платоныч и Кузьма.

Платоныч задыхался, не мог бежать... Слабая грудь не выдерживала.

— Беги один, останови! — махнул он Кузьме.

Кузьма, отмеряя длинными ногами сажени, скоро догнал шествие.

— Прекратите! — звонким, срывающимся голосом крикнул он.

Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился. Даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно пояснил:

— Это у нас закон испокон веков — за конокрадство вот так судют.

Кузьма забежал спереди, вынул наган. Уже спокойнее сказал:

— Прекратите немедленно! Вы не по закону делаете. На это у нас есть суд.

Шествие сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще медленно двигалось на Кузьму. Он стоял посреди дороги — длинный, взволнованный и неуклонный. И не очень смешной — с наганом.

— Первого, кто его сейчас ударит, я арестую!

Гринька остановился. Мужики тоже остановились. Окружили Кузьму, доказывая свою правоту.

Подошел Платоныч. Коротко, авторитетно распорядился:

— Сними с него хомут и веди в сельсовет. А я объясню людям, что такое советский закон.

В сельсовете Кузьма вылил на голову Гриньке ведро воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал — до Платоныча.

Гринька, навалившись грудью на стол, сонно моргал маленькими усталыми глазами.

— Дай покурить... товарищ, — осипшим голосом, тихо попросил он.

Кузьма, стараясь не глядеть на него, свернул папироску, прикурил, вставил в опухшие, синие губы Гриньки. Тот прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулся и впервые глухо застонал.

— Мм... Только б живому остаться, — ремни буду вырезать из спин.

— За такие слова едва ли останешься, — сказал Кузьма.

Гринька глянул на него, сказал, как другу, доверительно:

— Всех до одного запомнил.

Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизара:

— Не видишь, что под носом делается, власть! А может, специально скрылся, чтобы не мешать?..

Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге.

— Вот он, красавец! Разрисовали они тебя! Не будешь чужое имущество трогать.

Гринька не удостоил председателя взглядом.

— Что с ним будем делать? — спросил Колокольников. (он в эти дни с удовольствием сложил с себя всякие полномочия. Люди из края. Присланные. С бумагами.)

— Помещение есть, где можно пока оставить?

— Есть кладовая...

— Посади туда. Поставь человека. Без нашего разрешения не трогать. Пошли, Кузьма.

Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч в сердцах воскликнул:

— А ты говоришь, зачем школа! Да тут на сто лет работы! — помолчал и тихонько добавил: — Это тебе Сибирь-матушка, не что-нибудь.

— Дядя Вась, — позвал Кузьма.

— Ну.

— Слушай, ведь Гринька наверняка знает про банду?

— Ну, допустим.

— Сделать допрос — скажет.

Платоныч невесело усмехнулся.

— Быстрый ты... но попробовать можно. Это ты дельно предложил. Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ...

Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал. Не расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть расстрелом? Дядя Вася вот только... Кузьма прислушался к его дыханию. Подумал о нем: «Все-таки он немного неправильно делает. Школа школой, но у нас же задание». И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя: «Елки зеленые!». Не вытерпел, толкнул Платоныча в бок.

— Мм? — Платоныч поднял голову — Что ты?
— Дядя Вась, выйдем на улицу.
— Зачем?
— Надо.
Старик поднялся. Накинули на плечи полушубки, осторожно вышли.
Ночь была темная, теплая. С крыши капало. В переулке два подвыпивших мужичка негромко тянули:

Оте-ец мой был природный пахарь,
И я рабо-отал вместе с ним...

— Ну, что такое?
— Давай сделаем так: дадим убежать Гриньке, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет. А?
Платоныч долго молчал.
— Хм. А если совсем убежит?
— Не убежит. Двое же нас.
— Ну, я бегун знаешь какой... Может, Федю пригласить?
— Конечно!
— Подумать надо, племяш. Это риск: убежит — мы в ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросим, а после решим, что делать. А пока пойдем поспим.
— Иди, я посижу немного.
Платоныч ушел в избу.
Кузьма сел на ступеньку. С новой силой накинулась вдруг тоска по Марье. Марья становилась все недоступнее. Уходила все дальше и дальше — как во сне. И звала за собой. Невозможно было привыкнуть к мысли, что никогда он уж не возьмет ее за руку, не посмотрит в глаза... Почему так бывает в жизни?

Гринька отошел за ночь. Рубцы на лице закоростились, подсохли. Смотрел веселее.
— Где твои товарищи? — сразу начал Платоныч.
Гринька насмешливо посмотрел на него.
— Я один работаю, дед.
— Зачем нужны были кони?
— Кони всегда нужны.
— Где ты до этого был?
— Далеко.
Из допроса, ясно, ничего не получалось.

Платоныч замолчал, стал закуривать. Кузьма строго смотрел на разбойника.

— Покурить можно? — спросил Гринька и пошевелил связанными руками.

— Дай ему, Кузьма.

— Я бы дал ему сейчас! — озлился Кузьма. — Нашелся тоже!.. Если по-человечески спрашивают, так надо отвечать!

Платоныч с удивлением посмотрел на племянника. А Гринька улыбнулся, показывая желтые редкие зубы.

— Ты сосунок еще. Не вам меня, конечно, допрашивать.

— Уведи его, — сказал Платоныч.

Гринька поднялся, пошел к двери.

— Что выручили вчера — спасибо.

— Иди, — Кузьма подтолкнул его в спину.

Когда дверь кладовой закрылась за Гринькой, он сказал оттуда:

— А что покурить не дали — нет вам от меня хорошего слова.

— Без курева посидишь, — отрезал Кузьма.

Вечереет. Краем леса, по грязной дороге идут Гринька и Кузьма. Гринька — впереди, Кузьма — сзади, в нескольких шагах.

В лесу пахнет смольем. А с другой стороны, с пашни, несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песня. И шумит-шумит за лесом река.

Гринька не торопится. Шагает вразвалку, поглядывает по сторонам. Руки его крепко связаны сзади ремнем.

— Как думаешь, сколько отвалют? — спрашивает он.

— Не знаю, — отвечает Кузьма. — Я не судья.

— Ты большевик? — опять спрашивает Гринька, немного помолчав.

— Не твое дело.

— Я большевиков уважаю, — серьезно говорит Гринька. — Здорово они Миколку-царя пужанули. А правду говорят, он еще в тюрьме сидит? — Гринька чуть замедлил шаг, оглянулся. — Вроде Ленин ваш не велит его трогать. Пять лет уж сидит.

— Кого не трогать?

— Миколку-царя.

— На том свете твой Миколка...

Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил:

Эх, ето было давно-о,
Лет пятнадцать наза-ад,
Вез я девушку трактом почтовы-ым...

— Замолчи! — приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накличет песней своих дружков.

Гринька тряхнул головой и запел громче:

Эх, круглолица, бела,
Д'ровно тополь стройна-а
И покрыта...

Кузьма подставил ему сзади ногу. Гринька упал лицом в грязь.

— Я кому сказал, замолчать?

Гринька перевернулся на спину, выплюнул изо рта грязь и, глядя снизу на Кузьму, жалостливо сморщился.

— Попался бы ты мне, дитятко, в темном месте, уж я б тебя приласкал...

— Вставай!

— Не хочу, — Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьму вызывающе. — Хочу отдохнуть малость.

Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой, серьезно сказал:

— Довести я тебя все равно доведу. Но уж там расскажу, так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут накинуть лишнего...

Это было похоже на правду. Гринька задумался.

— А песню дашь допеть?

— Только негромко.

Гринька поднялся, встряхнулся и пошел. Петь ему расхотелось.

Шли молча. Быстро темнело.

Кузьма напряженно всматривался вперед.

Прошли по гнилому мостику через широкий ручей, поднялись на взгорок — здесь дорога круто заворачивала в лес.

— Подожди, — сказал Кузьма, отошел к ближней сосне, сел. — Я переобуюсь.

Гринька остался стоять на дороге.

Когда Кузьма склонился к сапогу и начал его стаскивать, Гринька незаметно оглянулся, глотнул слюну. Кузьма заку-

сил губу, сморщился — сапог никак не снимался. Гринька в два прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удаляться в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, словно из-под земли выросли, появились Платоныч и Федя. Федя на секунду прислушался и побежал за Гринькой. Кузьма прыгал на одной ноге, натаскивая на ходу сапог, — за ним. Платоныч некоторое время бежал рядом, потом схватился за сердце и остановился.

— Все, ребята. Смотрите там...

Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. Гринька, одуревший от удачи, ломил напролом, без передышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться, в голове сделалось горячо, в глазах появились светлые круги. Федя тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно.

Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был недалеко — слышно было, как он трещал сучьями и отхаркивался.

Стали подходить к нему еще ближе.

Федя шел настолько неслышно, что Кузьма раза два терял его, прибавлял шагу и натыкался на его спину.

Гринька все шел и шел. Иногда останавливался послушать... Тогда останавливались и замирали Федя и Кузьма. Гринька шел снова. И снова шаг в шаг, затаив дыхание, шли Федя и Кузьма.

Опять Гринька остановился. Долго стоял, прислушиваясь, потом двинулся... почему-то назад. Федя лег на землю, тронул Кузьму — сделать так же. Кузьма лег. Гринька остановился в шагах четырех, выбрал на ощупь сосенку потоньше, стал перетирать об нее ремень.

Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колючее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко треснул сучок. Кузьма упал опять и, превозмогая боль, придавил что было силы это колючее животом.

Гринька замер. Стало тихо.

Колючее упрямо шевелилось под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет, — ждал он, покрываясь с головы до ног потом. — Сейчас...»

Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся за ремень. Зашелестела, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки.

Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо,

очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. «Ежик, — понял он наконец. — Дьяволенок такой!» Гринька кончил свою работу. Негромко засмеялся. Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый ремень.

— Эх вы... москалики! — сказал он и опять засмеялся — коротко, удовлетворенно. И пошел.

Федя поднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. Тот шагал теперь неторопко. Шорох веточек и потрескивание сучьев под ногами обозначали его путь. Вдруг его не стало слышно. Федя прошел несколько шагов, постоял и сел, привалившись спиной к широкой сосне. Усадил рядом Кузьму.

— Отдыхает, — шепнул он ему на ухо.

Кузьма долго, до боли в глазах, вглядывался в сумрак, но увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. Потом кто-то осторожно взял его за плечи и привалил к теплой сосне. В последний момент успел подумать: «Не заснуть бы, елки зеленые...».

И заснул. А когда проснулся, уже брезжил рассвет. Над ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом:

— Ушел Гринька-то. Ночью. Я думал, он отдыхать лег... Ушел.

Кузьма тряхнул головой, хотел принять это за сон и понял, что правда: Гринька ушел.

— Я найду его, — сказал Федя, не глядя на Кузьму. — Думаю, что он не с той бандой все-таки...

15

Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце.

В короткие минуты прояснения Егор видел все ту же желтую морду Закревского и чугунную челюсть Васи. «Что делается?» — пытался понять он, но потом все вокруг сворачивалось в свистящий круг, и Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась.

Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закревский и орал:

— Танцуй! Танцуй, корова!

Он был серый и злой. И кричал зло и тонко.

Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закревский знал, как все это должно быть, и его бесило, что девка не танцует на удивление его дружкам.

— Танцуй! — визжал Закревский.

Девка не танцевала. Плакала.

Закревский плюнул и похабно выругался.

— Азия! — горько воскликнул он, пряча наган в карман. — Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески!.. Убрать эту выдру!

Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу (этот человек был пьян меньше других, хоть пил, кажется, больше). Но Закревский строго прикрикнул:

— Вася!

Вася пустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины.

— Изюм!

Снова загалдели, заорали, засвистели... Все опять с грохотом провалилось в тартарары.

Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад — стоял такой густой запах перегорелой водки и блевотины, что у него закружилась голова.

На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах, точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа.

Игнатий поискал глазами Закревского, прошел в горницу.

Закревский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее — видна была узкая спина с крупными мослами хребта.

Кондрат с трудом приподнял голову с подушки:

— Приехал. Узнаешь дом-то?

Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на Закревского — как на покойника. Непонятно для чего сказал:

— У него отец генералом был.

— Пьет он тоже по-генеральски... Наших сосунов стравили, паскуды.

Игнатий поднял глаза:

— Кого?

— Макарку с Егором. Там лежат, — Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову. — Что они тут выделывали! Был бы здоровый, всех до одного подушил бы, как собак бешеных... Вот этого особенно, — он кивнул на Закревского.

Игнатий подошел к генеральскому сыну крепко тряхнул за плечо:

— Э-э!

Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия.

— Ты?

— Соображать можешь сейчас? Поговорить надо.

— А что такое? — Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону. Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Потирая ушибленное место, сказал: — Здорово мы... черт возьми! У тебя что-нибудь серьезное?

— Пошли на улицу.

Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху Игнатия, пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие.

Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Готовились уезжать.

В горницу вошел Егор. Присел на кровать к Кондрату.

— Дорвались до вольной жизни? — сердито спросил Кондрат.

Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол.

— Что дома-то наделали?

— С отцом подрались.

— Ну и что теперь?

— Что...

— С ними, что ли, поедете?

— Зачем? Я не поеду, — Егор похлопал себя по пустому карману. — Курево есть?

— Вон под подушкой. Надо домой ехать. Пахать скоро...

— Домой я тоже не пойду, — тихо, но твердо сказал Егор, слюнявя губами край газетки.

— Куда ж ты денешься?

— Найду.

— Здорово отца-то измолотили?

— Не знаю, — Егор затянулся самосадом, закрыл глаза.

Вошел Макар. Держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком:

— Достань в кармане два огурца.

Егор вытащил огурцы.

— Похмелимся. У меня во рту как воз вязьма свалили, — Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. — Может, тоже выпьешь?

— Вы домой поедете или нет? — строго спросил Кондрат. — Вы што, сдурели, что ли! Надо ж на пашню выезжать...

Макар выпил и закрутил головой:

— Ох, сильна, падлюка!

Егор тоже выпил и откусил половинку огурца.

Кондрат свирепо глядел на них.

— Домой? — переспросил Макар. — Домой я теперь долго не приду.

— Тьфу! — Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. — Дай бог поправиться — найду вас, оболмотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным. По три шкуры спущу с каждого.

— Бич два конца имеет, — без всякой угрозы сказал Макар.

— Увидишь тогда, сколько!.. Ты у меня враз шелковым станешь, погань ты! — Кондрат приподнял голову. Коричневые, с зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся.

Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся.

— Последние минуты? Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят.

— Я никуда не поеду, — сказал Егор.

Закревский не удивился.

— А ты? — повернулся он к Макару.

— Еду.

— Макар! — снова приподнялся Кондрат. — Последний раз говорю!

— А что он такое говорит? — спросил Закревский у Макара. — Мм?

— Ты... гад ползучий! — крикнул Кондрат. — Я счас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги.

У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку.

Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган.

Закревский растерянно и нервно провел несколько раз ладонью по лицу.

— Что вы?.. — оглянулся.

Макар стоял у двери, прищурившись.

— Дай, — потянулся Закревский за наганом. — Черт с вами... сволочи. Дай.

— Пойдем, на улице отдам.

— Ты едешь со мной?

— Еду.

— Сволочи, — еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись.

Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется, войдет Макар и скажет: «Раздумал».

Вместо Макара вошел Игнатий.

— Макарка поехал с ними, — тихо сказал Кондрат. — Удержи... а?

Игнатий махнул рукой:

— Пусть сломит где-нибудь голову. Мне об своей подумать некогда.

16

Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону.

— Федор! — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел.

Федя остановился.

— Возьми! — Кузьма показал наган.

Федя махнул рукой: «Нет» — и продолжал свой путь.

Напрямик, через лес, без дороги, вышел он к Баклани-реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сиденья, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки... Перепрыгивал через ручьи и колоды.

К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко, слоями, растягивался по поляне.

Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку.

Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми, подслеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал:

— Никак Федор?

— Он. Здорово, отец.

— За утятами?

— Не совсем... По делу шел, завернул обогреться.

— Правильно, — одобрил старик. — Садись. Сейчас щерба будет.

Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, ни летом. В переднем углу висела большая икона божьей матери.

Этот старик, Соснин Михей (Михеюшка, как его называли в деревне), был из Баклани. Жил у вдовой дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест... Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке. Кормили его охотники, и раза два в месяц приходила дочь, приносила харчишек. Иногда, в хорошую погоду, сам добывал в реке рыбку. В деревню не собирался возвращаться.

— Шел бы домой, чего заартачился-то? Живут же другие старики... Что они, хуже тебя, что ли? — говорила дочь в сердцах.

— Пускай живут, — покорно отвечал Михеюшка. — Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу.

— Как здоровьишко, отец? — спросил его Федор.

— Хорошо, бог милует.

— К тебе седня никто не заходил?

— Нет, никого не было.

— Я посижу у тебя тут до ночи.

— Сиди, мне што. Дочь моя не померла там?

— Не слышал.

— Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь — скажи ей.

— Скажу.

До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал в кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни.

Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нонешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна.

Перед дверцей камелька, на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке, по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Ворочался и вздыхал в углу Михеюшка, сухо трещал сверчок.

Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил.

Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи, перестал дышать, глядя на окно... Ему показалось — или он в самом деле увидел? — что в окно, в нижнюю клеточку кто-то заглянул. Несколько минут было тихо. Потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно, с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, так же медленно закрыл за собой дверь, стоял не двигаясь.

— Это ты, Гринька? — спросил Федя.

Вошедший громко сглотнул слюну. Спросил:

— Кто это?

— Проходи. Я тебя давно жду, — Федя подошел к двери, захлопнул ее плотнее.

— Что-то не узнаю...

Федя выбрал около камелька лучину потолще, зажег, поднял над головой.

— Федя?! — Гринька с минуту заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озябшие руки. — А чего... почему, говоришь, ждал меня?

— Так я же... — Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом, — я ж за тобой пришел.

Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю. Растерянно и жалко сморщился.

— Там есть кто-нибудь? — спросил он, кивнув на дверь.

— Есть. В кустах сидят с ружьями, — Федя гыкнул и стал подыматься с чурбака.

Гринька тихо попросил:

— Погоди. Дай хоть отогреюсь маленько... окоченел весь. Ночи холодные еще.

Федя присел на корточки рядом с Гринькой, подкинул в камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, громко загудел в печурке.

— Разыскала беда... пошло косяком, — вздохнул Гринька. — Попадаюсь, как дите.

Федя смотрел на огонь.

Гринька тоже замолчал: с удовольствием отогревался. На запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня.

— Ты теперь сыщиком работаешь? — не без горечи спросил Гринька.

— Нет, — добродушно откликнулся Федя. — Помочь надо хорошим людям. Да и ты погулял, Гринька. Хватит, однако. Сколько уж? Годов восемь? До переворота ведь ишо...

— А чего... эти не заходют? — спросил Гринька и опять кивнул головой на дверь.

Федя тоже посмотрел в ту сторону.

— Там нету никого.

— Ну? — Гринька оживился. — Ты один?

— Ага.

— А если убегу?

— Не убежишь, — Федя подбросил в печурку. — От меня не убежишь.

Гринька оглядел гигантскую фигуру Феди, цокнул языком:

— М-дэ-э... Не та уж у меня силушка, верно. Утром пойдем?

— Можно утром.

Надолго замолчали. Потом Гринька скромно кашлянул в кулак и начал издалека:

— Ты говоришь — погулял... — он прищурился, почесал около уха. — В том-то и загвоздка, что не погулял. Только собрался — и вот... не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо, с треском!

Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. Федя не заинтересовался.

— Да-а, — вздохнул Гринька, — обидно. Всю жизнь копил — и так в земле все останется... — он опять посмотрел на Федю.

Тот как будто не слышал.

Гринька нетерпеливо пошевелился и продолжал:

— Золота у меня с пудик припасено. В земле зарыто. Жалко — пропадет.

Федя покосился на него.

Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога:

— Пойдем выроем? Половину возьмешь себе, половину — мне. А? И я уйду из этих краев насовсем, от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?

— Нет, Гринька, — Федя покачал головой.

— Зря, — искренне огорчился Гринька. — Как был ты дураком, Федя, так дураком и помрешь.

— От дурака слышу, — ответил Федя. — Я честно работаю, а ты разбойник.

— Он работает! — Гринька сердито плюнул в огонь. — Конь тоже работает. Только пользы ему от этого нету, коню-то.

— Сморозил, однако. Мне есть польза.

Гринька неискренне, зло засмеялся.

— Как хочешь, Федор, но таких... уж совсем дураков... я еще не видывал. Как тебя земля держит?

— Ничего, держит, — не обиделся Федя.

— Тебе, наверно, наговорили: что вот, мол, Федя, работай, а мы тебя похвалим за это! А сами они небось ходют себе ручки в галифе. Видел я их в городе, когда в тюрьме был. Насмотрелся.

— Врешь ты все, — устало сказал Федя.

— Я ему одно — он другое. Ну и черт с тобой, колода сырая! Ему же добра желают, а он брыкается. Што тебе это золото, помешает?

— Оно ворованное.

— Какое оно ворованное! Это мне товарищ один отдал. «Возьми, — говорит, — Гринька, потому что ты хороший человек и верный товарищ».

— Товарищ подарил... А потом ты куда этого товарища? В Баклань спустил?

— Тьфу! — Гринька опять сплюнул в огонь. — Дай закурить. С тобой разговаривать — надо сперва барана сожрать.

Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал, зажег новую лучину.

— Пойдем выкопаем золото? — как бы в последний раз спросил Гринька.

— Нет. И тебя не пушшу, даже не думай про это.

— Кхм... Ну сделаем тогда так: не хочешь отпускать — не надо. Но пойдем выкопаем золото. Половину я с тобой вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. Можешь отдать его кому хошь — хоть посмеются над тобой. Таких лопоухих любют. Но меня совесть заест, если я это золото в земле оставлю. Понимаешь? Вернусь я теперь не скоро... Еще не знаю, вернусь ли. Ну? Теперь-то чего думаешь?

— Далеко это?

— Версты полторы отсюда.

Федя долго молчал.

— Утром сходим.

— В том-то и дело, што утром нельзя, — могут увидать.

— А кому ты хошь половину отнести?

— Одним моим знакомым... Я потом скажу тебе.

Федя задумался.

Гринька с надеждой смотрел на него.

— Пойдем, — решился Федя.

Гринька крепко хлопнул его по плечу.

— Люблю я тебя, Федор, сам не знаю за што. Прямо вся кровь закипела, когда тебя увидал!

...Шли друг за другом. Гринька — впереди, Федя — сзади. Федя нес на плече лопату.

Прошли с километр.

— Счас... скоро, — сказал таинственно Гринька.

Подошли к какой-то горе, очертания которой смутно и сказочно-страшно вырисовывались на черном небе.

Гринька долго кружил около этой горы, отсчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос. Подошли к большому камню-валуну, прислоненному к горе...

— Помоги, — велел Гринька.

Налегли на камень, он сдвинулся.

— Постой здесь. Я счас...

И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях, не успел вообще подумать о чем-либо, Гринька исчез в дыре, которую закрывал камень.

Федя, склонившись над ней, ждал.

— Ну чо? — спросил он.

Никто не ответил.

— Гринька! — позвал Федя.

Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошел в глубь ее, держа спичку над головой.

— Гринька-а, гад!

Сырые гулкие стены, словно издеваясь, ответили: «...ад-ад-ад...». Пещера разветвлялась вправо и влево. Федя остановился.

— Гринька, кикимора болотная!

И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно: «...ая-ая-я-я-я!..».

Федя наугад свернул вправо, прошел шагов десять и вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство. Ударил себя по лбу и пошагал прочь.

Утром в избушку пришел Егор.

— Здорово, Михеич!

Старик долго рассматривал парня.

— Что-то не узнаю... Чей будешь?

— Любавин.

— Емельян Спиридоныча?

— Ага.

— Молодые... Не упомнишь всех. За утями?

— Ага. Поживу тут у тебя недельку-другую, — Егор снял с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на нарах.

Михеюшка несказанно обрадовался:

— Правильно! Правильно, сынок. Дело молодое, только и позоревать на бережку. Я вот те расскажу, как мы раньше охотничали...

Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянув ноги к камельку.

— Ну, как вы раньше охотничали?

— Сича-ас, — весело засуетился Михеюшка. Наскоро подкинул в камелек, свернул «косушку» и, устроившись получше на чурбаке, начал: — Это ведь когда было-то! До японской! Соберемся, бывало, человек пять-шесть ребят, наладим, братец ты мой... Тебя как зовут, я не спросил?

Ответа не последовало — Егор крепко спал.

Михеич не огорчился.

— Уморился. Молодые... знамо дело. Дэ-э... — он поправил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать

себе: — Соберемся мы это впятером, дружки... А здоровые какие все были! Эх ты, господи, господи!.. Прошла жись. Вроде сон какой, — он замолчал, задумался.

17

Платоныч с Кузьмой припозднились в сельсовете. Платоныч выписывал из разных книг себе в тетрадку все крестьянские хозяйства в деревне (приезжал из района товарищ, и они долго беседовали о чем-то в сельсовете. После этого Платоныч и занялся списком).

Кузьма сидел рядом с ним, смазывал ружейным маслом наган.

Шипела и потрескивала на столе семилинейная лампа, поскрипывало перо Платоныча — он работал с увлечением (сказал, что попросили помочь в одном деле).

— Дядя Вася...

— Ну.

— Как ты вообще думаешь... не пора мне жениться?

Платоныч поднял голову, некоторое время смотрел на племянника. Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью и без того сияющий ствол нагана.

Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять склонился к тетрадке, но писать перестал.

— Ты серьезно, что ли?

— Конечно.

Платоныч опять посмотрел на Кузьму.

— Я думаю — еще не пора.

— Почему?

— Ты здесь, что ли, жениться-то хочешь, я никак не пойму?

— Здесь, — Кузьма впервые посмотрел ему в глаза.

— На Клавде?

— Нет.

— А на ком же?

— Ну... Нет, ты вообще-то как... твердо знаешь, что нет?

— Твердо.

— Чего же тогда говорить...

Кузьма кхакнул, поднялся с места, прошел к порогу. Там остановился, посмотрел на Платоныча. Встретил его внимательный взгляд.

— Чудной ты парень, Кузьма. Что это, шуточки тебе — жениться? Приехал, чуть пожил — и сразу... Здорово живешь! А потом куда?

— Что «куда»?

— Ну, куда с женой-то?

— Куда сам, туда и она. Вместе.

— Пошел ты! — рассердился Платоныч. — Рассуждаешь, как... Даже злость берет.

— Значит, не поможешь мне в этом деле?

— Хватит, ну тя к чертям! Ты просто ополоумел, Кузьма!

— Чего ты кричишь?

— Как же мне не кричать, скажи на милость? Ты ж сам говорил мне, чтобы я не забывал, зачем нас сюда послали. А теперь что получается? Сам и забыл.

— Я помню.

— Так о чем разговор?! Ты соображаешь хоть немного?! Его послали вон на какое дело, а он... Чтоб я больше не слышал этого!

— Да ты не кричи. Я же спокойно...

— Он спокойно!.. А я не могу спокойно, когда человек глупые слова на ветер бросает.

— Какой ты оказался...

Платоныч тихо спросил:

— Какой?

Кузьма прошелся от порога к столу и обратно.

— Не сердись, дядя Вася. Но чего ты, например, испугался? Ведь я сам могу за себя ответить.

— Вот и отвечай.

Платоныч заставил себя работать, но долго не мог писать. Отодвинул тетрадь, устало потер пальцами седые виски.

— Помог бы лучше опись вот составить. Председательская работа вообще-то. А этот Колокольников в рот богатеям заглядывает. Такого понапишет, что Федор с Яшей зажиточными окажутся.

Кузьма ходил по комнате, курил.

— Чья девка-то? — неожиданно спросил Платоныч.

— Попова. Помнишь, мы были... где детишек много.

— Ну... и влюбился?

— Не знаю... Хожу, света белого не вижу. Вся голова как в огне.

— Ты гляди, что делается! Когда ты успел-то? — изумился Платоныч.

Кузьма взъерошил пятерней короткие волосы, сказал недовольно:

— Сразу.

— М-дэ... — Платоныч встал, начал одеваться. — Не знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь: вот, мол, старый хрыч, ничего не понимает. А я понимаю. Будь это в другое время — на здоровье. А тут... даже перед крестьянством как-то неловко, понимаешь? Не успели приехать — бах-тарарах, свадьба! Подумают, что мы в каждой деревне так. Ты подожди малость. Это никуда не уйдет, поверь мне, племяш.

— Не поможешь?

Платоныч сердито сунул тетрадку в карман, первый направился из комнаты.

— Гаси лампу, пойдем спать.

На другой день Кузьма вскочил чуть свет, хозяева и Платоныч еще спали. Осторожно оделся, умылся на улице и пошел к Феде.

— Только сейчас вышел, — сказала Хавронья. — Вот по этой улице иди — догонишь его.

...Федя шагал серединой дороги. Руки в карманах, не спеша, вразвалку — тяжело и крепко. Когда его хотели обидеть, его называли «земледав». Но обидеть Федю было так же трудно, как трудно было свалить на землю это огромное тело.

Кузьма догнал его, поздоровался за руку. Сказал:

— Хороший день будет.

— Выезжают пахать, — Федя показал следы плугов на дороге.

— Да.

Федя через плечо сверху посмотрел на Кузьму.

— Ты не горюй шибко, Гриньку я вам добуду. Вот маленько управлюсь с работой... Я знаю, где его надо искать.

Кузьма кивнул головой, достал жестяной портсигар, щелкнул ногтем по крышке и снова положил в карман.

— Понимаешь, какое дело, Федор... Гринька этот... черт с ним. Найдем, конечно. Тут у меня сейчас другое дело, — Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся зачем-то кругом. Посмотрел в глаза Феде и сказал просто: — Пойдем со мной жениться.

Глаза Феди округлились.

— Не жениться, то есть сватать, — поправился Кузьма. — Я один что-то трушу.

— Ха! — Федя остановился. — А к кому?

— К Поповым.

— К Сергею?

— Да.

— Пошли, — Федя решительно двинулся вперед, по его лицу было видно, что он одобряет выбор Кузьмы. — Постой, — он опять остановился. — А бутылку-то надо или нет?

— Не знаю.

— Возьмем на всякий случай. Потребуется — она у нас в кармане. Пошли ко мне.

Так же решительно направились в обратную сторону.

— Я люблю всякие свадьбы, — признался Федя. — Весело бывает.

— Федор, у меня денег-то нету.

— Пойдем. У меня тоже нету.

Хавронья встретилась им в ограде.

— Давай нам на бутылку, — сразу сказал Федя.

Хавронья показала обоим фигу:

— Нате вот, на закуску еще.

— Нам для дела, глупая, — терпеливо пояснил Федя.

— Для какого дела?

— Мы свататься идем. — Федя посмотрел на Кузьму. «Извини, конечно, иначе не даст», — говорил его взгляд. Кузьма согласно кивнул головой.

— Нету у меня денег, — отрезала Хавронья.

Федя долго смотрел на нее.

— Чего уставился-то? Правда, нету. Были бы — для такого дела дала бы, — денег у нее действительно не было.

Федя почесал затылок.

— Хм... Достань мне рубаху новую.

Хавронья вынесла рубаху синюю, с белыми горошинами; Федя тут же, в ограде, переоделся.

Хавронья сгорала от любопытства, но выдерживала необходимую паузу.

— Кого же сватать-то идете? — безразлично спросила она, скрестив на высокой груди полные руки.

— Секрет, — сказал Федя. подпоясываясь узким сыромятным ремешком.

Хавронья обидчиво поджала губы.

— Хоть бы уж молчал, пугало гороховое! Туда же... «Секрет»!

Федя пошел из ограды, Кузьма — за ним. Когда они были уже за воротами, Хавронья крикнула:

— У дружка твоего есть деньги-то! Они вчерась из города приехали! — ей все-таки хотелось, чтобы они нашли денег. Она бы тогда имела возможность рассказывать у колодца бабам: «Мой-то сватать пошел за этого, приезжего-то. Длинного. Все утро бегали — деньги доставали». За кого пошли сватать — это она надеялась узнать.

— А верно она про Яшку-то, — сказал Федя. — Я совсем забыл. Пошли к нему.

Яша дал денег, изъявил желание тоже идти сватать, но Федя отказал:

— Ты после на свадьбу придешь.

По дороге зашли к старухе-самогонщице, взяли бутылку самогону и направились к Поповым.

— Федор, разговаривать будешь ты.

— Конечно. Ты, главно... это... не волнуйся.

Но чем ближе подходили к поповской избе, тем больше Кузьма трусил.

— Пойдем потише, — попросил он.

— Ладно.

Оставалось каких-нибудь метров двадцать до избы.

— А как ты будешь говорить, Федор?

— Не знаю, — честно признался Федя. — Я ни разу не сватался.

— А как же ты женился?

— Так это ж просто у нас делается. Отец ходил. Я ее и не знал почти, Хавронью-то.

— Ну, уж ты как-нибудь... постарайся.

— Конечно! — Федя поплевал на ладонь, пригладил жесткие прямые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему, он тоже начал робеть.

Кузьма застегнул ворот гимнастерки, на ходу стер рукавом кожанки какое-то пятно на колене...

Перед самой дверью, когда Федя уже протянул руку к скобке, Кузьма остановил его. Сказал шепотом:

— Погоди... постоим немного.

Федя охотно отступил от двери.

— Ну пошли? Постучись сперва.

— Зачем?

— Так лучше...

Федя казанком указательного пальца неуверенно стукнул в дверь. Им никто не ответил. Федя постучал громче. Дверь открылась... На пороге стояла Марья.

— Здравствуйте. Проходите.

Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тот — Федю... Вошли вместе.

Сергея Федорыча дома не было. Ребятишек тоже не было — бегали на улице. У окна, на скамейке, в коричневой короткой шубейке и в цветастом платке сидела подружка Марьи, Нюрка, щелкала семечки.

Федя остановился у порога:

— А где отец?

— А они с кем-то за лесом уехали. Вот, — показала глазами на Кузьму и покраснела, — для школы ихней.

— А-а... — Федя тяжело сел на кровать, хлопнул ладонями себя по коленям. — Жалко.

Кузьма стоял у порога, пристально смотрел на подружку Марьи.

Марья перевела взгляд с Феди на Кузьму:

— А вы что хотели-то?

— Да он нам нужен по одному делу, — сказал Федя.

Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Федя давно бы заговорил о деле.

Федя потрогал бутылку в кармане. Встал.

— Ну, нет так нет, — он двинулся к двери, стараясь не глядеть на Кузьму.

Вышли. В ограде остановились.

— Не оказалось Сергея дома, — словно извиняясь, сказал Федя, озабоченно глядя вдоль улицы. — Надо же...

— Да, не повезло, называется, — согласился Кузьма. Он тоже смотрел в ту сторону.

Они как будто ждали, что Сергей Федорыч вот-вот подъедет.

— Зря мы вышли, — сказал вдруг Кузьма. — Пойдем обратно!

Федя растерянно посмотрел на него.

— Сейчас?

— А что? Попросим, чтобы эта... вышла.

— Как ты ее попросишь? Придется уж так... А может, вечером? Сергей приедет...

— Пойдем, Федор. Что-то со мной... черт ее знает, что делается. Трясет всего.

Опять Федя постучал в дверь и сам открыл ее. Вошел первым.

— Марья... — начал он решительно, но запнулся, посмотрел на цветастую, строго сказал ей: — Нюрка, выйди на улицу! Сидишь — прямо быдто вросла в эту скамейку.

Нюрка удивленно посмотрела на Марью, фыркнула и пошла на выход, значительно глядя на Кузьму.

Федя опять сел на кровать и опять хлопнул руками по коленям. Кузьма опустился на низкое припечье (острые коленки его оказались почти на уровне головы), сжал до отеков кулаки.

— Марья... Ты... это... замуж-то собираешься? — спросил Федя, пытаясь изобразить на лице нечто вроде улыбки.

Марья занялась румянцем во всю щеку. Смотрела в пол. Федя кашлянул и объявил — как гору с плеч свалил: — Он хочет взять тебя. Он хороший человек.

Марья вскинула голову, посмотрела на Кузьму, потом на Федю, сказала негромко:

— Нет.

Кузьма не шевельнулся. Только крепче сжал кулаки.

— Не хочешь, значит? — спросил Федя, нисколько не удивляясь. — Зря.

Наступила гнетущая тишина. Никто не знал, как выйти из этого положения.

— А пошто не хочешь? — спросил Федя.

Кузьма поднял на него умоляющие глаза, но Федя не заметил этого, он смотрел на Марью с упреком.

Марья качнула головой:

— Не хочу. Что вам еще?..

Кузьма встал. Федя тоже поднялся.

На этот раз Кузьма вышел первым.

На улице, вздохнув всей грудью, сказал Феде:

— Даже легче стало, ей-богу.

— А чего же... конечно, — «согласился» Федя. Ему не стало легче. Провал сватовства он относил только за свой счет. Он не верил, что Марья не хочет выходить замуж за Кузьму. Надо уметь сватать.

Пошли вместе. На перекрестке, прежде чем свернуть в кузницу, Федя замедлил шаг.

— Куда самогон теперь девать? — спросил он.

— А? — Кузьма тоже остановился. — Ты на работу?

— Ага.

— Пойдем, я тоже с тобой.

В кузнице уже шуровал молотобоец Гришка Шамшин, молодой парень с сильными, непомерно длинными руками.

Еще когда подходили к кузне, Кузьма, глядя себе под ноги, сказал Феде:

— Я выпить хочу, Федор.

— Сейчас выпьем, — понимающе откликнулся Федя. — Это надо.

Он усадил Кузьму на какой-то ящик, турнул Гришку домой:

— Бегом — огурцов и хлеба!

Гришка через пять минут явился с огурцами и хлебом.

Закрыли дверь на крюк, поддули горн, чтоб светлее было, сели в кружок.

Пили из большой медной кружки по очереди. Молчали. Думали.

После первой кружки у Кузьмы сделалось тепло в груди. Захотелось встать, взять кого-нибудь за грудки, глядя в глаза, в чьи-нибудь глаза, рассказать все... Он не знал, что это «все» и о чем рассказать, но начал бы он так: «Ты понимаешь? Понимаешь ты?.. Неужели вы ничего не понимаете?..»

— Что это вы такие хмурые? — спросил простодушный Гришка.

— У него горе, — серьезно сказал Федя.

Кузьма выпил еще полкружки самогона и теперь только понял, что у него — горе. Большое горе. Горе — это то, что едко и горячо подмывает под сердце. Оказывается, это горе. Кузьме стало все понятно.

— Да, горе, — сказал он и заплакал, уже больше не мог сдерживаться.

Плакал, уткнувшись лицом в ладони, горько, всхлипами. Плакал, качал головой.

Федя молчал. Серьезно смотрел на Кузьму и чувствовал, как этот длинный честный парень вместе со своим горем входит в его большую, емкую душу, становится понятным ему, становится другом. Могучий Федя испытывал острое желание как-нибудь помочь ему. Он не знал только, как помочь?

— Ты, может, уснешь? — спросил он.

— А? — Кузьма открыл лицо. — Что ты сказал?

— Уснуть бы надо...

— Ладно.

Постелили в углу сена. Кузьма лег и сразу уснул. Федя долго сидел около него, потом встал, махнул рукой Гришке — вышли на улицу и принялись разбирать косилку. В кузнице в этот день не стучали.

Домой Кузьма пришел ночью. Нарочно задержался у Феди, чтобы не встретить никого, особенно тяжело было бы видеть дядю Васю и Клавдю. Они, конечно, знали о его печальном сватовстве.

Не тут-то было.

Клавдя ждала его у ворот. Заслышав знакомые шаги, пошла навстречу.

— Здорово, Кузя, — она не кричала, не плакала, даже, кажется, не сердилась. Говорила спокойно, только голос чуть вздрагивал.

— Здорово, — Кузьма наершился, приготовился быть кратким, дерзким, грубым, если на то пойдет, — приготовился к бою.

Боя не последовало.

Клавдя взяла его под руку, повела в дом.

— Два часа дожидаюсь тебя... замерзла. Свататься ходил?

— Ходил.

— Не вышло?

— Ну и что?

— И не выйдет. Зря старался.

— Почему это?

Клавдя помолчала, крепче прижалась к Кузьме, тихо, счастливым голосом сказала:

— А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш... Я уже отцу с матерью сказала про все.

Кузьма остановился:

— Как это?

— Так. Ты чего удивляешься?

Кузьма не верил. Хоть не много он понимал в этих делах, но все же знал, что для такого заявления рановато.

— Врешь.

— Я и не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему не быть?

Она стояла близко — беззаботная, неподдельно счастливая. Улыбалась.

— Ну, что дальше?

— Все. Я не обижаюсь, что ты ходил... туда. Пошли в дом.

Платоныч тоже дожидался его, не спал.

Когда Кузьма лег, он накрыл его с головой одеялом и заговорил тихо:

— Ты что делаешь?

— Ходил сватать, — так же тихо ответил Кузьма.

— У тебя все дома?

— Все.

— Завтра я поговорю с тобой.

— Ладно.

— Что «ладно»? Что «ладно»? Прохвост! Правильно, что не пошла за такого.

Кузьма лежал, вытянув руки вдоль тела... Смотрел в черноту и там, в черноте, видел, как вспыхивают и медленно рассыпаются в искры красные огоньки. В груди было пусто. В голове воздвигались какие-то маленькие миры из синего неба, домов, полей, безликих людей... Воздвигались и рушились.

Кузьма смотрел прямо перед собой, вверх, и думал смутно: «Ну и что? Ничего!». А миры в голове воздвигались и рушились — быстро и безболезненно.

18

Через неделю после того, как Егор поселился в охотничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь.

Михеюшка рассказывал в это время Егору про «ранешных» разбойников. Это были разбойники! А што сичас?! Украл человек коня — разбойник. Проломил голову соседу — тоже разбойник. Да какие же они разбойники! Этак, прости господи, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты должен убивать купцов. Должна быть шайка, и атаман — обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть поболе...

— Купцов-то нету теперь, — вставил Егор, заинтересованный рассказом. — А эти... нэпманы, что ли, какие-то.

И тут вошла Ольга.

— Вот и дочь моя заявилась! — обрадовался Михеюшка.

— Заявилась! — огрызнулась Ольга. — Пятнадцать верст по такой грязи — черт не ходил...

— Сразу надо начинать с черта, — недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок. — Хлебушко есть, сальце, пирожки разные... все правильно. Чего долго не была?

Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гостя.

— Егорка ведь?.. Ты чего здесь?

Егор не ответил (как будто она сама не понимала, чего он здесь!), слез с нар, прикурил от выпавшей из камелька щепочки, сел на чурбак: он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома.

Ольга долго распутывала шаль и все ворчала, что это не погода, а наказание господнее (странное дело с этими бабами: когда им даже не очень нужно и даже совсем не нужно, они могут так легко, просто врать, будто имеют на это какое-то им одним известное право. Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная, — лето обещало быть хлебородным).

Раздевшись наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все недовольны: мол, ничего не делают, пятое-десятое...

— Интересно бы посмотреть на вас тогда...

Михеюшка отрезал кусочки сала и подолгу жевал их беззубым ртом, очень довольный.

— Што нового там? — не выдержал Егор.

— Где?

— В Баклани, где...

— Чего там нового?.. Отца твово видела, по улице шел. Слабый шибко. Идет — вроде улыбается, а самого, сердешного, ветром шатает...

У Егора под сердцем шевельнулась непрошеная жалость. Конечно, все не так, как расписывает эта шалаболка. «Отца ветром шатает»! Глупая баба! А все равно стало жалко отца.

Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать:

— А к Маньке-то новые сваты приходили. Пошла девка в гору с твоей руки...

— Кто?

— Городской парень этот... Как их называют, забыла уж...

— Полномоченный, — подсказал Михеюшка.

— Леший их знает. Ну, со стариком они приехали, школу еще хотят...

— Ну и што? — сердито оборвал Егор.

— Ну, и пришли... с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать! Смех один...

— Ну?

— Ну, самого-то Сергея Федорыча как раз дома не было. Она и говорит, Манька-то: вот, мол, приедет отец, тогда приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести.

Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца... Лицо горело.

— Ах ты... паразитство! Гадость! — он несколько раз подряд негромко выругался.

Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше.

Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку.

— А Макар-то тоже здесь живет? — спросила Ольга.

Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка, из щелей, посыпалась земля.

Лес просыпался от зимней спячки. Распрямлялся, набирался зеленой силы.

Солнце основательно пригревало. Пахло смольем. Земля подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало.

В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию.

Игнатий возился с ульями, сухой, опрятный, в черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками.

— Пришел, беженец? Домой?

— Нет. Мне Макара надо.

— Зря. Я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор.

— Где Макара найти?

— А хрен его знает! Макар теперь залился. Дурак он у вас отпетый...

Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию.

— Говори, где Макар? Или — ахну сейчас и не задумаюсь. Ты еще не знаешь меня.

У Игнатия отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа.

Долго стояли так.

— Как же мне не знать вас, — заговорил наконец Игнатий, не спуская глаз с Егора. — Живодеры... И породил вас живодер. Напугал, страмец, аж в брюхе что-то лопнуло, — он плюнул под ноги Егору. — Бессовестный, на старика ружье поднял!

— Где Макар?! — крикнул Егор, бледнея.

— В кучугурах, за вторым перешейком, где Змеиная согла... подлец ты такой. Я тебе это запомню.

Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом.

19

Макар с Закревским играли в шашки.

Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже, просаживал одну пешку за другой.

— Ходи.

— Пойду. Ты только не расстраивайся.

— Думаешь, как этот...

— На.

— Так... А вот так?

— А я вот так!

— Угорела пешечка. Даже две. Дамка. Ваша не пляшет.

Макар наморщил лоб. Крякнул.

— Насобачился ты в этом деле! Давай еще?

— Надоело.

За дверью возник шум.

Закревский поднялся:

— Что там?

Дверь в землянку отворилась, вошел Егор.

— К вам, как в церкву, с ружьем не пускают.

Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого.

— Егорка? Тю!..

Закревский тоже улыбался: — Проходи. Пришел... блудный сын. Давно пора!

Егор сел на пенек, огляделся:

— Неплохо живете.

— А как ты думал! — Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата. — Увидишь, через полгода что будет. Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?

— Нет.

— А где ты живешь? У Игната?

— У Михеюшки.

— Что слышно из деревни?

— Ничего. Отец... живой. Пашут, наверно.

— Пускай попашут, — сказал довольный Макар. — Раздевайся. У нас теперь жить будешь.

— Мне надо поговорить с тобой.

— Ну.

Егор посмотрел на Закревского.

— Пойдем на улицу.

Макар первый вышагнул из землянки, Егор — за ним. Остановились. Егор долго смотрел в землю.

— Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад.

— Зачем?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Егор посмотрел на верхушку сосен, на Макара, криво улыбнулся.

— За невестой съездить.

— За Манькой?!

— Ага.

— Украсть хочешь? — Макар широко улыбнулся. — Давай вместе. Пошли! — он втолкнул Егора обратно в землянку.

— Мы поедем в деревню за невестой, — объявил Макар.

Закревский насторожился:

— Как это — за невестой?

— Так. Воровать поедем невесту. Понял?

Закревский понял.

— На наших лошадях?

— Ну да. На чьих же?

— Нельзя.

Макар поднял брови:

— Как это нельзя?

— Нельзя, ребята. Я все понимаю, но... это глупый риск. Можете легко засыпаться.

— Не дашь коней? — спросил Макар.

— Не дам.

Макар снисходительно не то улыбнулся, не то поморщился.

— Пойдем, Егор, я покажу, каких подседлать.

— Макар! — резко крикнул Закревский.

Но Макар уже вышел из землянки и уверенно показывал Егору:

— Себе — вон того жеребца в чулках. Лев! Мне — во-он Гнедко... Седлай. Я пойду переобуюсь.

Егор долго примеривался к жеребцу, пока взнуздал его. Рослый скакун сердито косил большим темным глазом,

прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обротал. Вошел в землянку.

Макар стоял перед Закревским — руки в карманы, одна нога небрежно отставлена.

— Не командуй шибко много. Понял? Это отец твой генералом был, а ты не генерал.

Закревский, прижимая руки к груди, кричал:

— Да ты же попадешься, дура! Лошади пропадут! Лошади же пропадут!..

— Хрен с ними. Што я, дешевле лошадей?

Увидев Егора, спросил весело:

— Подседлал?

— Ага.

Закревский, злой и уставший, сел к столу.

— Идиоты!

— Сейчас... переобуюсь. Промочил давеча... — Макар начал стаскивать сапоги.

— А куда вы ее привезете? — спросил Закревский. Ему никто не ответил.

— Сюда, что ли? — опять спросил он, уже миролюбиво.

— Нет, — ответил Егор.

— Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть, — сказал Закревский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много своевольничает. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться.

— Но свадьбу мы все одно справим! — воскликнул Макар, подняв глаза на брата: он и утверждал, и спрашивал.

Егор неопределенно пожал плечами:

— Надо сперва невесту привезти.

— Привезе-ем! Сейчас мы ее, голубушку, скрутим. Хорошая девка! — похвалил он, обращаясь к Закревскому.

Ему сейчас казалось, что он о Марье всегда так и думал, что она хорошая.

Закревский обиженно отвернулся от него.

Макар вдруг задумался.

— Может, мне тоже кого-нибудь украсть? — спросил он. — А?

— Укради уполномоченного, — сказал Закревский и улыбнулся.

Макар хохотнул.

— Хороший ты парень, Кирька, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали? Ноченька как раз темная!..

Макар посвистывал, похохатывал: нравилось, что под ним легкая сильная лошадь, нравилась тихая темная ночь, нравилось быть вольным человеком.

Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось.

Влетели в деревню. Погнали по улице, мимо родительского дома. Свернули в переулок... Вот и Марьина изба. Огонек светится.

У знакомых ворот Макар остановился.

— Как будем? — спросил Егор.

— Не знаю... Зайти... и вынести без разговоров?

— Ребятишки там... перепугаются.

— Свистни ей под окном.

Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул.

— Однако, дома нету.

— Ну-ка свистни.

Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам: мог выйти сам Сергей Федорыч с какой-нибудь штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца, тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула избная дверь — в сенях послышались шаги, чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел. Успел шепнуть Макару:

— Не отвечай, если сам выйдет.

На крыльцо вышел Сергей Федорыч:

— Кто это здесь подворотничает?

Было совершенно темно.

Макар легонько тронул лошадей.

Выехали из переулка. Остановились.

— Что делать?

— Вот что: заедем к Нюрке Гилевой, скажем, чтобы вызвала нам Маньку, — предложил Егор. — Они товарки.

Вышел брат Нюрки, Колька Гилев, парнишка лет пятнадцати.

— Чего? Кто тут?

— Нюрка ваша дома?

— Дома.

— Вызови ее. Только не говори, кто зовет.

— А зачем тебе? — Колька подозрительно, с опаской всматривался в Макара.

— Надо. Да не бойся ты. Мужик, а сдрейфил.

Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом.

Нюрка сообщила, что Марья дома, но у нее болят зубы.

— Поехали к ней. Садись ко мне.

— Поехали. Ой, да на конях! Вы чего эт, ребята? Чего затеяли-то? Откуда кони-то?

Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе.

Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью. В середине рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул вперед, — это Макар решил от нечего делать побаловаться с ней.

— Дурак!

— А ты не прижимайся ко мне, не наводи на грех.

— Кто к тебе прижимается-то? Вот черт! — Нюрка, наверно, покраснела. — Бессовестный!

Снова подъехали к Марьиным воротам.

— Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хочем нечаянно...

Нюрка вошла в избу, и ее долго не было.

Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца — на тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вернуться в избу.

Наконец скрипнула дверь... По сеням шли двое. Егор весь напружинился.

На крыльцо вышла Нюрка, за ней Марья.

— Вот — дожидаются, — сказала Нюрка.

Марья всматривалась в темноту.

— Кто?

Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он мучительно соображал: сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь?

В этот момент избная дверь хлопнула. В сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все.

Егор оттолкнул девушек от двери, ощупью забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади.

Марья громко вскрикнула:

— Тятя!

В дверь из сеней заколотили руками и ногами.

— Что там?! Эй! Откройте! Люди! — заполошным голосом кричал Сергей Федорыч, но людей на улице в такую пору не бывает.

Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже далеко — слышно было, как распинают грязную дорогу четыре пары лошадиных копыт.

20

Кузьма узнал обо всем от Клавди.

Она рассказала на другой день... Радости скрыть не умела.

Шли вместе домой.

— С Егором теперь Марья...

На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто вспучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся после того скандального сватовства и после того, что было потом?.. Разве надеялся? Надеялся. А теперь — все.

Кузьма повернулся, пошел к сельсовету — там был Платоныч. Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вася. Наверно, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь быстро идти. И он шел. И думал: «Все. Теперь все». Представил, как Марья испугалась и плакала.

Раздумал идти в сельсовет.

Стал вспоминать, где живут Любавины. Спросил у какой-то бабы.

— Дак вот же! Рядом стоишь, — показала баба.

Кузьма вошел во двор к Любавиным.

Из-под амбара выкатился большой черный кобель и молчком кинулся ему в ноги. Кузьма выскочил за ворота. Крикнул:

— Хозяин!

Вышла Михайловна, прицепила кобеля.

— Мужики дома?

— Хозяин один.

Кузьма вошел в избу, сразу спросил:

— Где ваши сыновья?

Емельян Спиридоныч сучил дратву; рукава просторной рубахи закатаны по локоть, рубаха не подпоясана... Большой, спокойный.

— Какие сыновья?

— Твои.

— У меня их четыре.

— Младшие.

Емельян со скрипом пропустил через кулак навощенную дратвину.

— Я про этих ублюдков не хочу разговаривать.

— Они не были дома после того... как ушли?

— А тебе што? Не были.

Кузьма вышел.

Куда теперь? С какого конца начинать? К Феде?

Федя работал.

Кузьма вызвал его... Отошли, сели на берегу.

— Отец сам не знает, это верно. Потом... я думаю, што они не в банде.

— Почему?

— Так. Наших, бакланских, там нету. Люди бы знали. Разговоров нет, значит, никого наших нету.

Долго молчали.

Кузьма курил.

— У их Игнашка есть... — заговорил Федя. — На заимке живет. Тот может знать. Не скажет только...

Приехали к Игнатию под вечер.

Хозяин долго не понимал, чего от него хотят, терпеливо, с усмешкой заглядывал в глаза Кузьме и Феде. Потом понял.

— Не знаю, ребята. Чего не знаю, того не знаю. Наши оболтусы были у меня, когда сбежали из дома. А потом ушли. Я им сам говорил, что надо домой вертаться. Не послухали. Где они теперь, не знаю.

— Собирайся, — приказал Кузьма. Глаза его смотрели прямо, не мигая, внимательно и серьезно.

— Куда? — спросил Игнатий, и усмешка погасла.

— С нами в деревню.

— Зачем?

— Посидишь там, подумаешь... Может вспомнишь, где они.

— А-а! — усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах Игнатия. — Пошли, пошли! Думать мне нечего, а посидеть

могу. Глядишь, кой-кому и влетит за такие дела. Маленько вроде не то время, чтоб сажать без всякого...

Елизар Колокольников был в сельсовете, когда привели Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки попался этот Любавин, строго нахмурился, глядя на него. Потом, когда того заперли в кладовую, спросил у Кузьмы:

— Эт за што его?

— Допросим. Он, наверное, знает про своих племянников. Елизару показалось, что Кузьма действует, пожалуй, незаконно. Однако говорить с ним об этом не стал. Собрался и пошел к Платонычу.

Платоныч сразу же пошел в сельсовет. На Кузьму разозлился крепко. «За девку мстит, паршивец! Шутит с такими делами!»

Кузьма сидел за столом, положив подбородок на руки, смотрел на дверь кладовой, за которой «думал» Игнатий.

Платоныч вызвал его на улицу.

— Зачем старика арестовал?

— Он знает про банду. Я чую.

— Жалко, у меня ремня с собою нету. Снял бы с тебя штаны и всыпал, чтобы ты лучше почуял, что такими делами не балуются. Ты что, опупел? Сейчас же выпусти его!

— Не выпущу.

Платоныч высморкался. Некоторое время молчал.

— Кузьма, ты делаешь большую ошибку. Ты во вред Советской власти делаешь. Чего же людей дергаешь, молокосос ты такой?! Кто дал тебе такое право?! Немедленно выпусти его!

— Нет! — Кузьма стоял, ссутулившись, смотрел на дядю исподлобья. — Это ты делаешь ошибку. Пять лет уж скоро Советская власть, а тут... какие-то разъезжают, грабят население. Это не во вред? До чего осмелели, гады!.. Не выпущу — и все. У меня сердце чует, что он знает про банду!

— Дай сюда наган! — сдавленным голосом крикнул Платоныч.

— Не дам.

Платоныч сам полез в карман Кузьмы, но тот оттолкнул его...

Старик удивленно посмотрел на племянника, повернулся и пошел прочь, сгорбившись.

На крыльце появился Колокольников.

— Ты можешь идти домой. Я сам здесь останусь, — сказал Кузьма.

— А где Платоныч?

— Он тоже домой пошел.

Колокольников помялся... Хотел, наверное, что-то еще спросить, но промолчал. Скрипнул воротцами и удалился по улице.

Кузьма вошел в сельсовет. Подошел к окну, приложил лоб к холодному стеклу.

— Ничего, — сказал он сам себе. И зашагал длинноногим журавлем по пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на душе, что с дядей Васей так получилось. Но другого выхода он не видел.

Платоныч направился не домой, а к Феде.

Вызвал его на улицу и путано объяснил:

— Там племяш это... разошелся. А у меня силенок нет, чтоб его приструнить. Пойдем уймем. Черт... какой оказался! Пошли, Федор.

Федя понял одно: надо помочь старику. Почему и как разошелся Кузьма, он не понял. Но спрашивать не стал.

— Пошли.

Кузьма допрашивал Игнатия.

Сидели друг против друга на разных концах стола. На замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, лежал наган.

— Как ты думаешь, куда они могли уйти?

— А дьявол их знает.

— А про банду ты не слышал?

— Приходилось.

— Кто там ру... главарит у них кто?

— Бог его знает.

— Так... — Кузьма внимательно смотрел на благообразного Игнатия. И был почему-то уверен, что тот знает про банду. — У тебя коней нету?

— Не имею. У меня пасека.

— А как думаешь, на чьих они приезжали? Они тут одну девку увезли ночью...

— Зачем? — не понял Игнатий.

— Не знаю, — Кузьма встал, но сел снова, пригладил ладонью прямые жесткие волосы, кхакнул в кулак. — Увезли — и все.

Игнатий мотнул головой, сморщился.

— Вот подлецы! — глянул на Кузьму боязливо. Хотел понять, как держаться в этом случае, с девкой: может улыбнуться? — Что делают, озорники такие!

Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд.

— Ах, подлецы! — опять воскликнул Игнатий.

И снова показалось Кузьме, что старик знает про этих подлецов все.

— Где же они лошадей брали?

— Это уж... ты у них спроси.

Тут вошел Платоныч. А за ним вырос в дверях огромный Федя.

— Уведи арестованного, — распорядился Платоныч, глядя на Кузьму неподкупно строго.

Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на Федю... не двигался.

Игнатий спокойно, с чувством полной своей невиновности поглядывал на них на всех. От него не ускользнуло, что между стариком и молодым что-то произошло.

— Арестованный... — обратился было Платоныч к Игнатию, но глянул на Кузьму и в последний раз решительно приказал: — Вывести арестованного!

Кузьма поднялся.

— Пошли.

Игнатий покорно встал, заложил руки за спину, двинулся в свою кладовую.

— Гражданин... Кузьма Родионов! Я тебе приказываю освободить из-под стражи арестованного, — заговорил Платоныч казенным голосом, когда Кузьма вернулся в избу. — Иначе я тебя самого арестую. Понял? О нас черт те чего завтра заговорят, — повернулся он к Феде, ожидая, что тот его поддержит. — Скажут, мы тут... Ты это понимаешь? — Платоныч снова развернулся к Кузьме, повысил голос: — Или не понимаешь?

Кузьма молчал, смотрел на дядю.

— Ни черта не понимает, — пожаловался Платоныч Феде.

Федя деликатно швыркнул носом и посмотрел в угол.

— Сейчас я начал его допрашивать и понял... — начал Кузьма.

— Опять за свое?!

— Ты послушай...

— Федор, иди выпусти старика.

— Федор! — Кузьма заслонил собой дверь. — Нельзя этого делать, Федор.

Феде было тяжело.

— Пусти меня, — отстранил он Кузьму после некоторого раздумья. — Я уйду. Не понимаю я в таких делах... — и ушел.

Платоныч стоял посреди избы, смотрел прищурившись на племянника.

— Эх, Кузьма, Кузьма... жалко мне тебя. До слез жалко, дурака. Баран ты глупый! Ты думаешь, такое великое дело — сломить голову? Это просто сделать. И ты ее сломишь. Вспомнишь меня не один раз, Кузьма... поздно только будет. Вот он, близко, локоть-то, да не укусишь тогда. Прочь с дороги! — он прошел мимо — прямой, хилый и злой. Похоже было, что он не на шутку обиделся.

Кузьма сел на табуретку, задумался.

Дядя Вася был для него очень дорогим человеком. Собственно, на всем белом свете и был у него один только Платоныч, родной человек. Лет до восьми Кузьма вообще не знал, что Платоныч не отец его, а дядя.

Но ведь ошибается он сейчас! Это же так ясно.

Кузьма вывел Игнатия из кладовки, посадил к столу.

— Теперь говорить будешь прямо. Где племянники?

— Не знаю, — раздельно и отчетливо, в который уже раз объяснил Игнатий.

Кузьма подошел к нему, показал наган:

— А вот это знаешь, что такое?

Игнатий качнулся назад.

— Убери.

— Знаешь, что это?

— Эх... змеи подколодные! — холодно вскипел Игнатий. — Хорошую вы жизнь наладили! Свобода! Трепачи, мать вашу... Тебе, поганке такой, всего-то от горшка два вершка, а ты уж мне в рот наган суешь. Спрячь сейчас же его!

Кузьма устремил на него позеленевшие глаза. Заговорил, слегка заикаясь:

— Я тебе говорю честно... я тебе клянусь... если ты не скажешь, где скрывается банда, живой отсюда не уйдешь. Можешь подумать малость, — он сел, спрятал наган в карман, вытер ладонью вспотевший лоб. — Я тебе покажу свободу... Христос!

Игнатий трухнул.

— Я еще раз говорю: не знаю, где эти варнаки. Можешь меня убить — тебе за это спасибо не скажут. Счас тебе не гражданская.

— Подумай, подумай, не торопись. Я не шутейно говорю.

Игнатий замолк.

«Не угостил бы на самом деле... дикошарый! Разбирайся потом», — думал он.

— Ну как?

— Не знаю я, где они, милый ты человек.

— Иди еще подумай.

Игнатий поднялся.

Кузьма запер его, вышел на улицу, закурил. Потом вернулся в сельсовет, расстелил на лавке кожан, дунул в ламповое стекло. Язычок пламени вытянулся в лампе, оторвался от фитиля и умер. Лампа тихонько фукнула... Долго еще из стекла вился крученой струйкой грязный дымок. Завоняло теплым керосином и сажей.

Светало.

21

Михеюшка насмерть перепугался, когда под окном его избушки ночью заржали кони. Он снял икону и прижал к груди, готовый принять смерть. Подумал, что это разбойники.

Дверь распахнулась. Вошел Егор с ношей в руках.

— Михеич!

— Аиньки?

— Зажги огонь.

— Это ты, Егорушка? А я напужался! Сичас я...

Егор положил Марью на нары, взял у Михеюшки лучину...

Марья смотрела широко открытыми глазами. Молчала, Лицо белое, как у покойницы.

— Никак убиенная? — спросил шепотом Михеюшка, заглядывая через плечо Егора.

Егор отстранил его, воткнул лучину в стенку.

— Затопи печку.

Михеюшка суетливо захлопотал у камелька. И все поглядывал на нары.

Марья лежала не двигаясь.

Вошел Макар. С грохотом свалил в углу седла.

— А коней не потырят здесь?

— Кто, поди?.. Ты спутал их?

— Спутать-то спутал... — Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся. — Ну как?

Марья прикрыла глаза. Вздохнула.

— Перепугалась... Может даже захворать, — объяснил Макар не то Егору, не то Михеюшке.

Егор сидел на чурбаке, курил. Смотрел в пол.

— Чего не хватает, так это самогону, — сокрушенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу. — Жалко, такой случай... Что бы прихватить давеча? Просто из ума вышибло.

Михеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не покойница — на нарах. Но больше пока ничего не понял.

— Самогон? — переспросил он. — Самогон есть. У меня к погоде ноги ломит, я растираю...

— Давай его сюда! — заорал Макар. — Ноги он растирает!.. Марья, поднимайся!

— Пускай лежит, — сказал Егор.

— А чего ей лежать? Ей плясать надо. А ну!.. — Макар затормошил Марью, посадил на нары.

Марья нашла глазами Егора, уставилась на него, точно по его виду хотела понять, что с ней сделают дальше.

Тот докурил, аккуратно заплевал цигарку, поднял голову. Встретились взглядами. Егор улыбнулся:

— Замерзла?

Марья кивнула головой.

— А вот мы ее сичас живо согреем, — пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извлек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой. — Это что такое?

— И все? — спросил Макар. — Ну и свадьба получается!.. Ну, хоть это.

Сели к столу.

Михеюшка отказался сесть со всеми вместе, шуровал в печке и смотрел со стороны на непонятных гостей.

Марья сидела между братьями. Макар налил ей самогону.

— Держи. Ты теперь — Любавина.

Марья тряхнула головой, откидывая на спину русую косу. Взяла кружку и не отрываясь выпила все.

Она действительно замерзла.

— Ох, мама родная! — выдохнула она.

— Берет? — улыбнулся довольный Макар. — Мы еще не так гульнем! Это просто так... — Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой. — Ничего!

Егору осталось совсем мало, меньше половины кружки.

— Тебе нельзя много, — многозначительно сказал Макар.

— Что же вы со мною делаете, ребята? — спросила Марья.

— Взамуж берем, — пояснил Макар.

— Кто же так делает? Неужели по-другому... — Марья опустила голову на руки. Видно, вспомнила вечер сватовства Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом. — Что же... здесь и жить будем?

— Пока здесь, — сказал Егор.

Макар посмотрел на Михеюшку и спросил:

— Тебе выйти никуда не надо?

Михеюшка не понял:

— Куда выйти?

— Пойдем проветримся, коней заодно посмотрим.

— Зачем ты его? — вмешался Егор.

— Мы с ним на вольном воздухе заночуем, — сказал Макар.

— Не валяй дурочку, — Егор покраснел. — Никуда вы не пойдете.

— Как хотите. Для вас же стараюсь, понимаешь.

Марье постелили на нарах, а Макар, Михеюшка и Егор устроились на полу.

В избушке стало светло — из-за леса выплыла луна. Ее было видно в окошко — большая, круглая и поразительно близкая, как будто она висела в какой-нибудь версте отсюда.

На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей.

Блестела на столе кружка.

— Ночь-то! — тихонько воскликнул Макар. Ему не спалось.

Михеюшка пошевелился. Сказал сонным голосом:

— Перед рассветом птаха какая-то распевает каждый раз... до того красиво!

— Ты ведь давно уже тут живешь, Михеич? — не то спросил, но то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар.

— Третий год пошел с троицы, — ответил Михеюшка.

— Наверно, все тут передумал один-то?

Михеюшка ничего не сказал.

— Скучно, наверно, тебе?

— А чего скучно?.. Люди заходют. До вас вот Гринька Малюгин с Федей Байкаловым были...

— Гринька? — Макар приподнялся на локте. — Его ж поймали.

— Ушел он... Федя-то как раз за им приходил. Ну тот говорит: «У меня золото есть... пудик, давай, мол, выроем — ты себе половину забираешь, а я уйду».

Макар долго молчал.

— Слышь, Егор?

— Слышу, — отозвался Егор.

— Пуд золота... — Макар лег и стал смотреть в потолок.

— Федор-то не соглашался сперва. «Оно, — говорит, — ворованное», — заговорил Михеюшка.

Макар перебил его:

— Ладно, давай спать, отец.

Михеюшка послушно смолк.

В окошко все лился серебристый негреющий свет, и на полу шевелилось топкое кружево теней.

Во сне громко вскрикнула Марья, потом шепотом сказала:

— Господи, господи...

Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать.

— Дай мне тоже, — поднялся Макар.

Закурили.

— Федя — не дурак, — негромко сказал Макар.

— Я тоже так думаю, — согласился Егор.

Легли и замолчали.

Михеюшка почесал спину, зевнул и, засыпая, пробормотал:

— Охо-хох, дела наши грешные...

Утром, чуть свет, Макар уехал.

22

После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши Горячего и поехал в район.

Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет. В сельсовете было человек шесть мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова: отказывались ремонтировать мост на Быстринской дороге.

Кузьма сидел на подоконнике, наблюдал эту сцену.

— Да вы ж поймите! Поймите вы, ради Христа: не я это выдумал. Это из району такой приказ вышел! — отбивался Елизар.

— А ты для чего здесь? Приказали ему!..

— Пускай быстринские ремонтируют, чего мы туда полезем?

— И быстринские тоже будут. Сообча будем...

— Пошел ты к такой-то матери! Сообча! Вы шибко прыткие стали: ломай им горб на мосту!

В этот момент и вошли Платоныч и приезжий.

— Что тут делается? — спросил Платоныч, с тревогой посмотрев на Кузьму.

— Вот люди мост собираются чинить, — пояснил Елизар.

— Ну и что?

— Ничего. Сейчас поедут.

Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели.

Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку.

Кузьма разглядывал приезжего.

Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы. Молчал, разглядывая Кузьму.

Вошел Елизар.

— Елизар, выйди на пять минут, — сказал Платоныч. — Мы по своим делам потолкуем.

Елизар, нисколько не обидевшись, вышел.

— Н-ну, так... — сказал приезжий, вынул руки из карманов. — Рассказывайте: что тут у вас? — подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, приготовился слушать.

— А чего рассказывать? — спросил Кузьма.

— Кого ты здесь арестовал?

— Любавина Игнатия. Родного дядю этих... — Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныча, хотел понять: можно ли все говорить?

— Это из милиции, — сказал Платоныч.

— Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду, — досказал Кузьма.

— Так, — приезжий с минуту обдумывал положение или делал вид, что обдумывает. — Вот что... товарищ Родионов. Старика немедленно выпустить. Банда бандой, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно?

— Ясно, — ответил Кузьма. — Интересно только, как мы все же узнаем про банду?

— Узнаем, — успокоил приезжий. — Иди выпусти его.

Кузьма вышел в сени... Загремел замком.

— Выходи.

Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего.

— Шапку возьми.

Игнатий вернулся, взял шапку. Опять направился к двери, не понимая: хорошо это или плохо, что приказали взять шапку?

Кузьма загородил ему дорогу.

— Я отпускаю тебя... пока, — негромко сказал он, заглядывая в серые глубокие глаза Игнатия, — но могу прийти еще.

— Приходи, приходи. Медком накормлю... А хочешь — медовухой, — Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство. — У меня такая медовуха!.. Язык проглотишь!

— Иди.

Игнатий напялил шапку и вышел. Пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас, по пути, хотел попроведать братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботрясов. А главное, зачем надо было видеть Емельяна Спиридоныча и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем.

Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки. В городе-то их полно, и больших и маленьких — всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему (семьи у него не было: жена померла в двенадцатом году, единственный сын, Николай, ушел с колчаковцами в восемнадцатом и не вернулся), а вот в Баклани можно было сообразить лавку. На паях с братом. Построить он бы и один мог, но тогда всем кинулось бы в глаза: откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю (хоть не на равных, для отвода глаз) и, благословясь, начинать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад.

23

Через два дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью, до восхода луны, к Феде Байкалову пожало-

вали нежданные гости. Вошли без стука (Федя никогда не запирался на ночь). Чиркнули спичкой...

— Кто здесь? — спросил Федя, поднимаясь с кровати.

— Где лампа у вас? — спросил один и высоко поднял спичку

— На окне, — Федя при свете лампы узнал Макара Любавина и всматривался теперь в его товарищей — желтолицего, в кожаном пальто, с поднятым воротником и второго, с чугунной челюстью, широченного, в полушубке. Те стояли у порога. Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно... И вдруг сообразил: ведь это как раз, наверно, те самые разбойники, которых ищут! И Макарку-то тоже ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее.

Макар опередил его:

— Хавронья иди посмотри корову — она что-то мычит. Нам надо поговорить с Федором... насчет одного дела.

Хавронье не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если бы не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело: наверно, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят. Этот, в кожаном пальто, показался ей денежным человеком. Она оделась и вышла.

Федя окончательно понял: «Они самые, из банды».

Сидел на кровати, уперев руки в колени. Смотрел на Макара. В уме прикинул, что легко уложит всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А то визгу не оберешься.

Макар стоял около стола... непонятно смотрел на человека в пальто.

Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу.

— Что-то я не вижу здесь персидских ковров, — сказал он. — Ну, спрашивай.

Макар подошел ближе к Феде. Федя, таким образом, был окружен со всех сторон: у окна, справа от него, стоял Закревский, у двери, слева, — Вася. Прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар.

— Где у тебя золото? — спросил Макар.

Федя с удивлением посмотрел на него:

— Чего-о? Какое золото?

— Которое тебе Гринька дал. Полпуда.

Федя хмыкнул. Некоторое время соображал, как лучше ответить. Потом спросил:

— Ты дурак или умный?

— Говори добром: где золото? — Макар вынул из кармана наган.

Федя медленно стал подниматься. Краем глаза увидел, как человек, стоявший у двери, странно взмахнул рукой... А в следующее мгновение почувствовал на шее холодный, скользкий ремешок: Вася накинул петлю. Федя рванулся к Макару, но тонкая петля с такой силой резанула по горлу, что он открыл рот и судорожно стал выдирать пальцами врезавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в грудь посадил его на кровать. Вася ослабил петлю, но не настолько, чтобы ее можно было зацепить пальцами. Федя шумно вздохнул и ринулся на Васю. Макар ударил его рукояткой нагана по голове. Федя упал на кровать.

— Где золото, земледав? — зашипел Макар, близко склонившись над ним.

Федя глотал воздух и таращил глаза на Макара. Петля душила его.

Закревский тем временем открыл сундук и брезгливо, двумя пальцами, выбрасывал из него Хавроньины юбки. Макар ударил Федю по лицу.

— Скажешь или нет? — еще удар — тупой и смачный.

Федина голова моталась от кулака. Из носа потекла кровь, заливая рубаху и кальсоны. Федя молчал.

Макар вытер об одеяло руку. Выпрямился.

— Ну?

— Ни черта здесь нету. Спрятал где-нибудь, — сказал Закревский.

— Вася, ну-ка вложь ему! — кивнул Макар на Федю. Но не выдержал и сам опять склонился над ним и стал молча бить по лицу. Вид крови разъярял его. Бил немилосердно. По зубам, по носу, по глазам...

— Скажешь, гадина, или нет? — сквозь стиснутые зубы, скривив рот, спросил он. — Сейчас казнить буду!

Федя уже почти терял сознание.

Макар вытер руку отошел от кровати.

— Нету?

— Ничего.

Макар достал из-за чувала клюку, начал выгребать из-под печки всякий хлам — старые пимы, обрывки кожи, ножницы для стрижки овец, поломанные замки...

Закревский бросил искать, подошел к кровати, зажег спичку и поднес ее к рыжеватой Фединой бороде. Она

вспыхнула. Огонь на мгновение охватил лицо. Федя зажмурил глаза, заметался, глухо заревел, стал царапать лицо пальцами... Закревский подушкой погасил огонь. Понесло паленым.

— Где золото?

— Нету... — Федя качнул головой. Из глаз его катились слезы.

— Как так нету? — подошел Макар. — Как нету? Тебе же Гринька дал полпуда, за это ты его отпустил.

Федя опять слабо качнул головой, с трудом сказал:

— Обманул он меня... убежал он...

Закревский выразительно посмотрел на Макара.

Макар склонился к Феде.

— Врешь. Ты это сейчас придумал, — и снова стал бить, придавив к кровати Федину руку коленом.

Между ударами Федя негромко просил:

— Макар, хватит... Макар...

Макар бросил его. Выпрямился.

— Наверно, правда нету. Пошли.

Вася снял с Феди петлю, некоторое время любовался работой Макара и Закревского.

— Уделали вы его! А вышло — ни за что.

— Ничего. Это ему за уполномоченных этих пойдет. Он тут якшаться начал с ними.

Они ушли.

24

Свадьбу решили закатить великую.

С обеда начали съезжаться разбойнички. Всего набралось человек пятнадцать.

День был солнечный, теплый. Распрягали коней и валились на разостланные потники, кошмы — лежали, грели на солнышке грешные тела свои. Мужики были все как на подбор — здоровые, гладкие, очень довольные легкой жизнью. Пожилых не было.

Оглашали тайгу беззаботным здоровым гоготом. Тайга настороженно и терпеливо молчала.

Тут же, на поляне, под огромной треногой горел костер — варился баран. Специально ездили за котлом.

Марья вымыла в избушке, выскребла стол, нары, промыла оконце, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол сосновыми ветками... Михеюшка не узнавал своего жилья.

Егор в свежестираной рубахе, несколько пришибленный всей это веселой кутерьмой и огромным своим счастьем, слонялся из избушки на поляну и обратно — не знал, куда себя деть. С удовольствием рубил дрова, таскал Марье воду.

Марье дел было по горло. Заканчивала уборку в избушке, следила за варевом и еще урывала минутку-другую — поглядеть на себя в ведро с водой, переплести косу.

Макар с Васей и с ними еще человека четыре куда-то уехали верхами. Сказали, скоро будут.

Закревский в безукоризненно белой рубашке (кто только стирал их ему и гладил!) и в синем, очень нарядном пиджаке расхаживал по поляне, посвистывал. Подолгу и внимательно смотрел на Марью, когда она проходила мимо или хлопотала у костра.

Марья заметила, сказала Егору. При этом не скрыла, как она думает о Закревском:

— Весь желтенький... как чирей.

Егор хмыкнул, промолчал.

Закревский раза два пытался заговорить с Марьей, но ей все некогда было.

Приехал Макар со своим отрядом. Привезли четырехведерный логушок самогона и гармонь.

— Ну как? — огласил поляну своим сильным, чистым голосом Макар. — Идут дела?! — спрыгнул с коня, расседлал, хлопнул его по крупу, отгоняя в кусты, на зеленую травку.

Когда солнце поклонилось к закату и на поляну легли длинные косые тени, сели за стол. Уместились кое-как, несмотря на то, что стол удлинили досками с нар.

Во главе стола, под божьей матерью, сидели Егор и Марья. По правую руку от них, рядом с Егором, — Закревский, по левую, с Марьей рядом, — Макар.

Михеюшку тоже посадили за стол. Днем Марья постирала ему рубаху и обстригла тупыми ножницами волосы на голове — лесенкой.

Михеюшка тихо сиял и все хотел рассказать соседу про свою свадьбу... И вообще — как раньше игрались свадьбы.

Разговаривали все сразу. Делили посуду. Не хватало стаканов, вилок. Кто вынимал из-за голенищ нож, кто прямо руками выворачивал из барана ногу и волок к себе.

Закревский застучал вилкой по стакану. Постепенно затихли. Повернулись к Закревскому.

— Други мои! — начал тот, с трудом поднявшись, так как был стиснут с обеих сторон. — Мы сегодня собрались, чтобы... — он посмотрел на Марью. Та покраснела и опустила глаза. — Чтобы отпраздновать как следует — по-русски! — бракосочетание этих молодых людей.

Закревский опять посмотрел на Марью и при общем молчании пригубил из стакана. Обвел взглядом настороженные, лукавые лица и сказал:

— А самогон-то горький.

Как будто потолок обвалился — все разом гаркнули:

— Горька-а!!

Егор первый поднялся и, не глядя ни на кого, ждал, когда встанет Марья. На крепких плитках его скул заиграл румянец.

Марья тоже поднялась... Шум стих.

Егор неловко обнял невесту, ткнулся ей куда-то в щеку и сразу сел.

Опять заорали... Кто-то стал доказывать, что это надувательство — так не целуются! Кто-то изъявил желание показать, как надо. Егор посмотрел на Марью. Она держала стакан в руке, не решалась пригубить. Егор кивнул ей. Она вдруг молча заплакала.

— Ты чего? — спросил Егор.

— Тятю жалко, — Марья смахнула ладошкой слезы. — Ничего, Егор, пройдет...

Макар завладел логуном — он стоял у него между ног, под столом, — черпал оттуда ковшом и разливал направо и налево в стаканы, в кружки, в туески и в крынки, везде по полной. Сам, через двух, прикладывался к ковшу, крутил головой, доставал левой рукой куски мяса — заедал, а правой не переставал черпать самогон.

Опять заревели:

— Горька!

Егор уже смелее обнял Марью, крепко поцеловал. Потом она поцеловала его — сама.

Кто-то поднял было:

Эх, я, как ворон, по свету скитался-а!..

Но этот единственный голос смяли, не дали вырасти в песню — рано еще.

Закревский пил много. Глаза его неприятно, нагло заблестели. Он все пытался поймать взгляд Марьи.

Макар наклонился под стол, поднатужился и с грохотом выставил логун на стол, посередине.

— Надоело мне вам подавать, зверье! Нате теперь...

Сам первый запустил в логун ковшик, повернулся к Егору.

— Давай, братка... хочу с тобой выпить. И с тобой, Марья. Дай вам бог жизни хорошей, как говорят... А еще... — он качнулся, — еще детей поболе, сынов. Штоб не переводились Любавины на земле, — он запрокинул ковш, осушил его и заревел: — О-о-о!.. — потом, закусывая, вдруг вспомнил: — Знаешь, кого мы позвать забыли?

— Кого? — спросил Егор.

— Дядю Игната. Хоть бы один от родни был.

— Дядя Игнат в каталажке сидит, — усмехнулся Егор.

Макар остолбенел:

— Как так?

— Так. За нас с тобой. Допытываются, куда мы ушли.

— Да што ты говоришь?!

— Что слышишь. Я вчера парня знакомого встретил, он за лесом приезжал, рассказывал. Били, говорят. Там этот молодой отличается шибко... — Егор посмотрел на Марью, усмехнулся, — жених вот ее.

Макар сел и мрачно задумался.

Никто не заметил, как они с Васей через некоторое время вышли из избушки.

Платоныч и Кузьма сидели в сельсовете. Они почти не разговаривали после приезда работника милиции...

Платоныч по-прежнему занимался списками. Из уезда потребовали точную опись имущества крестьянских хозяйств. Кузьме дано было поручение: обойти все дворы в деревне, переписать со слов хозяев наличие крупного скота, лошадей. А Платоныч сверял эти показания с другими, которые он добывал у крестьян победнее, и не без удовольствия поправлял богачей.

Елизару этого дела уездное начальство не доверяло.

Была уже глубокая ночь, но Платоныч все сидел и скрипел пером. Кузьме неудобно было уходить одному; он рассматривал проект школы, который выслали из губернии по просьбе Платоныча. Школа планировалась на сто двадцать человек.

— Сколько дворов обошел? — спросил Платоныч, утомленно откинувшись на спинку стула и глядя на Кузьму по-

верх очков (он хотел помириться с племянником, но хотел также, чтобы тот понял, что в этой истории с арестом не прав Кузьма).

Кузьма развернул тетрадный листок.

— Двадцать семь.

Платоныч устало прикрыл глаза, с минуту сидел, наслаждаясь покоем. Потом захлопнул тетрадку и встал.

— Пошли. Ты делай так: почувствуешь, что мужик может рассказать про соседа, — зови сюда. Только вежливо, не пугай.

Оделись... Кузьма погасил лампу.

Вышли в темные сени. Платоныч шел первым.

Едва он открыл сеничную дверь, с улицы, из тьмы, полыхнул сухой, гулкий выстрел. Платонычу показалось, что его хлестнули по глазам красной рубахой... Мир бесшумно качнулся перед ним. Он схватился за косяк и стал медленно садиться.

Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ из ближайших дворов громче залаяли собаки. Кузьма кинулся в улицу... Пробежал несколько шагов, прислушался. Никого. Тьма. Только гремят цепями кобели да где-то тоскливо мычит корова, — наверно, телится.

Кузьма бегом вернулся к крыльцу.

Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное выстрелом.

Кузьма приподнял его:

— Дядя Вася!..

Платоныч вздохнул раз-другой и сразу как-то отяжелел в руках... Голова запрокинулась.

Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями виски и сел рядом.

Тесная Михеюшкина избушка ходуном ходит.

Дым коромыслом. Рев. Грохот.

Несколько человек, обнявшись, топчутся на кругу, сотрясая слабенький пол. Поют хором:

Ух-ух-ух-ух!
Меня сватает пастух!..

Жарко. С плясунов — пот градом. Но тут важно пластаться до конца — пока не поведет с ног.

Михеюшка в углу рассказывает сам себе:

— ...Ну, тут я, конечно, сробел. Думаю: видно, нечистая сила играется. Да. Снял шапку, перекрестился. «Господи, говорю, господи, спаси, сохрани меня, раба грешного!» Только я так скажи, а сзади меня кэ-эк захохочут... ну, я и...

Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька.

— Давай-ай, эй! (обычай такой: на свадьбе разваливают хозяевам чувал).

Ухватились за вожжи, потянули.

— Р-ра-аз!

Чувал выпучился и сыпанул градом кирпичей на пол. Пыль заполонила избу. Взрыв хохота.

Но все это покрыл вдруг могучий рев:

— Кто-о?! Кто натворил?! — кому-то не понравилось, что разорили у Михеюшки печку — Заче-ем?!

На кругу, по кирпичам, все топчутся плясуны.

Приходи ко мне, кум,
Эх, я буду в завозне-е!

Закревский весь вечер кружил около Марьи, все заглядывал ей в глаза, улыбался. Она тоже улыбалась — потому что приятно кружилась голова, потому что рядом красивый, сильный муж и кругом веселые и вовсе не страшные люди...

Воспользовавшись тем, что Егор вышел с мужиками из избушки, Закревский подскочил к Марье, жарко дохнул сзади в шею:

— Там с Егором... плохо, пойдем.

— Где? — вскинулась Марья.

— Пойдем.

...В лесу, неподалеку слышались голоса мужиков, Марья кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку и потащил в сторону.

— Вот сюда, сюда вот... Здесь...

В другое время Марья услышала бы, что голос Закревского подсекается, дрожит, почувствовала бы, как маленькая трепетная рука его вспотела и сделалась горячей. Но сейчас она думала о Егоре и забыла даже спросить, что с ним.

У первых сосен Закревский остановился... Обнял Марью. Она забилась, как перепелка в силке, — пыталась вырваться. Тонкие цепкие руки держали крепко.

— Зачем ты? Ты что это?.. — Марья напрягала все силы, колотила Закревского, царапалась.

Закревский жадно хватал ртом мягкие девичьи губы. Бессвязно мычал.

— Егор! Ег...ор! Пусти, змей подколодный! Ег...

Закревский зажимал Марье рот, пытался повалить.

Увлеченные борьбой, не заметили, как в пяти шагах от них подхватился с земли (на корточках сидел) мужик и, поддерживая штаны, побежал в избушку.

...В шуме и гомоне свальной попойки прорезался веселый, радостный голос:

— А иде женихало-то наш?! Там его бабу... Х-хэк!.. Чуток не наступил на их.

Егора (он был в избушке уже) обдало как из лохани помоями. Он выскочил на крыльцо... И увидел под ближними соснами белую рубаху Закревского.

...Закревский успел немного отбежать, но споткнулся и упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно, попало горло Закревского, зобастое, липкое от пота. Егор даванул. Горло податливо хрустнуло в кулаке, как яйцо. Закревский захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. Еще раз поднял и еще раз с силой обрушил... Закревский икнул, вытянулся и перестал шевелиться.

Марья стояла у сосны ни живая ни мертвая — ждала. Слышала возню и страшных два — тупых, тяжких — удара тела о землю. Подошел Егор. Дышал тяжело.

Марья инстинктивно оградила рукой голову.

— Егор, я невинная... Егор, — заговорила торопливо, — он сказал, что тебе плохо...

— Было или нет? — странно спокойно спросил Егор.

— Да нет, нет... Нет, Егор, — Марья заплакала, стала вытирать рукавами глаза. Кофта, разодранная спереди, распахнулась (до этого она придерживала ее рукой). Матово забелели полные молодые груди.

Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не испытывал. Он сел, почти упал, обхватил руками колени:

— Уходи... Скорей! Уйди от греха!

Марья торопливо пошла к избушке.

Егор вскочил, догнал ее, схватил сзади за косу.

— А зачем вышла? Сука... — едва сдерживаясь, чтоб не ударить по голове, толканул в плечо.

Марья упала.

— Зачем вышла?!

— Да обманул он... Сказал, что плохо тебе...

— Чего мне плохо?! Чего плохо?!

— Не знаю, — Марья опять заплакала. — Не было ничего, Егор. Невинная я...

— Уйди. Иди куда-нибудь!.. Скорей!

Марья поднялась и, придерживая кофту, пошла к избушке.

А Егор широко зашагал в лес. По дороге. Ни о чем не думал. Немного тошнило.

Долго шел так, совсем трезвый.

Впереди послышался конский топот пары лошадей. А через некоторое время — стало видно — смутно замаячили два всадника. Егор сошел с дороги, остановился.

Ехали Макар с Васей, Макар — впереди. Негромко пел:

Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец.
Не знал тоски-кручинушки...

Егор окликнул его. Макар придержал коня.

— Эт ты, Егор? Ты што?

Егор подошел к нему.

— Ехай, я рядом пойду.

Двинулись неторопким шагом.

— За Игната я расквитался, — сказал Макар. — Я их теперь уничтожать буду всех подряд.

— Я дружка твоего... тоже уничтожил, — негромко, без всякого выражения сказал Егор.

— Какого дружка? Кирьку?

— Кирьку.

— Как?.. Не понимаю...

— Убил.

Макар натянул поводья.

— За што?

Сзади наехал Вася, Егор не сказал при нем.

— Трогай. Сейчас расскажу.

До самой поляны молчали.

Еще издали слышно было, как гудит и содрогается избушка.

— Гуляют наши! — с восхищением сказал Вася. — Умеют, гады!

Расседлали коней.

Вася потер ладони, тоненько засмеялся и вприпрыжку побежал в избушку — наверстывать упущенное.

Егор повел брата в лес. Остановились над Закревским. Макар зажег спичку, склонился к мертвому лицу. Долго смотрел, пока не погасла спичка. Потом поднялся и сказал печально:

— Отпрыгался... Кирилл Закревский. Жалко все-таки.

Егор закурил, отошел в сторонку.

Макар подошел к нему.

— За што ты его?

Егор кашлянул, как будто в горло попала табачинка... Ответил не сразу, неохотно:

— С Манькой поймал...

Макар взялся за голову и наигранно, больше дурачась, но все-таки изумленно воскликнул:

— Мамочка родимая!.. Вот змей, а! Прямо на свадьбе?.. Так успел или нет? Манька-то что говорит?

— Говорит — нет, — Егор сплюнул.

— А иде она?

— Там, — Егор кивнул на избушку.

— Ну... живая хоть?

— Живая. Не знаю, што с ней делать.

— Та-ак, — протянул Макар. Присел под сосну, поцокал языком. — Надо подумать... Убил ты его, конечно, правильно. Я бы сам его когда-нибудь кончил. Боюсь только, как бы эти шакалы не устроили нам с тобой... Видал кто-нибудь, как ты его?

— Ну кто... Марья видела.

— Вызови ее.

— Пошла она!..

— Тогда я сам... Подожди здесь.

Макар ушел в избушку и долго не выходил. Егор успел еще один раз покурить.

Вернулся Макар повеселевшим.

— Никто не знает. Марье сказал, чтоб молчала. На ней лица нету. На, выпей, чтобы полегчало малость, — сунул Егору крынку с самогоном. Сам он уже успел хватить — чувствовалось, — этого ухажера мы сейчас в реку спустим.

Взнуздали первых попавшихся лошадей. Долго устраивали Закревского на спину серому мерину. Мерин храпел, поднимался на дыбы, волочил повиснувшего на узде Егора — не хотел принимать покойника. Макар таскался следом за ним с Закревским в руках, матерился — не очень приятно было нянчить холодеющее тело.

Наконец Егор зацепил повод за лесинку. Макар вскинул Закревского на спину дрожавшего мерина, вскочил сам. Поехали.

Раскачали Закревского и кинули с высокого берега в Баклань.

— Прощай, Киря. Там тебе лучше будет, — сказал Макар, дождавшись, когда внизу громко всплеснула вода.

Утром рано Макар поднял своих людей.

Было тепло, сыро... По тайге низко стелился туман. Верхушки сосен весело загорались под лучами солнца.

Седлали коней, забегали в избушку опохмеляться. Кто-то хватился Закревского.

— Уехал вперед, — сказал Макар.

Он зашел тоже в избушку, дернул целый ковш самогона, простился с Егором (на Марью только мельком глянул) и выбежал. Повел банду в тайгу.

Остались Егор, Марья и Михеюшка.

Михеюшка изрядно хватил вчера... Пристроился в уголке на старом тряпье и крепко спал.

Марья лежала на нарах вниз лицом. Непонятно было, спит она или нет.

Егор сидел посреди разгромленной избушки на чурбаке. Перед ним стоял логун с остатками самогона. Он пил.

25

Начало лета. Непостижимая, тихая красота... Деревня стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни кружит голову.

Под утро, в красную рань, кажется, что с неба на землю каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. И тишина... Такая, что с ума сойти можно.

Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на могилу и подолгу сидел. Думал. Хотел понять, что такое смерть. Но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит. Его нет. Начиналась бесплодная, отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи — далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонятно...

Однажды на кладбище пришла Клавдя.

Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся: он почему-то знал, что это она. Клавдя села рядом, поджала коленки. Долго молчали.

— Совсем я один остался, — тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться.

Клавдя погладила его по голове.

— Я с тобой.

Кузьма ткнулся в теплую, тонко пахнувшую пóтом, упругую грудь ее.

— Тяжело мне, Клавдя. Невыносимо.

— Я знаю, — Клавдя тесно прижала его голову.

— Ты хорошая, Клавдя.

— Конечно. И ты тоже хороший — добрый.

— Жалко дядю Васю...

— Говорят, Макарка Любавин убил. Видели их в ту ночь на конях.

— Я знаю. Федя поехал его искать.

— За что он его? Безвинный вроде старичок...

Кузьма ответил не сразу:

— Потому что он враг. Враг лютый.

Клавдя подняла его голову, заглянула в глаза.

— А если тебя тоже убьют когда-нибудь?

Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу об этом не думал.

— С кем я тогда останусь? И ребеночек наш... как он будет? — она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки.

Кузьма обнял Клавдю. Успокаивая ее, успокоился немного сам.

— Пошли домой, — сказал он и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. Это все-таки хорошо — иметь дом.

— Пойдем, — Клавдя высморкалась в кончик платка, поднялась.

Они пошли домой.

26

Сергей Федорыч после того как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал в лежку. А когда немного поправился, пошел к Любавиным.

— Што же они делают, кобели такие?! — начал он, едва переступив порог любавинского дома. — Они што, хотят в гроб меня загнать?

Любавины-старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали.

— Садись с нами поешь, — пригласил Емельян Спиридоныч. — Мать, подставь ему табуретку.

— До еды мне! — горько воскликнул Сергей Федорыч. Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, устало присел на припечье. — Тут скоро ноги перестанешь таскать с такими делами.

Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридоныч нахмурился. Он последнее время заметно сдал: то с Кондратом история, то с младшими оболтусами. Да и за посевную порядком наломался.

Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, с сытой ленцой жевал. На гостя не смотрел.

Только Ефим отложил ложку, икнул и, глядя на пришибленного горем Сергея Федорыча, сказал:

— Ты не убивайся шибко-то, Федорыч. Никуда они не денутся.

— Да... не убивайся... — Сергей Федорыч часто заморгал и опять вытер глаза. — Вам легко рассуждать... Налетели, коршунье... Гады такие!

Емельян Спиридоныч засопел громче. Однако промолчал.

Ефим вылез из-за стола, закурил.

— За Егоркой-то можно бы съездить, — неуверенно сказал он, глядя на отца.

Сергей Федорыч — точно только этой фразы и ждал — поднялся.

— Спиридоныч! Христом-богом прошу: поедем, привезем их! Срубим... Ну, хоть у меня сичас, правда, нечем помочь, — руками пособлю, — срубим избенку им, пускай живут, как все люди. Ведь это же стыд головушке! Как лиходеи какие.

— «Нечем сичас помочь!» — передразнил его Емельян Спиридоныч и фыркнул. — У тебя когда-нибудь было чем помочь?

Сергей Федорыч не был готов к такому жесткому отпору. От неожиданности даже руками развел.

— Ну что ж делать... раз мы такие...

Емельян Спиридоныч глянул на него, исхудавшего, с морщинистой шеей, с желтым клинышком бородки... Отвернулся. Неожиданно мягко сказал:

— Ладно, сичас подумаем. Может, привезем. Я только выпорю его там сперва. Кондрат, приготовь мне хороший бич.

— Так толку не будет, — сказал рассудительный Ефим. — Так он еще дальше зальется.

Все промолчали на это.

Емельян Спиридоныч вылез из-за стола, долго разглаживал бороду. Смотрел в окно.

— Поехали, — решительно сказал он.

Дорога, припыленная на взгорках и прохладно-волглая в низинках, часто поворачивала то вправо, то влево. Коробок подпрыгивал на корневищах. Монголка мотала головой, звякали удила.

Старики сидели рядышком. Беседовали.

— Как работенка-то? Строгаешь все?

— Копаюсь помаленьку. Руки вот трястись зачали, — Сергей Федорыч показал сморщенные, темные руки, сам некоторое время разглядывал их. — Отстрогался, видно.

— Да-да, — протянул Емельян Спиридоныч, с трудом подлаживаясь под горестно-спокойный тон Сергея Федорыча, — помирать скоро. Хэх! Ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься-мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего — непонятно.

— Для детей, — сказал Сергей Федорыч, подумав.

— Ну, это — знамо дело, — согласился Емельян Спиридоныч. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти, и он не стал возражать. — Это правильно, что для детей. Только... Ты вот можешь мне объяснить: что бывает с человеком, когда он кончается? В писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела и ведут. Так? А в избе кто три дня лежит? И потом — он же в земле остается... Гниют они, конечно, но лежат-то они там! Кого же в рай-то ведут! Я тут не понимаю.

— Душу.

— Да эт я понимаю! Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это — душу?.. Как ее в смоле можно варить? Или говорят: «Будешь на том свете языком горячую сковородку лизать». А у души язык, што ли, есть?

— Должен быть. Вопче душа, наверно, похожа на человека.

— Непонятно.

— Ну, как же непонятно! Какой ты, такая у тебя душа.

Емельян Спиридоныч посмотрел сбоку на Сергея Федорыча. Сказал разочарованно:

— Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу.

Сергей Федорыч пожал плечами.

— Тебе, наверное, шибко в рай захотелось? Таких туда не берут, не собься.

Емельян Спиридоныч хотел что-то возразить, но Сергей Федорыч повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул глазом, — вспомнил:

— Ты говоришь: как это — душа? А вот у меня свояк был... помер, царство небесное, на родине нашей жил — в Расее, так вот ехал он в позапрошлом годе из города порожнем... — Сергей Федорыч устроился удобнее — история была необыкновенная, он любил рассказывать ее. — Летом дело-то было, зеленя только еще грача скрывали. И как раз в этом-то году и недород у их страшный случился, мор...

— У их там вечно недород, — недовольно заметил Емельян Спиридоныч. — А мы — отдувайся.

— Погорело все, чо ж ты хочешь! Да не один год, а два подряд — в двадцатом и в двадцать первом. «Отдувайся»!.. Убавилось у тебя, смотри. Люди семьями вымирали, а у него две брички хлеба лишнего взяли — дак сердце запеклось, забыть не может.

— Еслив бы только две брички...

— Тьфу! — Сергей Федорыч обозлился. — Вот пошто и ненавижу-то вас, прости меня, господи, — шибко уж жадные!

— Ладно, развякался...

— Лучше в яме сгноит, но чтоб никому не досталось! Чалдоны проклятые!

— Чо ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе.

Сергей Федорыч ничего не сказал на это.

Некоторое время ехали молча — отходили.

— Ну, што свояк-то? — первым заговорил Емельян Спиридоныч. Ему хотелось дослушать историю.

Сергей Федорыч еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотелось рассказать, и он продолжал:

— Ну, едет, стало быть. Попадается на дороге старичок. Так себе — старичок. Бородка беленькая, сам небольшой... с меня ростом. И шибко грустный. «Подвези, — говорит, —

меня, мужичок, маленько». А свояк у меня хороший мужик был, уважительный. «Садись, дедушка». Сел старичок. Ну едут себе. Старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как дремлет — намаялся в городе. Да. И тут видит свояк; лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел: пшеница. Да крупная такая пшеница — зерно к зерну. Обрадовался, конечно. Хотел поднять, а не может. Он уж его и так и эдак, не может поднять — и все. Что ты будешь делать? Крикнул старичку иди, мол, подсоби поднять, я не могу один. Старичок негромко так засмеялся и говорит: «Не поднять тебе его никогда, мужичок. Ведь это хлеб ваш... Видишь: будет он сперва большой, рясный, а потом сгорит все. И мор будет страшный». Сказал так и пропал. Нет ни старичка, ни куля. Свояк оробел. Подхлестнул лошаденку — и скорей в деревню. Рассказал знающим людям. Те услыхали и пригорюнились — не к добру это. «Это же, — говорят, — Николай-угодничек был! Ходит, сердешная его душа, по земле... жалеет людей». А уж к зиме и начался у них мор. Валил старого и малого. Вот и вышло, что не подняли они свой урожай тогда.

— К чему эт ты рассказываешь? — спросил хмурый Емельян Спиридоныч. История тронула его. Только не понравилось, что Сергей Федорыч рассказывает таким тоном, будто Николай-угодник тоже доводится ему свояком.

— К тому, что душа... тоже как человек бывает, — ответил Сергей Федорыч. — В образе.

Емельян Спиридоныч ничего не сказал. Чувствовал себя каким-то обездоленным и злился.

— А чего эт ты давеча про рай сказал? — спросил он. — Каких туда не пускают?

— Богатых.

— Почему?

— Потому что они... ксплотаторы. И должны за это гореть на вечном огне.

Емельян Спиридоныч пошевелился, сощурил презрительно глаза.

— А ты в рай пойдешь?

— Я — в рай. Мне больше некуда.

Емельян Спиридоныч потянул вожжи.

— Трр. Слазь.

— Чего ты?

— Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь — наездишься вволю. Нечего с грешниками вместе сидеть, — Емельян

Спиридоныч не шутил. Серые глаза его были холодны, как осенняя стылая вода. — Слазь, а то дальше не поеду.

Сергей Федорыч вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге — коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам.

— Но в огне тебе все равно гореть, — сказал Сергей Федорыч. — Буду проходить мимо — подкину в твой костер полена два.

— Я тебя, козла вонючего, самого в костер затяну.

— Затянешь!.. Там вот с такими баграми стоять будут — сторожить... Но ты не горюй шибко: может, тебя еще не будут жечь. Ты мужик здоровый — на тебе черти могут в сортир ездить. Это все же полегче. Зануздают тебя, на хребтину сядут и...

— Я тебя самого сичас зануздаю! — озлился Емельян Спиридоныч. — Пристегну к Монголке, и будешь бежать, голодранец! Да еще бича ввалю.

Сергей Федорыч поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, примерил в руках.

— Иди пристегни... Я те так пристегну, что ты вперед Монголки своей прибежишь.

— Ой! — Емельян Спиридоныч снисходительно поморщился. — Трепло поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу.

— А ты опробуй. Иди.

— Руки об тебя не хочу марать.

— А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так отделаю...

— Хэх, козявка!.. Хоть бы уж молчал!

— Волосатик. Из тебя только щетину дергать. Боров!

Емельян Спиридоныч остановил лошадь.

— Ты будешь обзываться? Поверну сичас и уеду. Иди тогда один.

— А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебе спущу? На, выкуси, — Сергей Федорыч показал фигу.

Емельян Спиридоныч подстегнул Монголку и скоро пропал за поворотом впереди.

— Ничего, тут уж немного осталось, — вслух сказал Сергей Федорыч и зашагал в том направлении, куда уехал Емельян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки.

27

О том, что они, Клавдя и Кузьма, хотят пожениться, Клавдя объявила утром, когда завтракали:

— Тять, мам, я замуж выхожу.

Агафья вскинула глаза на Кузьму и опустила. А Николай, удивленный, спросил:

— За кого?

— Вот за него, за... Кузьму.

Николай еще больше удивился. Но и обрадовался. Ему нравился Кузьма. После смерти Платоныча он всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только он никогда не думал, чтобы они — его дочь и Кузьма — сообразили такое дело.

— Я согласный, — сказал он.

Агафья не так представляла себе сватовство. Даже огорчилась.

— Так уж сразу и согласный! — накинулась она на мужа. — Отмахнулся! Одна-единственная доченька... — она вытерла воротом кофты повлажневшие глаза. — Зверь какой-то, а не отец.

Николай растерялся. Посмотрел на Кузьму. Тот сам готов был провалиться на месте.

— А ты... не хочешь, что ли? — спросил Николай жену.

— Причем тут «хочешь», «не хочешь»? Никто так не делает. Не успели заикнуться — он уж сразу согласный. Как вроде мы ее навяливаем кому.

— Да зачем вы так? — вмешался Кузьма. — Кхе! Мы спросили... Я не знаю: как еще нужно?

— Сынок, — Агафья ласково посмотрела на него, — это ведь дело не шуточное. Тут подумать надо. Легко сказать — замуж! Замуж — не напасть, замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко и знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься...

Николай сморщился, отбросил ложку.

— Эх, повело тебя! Чего ты говоришь-то? Ну, ходил. И правильно. А я до тебя к Нюрке Морчуговой ходил. Да не один раз!

— Да ты-то уж сиди! — махнула рукой Агафья. — Ты шалопут известный.

— Что «сиди»! Что «сиди»! Я кто ей — отец или нет? Завела: ходил свататься... Мало, значит, ходил. Если не согласная, говори сразу. Нечего тут хвостом вилять.

Кузьма ерзал на табуретке... Шрам на лбу горел огнем.

Клавдя улыбалась. Ей, кажется, все это даже нравилось.

— Мам, дак ты согласная? — спросила она, запрятав усмешку в глубь серых прозрачных глаз.

— Несогласная! Вот! — выпалила Агафья, вконец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось и что ее, Агафью, никто всерьез не принимает.

— Ну, тогда што же... — печально заговорил Николай и подмигнул Кузьме, — тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала, — он вылез из-за стола, начал одеваться. — Пошли, Кузьма, нам по дороге.

Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли.

— Не горюй, Кузьма, — начал Николай, когда вышли за ворота, — все будет в порядке. Это она так, выламывается.

Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный, очень неглупый мужик, тоже становится его большим другом, как Федя. «Хорошие люди!» — невольно подумал он.

— Если глянется — все. Сыграем свадьбу. У меня возражениев никаких нету, — продолжал Николай.

— Глянется, — бездумно сказал Кузьма.

— А жить-то... тут будешь?

— Здесь. Куда я теперь?.. — хотел досказать: «... без дяди Васи». Но смолчал.

— Ну и ладно! — Николай хлопнул Кузьму по плечу и свернул в переулок.

Кузьма пошел дальше, в сельсовет. Настроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать — и все. Что еще надо в жизни?»

28

Рубили школу довольно дружно. Нежданно-негаданно сработала опись имущества, которую организовал Платоныч: одни струсили, другие решили — на всякий случай, чтоб власти зачли, когда понадобится.

Руководил строительством Сергей Федорыч. Он оживился в последние дни (Марью с Егором они привезли тогда с Емельяном Спиридонычем. Сейчас Марья жила у Любавиных — как полагается). Он покрикивал на мужиков, балагурил... Дело вел толково.

Кузьма все дни пропадал там. Почернел под солнцем. Обтесывал топором кругляки, первый лез закатывать на ряд готовые бревна, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину. Курил со всеми вместе. Обедал тут же, сидя на горячем, смолистом бревне. Мужикам нравился. Говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления: «Вот тебе и городской!»

Про банду за все это время было слышно мало: в какой-то далекой деревне увели лошадей, где-то изнасиловали учительницу...

Любавины на стройку не ходили. Рубили всем семейством избу Егору. Сергей Федорыч частенько убегал туда — помочь, а потом, после полудня, приходил и несколько смущенно спрашивал:

— Ну, что у вас тут?

Кузьме свои отлучки объяснял просто:

— А как же? Должен.

Кузьма понимающе кивал головой.

Школа потихоньку росла.

Заложили ее посреди деревни, на взгорке. С верхнего ряда уже теперь видно было далеко вокруг; ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашеная жесть трех домов — Любавиных, Беспаловых и Холманских. По береговой улице тупились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани (их огород клином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне); Кузьма невольно по нескольку раз на дню смотрел сверху в их ограду — надеялся издали увидеть Марью. Так лучше — издали. Встретиться с ней сейчас, заговорить было бы... трудно. Недавно рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз зачастило, и свернул в переулок. А взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо... К жене стал все-таки вроде привыкать. Сперва он стыдился, когда Клавдя вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков, окликнув его, показывал:

— Твоя бежит.

Он отходил в сторону, вытирал исподней стороной рубахи потное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдя.

— Уморился? — спрашивала она.

— Маленько есть. Что там у тебя? — Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное: пирожки какие-нибудь, блинцы масленые, холодное молоко, мягкие шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой впритруску...

Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавдя сидела рядышком и говорила деловито:

— Пораньше не придешь седня?

— Не могу.

— Ну уж, парень!

— А что?

— Покосить отцу помочь. Ему тяжело одному.

— Не могу. Рад бы...

Клавдя критически оглядывала сруб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб:

— Господи батюшка... когда вы уж ее кончите.

— Кончим.

С любовью Клавдя не донимала. Кузьма поначалу боялся: начнутся какие-нибудь попреки, обиды: поздно пришел, неласковый, мало разговариваешь... Ничего подобного! Как есть, так и есть.

С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые отношения.

Иногда вечерком, попозднее, они ездили за сеном (Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом и сметывал в прикладок на дворе, а зимой не знал горя). Ездили на двух парах, бричками. Навьючивая возы, Николай как-то очень ловко подхватывал вилами-тройчатками огромные пласты пахучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал высоко на воз. Пласт ложился как влитой — не топорщился.

— От так, — говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним.

Он помаленьку, с удовольствием приучал его к крестьянской работе.

— Может, сгодится, — рассуждал он.

Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навыка и сноровки труд. Даже расколоть чурку — и то непросто.

— Вот, гляди, — показывал Николай, — вот сук, — так ты старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп! — короткий взмах колуном — и чурка, в добрый обхват, легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку

какой-то деревянной посудины. — Понял? Силой тут не надо. Силой пускай медведь работает.

Или принимались пилить дрова. Кузьма старался, налегая что есть силы на пилу.

— Э, друг! — смеялся Николай. — Так у нас ничего не выйдет. Так мы с тобой упаримся только. Запомни: когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю, но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопытиться. И пила будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, ты отпускай совсем. Есть, правда, хитрые — тут-то как раз и жмут. Но это... нехорошо. Ты ж не такой.

Долго не мог Кузьма научиться запрягать лошадь в телегу. То седелку забудет надеть, то наденет седелку, но забудет перевернуть хомут клешнями вверх и тщетно пытается надеть его на голову лошади. А когда седелка и хомут надеты и шлея верно заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга... А сколько поднимать на переметнике, он так и не понял до конца.

Иногда за ними наблюдала Клавдя и хохотала над старательным и неловким мужем.

— Чего ты смеешься? — сердился Николай. — Посмотрел бы он на нас с тобой на заводе ихнем...

Просто и хорошо было с Николаем. Только с Агафьей у Кузьмы как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг:

— А вот возьмешь да уедешь от нас?

— Куда же я уеду? Незачем теперь ехать.

— Ну... пошлют куда-нибудь.

— Ну и что? Поедем с Клавдей вместе.

Лицо у Агафьи сразу делалось кислым.

— Вот и начнется тогда жизнь... Нет, уж ты просись, чтобы тут оставили. Чего зря мотаться-то? А то заедешь куданибудь да бросишь там...

Кузьма не знал, что на это отвечать. Молчал. Старался вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае она не затевала таких разговоров.

29

Когда Федя вернулся домой (его не было недели три), он увидел: рядом с его ветхим жильем, жарко сияя на солнце

свежеструганными сосновыми боками, стояла новенькая изба. Федя с удивлением разглядывал ее из своей ограды: «Кто-то работнул!»

В избе жили: на окнах висели белые занавески, и стояли горшки с цветами. Перед окнами, на кольях, выжаривались под солнцем крынки. В ограде возились, играя, два голенастых щенка. Бродили куры.

Федя попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строиться, но не мог. Повел Гнедка к колодцу. Напоил, искупал холодной колодезной водой. Дома насухо вытер его кошмой и насыпал в ясли отвеянного овса.

— Ешь теперь.

Постоял еще немного посреди ограды (Хавроньи дома не было, на двери висел огромный замок; вечно боялась за свои юбки) и пошел от нечего делать к новым соседям — узнать, кто они такие.

Вошел и остолбенел у порога: за столом сидели Егор и Марья. Обедали.

— Здорово, сосед, — сказал Егор, насмешливо разглядывая гостя.

— Здорово, — ответил Федя и сел на новую беленькую табуретку около печки, запыленный, в грязных сапогах, весь пропахший травами и конским потом.

Не знали, о чем говорить.

Марья под каким-то предлогом вышла из избы.

— Отстроился? — спросил Федя.

— Отстроился, — ответил Егор.

Опять долго молчали.

— Ну, бывай здоров! — Федя поднялся уходить.

— Погоди, — остановил Егор. — Ты вроде как зуб на меня имеешь?

Федя посмотрел на Егора.

— Нет. Ты-то причем?

— Я за брата не ответчик...

Федя нетерпеливо шевельнул рукой: он не хотел об этом говорить.

— Посиди, что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-соседски жить, — Егор поднялся, вышел на крыльцо.

Марья сыпала курам просо.

— Слышь, — позвал ее Егор.

— Ты что, имени, что ли, не знаешь? — обиделась Марья.

— Там у нас есть под полом?

Марья прошла в избу.

Слазила под пол, налила туесок пива, поставила на стол. Потом так же молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, разложила все на тарелки.

Федя, серьезный и неподвижный, сосредоточенно курил. Смотрел в пол. С его сапог на чистый половичок стекали черные капельки воды (обрызгался у колодца).

Егор налил три стакана.

— Ну, давай сосед, — за хорошее житье.

— Давай, — охотно согласился Федя.

Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулся с Егором. С Марьей забыл. Он как будто не замечал ее. А когда она сама осторожно звякнула своим стаканом о его, он почему-то покраснел и быстро, ни на кого не глядя, выпил. Налили еще по одному.

— Давай, сосед.

— Ага.

Марья пить больше не стала. Сидела, облокотившись на стол, разрумянившаяся, красивая.

Федя упорно не смотрел в ее сторону. Пил и хмуро разглядывал туесок. Не закусывал.

Егор после каждого стакана вытирал ладонью губы и громко хрустел огурцом.

Выпили уже стакана по четыре. Пиво было крепкое, Игнатов подарок.

У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось.

— Макара искал? — спросил Егор.

— Ага, — Федя отодвинулся от стола. Закурил. — Пойдем прихватим бутылочку? — предложил он, глядя на Егора задумчивыми глазами.

— Хватит вам, — сказала Марья. — И так выпили... Чего еще?

— Ну, я пошел тогда.

— Будь здоров. Забегай когда...

— Ладно.

Федя ушел.

Марья некоторое время смотрела на дверь, потом призналась:

— Чудной какой-то. Большой такой, сильный, а его почему-то жалко. Как ребенок...

Егор поднял на нее помутневшие глаза, долго, непонятно смотрел. Потом сказал:

— Тебе всех жалко... — и отвернулся.

Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с подойником, сообщила:

— Напился Федор-то... Поют с Яшкой песни. Хавронью выгнали из избы, — помолчала и добавила задумчиво: — Что-то у него есть на душе — грустный давеча сидел. Хороший он человек.

Егор молчал. Он тоже пил один и сейчас вспомнил некстати поляну у Михеевой избушки, Закревского.

Марья процедила молоко, вытерла со стола.

— Ужинать собирать?

Егор встал — он сидел на кровати, — пошел к порогу разуваться.

Марья проводила его глазами.

— Что ты, Егор? — Подошла, хотела сесть рядом.

Егор стащил сапог и босой ногой, не говоря ни слова, толкнул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку. Схватилась руками за живот, заплакала.

— За что же ты меня так?.. Всю жизнь теперь будешь?.. Господи...

Второй сапог снимался трудно. Егор перегнулся, лицо налилось кровью, верхняя губа хищно приподнялась — открылись крупные белые зубы.

В избе было сумрачно и тепло. Настоявшийся запах смолья от новых стен отдавал вином.

Марья, всхлипывая, разобрала постель, сняла с кровати подушку, одеяло, раскинула себе на полу.

Егор незаметно следил за ней.

Марья разделась, легла, отвернулась к стене и затихла.

Егор не спеша, мягко ступая потными, натруженными ступнями по прохладному гладкому полу, подошел к жене. Постоял.

— Устроилась?

Марья не ответила.

Егор нагнулся, осторожно, чтобы не захватить тело, забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком поднял жену. Марья с испугом смотрела на мужа. Егор тоже смотрел на нее — в упор, внимательно. Потом тихонько, невесело засмеялся.

— Што? — и вдруг привлек к себе, крепко сдавил в руках, теплую, обиженную.

Марья обхватила голыми руками крепкую шею мужа и заплакала всхлипами, горько.

— Дурной ты такой... Что ж ты мучаешь меня? Убил бы уж тогда сразу... Понял ведь, что ничего не было. Забыть не можешь...

— Ну, ну, ладно... — Егор скупо ласкал жену и о чем-то думал.

— По животу меня больше не трогай.

Егор отстранил ее, поймал посчастливевшие смущенные глаза Марьи, заглянул в них, отвернулся, глуховато сказал:

— Давай спать.

30

Наступил покос.

Школу бросили строить. Объединялись семействами и выезжали далеко в горы: травы там обильные, сочные, не тронутые скотом. Выезжали все. В деревне оставались старики и калеки.

Кузьма поехал вместе с Федей, Яшей Горячим и другими. Николай на покос не ездил — он в это время уезжал в город и нанимался подрядчиком готовить лес на сплав. На этот раз поехали Агафья и Клавдя, — у них свой, бабий счет: за то, что они работали на покосе, бабы и девки из других семейств должны были зимой напрясть им пряжи или выткать столько-то аршин холста.

Покос — самая трудная и веселая пора летом. Жара. Солнце как станет в полдень, так не слезает оттуда, — до того шпарит, что кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветерка, ни облачка... В раскаленном воздухе звенит гнус. День-деньской не умолкает сухая стрекотня кузнечиков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло. Лошади беспрерывно мотают головами.

Зато, когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми красками заря, на земле благодать. Где-нибудь далеко-далеко зазвучит, поплывет над логами и колками печальная девичья песня, простая и волнующая. Поют про милого, который далеко... И как тоскливо и холодно жить, когда неразумные мать с отцом выдадут за богатого дурака, некрасивого и грубого...

С лугов густо бьет медом покосных трав. Взгрустнули стога. В низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей земле разливается задумчивая, хорошая тишина.

Выехали к вечеру, чтобы устроиться с жильем, переночевать, а с утра пораньше начать косить.

Ехали на четырех бричках. На трех разместились люди, четвертая была загружена граблями, косами, вилами и разным скарбом, который необходим людям вдали от дома: старая одежонка, посуда, ружья...

Кузьма сидел в одной бричке с Федей, Клавдя — в другой.

Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый парнишка Васька Маняткин, курносый и отчаянный. Свесился Васька набок, держит левой рукой ременные струны вожжей. А с правой тяжелой змеей упал в пыль дороги четырехколенный смоленый бичина... Орел!

Пара каурых рвет постромки. Бричка подскакивает на ухабах. А с нее вверх, в синее небо, летит песня. Что-то светлое, хрупкое — выше, выше, выше... Аж страшно становится.

Сронила колечко-о
Со правой руки-и-и;
Забилось сердечко
По милом дружке-е-е...

Высоко! — коснулась неба и — раз! Упало нечто драгоценное на землю, в травы. Разбилось.

Охх!..
Сказали — мил помер,
Во гробе лежи-ит,
В глубокой могиле
Землею зары-ыт.

Плачут голоса. Без слез. Горько.

Надену я платье,
К милуму пойду,
А месяц покаже-ет
Дорожку к нему...

Сплелись голоса в одну непонятную силу, и опять что-то живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительная русская песня:

Пускай люди судят,
Пускай говорят,
Что я, молодая,
Из дома ушла...

И вот широко и вольно, наперекор всему — с открытой душой:

Пускай этот до-омик
Пылает огне-ом,
А я, молодая,
Страдаю по не-ом...

Дослушал песню Кузьма, и защемило у него сердце: захотелось, чтобы дядя Вася был живой. Чтобы и он послушал дивную песню. И... взглянуть бы ему в глаза... Хоть раз, один-единственный раз. Понял бы дядя Вася, что в общем-то трудно Кузьме живется, слишком необъятный у него путь на земле и слишком нравятся ему люди. Порой трудно глаза поднять на человека, — потому что человек до боли хороший. Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока ничего не сделал. И не знает, как сделать. Иногда ему даже казалось, что с подлыми жить легче. Их ненавидеть можно — это проще. А с хорошими — трудно, стыдно как-то. Дядя Вася... он понял бы. Он много понимал. Со школой — это он правильно задумал. За это можно смотреть в глаза хорошим людям. А паразиты убили его... змеи подколодные.

— Что задумался? — спросил Федя.

— Так... Поют хорошо.

— Поют — да. Послушаешь, что они там будут делать!

— Мы долго там будем?

— Недели две, — Федя помолчал, улыбнулся и сказал, как большую тайну: — Я для того корову держу, чтобы летом на покос ездить. Шибко покос люблю. Молока-то я бы мог так сколько хошь заработать... На покосе люди другими делаются — умнее. А еще за то люблю, что там все вместе. Так — живут каждый в своей скворешне, только пересудами занимаются, черти. А здесь — все на виду. И робят сообща...

— Интересно говоришь, — отозвался Кузьма одобрительно, — мысли у тебя... хорошие. Вон кое-где мужики в коммуны организовались... Слыхал?

— Слыхать слыхал, — задумчиво проговорил Федор. — Поглядеть бы, что и как. Да поблизости от нашей Баклани-то нет их — как поглядишь?

Помолчали.

— Ты далеко был, Федор? — спросил Кузьма.

— Когда?

— Ну, когда Макара искал.

— А... далеко, — Федор сразу помрачнел. — В горы они подались. Макарка теперь атаманит. Там их трудно достать.

— А много их?

— С полста. Их в одном месте защучили было — отстрелялись. После этого и ушли. Теперь лето, каждый кустик ночевать пустит.

Солнце клонилось к закату. От холмов легли большие тени. Там и здесь с косогоров сбегали веселые березовые рощицы. Когда на них ложилась тень, они делались вдруг какими-то сиротливыми. Снизу, из долин, к голым их ногам поднимался туман, и было такое ощущение, что березкам холодно.

Бабы молчали. Мужики задумчиво смотрели на родные места. Курили. Далеко оглашая вечерний стоялый воздух, глуховато стучали колеса бричек и вальки.

Приехали поздно ночью. Разложили большой костер и при свете его стали сооружать балаганы. Это веселая работа. Парни рубили молодые нежные березки, сгибали их, связывали прутьями концы — получался скелет балагана. Потом на этот скелет накладывали сверху веток и травы. Внутри тоже выстилали травой.

Кузьма попробовал залезть в один. Там было совсем темно, и стоял густой дух свежескошенной травы. Кузьма лег, закрыл глаза.

А вокруг — невообразимый галдеж — разбирали одежду, захватывали лучшие места в балаганах, смеялись. Время от времени взвизгивала какая-нибудь девка, и кто-то из взрослых не очень строго прикрикивал:

— Эй, кто балует?

Костер стал гаснуть, а люди еще не разобрались. Кто-то из парней «нечаянно» попал в девичий балаган. Там поднялся веселый рев, и опять кто-то из взрослых прикрикнул:

— Эй, что вы там?!

— Петька Ивлев забрался к нам и не хочет вылазить, черт косой!

— Я это место давно занял, — отозвался Петька.

— Я вот пойду огрею оглоблей, — спокойно сказал все тот же бас. — Нашел, дьволина, где место занимать!

— Губа не дура, — поддержали со стороны.

Кто-то потерял друга и беспрерывно звал:

— Ваньк! Ванька-а! Где ты? Я тебе место держу!

Костер погас, а шум не утихал. Пожилые мужики и бабы всерьез начали ворчать:

— Хватит вам, окаянные! Завтра подниматься чуть свет, а они содом устроили, черти полосатые!

— Молодежь — под лоханкой не найдешь.

— Пусть хоть один проспит завтра! Самолично дегтем изгваздаю.

— Спать! — сурово сказал бас, и стало немного тише.

Кузьме нравилась эта кутерьма. Он понимал теперь, почему Федя любит покос. Это смахивало на праздник, только без водки и драк. Он лежал, прижавшись к чьему-то теплому боку, и беззвучно хохотал, слушал озорных ребят и девок. «Где-то Клавдя там моя», — с удовольствием думал он.

Он попал в балаган с пожилыми. В нем было тихо. Зато в соседнем ни на минуту не утихала возня. Ребята прыскали в кулаки, гудели. Иногда кто-нибудь негромко звал:

— Маня. А Мань! Манюня!

— Чего тебе? — откликались из шалаша подальше.

— Это правда, что ты меня любишь?

— Правда. Высохла вся.

— Что ты говоришь! Я тебя тоже. Поженимся, что ли?

— С уговором, что ты, перед тем как целоваться, будешь сопли вытирать.

В том и в другом балагане приглушенно хохотали.

— Я сейчас пойду женю там кого-то! — опять сказал бас, уже сердито. — Кому сказано — спать!

Кузьма никак не мог вспомнить, кому принадлежит этот бас.

Возня стихала, но потом опять все начиналось сначала. Опять слышалось:

— Маня! А Маня! Х-хых...

Маня больше не отвечала.

— Девки! Пойдемте саранки копать?

— Спите, ну вас, — ответили из девичьего балагана.

Понемногу все затихло. Скоро отовсюду слышался легкий, густой, с придыхом, с присвистом храп. Люди спали перед трудным днем, как перед боем, — крепко.

Поднялись, едва забрезжил рассвет. Отбили литовки и пошли косить.

Молодые не выспались, ежились от утреннего холодка, зевали.

— Господи, бла-аслави! — громко сказал высокий, прямой мужик с выпуклой грудью (Кузьма узнал вчерашний бас), перекрестился и первый взмахнул косой.

Литовки мягко и тонко запели. Тихо зашумела трава.

Шли вниз по косогору. Мужики — впереди.

Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел Кузьма в бабьем ряду за Клавдей. Клавдя была в том самом легком ситцевом платьице — с мелкими ядовито-желтыми цветками по синему полю, — в котором Кузьма впервые увидел ее, и подвязана белым платочком под подбородок, маленькая, аккуратная, броская, сама как цветок, неожиданный и яркий в тучной зелени долины.

Кузьма с радостью смотрел на нее. «Чего я, дурак, искал еще?» — думал он.

Клавдя часто оборачивалась к нему, улыбалась:

— Не отставай!

Кузьма не жалел себя. Работа веселила его; в теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая, размашистая сила.

Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, вжикают... Жжик-свить, жжик-свить... Вздрагивая, никнет молодая трава.

Ряд пройден. Поднялись по косогору и пошли по новому. К полудню выпластали огромную делянку. Стало припекать солнце. Прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись.

Кузьма намахался... Руки, как не свои, висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо!

Кто-то показал на соседний лог:

— Любавины наяривают. О!.. жадность, — все нипочем!

Кузьма посмотрел, куда указали. Там, на склоне другого косогора, цепочкой шли косцы. За ними ровными строчками оставалась скошенная трава, — красиво. Белели бабьи платочки. «Какая-то из них — Марья», — спокойно подумал Кузьма.

Вечером, когда жара малость спала, еще косили дотемна.

Кузьма еле дошел до своего балагана. Есть отказался. Только лежать!.. Вот так праздник, елки зеленые! Ничего себе — ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть.

Клавдя пришла к нему.

— На-ка поешь, я принесла тебе.

— Не хочу.

— Так нельзя — совсем ослабнешь.

— Не хочу, ты понимаешь?

Клавдя положила ему на лоб горячую ладонь, наклонилась и поцеловала в закрытые глаза.

— Мужичок ты мой... Это с непривычки. Поешь, а то завтра не встанешь.

Кузьма сел и стал хлебать простоквашу из чашки.

— До чего же я устал, Клавдя!

— Я тоже пристала.

— Но ты-то ходишь, елки зеленые! Я даже ходить не могу.

— И ты будешь. Привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой...

— Ты больше не зови меня длинненьким.

Клавдя размашисто откинула голову, засмеялась.

— Что ты?

— Да я же любя... Что ты обижаешься?

— Не обижаюсь... а получается, что я какой-то маленький.

— Ты большой, — заверила Клавдя и погладила его по голове.

Кузьма усмехнулся — на нее трудно было злиться.

Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи.

Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок. Как будто не было никакой усталости! «Железные они, что ли?!»

Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, Холманских, — эти гуртовались в покос отдельно, на особицу.

Здешние парни косились. Не было дружбы между этими людьми — ни между молодыми, ни между старыми.

Затренькали балалайки. Учинили пляску. В беспаловской родне был искусный плясун — Мишка Басовило, крупный парень, но неожиданно легкий в движениях.

И здесь тоже имелся один — Пашка Мордвин, невысокий, верткий, с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами.

Поспорили: кто кого перепляшет?

Образовали круг.

Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать камаринского.

Первым в пляс кинулся Мишка Басовило. Что он выделывал, подлец! Выворачивал ноги так, выворачивал этак... шел трясогузкой, подкидывая тяжелый зад. А то вдруг так начинал вколачивать дробаря, что земля вздрагивала.

Зрители то хохотали, то стояли молча, пораженные легкостью и силой, с какой этот огромный парень разделывает камаринского.

Мишка с маху кидался в присядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги... Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки. А то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленам, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя... В заключение Мишка встал на руки и под восторженный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был плясун ухватистый, природный. Опасный соперник.

Пашка понимал это.

Он вышел на круг, дождался, когда шум стих... Кокетливо поднял руку, заказал скромненько:

— Подгорную.

Едва балалаечник притронулся к струнам, Пашку как ветром вздернуло с места и закрутило, завертело... Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом:

Как за речкой-речею
Целовал не знаю чью.
Думал, в кофте розовой,
А это пень березовый.

Пашка хорошо пел — не кривлялся. Секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было приятно.

Частушек он знал много:

Я матанечку свою
Работать не заставлю,
В Маньчжурию поеду —
Дома не оставлю.

Ловко получалось у Пашки: поет — не пляшет, а только шевелит плечами, кончил петь — замелькали быстрые ноги... Ухватистый, дерзкий.

С крыши капали капели, —
Нас побить, побить хотели,

С крыши — целая вода, —
Не побить нас никогда!

Под конец Пашка завернул такую частушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно загоготали.

Стали судить, кто переплясал. Трудное это дело... Пришлые доказывали, что Мишка; Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего.

— А что Мишка?! Что ваш Мишка?! — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью (его за то и прозвали Горячим, что зиму и лето рубаха его была расстегнута чуть не до пупа). — Что Мишка? Потоптался, как бык, на кругу — и все! Так я сам умею.

— Спробуй! Чего зря вякать-то, ты спробуй!

В другом месте уже легонько поталкивали друг друга.

— Тетеря! Иди своей бабушке докажи!..

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то как толкану...

— По уху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел!

— Шантрапа! Голь перекатная!

— Катись отсюда... Мурло!

— Ну-ка, ну-ка... Что ты рубаху рвешь?.. Ромка, подержи балалайку...

Могла завязаться нешуточная потасовка, но вмешался Федя Байкалов.

— Э-э!.. Брысь! Кто тут?! — он легко раскидал в разные стороны не в меру ретивых поклонников искусства, и те успокоились.

— Да обои они, черти, здорово пляшут! — воскликнул кто-то.

Это приветствовали смехом. Уладилось. Снова началась пляска как ни в чем не бывало.

Опять тренькала балалайка. Плясали девки. Парами, с припевом, сменяя друг друга.

Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдю.

Клавдя плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху, — очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую дробь. Голова гордо и смело откинута — огневая, броская.

«Молодец! — похвалил Кузьма. — Моя жена!»

Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать, —
Подсобила бы свекровушке
Капусту поливать, —

спела Клавдя и обожгла мужа влюбленным взглядом.

Некоторые оглянулись на Кузьму.

«Это она зря», — смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. «Здорово дают... Молодцы. Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто».

Разошлись поздно.

Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, прилег рядом. Хотелось поговорить.

— Здорово ты их давеча! — негромко, с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди. — Одного не понимаю, Федор: как они могли тебя тогда избить? Макар-то...

Федя пошевелился, кашлянул в ладонь. Тихо сказал:

— Ничего. Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью.

— Найдем мы их, Федор, — не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма.

— Найдем, — просто сказал Федя.

— Федор, ты в партизанах был?

— Маленько побыл. Баклань-то не задела гражданская. Человек пятнадцать нас уходило из деревни — к Страхову. Шестерых оставили. А один наш в братской могиле лежит на тракте — сродственник Яши Горячего.

— А Яша тоже был?

— Был, ага. Яшка удалой мужик.

— А ты убивал, Федор?

Федор долго не отвечал.

— Приходилось, Кузьма. Там — кто кого.

— Больно тебе было? — тихонько спросил Кузьма. — Когда Макар-то...

— Больно, — признался Федя. — Когда бороду жгли... шибко больно.

— А сейчас не болит?

— Не... Потрогай, — Федя нащупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. — Еще гуще стала... чуешь?

— Ага. Как проволочная.

— Ххэ!..

Опять замолчали.

Кузьма, засыпая, невнятно сказал:

— Спокойной ночи, Федор. Знаешь... я как в яму начал проваливаться.

— Спи. Тут воздух вольный. Хорошо.

Мир мягко сомкнулся над Кузьмой.

В последующие дни продолжали косить. А часть людей ворошили подсохшее сено — переворачивали ряды на другую сторону. Копнили.

Кузьма втянулся в работу и теперь уставал не так.

31

По вечерам плясали, пели песни. Старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали разинув рот.

Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины. Что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей — другое не берет. Что клад, который никому не завещали, будет мучать седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле — прямо из земли вырастает рука и машет ему: иди, мол. Или: захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая — из золота: все тот же клад в руки просится. А возьмешь его — примешь грех на душу. Вот и гадай тут: возьмешь — грехи замучают, не возьмешь — клад замучает, потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо.

...Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то — давно-давно — увозили черти.

Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне — невысокий, плотный, с белой опрятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев. Их было двое таких на покосе. Второй, еще более древний, — сгорбленный, зеленолицый старик с реденькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили: «Три волосинки, и все густые». Звали его очень странно — дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сбрую, Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и вилы.

Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился.

Придвинулся к огоньку раскурил «ножку» — папиросу-косушку — и начал...

— Ну, значит... было это, дай бог памяти, годе во втором, не то в третьем — до японской ишо. Загулял я как-то — рождество было. День гуляю, два гуляю... На третий, однако, пришел домой. Стал разболакаться-то, да подумай — как подтолкнул кто: дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу схо-

жу. Кума Варлама вы не помните. Вон Махор помнит. Богатырь был. Как рявкнет, бывало, на одном конце деревни — на другом уши затыкай. Дэ-э... Вышел я. А уж под вечер. На дворе мороз с пылью.

Только я из ворот — а по переулку летит пара с бубенцами. Снег веется. Чуток с ног не сшибли: тррр! «Эй! — кричат. — Кум! Мы за тобой. Падай в кошевку!». Кумовья оказались: кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо — пал в кошеву. Подстегнули они коней и понесли. Дэ-э... Ну, сижу я в кошеве и света белого не вижу — до того ходко едем. А кумовья знай понужают да посвистывают. «Куда, — говорю, — едем-то?». Кумовья только засмеялись. И тут, — видно, и на их, окаянных, сила есть, — только захотел же я курить. Так захотел — сердце заходится. Ну, свернул папироску, стал прикуривать. Чиркаю спичками-то. Одну испортил, другую, третью — с десяток извел, ни одной не зажег. Ну и подумай про себя: «Господи, да что же я прикурить-то никак не могу?». Только так подумал — кумовьев моих как век не было рядом. И сижу я не в кошеве, а на снегу. Вокруг — ни души. Темень — глаз выколи. Тут я струсил. Хмель из головы сразу вылетел. Сижу, как огурчик. Главное — не пойму: что со мной делается? А тут еще поземка начинается, дергает низом: к бурану дело. Что делать? И слышу — далеко-далеко звенят колокольчики: динь-динь, динь-динь...

Похоже, ямщики с грузом.

Закричал я что было силы: «Не дайте душе сгинуть!». Кричу, а колокольчики все — динь-динь, динь-динь...

Я еще громче: «Карау-ул! Погибаю, люди добрые!». Слышу — смолкли колокольчики. Я — кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое. На вéршнах. Кричат: «Где ты там? Шуми — на голос едем» — «Здесь, — говорю, — ребяты. Вот он я!».

Остановились саженях в пяти. «Кто такой?» — спрашивают. «Христианин, — говорю, — вот — крещусь. Плотник из Баклани, такой-то. Слыхали, может?». Один узнал, — ямщик, ночевал у меня раза два. «Как попал сюда?» — «А сам, — говорю, — не знаю».

Когда вышли на тракт, тут только узнал я, где нахожусь: верстах в семи от деревни.

Ну, сел я на воз-то и все не верю, что домой еду, — перепужался. Рассказал ямщикам, а те только засмеялись. «Ты сам-то, — говорят, — понимаешь, какие это кумовья были?»

Никон помолчал, погасил окурок, сплюнул в костер и закончил:

— Такая была история.

Все сразу заговорили. История понравилась.

Кто-то вспомнил подобную же:

— А я вот слыхал... тоже увезли одного... но только того — на болото. Тоже, говорит, пир горой шел, а потом закричал петух, и никого не стало. А он на кочке сидит...

И оттого, что такие истории, оказывается, уже бывали и что много похожего в них, рассказ Никона казался убедительным.

— Бывает, бывает... Чего только не бывает на белом свете.

— Окаянные, чо им нужно?

— Надо же — завезти человека вон куда и бросить!

Еще рассказывали про перевертушек... Про какую-то знаменитую колдунью...

Костер потрескивал, выхватывал из тьмы трепетный, слабый круг света. А дальше, выше, кругом — огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем не страшно, что Земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то — в бездонное, непостижимое, в мрак и пустоту. Здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь.

Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки.

32

Следующий день начался для Кузьмы необычно.

Он копнил с бабами.

Работал в паре с Клавдей. У той все получалось как-то очень аккуратно. Воткнет вилы в пласт сена, навалится на них всем телом, упрет черенок в землю — раз! — пласт перевалился.

Кузьма тоже хотел так: глубоко загнал вилы, навалился на них... — черенок хрястнул.

Клавдя долго смеялась над ним.

Кузьма пошел к стану сменить вилы.

У крайнего балагана, на дышле, под которым была подставлена дуга, висела зыбка с ребенком. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, по-

ехала на покос с грудным. Днем за ним присматривали старики — Махор и Никон. Она только кормить приходила.

Сейчас их не было — ни того, ни другого.

Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди у ребенка, встревожился, прибавил шагу... И похолодел: змея. Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем зыбки. Как завороженные смотрели друг на друга человек и змея. Поразили Кузьму глаза ее — маленькие, острые, неподвижные, как две черные гадкие капельки.

То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно не столько для него, сколько для ребенка: можно было не успеть подскочить.

Об этом Кузьма не подумал. Подскочил к зыбке, схватил змею, кажется, прямо за голову кинул на землю.

В этот момент из-за балагана вышел Никон.

— Змея! — крикнул Кузьма.

— Где?

— Вон!.. Вон она!

Змея стремительно уползала по выкошенной плешине к высокой траве.

— А-а... Это — сичас... Черня! Черня! — позвал Никон.

Откуда-то вылетел большой красивый пес, вопросительно уставился на хозяина.

— Вон, — показал Никон.

Пес в несколько прыжков настиг гадюку, схватил ее, трепанул и отпрыгнул, загородив ей путь к траве. Змея поднялась чуть не наполовину, разинула рот и грозно зашипела. Пес изготовился к прыжку. Мах!.. — промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три высоко подпрыгнул. Змея успела свернуться в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. Прозевай Черня долю секунды, ему пришлось бы плохо: она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась, тотчас опять вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомниться, прыгнул. Присев на задние лапы, быстро закрутился на месте, не позволяя ей дотянуться до своей головы. Бросил, отпрыгнул. Змея была уже сильно израненаи разъярена. Она кинулась сама. Тут-то и настиг ее Черня. Он обрушился на змею с такой силой, что сам не устоял, перевернулся, вскочил и принялся рвать ее и крутиться... Через минуту со змеей было покончено.

Кузьма и Никон наблюдали за этим сражением. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Только когда Черня подбежал к ним, Никон поласкал его за ухом и сказал:

— Умница.

Кузьма сел на землю. Колени противно тряслись от пережитого страха.

— Дед... ведь змея-то в зыбке была.

— Чего-о?!

— Так. Смотреть надо... Вам поручили, елки зеленые!

Никон тоже сел на землю.

— Ах ты, господи... грех-то какой! Только отлучился по нуждишке — и вот... Как же ты ее?

— Выбросил.

— Как выбросил?

— Сам не знаю. Рукой выбросил.

— Дак она не ужалила тебя! Ты, может, сгоряча не заметил?

Кузьма внимательно осмотрел ладонь.

— Нет, ничего.

— Господи, грех какой мог быть! — опять заговорил Никон. — Ты уж не говори никому, а то мать-то с ума сойдет.

— Ладно. Только ты смотри все же!.. — Кузьма поднялся. — Забыл, зачем пришел... А-а! Вилы. Вилы сломались.

Долго еще потом не мог очухаться Кузьма. Вздрагивал, вспоминая гладкий змеиный холодок в руке.

В обед, когда все разбрелись по балаганам соснуть часок-другой, пока не схлынет жара, Кузьма пошел в березник неподалеку — поесть костяники.

Ему нравилась эта ягода — кисленькая, холодная, с косточкой в середине.

Он сразу напал на такое место, где почти под каждым листиком была костяника. Долго ползал на коленях, не успевая собирать. И вдруг услышал негромкий разговор... Поднял голову. На сухой колодине спиной к нему сидели дед Махор и Никон. Курили «ножки», беседовали.

— Давно хотел узнать у тебя... Это правда, что ли?

— Что?

— Что черти увозили.

Никон как-то странно хмыкнул.

— Так и знал, — сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля. — Здоров!.. А как было-то?

— Зачем тебе?

— Пошел ты к едрене-фене. Умирать скоро, а у его все секреты!

Никон сдвинул фуражку на затылок.

— Заблудился с пьяных глаз. Хотел в Куйрак, а попал... вон куды.

— Так. А зачем в Куйрак?

— Ну вот... расскажи ему все! Ты что — поп?

— Хэх, ты, бес! Да ведь ты к этой, наверно... черная бабенка там жила... Забыл теперь, как звать ее было, греховодницу. Цыганиста така... Ворожейка.

— Может, к ней, — согласился Никон.

Дед Махор некоторое время молчал, потом тронул темной, как высохшее дерево, рукой морщинистую шею, сказал негромко:

— Я тоже бывал там, язви ее.

— Ворожил?

— Ага.

Долго тихонько хохотали, не глядя друг на друга.

— Ну и ну!.. Как на тот свет-то явимся?

Никон подумал и в тон приятелю сказал:

— Попросимся, может, пустят. А не пустят — здесь тоже неплохо.

Кузьма неслышно выбрался из березника и пошел к стану.

«Вот черти!.. Надо же такое придумать! И ведь как складно врал вчера!»

Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал, отвел Никона в сторону.

— Я давеча невзначай подслушал ваш разговор... Так вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста: для чего ты вчера так здорово... выдумал? Я не осуждаю... просто хочется знать. А? Я никому не скажу.

Никон ничуть не смутился. Заулыбался.

— А для антиресу. Скажи людям, что заблудился пьяный, — скучно. Они это давно знают, что пьяный может заблудиться. А так... редко бывает... Теперь узнал?

После обеда, благословясь, заложили первый стог.

Кузьма с ребятишками подвозил копны.

Федя Байкалов стоял под стогом. Без рубахи, бугристый, с неимоверно широкой грудью. Бабам он не нравился такой:

— Прямо смотреть страшно... Господи! Куда уж так?

Стогоправом стоял дед Махор — дело это не тяжелое, но искусное. Надо суметь так вывершить стог, чтобы он не скособочился через недельку и не подставил запавшие бока проливным осенним дождям, — иначе пиши пропало сено. Сгниет.

Бабы накладывали на волокушу большущие копны (чтобы окаянный Федя надорвался, а то вздохнуть не дает — все ждет), перехватывали копну веревкой, и копновоз волок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться. Развязывал веревку, придерживал копну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу... Плевал на руки, некоторое время примеривался, с какого боку лучше взять! Всаживал вилы, подгибался рывком и...

— Опп!

Огромная копна с непонятной легкостью вздымается высоко вверх. Федя некоторое время танцует с ней, выискивая устойчивое положение.

Весь напрягся...

— Держи! — толчок — копна на стогу.

Там ее долго растаскивает, раскладывает, утаптывает дед Махор. А Федя выбирает из волос насыпавшееся сено. Ждет следующую.

— Чего там? Заснули? — кричит бабам.

Кузьма захотел пить, но воды в ведре не оказалось.

— Съезди напейся и нам заодно привезешь, — попросила Клавдя.

Кузьма поехал к ручью.

Еще издалека узнал Марью. Сердце подпрыгнуло и словно провалилось куда-то...

Он остановил коня, хотел повернуть, но Марья уже увидела его. Быстро надернула юбку на голые колени — она стирала мужнину рубаху — распрямилась.

Кузьма подъехал к ручью.

— Здравствуй... те, — сказал он и улыбнулся.

— Здравствуешь, — Марья тоже улыбнулась.

Некоторое время молчали, глядя друг на друга.

— Как живешь? — спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это как во сне — будто перелетел с горы на гору.

— Живем... Ты как?

— Да тоже.

Лошадь потянулась к воде, ссыпая глинистый край берега.

— Разнуздай коня-то, он пить хочет.

Кузьма суетливо и долго отстегивал удилину. Никак не мог.

Марья засмеялась. Негромко, необидно.

— Дай-ка, — подошла, разнуздала и осталась стоять рядом.

Кузьма услышал запах ее волос, тонкий отдающий сухостойным солнечным травняком. Увидел, как на шее, около уха, трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками-лучиками вокруг зрачка.

— Что ты? — спросила она.

Еще заметил Кузьма: когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится.

В груди даже больно сделалось — как горячая железка влипла.

— Ну, что ты?

— Не знаю, — Кузьма качнул головой.

— Люди же увидют, — сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы. — Увидют, что стоим... Уезжай.

— Сейчас... — Кузьма не шевельнулся.

Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу — со лба вниз, легонько толкнула.

Кузьма повернулся, пошел к коню.

Марья зачерпнула в ведро воды, подала ему.

— На, — посмотрела строго, внимательно. — Уезжай, — и отвернулась.

Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться от этого ощущения.

Его поджидали с водой.

Он отдал ведро и сказал Клавде:

— Я сейчас... Мне нужно.

Поехал в стан.

Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рукав рубахи. Долго лежал так. Все. Короткое спокойное счастье его разлетелось вдребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой, — смотрела снизу.

Судьба словно сжалилась над ним.

Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани.

— Там пришли эти, с Макаром! Порох по домам ищут, лопотину забирают...

Федя уже надевал рубаху. Подхватили ружья, какие были, пали на коней и понеслись.

— Объехай всех, кто есть из деревни! — сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом.

Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону.

Лошади подравнялись на ходу одна к другой. Шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул.

В деревню залетели на полном скаку.

Встретили на улице старика.

— Поздно хватились. Ушли...

— Куда?

— А дьявол их знает! У меня папаху отобрал один, чтоб ему...

— Куда, в какую сторону поехали?! — заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне.

— Что ты на меня-то кричишь? Сказал — не знаю.

— Давно?

— Не шибко давно.

Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам.

Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которой только что приехали, с тем чтобы потом свернуть к парому через Баклань: там начинались согры, чернолесье.

За деревней встретили еще человек пятнадцать, ехавших с покоса. Соединились.

Объездили километров двадцать в округе — банда как в землю ушла. Даже следов не оставила.

Вернулись под вечер. Приехали другие группы. Бандиты ушли.

Разошлись по домам посмотреть, что они натворили. Взято было немного: кое-что из одежды, сапоги, ремни... Зато порох подмели вчистую в каждом доме.

Кузьма заехал к Сергею Федорычу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал.

— Топор взяли, паразиты! Ведь все равно иззубрят об камни. А он мастеровой.

Кузьма устало присел на верстак.

В завозне было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи... В углу свалены неошиненные колеса.

— Ах, варнаки проклятые! — ругался Сергей Федорыч, сокрушенно качая головой. — Что я теперь без топора буду делать?

Кузьма встал:

— Спросят — скажи, я в район поехал. Скоро вернусь.

— Ты зачем туда?

Кузьма, не отвечая, вышел из завозни, сел на коня и выехал со двора.

33

Вернулся Кузьма через два дня.

Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет.

Его встретил на крыльце сияющий Елизар.

— У нас гость! — возвестил он, непонятно улыбаясь.

Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем.

— Какой гость?

— Гринька Малюгин.

— Что ты говоришь!

Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет: подумал, что Гринька пришел сам.

— А где он?

— В кладовке.

— Его поймали, что ли?

— Ага. Федя Байкалов вчера привел. Накостылял ему, видно, по дороге. Едва приволок.

Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползала с места на место.

На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся старому знакомому.

— А-а! Здорово живешь!

— Здорово, — весело сказал Кузьма. — Со свиданьицем! Очень рад.

— Спасибо! — откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. — Опять меня поведешь?

— Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?

— Бывает, — сказал Гринька и опять харкнул в потолок. — Бывает, что и петух несется.

— Федор тебя поймал, говорят?

— Этому человеку можешь от меня передать, — Гринька снял со стены ноги, сел на скамейке, — я у него в долгу.

— Какие вы грозные все! «В долгу-у»... Плевал он на таких страшных!

Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, улыбнулся.

— Глянешься ты мне, парень, — сказал он. — По-моему, ты не дурак. Тебя как зовут?

— Отдыхай пока. Потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать.

Гринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой.

— У меня, паря, всю жизнь невеселые дела. Так что не пужай, — лег и опять закинул ноги на стенку.

— Ну, такого у тебя еще не было, — сказал Кузьма, вышел и запер кладовку.

Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб.

— Гриньку беречь, как свой глаз, — сказал Кузьма. Бросил на лавку красноармейскую шинель и шлем. — Да, и вот еще что: я теперь буду секретарем сельсовета.

Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму.

— Понятно. Что секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго не снимают.

— Снимут, — добросердечно пообещал Кузьма. — Сами бакланцы снимут, — и вышел на улицу.

Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться.

— Как же ты поймал его? — спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу.

— А он сам в руки шел. У нас телок вчера пропал, я пошел вечером поискать за деревней. Смотрю — Гринька идет. Ну... мы пошли вместе.

Кузьма улыбнулся, хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал: Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться.

— Я теперь секретарь сельсовета, — сказал Кузьма.

Федя с уважением посмотрел на него.

— Теперь, я думаю, Гринька знает про них — в одних местах были.

— И Гриньку тряхнем. За всех возьмемся, — Кузьма был настроен воинственно.

— Давно еще сказывал мне один человек, — заговорила слабым голосом Хавронья, — что есть, говорит, дураки в

полоску, есть — в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас: вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду по тайге ходют... испокон веку. И будут ходить.

— Лежи поправляйся, — добродушно сказал Федя.

— Тебе, дураку, один раз попало — неймется? Он вот узнает, Макарка-то, про ваши разговорчики! Нашли, с кем связываться... с головорезом отпетым.

Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Феде, они вышли на улицу.

— Я вот чего пришел: Любавины с покоса приехали?

— Приехали.

— Возьми Яшу, и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту. Потом пойдем арестуем старика Любавина.

Федя задумался.

— Зачем это?

— У меня, понимаешь, такая мысль: банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь. А? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит. Отдохнет.

— Можно, — согласился Федя.

— Я быстро схожу.

Любавины только пришли из бани.

Емельян Спиридоныч распарил старые кости, лежал на кровати в исподнем белье, красный. Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал: ломило зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их.

Михайловна собирала ужинать.

В избе было тепло, пахло березовым веником. Заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой, пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоныча. Он начал играться ею. Спиридоныч шваркнул его голой ногой.

— Щекотно, черт тя!..

— А? — спросила Михайловна.

— Не с тобой.

В сенях хлопнула дверь, заскрипели доски под чьими-то тяжелыми шагами.

— Ефим, наверно, — сказал Емельян Спиридоныч.

В избу вошли Кузьма, Федя и Яша.

— Здравствуйте.

— Здорово были, — Емельян Спиридоныч сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарка что-нибудь отколол», — подумал он.

Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держась рукой за щеку.

— Собирайся, отец, пойдешь с нами, — сказал Кузьма Емельяну Спиридонычу.

Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся.

— Куда это он пойдет? — спросил Кондрат.

— С нами.

— Для чего?

— Я там объясню... — Кузьма переступил с ноги на ногу: слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверно, придется сказать.

— Ты здесь объясни, — Кондрат отнял от щеки руку. — Где это там объяснишь?

— Одевайся! — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоныча.

— Никуда он не пойдет! — тоже повысил голос Кондрат.

Емельян Спиридоныч потянулся рукой к спинке кровати.

— Я только штаны надену, — сказал он сыну.

Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время.

— Побыстрей можно? — не выдержал Кузьма.

— Ты не покрикивай, — спокойно сказал Емельян Спиридоныч. — Мне некуда торопиться.

— Ты арестован.

Емельян Спиридоныч прищурился на Кузьму.

— Это за что же?

— За дело.

— Вот что!.. — Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. — Ну-ка поворачивайте оглобли — и... к такой-то матери отсюда!

Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор, спокойно глянул на Кондрата.

— Не ругайся.

Кондрат остановился... Смерил Федю глазами.

— А ты-то чего тут?

— Так... на всякий случай.

Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку.

— Земледав.

— Не ругайся, — еще раз сказал Федя.

— Ты чего, в партизанах, что ли? — спросил его Емельян Спиридоныч. — Ты, может, перепутал?

— Пошто? — не понял Федя.

— Чего ты тут командываешь?

— Я не командываю.

— Хватит разговаривать, — сказал Кузьма. — Собирайся.

Емельян Спиридоныч стал одеваться.

Вышли, громко стуча сапогами, спустились с крыльца.

— Хочу зайти по малому, — заявил Емельян Спиридоныч.

— Пойдем вместе, — сказал Кузьма.

Отошли за угол. Через некоторое время вернулись.

— Куда теперь?

— В сельсовет.

Ночью Кузьма беседовал с Гринькой.

— Дело плохо, Гринька, — грустно сказал Кузьма. — Есть такая бумага, в ней говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания.

— Ха-ха-ха! — Гринька от души расхохотался. — Камедь!

— Мало смешного, Гринька, — не меняя выражения лица, продолжал Кузьма. — Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан.

— Покажи.

— Чего?

— Гумагу эту.

— У меня нет ее.

— Ха-ха-ха!.. Про банду хочешь выпытать, — я тебя наскрозь вижу.

— Она в районе. Но завтра я получу ее. Покажу тебе.

— Не верю.

— Как хочешь. Я тебя не уговариваю верить.

Замолчали.

Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень.

— Не верю я все ж таки, — опять сказал он.

Кузьма пожал плечами.

Гринька закурил.

— В районе знают, что меня поймали?

— Нет еще.

— Тогда давай говорить, как умные люди: я тебе рассказываю, где банда, ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорога. Идет?

У Кузьмы загорелись глаза.

— Где банда?

— А отпустишь?

— Отпущу. Но сначала скажи: где банда?

Гринька оглушительно расхохотался.

— Все! Влип ты, парнища! По маковку! Никакой такой гумаги у вас нету. Эх, милый ты мой!..

Кузьма понял: поторопился. Однако быстро совладал с собой, выражение лица его стало скучным.

— Я думал, ты действительно умный человек. А ты — дурак в клеточку.

— Никогда товарищей своих я не выдам, — важно, даже торжественно сказал Гринька. — Отсидеть три года или пять — отсижу. Ничего. Убегу. Но с гумагой ты ловко придумал, дьявол. Я ведь правда поверил...

— Ладно, иди порадуйся последние минутки.

Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал:

— Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты запомни.

— Запомню.

«Эх, черт! Поторопился...».

Домой Кузьма пришел перед светом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. Ворочался на жаркой перине, кряхтел...

— Чего ты? — сонным голосом спросила Клавдя.

— Ничего. Кто это у вас перины такие сообразил? Потолще нельзя было?

— Ты все чем-нибудь недоволен. Ему делают как лучше...

— Что ж тут хорошего? Лежит целая гора, елки зеленые! — усни попробуй! В кочегарке и то прохладней.

Наконец он ушел совсем от Клавди — на пол. Но и там не мог заснуть. Дело было не в перине.

Утром, чуть свет, он вскочил, выпроводил из горницы Клавдю, закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука.

Клавдя несколько раз стучала в дверь, звала завтракать, Кузьма не выходил. Он делал печать.

Таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью — для образца.

В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков... Наконец к полудню печать была готова.

Кузьма пришлепнул ее к бумаге. Сравнил с настоящей... Грустно стало. От его печати так явно несло липой, что надеяться можно было только на Гринькину «великую» грамотность.

Потом он написал бумагу. Она гласила:

«Приказ по Запсибкраю № 1286.
Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий...»

Кузьма не знал отчества Гриньки. Вышел, спросил у Агафьи.

— Ермолай у них отец был, — сказала Агафья.

«...Григорий Ермолаевич, уроженец д. Баклань, за свои безобразные поступки объявляется вне закона.

Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, т.е. расстрел.

Начальник краевого управления ГПУ».

Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал: «Саблин». И — печать.

Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. «А — ничего! Что ему еще нужно?»

Пошел в сельсовет.

Гринька чувствовал себя превосходно.

— Что, дитятко?

— Вот, почитай, — Кузьма протянул ему сложенный вчетверо приказ.

Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее.

— Ты читать-то умеешь?

— Читать-то?.. — Гринька посмотрел бумагу на свет. — Читать я, парень, не умею.

— Давай я тебе прочитаю.

— Пусть другой кто-нибудь...

— Почему?

— А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю.

— Да почему не то? — загорячился Кузьма. — Почему не то?! Что ты ерунду говоришь?

— А-а... — Гринька понимающе оскалился. — Пусть другой прочитает.

— Другому нельзя, — Кузьма растерялся: он не знал, что Гринька совсем не умеет читать, надеялся — по складам прочтет. — Это секретный приказ.

Гринька вернул бумагу.

— Тогда сходи с ней в одно место.

Кузьма озлился:

— Ну, Гринька!.. Не проси милости. Как человеку... помочь хотел. Не хочешь — не надо. Сегодня расстреляем. Все.

Гринька пошел вразвалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся:

— Ты такими шутками не шути.

— Все. Кончен разговор.

Лунной ночью Гриньку повезли на «расстрел».

Ехали с ним в телеге трое: Кузьма, Федя и Яша.

Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками — ему не отвечали.

Выехали за деревню, в лес.

Гриньке помогли сойти с телеги, привязали к дереву. Сами отошли на несколько шагов.

Федя и Яша зарядили ружья.

Гринька внимательно наблюдал.

В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели. Тоскливо ухала сова.

Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу. На Гриньку не глядел.

Федя и Яша вскинули ружья...

— Стой! — крикнул Гринька. — Я расскажу про банду.

Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями.

— Говори, — велел Кузьма.

— Я скажу, а эти... стрельнут.

— Нет, — Кузьма немного помедлил. — За то что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно: сидеть все равно придется.

— Расскажу, черт ее бей.

В деревню гнали вмах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам.

У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей.

Федя отвез Гриньку в сельсовет, запер в кладовой и помчался домой за лошадью.

Когда он верхом вернулся к сельсовету, там было уже человек пятнадцать мужиков и парней — все на лошадях и с ружьями.

Кузьма был в сельсовете: ждали еще с дальнего края деревни человек восемь надежных ребят.

Наконец подъехали и эти.

Тронулись в путь.

Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. Верст двадцать от Баклани, в таежном предгорье.

Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог.

Дорога сначала была торная, но потом, в тесных увалах, сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса и огромными камнями. Отряд далеко растянулся, даже две лошади не могли идти рядом.

«Выбрали место, сволочи», — думал Кузьма.

Федя ехал впереди.

— Далеко еще, Федор?

— Верст семь-восемь.

Прошло еще полчаса. Федя остановил коня.

— Скоро уж... Надо, чтоб не шумели.

Кузьма передал назад: не шуметь!

Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно, до боли в глазах, всматривался во тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор на темном небе, не видел.

Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо.

— Тут, — шепнул Федя, останавливаясь.

Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствия здесь людей. «Неужели обманул Гринька?», — со злостью подумал Кузьма.

Сзади подъехал Федя.

— Тут небольшая ложбинка, как тарелка... А в ней полно камней. Они, наверно, в этих камнях.

— Надо сейчас брать. Верно?

Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы: одна двинулась в обход слева, другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа; справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней оставили под присмотром двух парней.

Стрельбу открывать договорились по выстрелу Кузьмы.

Он пошел с группой вправо.

Путь был трудный. Лезли по узкому карнизу уклона, цепляясь за выступы камней, за ползучие чахлые кустики. Вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз, в ложбину. Сделалось тихо. Все замерли.

— Кто там? — спросил снизу сонный голос.

Тягучая, томительная тишина.

— Кто там? — спросили еще раз встревоженно.

Опять никто не ответил.

Внизу прошумели шаги. Неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул.

Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал: сейчас начинать или выждать? Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним, вверх, освещая ноги в сапогах и замшелые валуны.

Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путаную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела.

Снизу стали отвечать. То там, то здесь во тьме брызгали узкие стремительные огни. Вразнобой, сухо грохотали винторезы, гулко и дураковато бухали переломки большого калибра, редко пробивались собранно-четкие, тукающие винтовочные выстрелы.

Звонко, с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Свистела дробь.

Кузьма стрелял из-за камня, ругаясь сквозь зубы. «Не так, не так надо было!.. Черт их достанет там, за камнями!

Не окружили... Могут уйти, если поймут, что та сторона свободна. А понять легко, потому что оттуда не стреляют».

— Федя! Зайдем с той стороны! — крикнул Кузьма. И тут же увидел, что его опасения сбываются: огоньки выстрелов внизу начали продвигаться именно в ту сторону.

— Уйдут! — заорал Кузьма. — Уходят! Братцы!..

Тахх! Тах! Тумм! Тахх! — гремели ружья.

— Пошли-и! Не давай им уходить! — Кузьма вскочил и, спотыкаясь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. Один Федя.

— Ну что-о?! — отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху. — Что-о?!

Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы.

Другая группа не могла услышать — далеко.

«Провалили дело», — понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам.

— Ушли! — крикнул ему на ухо Федя.

Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать», — решил он.

Кто-то — человека три — из той группы тоже увязались за отступающими бандитами. «Правильно делают, — похвалил Кузьма. — Мы их замотаем к утру».

— Ушли, — еще раз с тоской сказал Федя. — У них там кони...

Кузьма чуть не застонал: заранее не угнали коней-то! Действительно, с той стороны горы у бандитов паслись кони.

Приученные к выстрелам, они не разбежались. Бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиеся отстреливались. Их становилось все меньше. Наконец последний, часто стреляя, вскочил на коня и ускакал. Все. До обидного просто и быстро.

Кузьма сел на камень, закусил губу, чтоб стало больно. Хотелось зареветь, заорать на кого-нибудь. Но орать нужно было только на себя.

Пристыженные неудачей, злые и мрачные, собирались к лошадям. Сморкались, кашляли. Материли перепуганных коней. Подобрали двух раненых бандитов и поехали домой.

К рассвету были в деревне.

Кузьма расседлал коня, вошел в дом, разделся, завалился к стенке, за Клавдю, долго не мог уснуть.

34

Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно стукнули.

— Кто? — спросил Егор.

— Отвори.

— Макар?! — Егор открыл дверь. — Ты что, сдурел? Тебя же ищут!

— Огня не зажигай, — сказал Макар. Ощупью прошел к лавке, в передний угол, тяжело опустился. Вздохнул. — Марья дома?

— Дома, — откликнулась с кровати Марья.

— Здорово, Марья.

— Здравствуй, Макар.

— Заделай чем-нибудь окна... хочу посмотреть на вас, — попросил Макар.

Егор завесил окна: одно — одеялом, другое — скатертью со стола. Зажег лампу.

Макар сидел, навалившись боком на стол. В высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, — красивый и бледный.

— Соскучился, — сказал Макар, устало улыбнувшись. — Как живете?

— Тебя ж поймать могут! — Егор невольно глянул на дверь.

— Не поймают, — Макар поднялся, достал из кармана какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею... Подавая Марье, качнулся — он был пьян. — На... подарок мой тебе. На свадьбе-то не подарил ничего.

— Господи!.. Красивая-то какая! — Марья примерила золото на себя.

— Носи на здоровье. Дай закурить, Егор. Все есть, а вот табачок — не всегда, — закурил, сел, опять навалившись боком на стол. — Хорошую избенку срубили, я смотрю.

— Про отца-то слыхал?

— Что?

— Посадили ж его!

— Про это слыхал.

— От кого?

— Слыхал... — неопределенно сказал Макар.

Помолчали.

— Трепанули вас вчера, говорят?

— Было маленько.

— Взвозился, парень... упрямый, гад. Накроет.

— Ничего-о, — спокойно протянул Макар, — Поглядим, кто кого накроет.

— Дома не был?

— Нет. Как живете-то?

— Живем, — сказал Егор, нахмурился и нагнул голову. — Ничего.

— Наши как?

— Ничего тоже. У Кондрата жена померла.

— Царство небесное. Отмучился Кондрат.

— Плакал, когда хоронили...

— Ну... привык. Жалко, конечно. Засеяли все?

— Засеяли... что толку? Опять начнуть хапать.

Макар поднялся:

— Ну... я поеду. Дай табачку на дорогу.

Егор высыпал ему в карман весь кисет.

— Больше нету. Завтра рубить хотел.

— Хватит этого. Поехал, — Макар вышел.

Под окном тихонько заржал конь... Приглушенно прозвучал топот копыт по пыльной дороге. И все стихло.

— Жалко Макара, — сказала Марья. — Связался с этими...

Егор дунул в стекло лампы, лег на кровать с краю и только тогда сказал:

— Мне, может, самому его жалко.

— Дай твою руку под голову, — попросила Марья и приподнялась с подушки.

— Лежи, — недовольно сказал Егор.

Марья опустила голову.

— Неласковый ты, Егор.

Он ничего не сказал на это. Думал о брате Макаре. Марья с минуту наверно, лежала тихо, потом вдруг приподнялась и испуганным шепотом спросила:

— Егор!.. А он иде его взял-то?

— Кого?

— Подарок-то! Может, он убил кого-нибудь да снял? А?

— Откуда я знаю...

— Тошно мнеченьки!.. Как же теперь? Грех ведь!

— Лежи ты! — вконец обозлился Егор. — Не брала бы тогда.

— Так я откуда знала?.. В голову не пришло. Куда теперь деваться-то с ним? Может, в речку завтра?.. Он же задушит. На нем же кровь чья-нибудь...

— Отдашь завтра мне, я спрячу. А счас спи, не заполошничай.

Утром Агафья вошла в горницу к спящим Кузьме и Клавде. Толкнула Кузьму. Тот быстро вскинул голову.

— Что?

— Вышла сичас, а в дверях бумажка какая-то... На, прочитай.

Кузьма развернул грязный клочок бумаги. На нем химическим послюнявленным карандашом неровно и крупно написано:

«Отпусти отца. А то разорву пополам на двух березах. Так и знай.

Любавин Макар».

— Что там?

— Так... Ерунда какая-то.

— Я думала, святое письмо. У нас, когда церкву сломали, святые письма находили так же вот.

— Нет, тут что-то неразборчиво. Хулиганит кто-нибудь.

— Чего доброго, этих варнаков хватает. В прошлом годе чего удумали, черти. Вот наспроть нас домик-то стоит с зелеными ставнями...

— Ну.

— Там Фекла Черномырдина живет, старая девка. А она шибко жадная до всяких тряпок. Прямо, где увидит лоскуток, затрясется вся. Так они, охальники, додумались: наложили в цветастую тряпочку отброса разного и засунули в скворешню. А кончик тряпки выставили наружу, чтоб его видно было. Ну, встает утром Фекла, видит в скворешне этот лоскуток. «Тошно мнеченьки, — говорит, — какую красивую тряпочку-то скворушки принесли!» Подставила лесенку, поднялась и залезла рукой в скворешню-то... Ну, вляпалась, конечно. Так ругалась, так ругалась — на чем свет стоит.

— Хм... А кто это делает?

— Да ребята холостые. По целым ночам ходют, жеребцы, выдумывают, — Агафья вышла.

Кузьма вскочил с кровати, одеваясь, сквозь зубы сказал:

— Клюнул, Макар Емельяныч! Клюнул, дорогой! Я те разорву на двух березах!

— Ты что это ни свет ни заря соскочил? — спросила Клавдя.

— Надо.

Он ополоснулся на скорую руку, пошел к Феде в кузницу. «Смелый, гад, — думал про Макара. — Не предполагал я, что он так рано побывает здесь».

Проходя мимо недостроенной школы, Кузьма остановился. Долго глядел на нее. «Кончать надо строить, пока погода хорошая стоит. Это памятник тебе, дядя Вася».

Федя был в кузнице. Ковали с Гришкой.

— Выйди-ка на минутку, — позвал его Кузьма.

Вытирая на ходу руки о фартук, Федя вышел на улицу.

— Смотри, — Кузьма вручил ему Макаров листок. — Твой друг-приятель весточку подал.

Федя беспомощно повертел в толстых черных пальцах бумажку

— Какой друг-приятель?

— Макар. Слушай, — Кузьма взял у него листок, прочитал.

Федя заулыбался.

— Встретим. Год буду под плетнем сиднем сидеть — дождусь.

В тишине ночи, где-то совсем рядом, захлопали выстрелы: короткие, лающие — из нагана и раза три раскатисто — из ружья.

Егора точно подкинуло с кровати. Он бросился к окну, но на дворе была кромешная темень. Снова раздались выстрелы, кажется — прямо под окном. Потревоженная ночь удивленно заахала: ах! ах! ах!

Егор сшиб ногой табуретку, запрыгал по избе, надевая штаны.

— Зажги огонь! Наверно, Макар...

Марья нашарила на столе спички, трясущимися руками засветила лампу.

Опять начали стрелять.

Егор выскочил на улицу... Некоторое время его не было. Потом в сенях послышались шаги, короткая возня и голос Макара.

— Да погоди! Погоди ты, дура!.. — негромко и быстро говорил Макар.

Егор втолкнул его в избу, сам бросился закрывать сеничную дверь.

Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левого сапога его текла кровь.

Егор вошел в избу.

На улице опять начали стрелять. Макар сморщился, качнул головой.

— Пропадают люди... Они тебя не видали?

— Могли — я в белой рубахе.

И тотчас в дверь с улицы крепко ударили, наверно, прикладом.

— Гаси огонь! — приказал Макар. — Дай ружье.

Марья отбежала от окна, дунула в стекло.

— Заряды есть, Егор? Я из нагана все расстрелял.

Егор молчком мотнулся на полати, и оттуда со стуком посыпались патроны. Макар издал какой-то странный горловой звук, зарядил ружье.

В дверь опять сильно застучали.

Егор ощупью нашел на стене еще одно ружье, снял. Тоже зарядил.

— Становись к окну. А я — у двери. Вместе не стреляй, — распоряжался Макар.

— Много их?

— Четверо, однако.

В дверь забарабанили в три приклада.

— Выходи! Все равно бесполезно! — крикнул кто-то с улицы.

Макар, вышагнув за порог, остервенело всадил заряд дроби в дверь, ведущую в сени.

С улицы ответил наган.

— До света бы уложить всех... — с тоской проговорил Макар, — и я бы спасен.

Егор качнулся от окна, осторожно прокрался в сени.

— Иди к окну, — шепнул он Макару. — Здесь одна дырка есть... попробую...

Макар дохромал до оконного косяка. За окном в этот момент ухнул выстрел, и среднее стекло брызнуло по избе звонким дождем. Почти одновременно с этим в сенях загремело ружье Егора. На улице кто-то коротко застонал и смолк.

Макар взвизгнул от радости... Стал перед окном на колено и сразу выстрелил по какой-то тени, мелькнувшей во дворе.

В это время раздался страшный удар в дверь. Одна доска вылетела и в пролом два раза выстрелили. Егор шарахнулся в избу... но успел тоже выстрелить в пробитую дверь. Судорожно зашарил рукой по полу.

В дверь опять ударили.

— Макар, скорей сюда!

Еще удар в дверь. Еще одна доска затрещала. И стало тихо.

— Слышь, — шепотом позвал Макар.

— Ну.

— Стой у дверей... я попробую в окно выскочить.

— Зря. Не надо, — сказал Егор.

Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор выстрелил в дверь, в щель. С улицы — по двери и по окну сразу. Макар едва успел пригнуться.

— Нет, не выйдет. Пропал я, Егор, — Макар пополз по полу, шаря патроны. — Обложили. Патронов нет больше?

— На, у... меня... два есть, — слегка заикаясь, сказал Егор.

— Выходи, а то хуже будет! — предложили с улицы.

Макар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос.

— Не порть зря, — зашипел Егор.

Макар подполз к окну, положил на подоконник ствол переломки и громко сказал:

— Сдаюсь!

— Выбрось ружье!

Макар не уловил точно, откуда прозвучал голос, и еще раз сказал:

— Сдаюсь, чего вам еще?

— Выбрось ружье, тебе говорят!

Макар довернул ствол влево и выстрелил. С улицы ответили.

— Еще есть? — спросил Макар.

— Нету, — прохрипел Егор.

— Так. Все, братка... Прячь ружье. Я сдамся.

— Зачем?

— Потом убегу. А счас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали.

Егор сунул ружье под печку.

— Держи! — Макар выкинул ружье в окно. Оно упало, тяжело звякнув.

Егор зажег лампу.

В сенях заскрипели шаги. Вошел Кузьма. Быстро оглядел избу, увидел на печке бледную как смерть Марью... Задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно было, чтобы убедиться: жива!

Макар стоял у окна, глупо и напряженно улыбался, глядя мимо Кузьмы.

Егор дрожащими пальцами застегивал рубашку.

— Пошли, — кивнул Кузьма Макару.

— Покурить можно? — спросил Макар каким-то не своим голосом. Даже Егор с удивлением посмотрел на него.

— Там покуришь. Иди.

— Та-ак... — Макар понимающе прищурился. — Даже покурить нельзя? — медленно, как-то боком, двинулся к выходу. — Кокнешь по дороге?

— Иди.

Макар поравнялся с Кузьмой, совсем замедлил шаг. Кузьма несколько отступил. Макар точно ждал этого — резко, словно падая, качнулся вперед и снизу вверх, в челюсть, бросил Кузьму на кровать. Сам кинулся к окну.

Кузьма привстал, но тут же нарвался на кулак Егора, от которого мешком свалился на пол и выронил наган.

Макар вымахнул в окно и... сразу споткнулся, обожженный двумя выстрелами в упор. Даже ногами не копнул, — как бежал, так, с ходу, уткнулся лицом в сухую, теплую землю.

В избу вбежали двое.

Егор поднял руки.

35

Разговор с Гринькой произошел ночью в сельсовете.

— Я тебя отпускаю, Гринька. Иди.

— Совсем?

— Совсем. Иди в свою банду.

— Не удалось накрыть?

— Нет. Но главаря там уже нету.

— А где он?

— Весь вышел.

— Ну, главарей там хоть отбавляй. А зачем ты меня отпускаешь?

— Знаешь, что я думаю?.. Иди туда и посмотри хорошенько на них...

— Я ведь не с ними был, — сказал Гринька неохотно. — Просто знал, где они...

— А сейчас иди к ним.

— Но сказать потом про них... не смогу все равно.

— Почему?

— Я сам такой.

— Другим станешь. Тебе эта жизнь давно осточертела. Я вижу.

— Нет, — твердо сказал Гринька. — Ты парень хороший, но не могу... Лучше не отпускай тогда.

Кузьма долго смотрел на Гриньку.

— Но ты же один раз выдал их.

— Это — когда приперло. Смерть принимать за них я не собираюсь.

Помолчали.

— А с гумагой ты меня все ж таки облапошил! Молодец! — похвалил Гринька.

— Струсил?

— Струсишь...

Опять замолчали. Гринька курил. Кузьма смотрел в окно, обхватив челюсть, сильно болела.

— Ты любил когда-нибудь, Григорий? — неожиданно спросил Кузьма.

— Кого?

— Ну... девку, бабу...

Гринька невесело ухмыльнулся.

— Я-то любил... — он долго смотрел на папироску, словно не решался говорить дальше — главное. Потом сказал: — А вот меня — не шибко. А я, может, и сичас люблю.

— Что ты говоришь! Расскажи.

— Хм! — Гринька с усмешкой посмотрел на Кузьму. — Тебе зачем?

— Интересно. У меня... Ну, интересно.

— Да тут и рассказывать нечего. Живет в одной деревне вдовая баба. Девчонка у ней лет восьми... не от меня, конечно. От мужа. Он бросил ее.

— Ну?

— Ну вот... не любит меня эта баба. А я люблю. Она, наверно, присушила меня. Деньги берет, а как переночевать, скажем, — не пускает.

— Ну, а ты что?

— А что я?.. По-хорошему-то надо бы задрать юбку да выдрать ремнем. А у меня рука не подымается.

— Не трогай. Раз не любит — ничего не сделаешь. Хорошая баба?

— Ну!.. — Гринька весь засиял. — Бывает примерзнешь где-нибудь в лесу — хоть волком вой. А как ее вспомнишь, так, может, не поверишь, сразу жарко становится. Загляденье, не баба. Так бы и съел ее, курву такую...

— Ладно, Гринька. Иди. Думаю, что ты еще придешь к нам. А баба правильно делает, что не любит. Перестань бродяжничать — полюбит. Это я тебе точно говорю.

Гринька еще с минуту сидел, как будто не хотел уходить. Задумчиво смотрел на огонь лампы. Потом встал и пошел к порогу. В дверях остановился:

— Не приду я, парень.

— Придешь. Могу спорить: до зимы придешь.

Гринька усмехнулся и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Кузьма навалился грудью на стол, положил голову на руки. Закрыл глаза. Болела челюсть (как еще зубы не вышиб Егор!), болела голова. Да и устал он за последние дни. Слишком много было всего... Обдумать бы надо все дела, а думать ни о чем не хочется.

В открытое окно с улицы веет прохладой. Где-то на краю деревни прокричал первый петух. Потом заголосило сразу несколько в разных концах, и скоро отовсюду неслось пронзительное, с деловой хрипотцой и надсадой: «Ку-ка-реку-у!».

«Сейчас наш гаркнет», — подумал Кузьма (был один петух, который каждую ночь приходил из соседнего двора и орал под сельсоветскими окнами, с плетня. Как будто специально делал, подлец).

Действительно, за окном шумно захлопали крылья, и тишину ночи прорезал звонкий сторожевой крик.

«Хорошо! Давай еще!»

Но петух прыгнул с плетня и удалился к своим курицам.

Опять стало тихо.

Ночь бесшумно летела на своих больших мягких крыльях.

Около головы Кузьмы тихонько шипела семилинейная лампа — очень ласково. На сердце от этого делалось покойно. «Не буду ни о чем думать», — решил Кузьма, и тотчас в голове зашевелились разные мысли: о Гриньке, о Марье, о братьях Любавиных. «Правильно сделал, что отпустил Гриньку или нет? Кажется мне, что он придет. Что с Любавиным

делать, с Марьиным мужем?.. А Марья? Нет, о Марье не буду думать. Не хочу. И не буду...» Мысли стали путаться в голове. Все отодвинулось куда-то, стало далеким и безразличным.

Проснулся оттого, что хлопнула дверь. Вскинул голову — у порога стоит Марья. Держится рукой за дверную скобку, смотрит на него. Подумал — сон, улыбнулся. Она подошла к столу, села. А сама все смотрит на него — внимательно и скорбно. «Что она так?.. Как будто я умер».

— Я к тебе пришла... Мне Клавдя сказала, что ты здесь. «Это не сон, — понял Кузьма и подумал в смятении: — Зачем же она?»

— Отпусти Егора.

— А-а... — вырвалась у Кузьмы. Он встал и опять сел. — Не могу отпустить, — помолчал и еще раз сказал: — Не могу. Они Федора ранили.

Марья внимательно глядела на него.

«Любит она Егора», — подумал и вдруг понял, почему он с таким жестоким упорством сказал, что не отпустит ее мужа: потому, что она любит его.

Он встал, сцепил за спиной руки, заходил по избе.

— Как же я могу его отпустить? — Кузьма остановился перед ней.

— Он невиноватый.

— Ну? А стрелял кто? А кто... Не могу! Все, — Кузьма крутнулся на каблуках и опять начал вышагивать от стола к порогу и обратно.

— Он за брата заступился.

— А мне какое дело?

— Он не стрелял...

— Стрелял. Стреляли из окна и из двери.

— Отпусти его, Кузьма, — почти шепотом сказала Марья.

Кузьма почувствовал, что на какую-то долю секунды у него закружилась голова... Сдвинулись с места окна, дверь, Марья... Он перестал понимать: что, собственно, происходит? Ночь, никого нет, сидит у стола Марья — совсем близко, в белой застиранной кофточке... смотрит на него. Может, это все-таки сон? Он напряг память и вспомнил, о чем он с ней говорил: о ее муже. Нет, не сон.

— Не отпустишь?

— Нет.

Марья заплакала и сквозь слезы тихонько запричитала:

— Да как же я теперь... Хороший ты мой, отпусти ты его. Пожалей ты меня... Ну, куда же я одна-то? У нас ведь скоро... Невиноватый он совсем.

Кузьма не знал, что делать. Уйти бы сейчас отсюда — лучше всего. Но как же, куда уйдешь?

— Не плачь. Не надо... Что уж ты так?

— Как же мне не плакать, Кузьма? Да я в ноги тебе упаду, — она действительно брякнулась Кузьме в ноги. Тот подхватил ее под руки, поднял.

— Не плачь... Перестань. Не надо плакать.

Никогда еще лицо ее не было так близко — так невероятно, неожиданно и страшно близко. Оно было мокрое от слез, измученное тревогой — красивое, самое дорогое.

Кузьма закрыл глаза, резко отвернулся. Отошел, как пьяный, к окну... Сел на подоконник.

— Уйди, Марья. Тяжело. Уйди. Егора отпущу.

На рассвете пошел дождь. Зашумел ветер. В стекла окон мягко сыпанули крупные редкие капли. Потом ровно и сильно забарабанило по железной крыше. Запахло пылью и старым тесом...

Дождь шумел, гудел, хлюпал... Множеством длинных ног своих отплясывал на крыльце... Звонко и весело лупил по ведру, забытому на колу. Под окнами журчало и всхлипывало. Казалось, настроился надолго. Но кончился он так же неожиданно, как начался. По мокрой листве бойко пробежал ветер, и все стихло. Только с карнизов срывались капли и шлепались в лужи.

Утро занималось ясное, тихое. В синее, вымытое небо из-за горы выкатилось большое солнце. Мокрая земля дымилась теплой испариной и дышала, дышала всей грудью.

Поздно вечером Ефим Любавин вошел во двор к Егору. С любопытством, долго разглядывал разбитую дверь, потом открыл ее и, не входя в избу, позвал:

— Егор! Ты дома?

— Дома, — откликнулся Егор.

— Выйди, покурим.

Егор вышел, обирая с черной рубахи мелкие кудрявые стружки.

Сели на бревно около конюшни.

— Схоронили? — спросил Егор.

— Схоронили. Чего ж не пошел?

— Не могу я его видеть... такого.

— Там было дело, — вздохнул Ефим. — Мать водой отливали.

Егор скрипнул зубами, нагнул голову.

— Белый лежит... хороший, — рассказывал Ефим. — Прямо верба вербой. Большой какой-то иделался сразу.

— Куда попали?

— В бок, вот сюда, — Ефим показал рукой чуть ниже сердца, — и в висок... картечиной.

— Никогда этого не забуду, — тихо, но твердо пообещал Егор.

— Вот, я как раз поэтому и зашел, — Ефим строго посмотрел на младшего брата. — Первое дело: не вздумай сейчас пороть горячку. Хорошо еще — самого отпустили. Могли приварить, как милому, — Ефим помолчал, потом понизил голос и спросил: — Кто из вас Феде-то попал?

— Куда ему?

— В грудь. Да поверху как-то, — он, наверно, аккурат в этот момент повернулся. Доктора привозили из города. Длинноногий ездил. Выковыряли дробины.

— Надо было картечиной.

— Макара я тоже не одобряю, — заговорил серьезно и рассудительно Ефим. — У него, у покойника, сроду на уме была одна поножовщина. Сколько раз ему говорил: «Гляди, Макар, достукаешься когда-нибудь». Ну! Рази ж послухают!

Егор молчал, кусая зубами соломинку.

— Наше дело, Егор, спетое... Теперь помалкивай в тряпочку и не рыпайся. Ничего не попишешь — ихняя взяла. Раз уж не сумели.

— Какой-то ты... — Егор выплюнул соломинку, хмуро посмотрел на брата, — шибко умный, Ефим! Нас будут стрелять, а мы, по-твоему, должны молчать в тряпочку?

— Вас стрелять!.. А вы не стреляли? Кто старика городского хлопнул? Не вы, что ли?

Егор не ответил. Подобрал новую соломинку. Закусил в зубах.

— За тебя Марья хлопотать ходила?

— Она.

— Сумнительно мне, почему выпустили. Что-то не так...

— А что? — Егор так резко крутнул головой, что шейные позвонки хрустнули. Заметно побледнел.

— Ну, думают, наверно, что ты связан с этой шайкой... Следить, наверно, будут.

Егор отвернулся, осевшим голосом, устало сказал:

— Пускай следят.

Помолчали.

— Не могу никак с отцом сладить, — пожаловался Ефим. — Одурел совсем на старости лет: жеребцов каких-то покупает, веялки... Нашел время! А перед тем как Макара убить, привез двух каких-то бродяг из Мангура. Они ему три дня лес возили, он их потом напоил и выгнал — ничего не заплатил. Они — в сельсовет. Хорошо — там Елизар как раз сидел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на Елизара орать начал. Так ничего и не заплатил.

— А как он сейчас, после отсидки? — поинтересовался Егор.

— Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так начал...

— Эх, Макар, Макар... — Егор низко наклонил голову. — Как вспомню, так сердце кровью обольется. Как же они его быстро!.. У тебя самогон дома есть?

— Есть маленько.

— Пойдем, я хоть выпью. Может, полегчает.

Они поднялись и пошли по улице, большие, придавленные горем. Ефим сморкался на обочину дороги и все что-то говорил, Егор смотрел себе под ноги, и непонятно было: слушает он Ефима или думает о чем-то своем.

36

Федя лежал забинтованный от шеи до пояса. Очень слабый. Дремал или смотрел в потолок — подолгу, задумчиво.

Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни. Лежала на печке.

К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма.

Яша рассказывал деревенские новости, а также о том, как и из-за чего у них сегодня произошло «сражение» с женой.

Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был господь бог.

Яша почему-то (он никому не объяснял, почему) с детства люто невзлюбил бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый изъявил желание влезть на маковку и сшибить крест. Влез и сшиб на глазах у всей деревни. Сколько проклятий, молчаливых и высказанных вслух, неслось тогда по адресу Яши! Каждый шаг его на церкви сторожили десятки внимательных глаз: ждали — вот-вот оступится Яша и полетит вниз. Яша не оступился. Добрался до верха, вынул из-за пазухи топор и, поплевав на руки, начал крушить обухом крест. Своротил, проследил глазами за падающим крестом, выпрямился и громко спросил у всех:

— Что же он в меня стрелу не пустил, а?

Никто ему не ответил.

На другой день после этого все верующие были потрясены новым неслыханным святотатством: Яша за одну ночь смастерил из самой большой церковной иконы воротца в хлев. Собрались старики, хотели побить Яшу, но он вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию с жалобой на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону.

Жена Яши, некрасивая чернявая баба, уходила от него, опять приходила, ругалась, плакала, умоляла... Ничто не помогало. Яша был верен себе. Разучил «Интернационал» и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу по стойке «смирно». На словах: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь...» — Яша весь подбирался и пел так громко, что у соседей было слышно. В ближайших домах крестились. Жена уходила куда-нибудь на это время. В избе с Яшей оставался отец жены, тесть Яши, Степан Митрофаныч Злобин, старый высохший человек, много лет прикованный к постели какой-то непонятной болезнью — обезножел.

Яша кончал петь, трижды плевал в красный угол, где раньше висели иконы, и говорил:

— Вот тебе в седую бороду, вот тебе, вот, козел.

Набожный Степан, чуть не плача, говорил:

— Чтоб тебе провалиться, окаянному! Дождесся ты все-таки, будут тебя, отступника, на угольях жарить...

— Хватит, — спокойно говорил Яша. — Меня триста лет в темноте держали. Насчет углей — не пужай. Я не из робкого десятка.

— Богохульник! Анчихрист! Дурак! Наломал бы я тебе сичас бока, но не могу.

— Вот и лежи там, помалкивай. Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебя на ноги не поставит?

Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит бога. Яша под большим секретом рассказал:

— Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было... Ну, был, конечно, но я его не знал.

— Как?

— Ну, как бывает... Нагуляла меня мать. Ну вот... Чуток подрос я, стал мало-помалу соображать, что к чему, и приметил: похаживает к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз — посылает куда-нибудь. Я из дома, а поп в дом. Заело меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил попа. Только он вышел от нас, спустился с крыльца-то, я ему всадил горсть соли в зад. Кэ-эк он подпрыгнет! Как припустит бежать!.. Я чуть со смеху не умер. Ну, узнали они, чья это работа. Поп отлежался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. Два ребра сломал. Да-а... А тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне и сказала, что, значит, поп этот есть мой отец. Возненавидел я попа пуще прежнего. Из-за него, змея ползучего, мать раньше время в могилу ушла. Она была ладная собой... бедная, конечно, но все же могла бы подыскать себе какого-нибудь парня. А тут — я. Кто же возьмет с ребенком? Помучилась-помучилась да и померла. Надорвалась.

Остался я один. Пришлось хлебнуть горя. Родных-близких никого нету, молодой еще... Вспоминать даже неохота. В общем, батрачил ходил: где день, где ночь — сутки прочь. А он тут же, в нашей деревне, жил и, скажи, хоть бы раз кусок хлеба вынес: на, мол, поешь. Ведь сын все ж таки! Ни в жизнь! Увидит, бывало, на улице — отвернется. Ах ты гад такой... отец святой! Вот тогда я и на бога разозлился. Но я все ж таки допек его. Дом у него был здорове-енный, крестовый. Я этот дом поджег. Сгорел домик. Как он глядел тогда на меня, этот поп! Дай волю — съел бы с костями. Знает, гусь лапчатый, что это я поджег, а как докажешь? Отстроил второй дом, поменьше правда. Этот я тоже поджег. Тут уж

он не выдержал — уехал в другую деревню, в Верх-Малицу. Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз, но пожалел его ребятишек. Ну, потом женился я. Женился — так... без всякого выбора. Батрак, ни кола ни двора. Какая уж пошла, такая и моя. Вот так было дело, друг. Вишь, какая жизнь-то!..

С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. Собственно, во всей деревне один Федя и знался с Яшей, и Яша платил ему за это беззаветной любовью и преданностью.

Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду — только чтоб другу не было тоскливо. Кузьма тоже заходил к Феде каждый день.

Однажды Хавронья подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Федя, сказала ему:

— Ты, парень, не ходи больше к нам.

— Почему? — тоже шепотом спросил Кузьма.

— Сгубишь мне мужика. Он сам, видишь, какой... Совсем доконают где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше. И не ходи. Скажи, что некогда, мол... Он отвыкнет.

— Чего это там? — спросил Федя, подозрительно скосив глаза на жену.

Кузьма отошел от Хавроньи, удивленный и обиженный ее простодушной просьбой.

— Это она просила, чтобы я лекарство одно достал, — успокоил он Федю. «Хитрая какая нашлась! Ходил и буду ходить. Не к тебе хожу».

И еще один человек приходил каждый день к Байкаловым — Марья.

Проводив мужа на работу, она бежала в соседнюю избушку, к Байкаловым. Доила корову, пекла хлеб, кормила больных...

Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь.

А когда Марья наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разговаривал. Только смотрел.

Марья распоряжалась в их избе, как в своей, — деловито, уверенно. Иногда, почувствовав на себе Федин взгляд, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя краснел и тоже застенчиво улыбался. Отводил глаза.

Хавронья то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами, подсказывала, где найти чугунок, крынку, куда поставить снятые сливки...

— Марьюшка, — говорила она жалостливым голосом, — это молоко процеди, матушка, и перелей... там под лавкой у меня малировано ведро стоит, перелей в это ведро и вынеси в погребок.

Убравшись по хозяйству, Марья кормила больных.

Подсаживалась на кровать к Феде (он опять краснел), устраивала чашку с супом у себя на коленях, и Федя свободной рукой (другая была прибинтована к телу) осторожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носил из чашки. Марья смотрела на него и иногда говорила:

— Здоровый же ты, Федя! Как только выдюжил...

Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не находил. Неловко усмехался и говорил:

— Да ну... чего там...

Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал:

— Зря за Кузьму тогда не пошла.

Теперь покраснела Марья. Поправила рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек. Сказала не сразу:

— Не надо про это, Федор.

— Почему?

— Ну... не надо.

Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного. Выпрягая из телеги коня, увидел через плетень в байкаловской ограде Марью. Он не окликнул ее. Вошел в избу дождался.

Марья вскоре пришла.

— Где была? — спросил Егор.

— Помогла вон Байкаловым...

— Еще раз пойдешь туда — изувечу.

— Да ведь хворые они лежат!

— По мне они хоть седни сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет.

37

Возобновились работы на стройке.

Уже возвели крышу и теперь настилали пол, рубили окна, двери...

Один раз, с утра, туда пришел Ефим Любавин.

— Хочу пособить вам, — сказал он, улыбнувшись Кузьме.

— Хорошее дело, — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них, — насмешливые и недобрые.

Клавдя, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинке такие же вкусные пирожки и шаньги. Только радости она с собой теперь почему-то не приносила.

Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляшке, молча ел.

Клавдя не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно.

Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился: в глазах у веселой, спокойной Клавди устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся.

— Ты что это, Клавдя?

— Что?

— Какая-то... Чего ты такая грустная?

— Ничего, — Клавдя усмехнулась, — показалось тебе.

Кузьма решил поговорить с ней ночью.

Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала:

— Сохнешь об Маньке... Вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, только ничего не могла с собой сделать...

— Брось ты, слушай... — Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда.

— Думала, привыкнешь... забудешь ее.

— Брось ты, Клавдя, — Кузьма поцеловал ее обветренные губы и невольно подумал: «Нет, что-то не то».

— Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части... Знала...

— Ну, хватит! Ты как заведешь одну песню, так не остановишься. При чем тут сельсовет! — Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зарницы. Лопотали листвой березки... Скрипел от ветра колодезный журавль, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья.

Клавдя притихла на руке мужа: может, заснула, а может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал.

38

Егор корчевал пни — расширял пашню. Уставал. Приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила — и думала, думала.

В гости к ним редко приходили.

Один раз, рано утром, заявился Емельян Спиридоныч.

Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки, плетни. Потом вошел в избу. Поздоровавшись, сказал:

— Там один столбик в пригоне заменить надо — подгнил.

— Знаю. Руки не доходят, — отозвался Егор.

Марья начала торопливо собирать на стол. Молчала.

Емельян походил еще по избе, оглядел окна, постучал в стены, сел к порогу курить.

— Ничего изба получилась.

— Не жалуемся, — ответил Егор.

— Ты все корчуешь? — спросил Емельян.

— Корчую.

— Чижало одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков. Из Ургана.

Егор не сразу согласился.

— У меня пока платить нечем.

— Я расплачусь, — сказал Емельян Спиридоныч. — Потом отдашь. Эт Ефим все учит меня жить, все боится чего-то... Побежал школу строить, дурак хитрый. Тьфу! — Емельян Спиридоныч в сердцах плюнул на папироску, кинул ее в шайку. — Я вот зачем пришел: надумали мы с Кондратом сено вывезти...

— Зачем сейчас-то?

— Надежней. Хотели попросить твою бричку... А может, и сам бы помог.

— Седня, что ли?

— Когда же?

Егор подумал.

— Ладно, приеду.

— Тятенька, завтракать с нами, — пригласила Марья, немножко взволнованная приходом свекра. — У нас, правда, не шибко на столе-то...

— Мы уж похлебали, — отказался Емельян Спиридоныч. — Мать лапшу с гусятиной варила. Ешьте. Я пойду.

Ненастья бы не было — спина что-то болит, — он, кряхтя, поднялся, взялся за скобку спросил, ни на кого не глядя: — Марья-то брюхатая, что ли?

— Четвертый месяц, — ответила Марья и покраснела.

Егор хмуро сопел, гоняя черенком ложки таракана по столу.

Емельян Спиридоныч так же хмуро мотнул головой и вышел.

Некоторое время молчали.

— До чего же вы все нелюдимые, Егор! — не выдержала Марья. — Просто на удивление. Ну что бы ему посидеть с нами хоть для блезира, спросить: как, мол, живете?.. Ведь отец он тебе!

— Что он, сам не видит, как живем, — лениво отозвался Егор.

— Да разве в этом дело?

— В чем же?

— Ну, я уж не знаю... Зачем же тогда жить, если так будем... как буки смотреть друг на друга? Ни ласки, ни привета.

— Хватит! — оборвал ее Егор. — Разговорилась...

Изредка забегал к ним Сергей Федорыч. Сидел, пил чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз давно-давно они со Степанидой, покойницей, ездили в город...

— А там, в городе, — тихо говорил он, посматривая на Марью, — жила тогда материнская сестра, тетка твоя — Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то. Шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала... живой воды только не было. А вышла за него Настя шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел к колодцу коней поить. А Настя-то как раз по воду пришла. Он увидел ее и говорит: «Где живешь?» — «Вон, недалеко», — Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тары-бары... Я, мол, такой-то, хочу мол, вашу дочь за себя взять... Да-а... Ну, и увез в тот же день. Они сильно красивые были, Малюгины-то. Да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живут добрые люди.

Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего все обходительные! Входит какой-нибудь, весь в золотых цепях, при шляпе. Входит — и не то чтоб там «здрасьте» или «здорово живете», а обязательно скажет: «Честь вашей красоте». А ему отвечают: «Салфет вашей милости». Насмотрелись тогда на них!

Или рассказывал Марье еще про что-нибудь... Иногда Марья почему-то плакала. А Сергей Федорыч говорил:

— Ничего, ничего, дочка, обойдется.

Один раз их застал Егор. Пришел откуда-то мрачный. Буркнул с порога невнятное «здорово», смахнул с плеч пиджак, достал из-под печки недоструганное топорище, сел на лавку и принялся стругать. На гостя — ноль внимания, как будто его здесь нету.

Сергей Федорыч опешил. Встал, начал торопливо одеваться. Заговорил, чтобы хоть что-нибудь сказать:

— А я вот зашел... Дай, думаю, посмотрю: как они там?

Егор ухом не повел. Продолжал стругать.

Марья с изумлением и болью смотрела на мужа.

— Да ты сядь, тятя! Чего вскочил-то? Сядь, — сказала отцу.

— Да мне шибко-то рассиживать... Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверно... Бывайте здоровы.

Егор даже головы не поднял, даже не кивнул.

Сергей Федорыч вышел из избы, дождался в ограде дочь.

— Ну, девка, попала ты к людям! Мать честная, какие они!..

Марья стала жаловаться:

— Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так. Сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет. «Эй!» — и все.

Сергей Федорыч покряхтел, высморкался, развел руками.

— Что тут делать?.. Сам ума не приложу. Может, одумается еще, обживется. Ну, люди! Верно говорят — не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная!

— Погоди, ребятишкам отнесешь чего-нибудь.

— Да ладно уж... не бери ты у них ничего.

— Пошли они к чертям!

Марья сходила в сени, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса.

— Нате вот, — пельмени сделаете.

Сергей Федорыч взял узел и пошел домой, сгорбившись.

Марья долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу.

Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол.

— Ну, Егор, давай говорить прямо, — начала Марья с порога. — Ты все время моего родителя так принимать будешь?

Молчание.

— Егор!

— Што? — Егор медленно повернул голову и не мог — не захотел — пригасить в глазах злые, колючие огоньки.

— Ты все время...

— Я их всех ненавижу, всю голытьбу вшивую. Дождались, змеи поганые, своей власти... Радуются ходют. Нарадуются!

Марья сдержала волнение, негромко сказала:

— Дай господи, рожу ребенка — уйду от тебя, Егор. Знай.

Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно. Потом положил голову на руки, тихо, без угрозы, сказал:

— Далеко не уйдешь.

39

Федя скоро поправился. Ходил уже на работу и, когда его очень просили, поднимал подол рубахи и гордо показывал мелкие шрамистые рытвинки — следы дроби.

— Две там сидят. Не могли достать.

Поправиться-то он поправился, но... что-то случилось с Федей. Он загрустил. Всегда был на удивление спокойный, с хорошим, ровным настроением, а тут... Просто непонятно. После работы уходил Федя на Баклань и стоял на берегу столбом — смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее, по-вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так.

Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину.

Хавронья женским чутьем угадала, что происходит с Федей.

Однажды вечером он сидел задумчивый у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной, спорый дождь.

Хавронья вернулась от соседки. Долго, как курица, отряхивалась у порога, посматривала на Федю.

Тот не хотел замечать ее.

Хавронья разделась, села к столу, напротив мужа. Долго молчала. Потом вдруг спросила:

— Ты что, влюбился, что ли?

— А твое какое дело? — ответил Федя, продолжая смотреть в окно.

Хавронья схватилась за бока и захохотала. Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее.

— Ой, матушка царица небесная! Уморит он меня совсем! О чем ты только думаешь своей корчагой?

Федя не счел нужным вступать в разговор.

— Как ты можешь понимать, что такое любовь? — не унималась Хавронья.

— Зато ты шибко умная. Неохота мне с тобой разговаривать, — отрезал Федя, не стерпел.

Хавронья опять притворно засмеялась.

— Да ведь ты же... как тебе сказать?.. Ты же лесина необтесанная! А туда же — про любовь думаешь. Ведь я же на тебя и так без смеха не могу глядеть, а ты взял да еще влюбился. Ну не дурак ли?!

Федя невозмутимо смотрел в окно.

— Так чего же ты сидишь-то? Ты иди и скажи: так, мол, и так, Марья, влюбился в тебя. Может, Егорка-то ноги хоть тебе переломает там.

— Заткнись варежкой, — сказал Федя.

— Завтра скажу Марье. Хоть посмеемся вместе.

Федя медленно повернулся к жене:

— Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса.

Хавронья презрительно махнула рукой:

— Молчи уж, баран недобитый...

А через два дня Хавронья застала мужа (она не то что следила за ним, но все же приглядывала) за необычным занятием: Федя пробрался в высокую крапиву, присел на корточки к плетню и смотрел через него в соседнюю ограду — на Марью.

Марья только что вернулась с речки, развешивала мокрое белье.

Нежарко горело июльское солнце. Пахло увядающей ботвой и полынью.

Марья, в белой кофте и черной, туго облегающей бедра юбке, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и, приподнимаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее вздрагивали под тесной кофтой.

Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький, сухой прутик от плетня.

Хавронья неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над самым Фединым ухом громко позвала:

— Мань!

Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед, в плетень, испуганно оглянулся на жену. А она, не давая ему опомниться, закричала:

— Ну-ка, иди скорей ко мне!

Марья положила рубахи в таз, пошла к плетню.

Федя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать.

— Да скорей, скорей ты! — торопила Хавронья.

Когда Марья была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву. Сшиб Хавронью с ног, и пригибаясь, чтобы его не было видно Марье из-за плетня, побежал в избу.

— Вон он! Вон — побежал! Эй, ты куда?.. Эх ты, бессовестная харя! — кричала с земли Хавронья вслед Феде.

Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях.

— Что это, Хавронья?

Злое, мстительное выражение на лице Хавроньи сменилось беспомощным и жалким. Не поднимаясь с земли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами.

— «Что, что-о»! — передразнила она Марью. — Змеи подколодные! Мучители мои!

Поднялась и пошла из ограды, отряхивая сзади юбку.

40

Страда. Золотая легкая пыль в теплом воздухе. Ласковое вылинявшее небо, и где-то там, высоко-высоко в синеве, затерялись голосистые живые комочки — жаворонки. День-деньской звенят, роняя на теплую грудь земли кружевное, тонкое серебро нескончаемых трелей.

В придорожных кустах, деловито попискивая, шныряют бойкие птахи. По ночам сходят с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью, ничто еще не предвещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени.

Хлеба удались хорошие. Люди торопились управиться, пока держится вёдро.

Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки-крючья, лобогрейками. На полосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки.

Николай Колокольников имел свою лобогрейку.

Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдя — показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма.

Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, улыбался во весь рот.

Николай правил парой не приученных к лобогрейке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме:

— Ну вот, видишь!

Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая, стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится...

На полотне уже набралось достаточно — на сноп. Теперь надо отпустить ногой педаль, которой полотно удерживается в наклонном положении, помочь граблями — и кучка ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют в суслоны.

Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, въедливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально. И во сне рожь все наплывала и наплывала на него, вздрагивала, клонилась — желтая, тучная...

С утра снова впрягли отдохнувших лошадей — и снова круг за кругом, круг за кругом по полосе...

В три дня все сжали. Начали свозить снопы на точок. Пошла молотьба. Ночевали тут же, под скирдой.

Неподалеку молотили Любавины.

Кузьма издали узнал Марью. Отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам, задумался. «Что же делать? Неужели всю жизнь вот так мучиться?» Хочется ему, чтобы Марья была рядом, чтобы ей, а не Клавде, подавал он наверх, на скирду ковш с водой... чтобы ей смотрел в глаза.

Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет. Хотел увидеть. Ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг — хотел хоть издали поздороваться.

Но Марья, заметив его, ушла в избу.

«Забуду, забуду, ни к чему это все», — думал Кузьма. Но не забыл. Аж осунулся, — упорно, мучительно и бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза...

Мужа ее встречал раза два на улице. Шел, нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгновение — насмешливый... И опустил голову. Не поздоровался.

«Красивый он», — подумал Кузьма.

Отмолотились рано. Вывезли хлеб, засыпали в закрома. И началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымки — варился самогон из новой ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины...

Через пару дней появились первые ласточки: поздно вечером кто-то, громко топоча по дороге, бежал за кем-то и кричал диким голосом:

— Зарублю-у, змей такой!

Николай усмехнулся:

— Чуешь, секретарь? Начинается.

— Много драк бывает?

— Посмотришь.

На третий день, к вечеру деревня кололась пополам. Почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных даров. Самогон мерили ведрами. Пили. Пели. Плясали. Сосновые полы гнулись от топота...

Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала. Потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда... Размахнулась, поперла через край дурная силушка.

На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности.

Кузьма в эти дни был необходим, как гармонист. За ним прибегали и звали заполошным голосом:

— Скорей!

К ночи гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимо и безнадежно. Дикое, грустное мешалось со смешным и нелепым.

Ганя Косых, деревенский трепач и выдумщик, упился «в дугу», надел белые штаны, рубаху, вышел на дорогу и лег посередине.

— А я помер! — заявил он.

Кругом орали песни, плясали... Никто не замечал Ганю.

— Эй! — кричал Ганя, желая обратить на себя внимание. — А я помер!

Наконец заметили Ганю.

— Что ты, образина, разлегся здесь?

— Я помер, — скромно сказал Ганя и закрыл глаза.

— А-а-а!! — поняли. — Понесли хоронить, ребяты!

Наскоро, пьяной рукой сколотили три доски — гроб, положили туда Ганю, подняли на руки и медленно, с песнопениями, с причитаниями, понесли к кладбищу.

Впереди процессии шел Яша Горячий, нес вместо иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки.

Ганя Косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко сморкался.

— Ох, да на кого же ты нас покинул? Эх, да отлетал ты, голубочек сизый, отмахал ты крылушками!..

— Был ты, Ганька, праведный. Пойдешь ты, Га́нька, в златы вороты!..

— Ох, да куда же я теперь, сиротинушка, денусь?! — какой-то верзила гулко колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел: — О-о-о-о!..

И тут Ганька не выдержал, перевернулся спиной кверху, встал на четвереньки и закричал петухом. Ждал — вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, сдернули с него кальсоны и принялись стегать крапивой по голому заду. Особенно старался двухметровый сиротинушка.

— Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сын?

— Братцы-ы! Помилуйте!

— А ты что делаешь? Помер — так лежи смирно!

— Так это ж... Это я, может, воскресать начал, — оправдывался Ганька.

— Загни ему салазки, Исусу!.. Чтобы не воскресал больше!

На другой день опохмелялись. С утра. Потом пошли биться на кулаках.

Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник — Семен Соснин. Он всегда устраивал «кула́чки». Около Семенова двора в такие дни толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, гладил могучей рукой окладистую рыжую бородку — ждал. Кулак у Семена, как канатный узел, — небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников удариться с ним (с Федей они не бились: Семен не хотел). А когда кто-нибудь изъявлял наконец желание «шваркнуться» с Семеном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно:

— Валяй.

Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семена, плевал на ладонь, разминал плечо... Бил. Потом бил Семен. Бил садко, с придыхом, снизу... Некоторых поднимал кулаком «на воздуся». Почти никто не оставался на ногах после его удара.

Емельян Спиридоныч шел с Кондратом по улице. Подвыпившие. Направлялись в гости. Увидели — у Сосниной избы толпился народ.

— Семка, — сказал Кондрат.

— Зайдем? — откликнулся Емельян Спиридоныч.

Подошли.

В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный — Федя был «на взводе». С ним никто из бакланских не бился. Иногда нарывались залетные удальцы из дальних деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь — слишком уж тяжела рука у Феди.

Емельян Спиридоныч, увидев Федю, улыбнулся ему, как желанному другу.

— А-а, Федор!.. Что, трусит народишко выходить?

— Может, ты выйдешь? — предложил Федя.

— Ну куда мне, старику, равняться с вами! Вот разве Кондрат? — Емельян Спиридоныч выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно.

Тот вяло качнул головой: нет.

Емельян Спиридоныч опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал:

— Боятся, Федор! — а у самого в глазах сатанинский огонь, подмывало желание врезать Феде: видел, что тот пьян. — Не те людишки пошли, Федор, не те...

Федя презрительно отвернулся от него. Плюнул.

В глазах у Емельяна Спиридоныча заиграл зеленый огонь.

— А кого бояться-то? — продолжал он тем же добродушно-уважительным тоном. — Вот эту оглоблю?

Федя приоткрыл от изумления рот.

— Я конечно, шутейно сказал, — пояснил Емельян Спиридоныч, продолжая непонятно улыбаться. — Но правда: стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа капает. Тьфу! До чего мелкий народ пошел!

— Ты выйди сам, — сказал кто-то из толпы. — Крупный какой выискался! Или — хочется и колется?

— Он в коленках слабый, чтоб выйти...

— Я-то выйду, — неожиданно для всех сказал Емельян Спиридоныч. Скинул пиджак и вышел на круг. — Давай.

Наступила тяжкая тишина.

— Кто первый? — спросил Федя.

— А это кинем, — Емельян Спиридоныч поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек из ладони в ладонь. Зажал в одной. — Отгадаешь — первый бьешь.

— В правой.

Камешек был в левой.

Федя изготовился, приложил ладони к уху.

Емельян Спиридоныч медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась вбок. Он качнулся. Но устоял.

— Становись.

Стал Емельян Спиридоныч.

Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Емельяна Спиридоныча бросило вбок, на плетень. Он хватанулся за колья и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно:

— Ничего.

Они удалились с Кондратом, гордые и злые.

За первым же углом Емельян Спиридоныч прислонился к заплоту и закрыл глаза.

— Не могу иттить. Ох, паразит!.. Я думал, он крепко выпимши, производитель поганый... Отведи меня домой, Кондрат.

Дома Емельян Спиридоныч обвязал голову полотенцем и весь день лежал на печке — прогревал на горячих кирпичах ухо. Тихонько матерился, вспоминал Федин кулак.

Гуляли еще два дня. Потом постепенно затихли и занялись делами. Близилась зима.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пришла наконец зима.

Все сеялись, сыпали с низкого, грязного неба мелкие, холодные дожди... Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стерней, — все намокло, потемнело, издавало тяжкий, гнилостный запах. Неуютно было на земле. Некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской:

— Ну... теперь началось.

А однажды утром проснулись и, еще не выходя на улицу и не выглядывая в окна, поняли: пришла зима — пахло снегом и в избах посветлело.

За одну ночь навалил снег, и творения старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растаял.

1

Кузьма по первопутку поехал в район.

Коренастый, вислозадый мерин бежал резво. В кошеву летели крупные ошметья снега.

Дорога шла лесом.

Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка. На душе было спокойно.

Вернулся Кузьма через три дня. Вез в кошеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза.

Девушка говорила без умолку. Про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона... Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку кошевы, смотрел на верхушки деревьев в белых шапках.

Девушку звали Галина Петровна Кравченко.

Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Школа не была готова — оставались внутренние работы. Но Кузьме не терпелось начать учить. Решил, что пока возьмутся за взрослых: вспомнил об удостоверении, выданном ему и дяде Васе обществом «Долой неграмотность».

Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направили сюда с Украины. Он был секретарем укома.

Ей было двадцать пять лет, о чем Кузьма узнал с удивлением: на вид восемнадцать-девятнадцать, не больше. Первое, что она спросила:

— У вас там, кажется, стреляют?

Кузьма поймал ее на слове:

— Боитесь? Так и скажите.

— Я?

— Не я же.

— Вы так думаете?

— Думаю.

— Хм... — большущие глаза Галины Петровны просто кричали: «Учтите, я никогда ничего не боюсь!». — Поехали.

Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали... Но это еще ничего. Над теми, кто вздумает увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота — дело не крестьянское.

Галина Петровна слушала рассеянно.

— Не открывайте мне, пожалуйста, Америк.

«Ох ты!», — изумился про себя Кузьма.

Остальную часть пути говорила она.

— Жить нужно для людей — это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои живут только для себя. Какое это счастье — жить для людей!

«Дуреха... будто это так просто», — думал Кузьма.

Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки глухими и неразборчивыми.

Кузьма повез Галину Петровну к себе.

Клавдя, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами.

— Здравствуйте! — звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась.

Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около нее: раздевал, устраивал вещи... Краем глаза наблюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья: вся наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовая в любую минуту выставить ее за дверь.

«Да-а... эти бабоньки, случись что-либо — отравят либо зарубят ночью топором», — думал Кузьма.

— Новая наша учительница, — пояснил он наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол (своими огромными глазами она так и не увидела, какое внесла замешательство).

— Так, — сказал Николай, приподымаясь с кровати и вытаскивая из-за голенища кисет. — Учить будешь?

— Да, — сказала Галина Петровна. — Пока — вас, взрослых.

— А работать заместо нас кто будет?

— Как?.. — Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась. — Никто. Вы сами.

— Так мы же все ученые будем.

— Ну, до ученых вам далеко. Учеными вы не будете, а книжки читать будете. Это разве плохо — книги читать?

— А зачем?

— Интересно. Вообще необходимо.

Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку.

Николай нагнулся, достал одну, полистал.

— Что тут интересного, я вот чего не пойму? — снова обратился он к учительнице. — Меня иной раз даже зло берет. «Интересно! — кричат. — Интересно!..». А я, к примеру, всю жизнь прожил без них — и хоть бы что.

Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него из рук книгу посмотрела заглавие.

— Хотите, почитаю?

— А ну! — Николай тряхнул головой и сощурил глаза.

— Сейчас... — она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное. — Ну вот... «Человек в футляре» называется.

— Как это в футляре?

— Ну... знаете, что такое футляр?

— Нет.

— Это оболочка, одеяние... Футляром можно накрыть что-нибудь... Что бы такое... — Галина Петровна стала осматриваться по избе.

— Вроде тулупа? — догадался Николай.

— Не совсем...

— Ну, шут с ним, с футляром, — великодушно сказал Николай. — Читай.

— Да нет, тут весь смысл в этом. Как же?

— Что-нибудь другое, — подсказал Кузьма.

Галина Петровна подсела к книгам, стала выбирать.

Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдя поднялась, накинула на себя вязаный платок — чтобы большой живот был не так заметен, — опять села.

— Вот! — Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку — «Погиб поэт!..». «Смерть поэта» называется, — прервала она себя.

Погиб Поэт — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Она хорошо читала — громко, отчетливо, чистым сильным голосом. Понимала, что читает; глаза возбужденно сияли. Она не стеснялась, поэтому было приятно смотреть на нее.

Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой.

Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира... Но что-то до него дошло.

Не могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как — чудом — из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных муках жажды мести, не разбудила другую — отзывчивую и добрую.

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.

От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтения, трогала красивой рукой белое, гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ею в ударных местах.

Клавдя опять с испугом смотрела на городскую — она чувствовала ее силу и боялась этой силы.

Кузьму стихотворение медленно накаляло...

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Галина Петровна устало вздохнула.

— Как? — спросила она Николая. — Неинтересно?

Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на девушку и ничего не сказал, опустил голову.

— Ну ладно, песни песнями... Садитесь ужинать, — скрипучим голосом сказала Агафья. — Самовар скипел.

Кузьма думал о Галине Петровне: «Вот ты какая!..»

Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на девушку и признался:

— Крепко вы... просто, знаете... Только я не понял: кто кого убил?

— Убили нашего поэта Пушкина.

— А-а! — Николай кивнул головой. — Вон кого...

— А другой поэт — Лермонтов — обвиняет тех, кто его убил. А убил его царь.

— Ну?!

— Не сам царь, конечно, а его люди.

Николай поспешно кивнул головой — понял.

«Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел», — думал Кузьма.

Городской постелили в горнице вместе с Клавдей.

Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть: думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу... Долго рассматривал молодое, умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов.

Сзади, за спиной Кузьмы, негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся — Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него.

— Погляди, какой он был, — Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к кровати. — Лермонтов. Вот...

Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта.

— Красивый, — шепотом сказал Николай. — Офицер. Вишь, — он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке.

— Ну, он такой офицер был... неугодный.

— Это уж конечно, — согласился Николай. — Как он их!.. И вы, говорит, не смоете вашей черной кровью его светлую кровь. Ты эту книгу припрячь, Кузьма. Мы ее читать будем.

Кузьма вернулся к столу, хотел было начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила:

— Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не с чем...

— Будет тебе! — строго сказал Николай. — Керосин пожалела... Читай, Кузьма.

— Не пожалела, а нету его. Сам же впотьмах завтракать будешь.

— Ну и буду. Небось в ухо не пронесу.

Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу и лег.

— Завтра почитаем, Николай.

— Колода, — негромко сказал Николай жене.

Агафья промолчала.

На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру.

Николай посоветовал идти к Фекле Черномырдиной: изба большая, живет одна — чего ей? Возьмет. Еще рада будет — все веселее.

Кузьма пошел к Фекле.

...Распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фекла... Но поздно, Кузьма переступил порог.

— Здравствуй, хозяюшка! — приветливо сказал он.

Фекла стояла перед непрошенным гостем в простеньком, наспех надетом платье, с заспанным, сердитым лицом.

— Чего тебе? — она хотела загородить собой кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин.

«Не выйдет тут с квартирой», — понял Кузьма. Но на всякий случай сказал:

— Я вот зачем: приехала к нам новая учительница... не пустила бы ее на квартиру? Платить будем,,конечно.

— Нет, — отрезала Фекла. — С учительницами еще тут возиться!

— А чего с ней возиться-то?

— Не пущу.

— Ну ладно. До свидания, — открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и понимающе подмигнул Фекле.

У Феклы на широком лице проступили красные пятна.

«Ишь ты... старая дева!», — весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась некстати Марья. И подумалось: «Вот ведь все они — бабы, все с руками, с ногами... казалось бы: какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу — и все. Одна и есть на всем белом свете».

Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы, у одинокой старушки Завьялихи.

Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось.

— Ну вот, — сказал довольный Кузьма, — живите на здоровье.

Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами.

2

Макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свила гнездо в его сердце и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара — ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. Отец — слишком черствый человек для этого, Кондрат — этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого, а главное — сделать умно не сумеет. Кондрат ходит только с козырного туза — в лоб, просто и глупо. Ефим — даже думать не станет об этом.

Не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто стрелял в Макара. Их было в ту ночь четверо: секретарь этот — Кузьма, Федя Байкалов, Яша Горячий и еще один парень — Пронька Воронцов. Кузьма не стрелял, потому что был в это время в избе, Федя тоже не стрелял в Макара — он был уже ранен. Стреляли по Макару Яша и Пронь-

ка. Причем в висок, наверно, угодил Яша, заядлый охотник, отличный стрелок.

«В голову целил, гад подколодный, — мучился Егор. — Будешь за это кровью плакать, паскуда. Будешь».

Ни разу не подумал Егор о том, что Макар тоже имел такую привычку — целить в голову. Его заботило другое: как сделать, чтобы расквитаться за Макара и не оставить никаких следов?

Он здоровался с Яшей. Один раз даже разговорились. Егор пришел за водой к колодцу (Марье было уже тяжело таскать ведра), а Яша привел поить коняку.

— Здорово, сосед, — первым поприветствовал Егор.

— Здоров, — ответил Яша.

Сели на край промерзшей колоды. Закурили.

— Рано нынче навалил, — сказал Яша, сбивая концом кнутовища снег с валенка. — На сырую землю лег.

— Да, — согласился Егор. — Для озими хорошо.

— Мгм...

— Коняка что-то у тебя... — сказал Егор, разглядывая шерстистую понурую кобыленку Яши. — Захудала.

— Она все ничего была, бойкая, а тут осенью нынче обожралась чего-то — разнесло, как бочку. Мне бы, дураку, выводить ее сразу, а я поперся к этому хромому, к ветеринару нашему. Тот, поверишь, ни слова, ни полслова — кэ-эк саданет ей шилом в пузо. «Сичас, — говорит, — из нее воздух пойдет». А из нее заместо воздуха кровь пошла. Кое-как кровь-то уняли да вместе по ограде начали гонять. Погоняли малость — она опала. «Для чего же ты, — говорю, — шилом-то ее, змей ты такой?» — «Значит, не попал, куда надо. Это тоже не всегда попадешь», — это он мне. Вот с тех пор она и затосковала. Я думаю, он ей проколол чего-нибудь внутри. У нее ж тоже — своя организма. Так мне ее жалко, сердешную! Ночью заржет — я уж думаю: все, подыхает. Выйду, приласкаю ее, а у ей — веришь, нет — слезы. Я уж сам ревел. Как-никак семь лет уж она у меня, привык.

— Что же он так? Ты б ему самому тем шилом-то... Что бы из него пошло, интересно?

— Впору, черту такому. Не умеешь — не берись.

Вода в Егоровом ведре подернулась светлым, с причудливыми стрелками ледком. Егор затоптал окурок, поднялся.

— Ну бывай. Забегай.

— Будь здоров. Сам заходи.

Егор поднял ведро и зашагал к дому: «Может, с Проньки начать? — подумал он ни с того ни с сего, но тут же зло плюнул на снег. — Пошел ты к такой-то матери, гнус поганый! Разжалобишь меня. Из Макарки не воздух шел, а кровь ключом била. Сирота казанская...»

3

Собираться решили в сельсовете.

В первый вечер пришло человек десять: Федя Байкалов, Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокольников и другие. Молодых, кроме Проньки, никого не было. Те были на вечерках. Явился и Елизар — начальство.

Галина Петровна сидела за столом, положив перед собой белые руки, серьезная и взволнованная. Кузьма незаметно наблюдал за ней. Он тоже волновался. Было такое ощущение, будто все это — праздник, и нужно, чтоб все было хорошо.

Елизар Колокольников суетливо рассаживал мужиков, запрещал курить, сморкался в платок, поглядывал на Кузьму и на учительницу: хотел знать — довольны им или нет.

Мужики переговаривались между собой, приглаживали заскорузлыми ладонями волосы, покашливали... И впрямь все это смахивало больше на предстоящую пирушку, чем на урок; у мужиков было великолепное настроение. Только очень хотелось курить, но Елизар, заметив кого-нибудь с кисетом, делал строгие глаза и укоризненно качал головой.

— Товарищи! — сказала Галина Петровна, и все замолчали и перестали шевелиться. — Я сначала хочу вам рассказать, для чего нужна человеку грамота. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет читать? Поднимите руки.

Поднялась одна-единственная рука — Яши Горячего. Все оглянулись на Яшу... Ему даже неловко стало.

— Только... я ведь тоже читок не резвый, — счел нужным сказать Яша. — Пока соберу слово-то, семь потов сойдет.

— Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого начала, будем учиться читать. А сейчас я... мы с Кузьмой Николаевичем расскажем, для чего человеку необходима грамота.

Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару — не разрешать курить, кашлянул в ладонь и внимательно стал слушать учительницу.

— Вот я, — начала она, — человек. Я живу в деревне. Но мне хочется знать, как живут люди, например, в городе. Как я могу это узнать?

— Съездить туда, — сказал кто-то.

— Да нет... Ну и что — съездите? А если нельзя съездить? Да вообще, разве в этом дело?! Как же узнать!

— ??

— Я беру вот такую книжку, — Галина Петровна взяла со стола книжку и показала всем, — и начинаю ее читать. И узнаю постепенно, как живут люди в городе: что они едят, в чем ходят, о чем думают, чем интересуются... Понимаете? — Галина Петровна улыбнулась.

Мужики тоже вежливо заулыбались, зашевелились. Но, судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такая блестящая возможность. Не поверили, что все это так легко и просто — взял книжечку почитал и все сразу узнал. Это она, конечно, того... подбадривает. Но девушка им понравилась. Главное — они видели, что она старается для них.

— Можно также узнать о жизни в других странах, о животном мире, — продолжала Галина Петровна.

— А стих нам почитаете? — весело спросил Николай Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел сказать: «Сейчас начнется!»

Но Галина Петровна почему-то не то чтобы обиделась, но показала, что она недовольна такой просьбой.

— При чем тут стих? Я же вам о другом совсем говорю. И потом... когда я говорю, меня перебивать не нужно.

Николай сконфузился и понимающе кивнул головой.

— Поняли теперь, для чего нужна грамота? — спросила Галина Петровна, уже без улыбки глядя на мужиков.

Мужики дружно ответили:

— Понятно.

— А сейчас... Может быть, вы что-нибудь скажете? — Галина Петровна посмотрела на Кузьму. — Вы сами ведь представитель общества «Долой неграмотность».

— Да нет... все ясно, — отказался Кузьма.

— Тогда займемся главным: будем разучивать буквы.

Всем раздали буквари, а Галина Петровна взяла со стола пачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы ее всем было видно.

— Вот это — «А», — показала она одну картонку с буквой. — Найдите у себя такую же.

Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами по алфавиту.

— Да вот же! — подсказал кому-то Яша.

— Где?

— Да вот, чучело гороховое! Что ты, ослеп?

— Подсказывать нельзя! — строго сказала Галина Петровна.

Яша послушно уткнулся в свой букварь.

— Все нашли?

— Федя тут никак не может... Вот же она! На тебя смотрит, — опять не выдержал Яша.

— Не мешайте. Так. Запомните, что это — «А». Теперь вот такую найдите, — Галина Петровна показала еще одну букву.

Опять заползали пальцами по букварям. Яша беспокойно завертелся во все стороны.

— Да вот же... вот... — шепотом подсказывал он.

— Ты сиди тут! — громко возмутился Николай Колокольников. — Крутишься, как сорока на колу. Без тебя найдем.

— Все нашли?

— Я что-то никак не найду, — сказал Федя и посмотрел на Яшу. Тот молча ткнул пальцем в Федин букварь.

— Запомните — это «М». А теперь я сложу их, рядом: что получилось? Вы пока не говорите, — учительница кивнула Яше.

Все с завистью посмотрели на него. Вообще Яша сегодня неизмеримо вырос в глазах мужиков.

— Где ты успел, Яша? Вот черт...

— Он сразу грамотным родился, — заметил Николай. — И знаю, почему...

— Ну, а что получилось-то? — не выдержал Кузьма. — Поняли?

Никто не знал, что получилось.

— Это какая буква? — спросила Галина Петровна, теряя спокойствие. — Вот вы скажите, — она показала на Федю.

Федя уставился на учительницу:

— Где?

— Да вот, вот же... я вам показываю! — воскликнула Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела. — Вот эта какая буква? — переспросила она тихо.

— Не знаю, — Федя кашлянул в кулак. — Можно, я выйду? Шибко курить захотел.

— Хорошо, — Галина Петровна положила картонку на стол. — Выйдите все, отдохните.

Облегченно закашляли, заговорили... Закурили прямо здесь же — в сенях было холодно.

— Уела попа грамота, — хмуро сказал Николай Колокольников. — Для меня это не под силу, ребята. Я отрекаюсь.

Федя Байкалов посмотрел на Кузьму — тоже хотел отречься, но увидел его расстроенное лицо и промолчал.

— Почему отрекаешься? — спросил Кузьма тестя.

— Не могу, Кузьма. Я лучше десятину земли спашу — и то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне это ни к чему.

— Я тоже, однако, — поддержал Николая мужик в тулупе. — Я думал, нам тут читать будут... Дело зимнее, можно послушать разные истории, а тут... Нет, я тоже отказываюсь.

Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот встал с места и, прижимая руки к груди, горячо заговорил:

— Вы погодите! Чего вы сразу в кусты полезли? Чего испугались-то?! Ну, трудно, конечно, с непривычки... Ну, покряхтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот увидите. Когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки не оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость. Ничего с вами не случится.

— Конечно, ничего не случится, — согласился Николай. — Но я просто не осилю. Я себя знаю.

— Да осилишь! Все осилите!

— Нет, — не сдавался Николай, — вы уж молодых соберите, вернее будет. А нам лучше бы стих почитали.

Кузьма не знал, что еще говорить, смотрел на мужиков и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он сел. Но тут вскочил Яша Горячий.

— Бросьте вы трепаться! — обрушился он на своих товарищей. — «Не оси-илим!». Ты, Николай, серьезный мужик, а такого дурака ломаешь, что уши вянут. Что он, лучше тебя? — он показал на брата Николая, Елизара. — Он-то осилил! Нам же для пользы делают, стараются, дак мы начинаем тут... Даже зло берет.

— Тебе хорошо, конопатому, ты их знаешь, а у меня они все перепутались, эти буквы! У меня от них в глазах струя, — Николай ткнул пальцем в букварь. — Насыпано их тут, как вшей...

Галина Петровна поморщилась.

— Чего насыпано? Ничего там не насыпано! — кричал Яша, размахивая руками. — Ты присмотрись хорошенько!

Федя потянул его за полу полушубка вниз.

— Сядь.

Яша послушно сел.

— Не хотите, значит? — спросила Галина Петровна.

— Нет, — дружно сказали мужики.

— Все?

— Все.

Промолчал только Яша.

— Жаль...

— Да вы не волнуйтесь шибко-то, — сказал Николай повеселевшим голосом. — Вы соберите молодых, у них мозги не заржавелые. А нам для чего она, грамота-то, если разобраться? С кобылами мы и так умеем разговаривать.

Галина Петровна опять поморщилась:

— Вы только не грубите, пожалуйста. Не хотите — не надо, силой не заставляют.

Кузьма встал и объявил:

— На сегодня все. Пошли домой.

4

Больше всего Егор любил охотиться на зайцев. Всякий раз, когда он брал бегущего зайца на мушку, им овладевало жгучее, сладостное чувство. Заяц улепетывает со всех ног... Через прорезь прицела он кажется далеким, смешным и глупым. Рука каменеет, ствол движется несколько впереди зайца... Толчок в плечо, сухой гром выстрела... Зайчишка, высоко подпрыгнув, кувырком летит в снег.

— Есть, — негромко говорит Егор.

В тот день, наохотившись до устали, Егор пришел в избушку Михеюшки рано.

В избушке уже кто-то был — у крыльца, прислоненная к стенке, стояла пара лыж.

Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, снял лыжи, вошел в избушку.

На нарах сидел Яша Горячий и что-то с азартом рассказывал Михеюшке.

— ...Я — туда-сюда, так-сяк — ничего не получается. Эт, собачий выродок, думаю... — увидел Егора. — Здорово, Егор.

— Здорово, — Егор присел к камельку, вытянул к огню руки.

— Как убой? — спросил Яша.

— Так... не шибко. Снег плохой.

— Ночью подсыпет свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты давно здесь?

— Два дня, — Егор посмотрел снизу на Яшу. — Ничего там не случилось, в деревне-то?

— Все тихо.

Егор глотнул слюну и стал закуривать. С недавнего времени, когда он видел Яшу, он испытывал такое же чувство, какое испытывал, когда целился в зайца.

— Может, настрелял все же? — опять спросил Яша.

— Та-а... чего там...

— Что у тебя за ружье? — Яша встал с нар, снял со стенки Егорово ружье, долго разглядывал его. — Осечки не дает?

— Нет.

Яша повесил ружье.

— Эх, какое у меня ружье было!.. В двадцатом году в тайге отобрали. Золото, а не ружье. Сейчас и то жалко.

Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями:

— Эх, а вот я помню... Мы это под вечер...

Но Егор оборвал его:

— Ну что, ужин сварганим?

— Это дело, — согласился Михеюшка.

Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Вставал, пил теплую воду, курил. Подолгу смотрел на спящего Яшу. Подкидывал в камелек дров, снова ложился и ненадолго забывался неглубоким, чутким сном. И даже во сне слышал, как ворочается и чмокает губами Яша. Только под утро заснул Егор. Заснул и тотчас увидел странный сон... Как будто живет он еще у отца... Откуда-то пришел Макар — в папахе, в плисовых шароварах. Веселый. Дал деньги и говорит: «Сбегай возьми бутылку». Пошел Егор к бабке, а там народу — битком набито. Егор стал дожидаться, когда все уйдут. А люди все не уходят. Егор еще подумал: «Макар теперь злится сидит». Потом к бабке-самогонщице вошла Марья, вела за руку какого-то мальчика. Егору сделалось неловко, что она пришла на люди с ребенком. Он подошел к ней и спросил: «Чей это?». И хотел погладить мальчика по голове, а мальчик вдруг зарычал по-собачьи и укусил Егора за руку.

Егор проснулся и сел: «Что за сон такой?..». И сразу, как кто в бок толкнул, подумал: «Марья рожает». Вскочил, оделся, стал на лыжи и побежал домой.

Было еще темно и очень морозно. Даже быстрая ходьба плохо согревала. Снег громко звенел под лыжами. Вокруг лица все закуржавело, веки слипались. Егор часто останавливался и протирал глаза варежкой.

«Наверно, сын будет», — думал он.

Пришел домой, когда на востоке только пробивался свет.

Огня в избе не было. Егор постучался. Через некоторое время промерзшая избная дверь со скрипом разодралась.

— Кто там? — спрашивала Марья.

— Я.

— Ты, Егор?

— Кто же еще?

Марья отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу.

В избе было тепло, пахло хлебом.

Егор долго распутывал закоченевшими пальцами опояску.

Огляделся по избе, увидел на печке чьи-то ноги — кто-то спал.

— Кто это?

— Учительша. Читала нам вечером... Она ходит по избам, книжки читает. Вчера припозднилась — я оставила.

Учительница зашевелилась, приподняла голову.

— Это ваш муж пришел? — Галина Петровна смотрела на Егора большими сонными глазами. — Здравствуйте.

— Здорово живешь, — откликнулся Егор и повернулся к жене: — У нас самогонки нисколько нету? Продрало меня крепко.

— Маленько, однако, есть, — Марья полезла в шкаф.

Егор развязал наконец опояску, скинул полушубок, зябко повел плечами.

— Хотите, я пущу вас на печку погреться? — предложила Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела на хозяина с любопытством.

— Сейчас согреемся, — Егор взял у Марьи бутылку, налил полный стакан и одним духом осушил. Понюхал корку хлеба и только после этого выдохнул: — Кхо-ох!

— Вы же сожжете себе все горло, — заметила Галина Петровна. Она все еще смотрела на Егора.

Егор стал закуривать.

— Ничего.

— Вы похожи... знаете, на кого? На Андрия.

— На какого Андрея?

— На Андрия. Из «Тараса Бульбы». Только характер у вас, наверно, не такой. Почему вы такой мрачный?

«Балаболка какая-то», — подумал Егор и ничего не сказал.

— Постели на полу, я сосну маленько, — сказал он жене.

Вспомнил сон, посмотрел мельком на ее живот.

— Ложись на кровать, а я к ней на печку полезу.

— Куда полезу!.. Полезу... — Егор сам снял со стенки большой бараний тулуп, раскинул на полу, сбросил с кровати одну подушку, скинул валенки, рубаху, лег и с хрустом, сладко потянулся. Закинул руки за голову. — Накрой полушубком.

Галина Петровна смотрела на крупного красивого хозяина, шевелила пальцами босых ног.

Марья укрыла мужа полушубком, он зевнул и повернулся на бок, спиной к учительнице.

Марья дунула в лампу, долго шуршала платьем, потом тяжело завалилась на кровать и затихла.

Своей бани у Егора не было еще, ходили по субботам к Емельяну Спиридонычу.

Вечером Егор засобирался к отцу.

— А меня не возьмешь, что ли? — обиделась Марья.

— Куда тебе... И так еле ходишь.

— Я хоть в вольном пару посижу. Мне шибко охота, Егор.

Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вернулся:

— Собирайся. На подводе поедем.

Марья накутала на себя поверх шубейки две вязаные шали и еще набросила сверху одеяло. Еле пролезла в дверь. Егор не выдержал, засмеялся:

— На кого ты похожа сейчас!

— Ничего. Зато не простыну, когда оттуда поедем.

Поехали.

На половине пути Марья вдруг позвала мужа:

— Егор!

— Ну.

— Однако у меня... господи!.. Поворачивай!

Егор оглянулся. Марья посинела... Глаза сделались невозможно большими. Он подстегнул коня, — до своих было ближе, чем до дома.

— Говорил ведь, русским языком говорил! Нет! — свое...

Сани подкидывало на выбоинах.

Марье стало хуже.

— Ой, умираю! Смертонька моя пришла, мама родимая! — закричала она.

— Ну, я потише поеду.

— Ой, да все равно. Останови ты, ради Христа!..

Егор остановил коня, огляделся — на улице ни души.

— А что делать-то?! — заорал он. Выпрыгнул из саней, склонился над Марьей. — Мань!

Марья кусала затвердевшие губы.

— Мамочка милая... смерть пришла, — шептала она; из больших глаз текли слезы.

Егор подхватил ее на руки и бегом понес в ближайший двор. Пинком отворил тяжелые ворота, вбежал на высокое крыльцо... И тут только увидел, куда забежал, — к Николаю Колокольникову.

Дверь открыла Агафья.

— Господи Исусе!.. Что с ней!

— Помирает, — кратко пояснил Егор, он был бледен.

— Рожает, что ли?

— Ну...

— Неси в горницу... заполошный.

Егор пронес Марью в горницу, положил на пол... Засуетился вокруг нее, начал раздевать. Руки тряслись.

— Да не пужайся ты, дурной! Ну, рожает. Делов-то. Вези бабку скорей.

— Где?

— Куксиху — она ближе всех.

Егор вылетел из избы, в сенях ударился головой о притолоку, чуть не упал от боли... Доплелся до саней, свалился в них, подстегнул коня...

Минут через десять он летел обратно. Вез бабку-повитуху.

Марья кричала так, что в ушах звенело.

Егор сидел на припечье, зажав руками голову... Не выдержал, сунулся было в горницу, но на него зашикали бабы. А Марья, увидев его, каким-то не своим голосом, страшно крикнула:

— Уйди, проклятый! Ненавижу тебя!..

Егор опять сел на припечье.

Кузьма был дома. Он забился в угол и смотрел на все испуганными глазами. С Егором они не обмолвились еще ни словом. Только когда Марья закричала на Егора и когда он сел и зажал руками голову, Кузьма почувствовал что-то похожее на жалость.

— Не переживай. Это всегда так бывает, — сказал он.

Егор поднял голову, посмотрел на Кузьму затравленным зверем.

— Бывает, — сказал он тихо. И опустил голову.

— На, закури, — Кузьма подошел к нему, с кисетом. — Надо было заранее в больницу.

— Да, — согласился Егор.

— Больно, поэтому они кричат.

Егор промолчал.

— Кого ждешь?

— Сын должен...

Кузьма несколько раз подряд затянулся.

— Как назовешь?

— Ванькой.

— А я — Василием.

Марья все кричала.

— Главное — помочь никак нельзя. Как поможешь? — Кузьма погасил окурок о подошву валенка и стал закуривать снова.

— В том-то и дело, — согласился Егор. — Сижу как связанный... Дай, я тоже закурю. Треснулся у вас давеча... как пьяный сейчас, — Егор потер ушибленное место.

— Дверь низкая. Я с непривычки тоже долго бился.

Марья перестала кричать.

Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей.

— Сын, — сказала Агафья. — Здоровенный, дьяволенок... насилу выворотился.

— Так, — сказал Егор и вытер со лба пот. — Правильно.

— Здорово! — с завистью сказал Кузьма. — Как думал, так и вышло. У меня бы так.

— Ванька... — Егор устало улыбнулся. — Не горюй, тоже так будет.

— Посмотрим.

Крестины справили пышные. Гуляли у старших Любавиных. Два дня пластались.

Сергей Федорыч, пьяненький, обнимал Емельяна Спиридоныча, дергал его за дремучую бороду и кричал:

— Ты с этой поры не шибко выкобенивайся! Это — мой внук!.. Понял? Дупло ты! — а Егору грозил пальцем и говорил: — И ты тоже — сопи не сопи, все равно приду. К внуку приду, не к тебе. К Ваньке. Понял?

Марья побыла немного со всеми и пошла домой. Доро́гой, не в силах сдержать радость, то и дело останавливалась, откидывала одеяльце, смотрела на сына.

— Сынуленька мой хороший, кровиночка моя! — шептала она.

Подходя к своей избе, увидела в ограде Федю Байкалова. Тот правил на точиле топор.

— Федор! — позвала Марья.

Федя выпрямился и, продолжая ногой крутить точило, смотрел на Марью.

— Зайди сына-то посмотри.

— Сейчас? Ага... зайду.

Он пришел в новой папахе и в новом дубленом полушубке (забежал в избу переодеться). Неловко потоптался у порога.

— Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода... как бы он не простыл.

— Ну! Он сам с мороза. Иди.

Федя заглянул в зыбку и неподдельно изумился:

— Лоб-то у его какой! Учитель, наверно, будет.

Марья хотела дать Феде подержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его.

Федя смотрел в угол, на божницу.

— Федор, а почему у вас-то детей нету? — спросила счастливая Марья.

Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью. Осторожно кашлянул и сказал:

— Не знаю. У нее чего-то не в порядке. Ванькой окрестили?

— Ванькой.

— Лучше бы Серегой.

— Да он уперся. Я хотела Михайлом — в честь братки. Не дал.

— Гуляют теперь?

— Гуляют.

— Теперь, конечно, можно.

— Ты бы свозил Хавронью-то в город, к доктору.

— Я уж говорил ей... — Федя перевел взгляд с божницы на окно. — Не хочет. Божеское дело, говорит. Бог не дает.

— Ну, бог богом, а к доктору надо.

— Я понимаю. Ну, я пошел.

— Забегай, Федор.

— Ага, — он ушел, осторожно ступая по полу...

5

С крестин завелись на сватовство: Кондрат с отцом поехали договариваться с Феклой.

Заложили иноходца в легкую кошеву и через пять минут подлетели к Феклиным воротам.

Кондрат выпрыгнул из кошевы, по-хозяйски распахнул ворота. Емельян Спиридоныч въехал во двор, критически оглядывая скромное Феклино хозяйство.

Фекла вышла на крыльцо и, скрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных.

— Может, в дом пригласишь, корова комолая? — сказал Емельян Спиридоныч.

— Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать.

— Скажите какая... Ну, телка. — Емельян Спиридоныч молодо выпрыгнул из кошевы — в руках по бутылке и еще из карманов торчат две. — Режь огурцы, — распорядился он. — Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла. От радости, что ли?

Фекла тоже была из гордых людей; в свое время из-за гордости и проворонила всех женихов.

— Ты не петушись тут, — осадила она Емельяна Спиридоныча. — Приехал... царь-горох.

— Поменьше вякай, дура. А то ведь и повернуть можем.

— Ладно вам, — вмешался Кондрат. — Чего схватились? Давай, Фекла, капусты, что ль...

Фекла пошла в погреб, а отец с сыном прошли в избу.

— Не глянется она мне, — Емельян Спиридоныч пьяно икнул. — Она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить... — он опять икнул и плюнул на чистый половичок. — Что она, девка семнадцати лет?

— Я тоже не парень, — Кондрат скинул полушубок, привычно устроил его на гвоздь возле двери. — А одному с этих пор тоже несладко. Я не поп.

Емельян Спиридоныч пропустил это последнее замечание мимо ушей.

— Ты мужик, а мужик до сорока годов парень, — он тоже разделся. — Смотри не распускай перед ней слюни, а то живо скрутит в бараний рог. С ними — во как надо, — он показал сыну жилистый кулак. — Для первого раза обязательно выпори. Вожжами.

Вошла Фекла с капустой и с огурцами.

Сели за стол.

— Вот так, договоримся... — Емельян Спиридоныч положил темные лапы на свежестираную камчатную скатерть. — Ты перед нами не выгибайся, как вша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя... подобрать, можно сказать. Жить будет у тебя. Все. Наливай, Кондрат. Я тебе, девка, советую: с нами поласковей. Мы не любим, когда хорохорются.

— Один у вас уж дохорохорился, — заметила Фекла.

— Цыть! — Емельян Спиридоныч так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули. — Ни разу не заикайся про это, толстомясая!

— Чего ты, на самом деле? — Кондрат неласково посмотрел на будущую жену.

— А чего он! Изгаляется сидит, как хочет. Как будто я ему потаскушка какая-нибудь, — Фекла отвернулась и заплакала молча.

— Ну ладно, — Кондрат налил ей полный стакан водки, повернул за плечо к столу, — пей.

Фекла вытерла слезы, взяла стакан.

— А сами-то чего же?

Емельян Спиридоныч взял стакан, потянулся к Фекле — чокнуться.

— Не сердись. Давай выпьем. Мы ж родня теперь.

— Давай.

Выпили. Стали закусывать.

— Капусту солить не умеешь. Вялая, — заметил Емельян Спиридоныч.

— Поздно срубила, заморозком хватило.

— У тебя сколько скотины-то?

— Две коровы, конь, овечек держу, курей... Хватает.

— Теперь больше будет. Пару коней я вам даю, две бороны, плуг... новенький плуг, из лопотины — само собой: тулупишко, пимы, шаровары... Обчим, не обижу, — Емельян

Спиридоныч задумался, долго молчал. — Один теперь остаюсь. А ить мне уж скоро семисит. Турнет скоро курносая со двора... Налей-ка, Кондрат.

Еще выпили.

Потом еще. И еще. Отяжелели.

Ночевать остались у Феклы.

Проснулся Емельян Спиридоныч рано. Долго ходил по избе, кряхтел... Зажег лампу.

На широкой кровати спали Кондрат с Феклой.

Емельян Спиридоныч остановился над ними, долго смотрел на сына... Тихонько позвал:

— Кондрат! А Кондрат! Поднимись, ну тя к дьяволу, развалился тут, — ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына.

Кондрат поднял голову, посмотрел в окно.

— Рано еще, чего ты?

— Встань, не могу тебя видеть с этой дурой. Уйду — тогда уж спите. Давай похмелимся.

Проснулась Фекла. Потянулась так, что хрустнули кости.

— Чего ты, тятенька?

— Здорова спать! — с сердцем сказал Емельян Спиридоныч. — Другая давно бы уж соскочила, блинов напекла.

Фекла сыто улыбнулась.

— Все ворчишь?

Емельян Спиридоныч прищурился на нее, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Долго сворачивал «ножку», мрачно сопел. Грусть и злость не унимались.

— У нас осталось чего-нибудь со вчерашнего? — спросил он.

— Все выпили, — ответил Кондрат.

— Сейчас сбегаю к Завьялихе, — сказала Фекла.

Емельян Спиридоныч сел к столу подпер кулаком голову.

— Макарку во сне видал.

Кондрат промолчал.

— Пришел откуда-то. «Прости, — говорит, — меня, тятя, шибко я виноватый перед тобой», — Емельян Спиридоныч заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара, жалко стало прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя как дома. — Убили. А за что? Он сроду курицы не обидел. Эхх...

...Опохмелились. Емельяну Спиридонычу стало вроде полегче, захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни. Но здесь он говорить не мог — Фекла злила его.

— Пойду к Егорке. Коня сам отведешь. Загуляю, наверно, — сказал он.

Егор стоял над зыбкой — всматривался в лицо ребенка. Он часто так делал: Марья из избы — он подходит к сыну и подолгу изучает его красную, сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты.

Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от зыбки и сел к столу.

— Здорово, — Емельян Спиридоныч огляделся. — Маньки нету?

— К своим пошла.

Емельян разделся, прошел мимо зыбки, мельком заглянул в нее.

— Не хворает?

— Ничего пока.

— Затосковал я, Егорка, — Емельян Спиридоныч тяжело опустился на лавку, навалился на стол. — Крепко затосковал.

— Чего?

— Хрен его знает, чего... От Кондрата сейчас иду. Женился Кондрат. Баба у него — дура набитая.

— Чем так не поглянулась? — Егор притаил в глазах усмешку — не везло отцу с невестками.

— Кобыла она. На ней пахать надо, а Кондрат угождает ей.

— Кондрат угодит... жди.

— Макарку во сне видал, — Емельян Спиридоныч поднял на сына красные, печальные глаза. — Жалко мне его. Убили, гады. Какого парня!..

Егор отвернулся. Промолчал.

— У тебя выпить есть чего-нибудь?

— Не знаю. Посмотрю, — голос Егора осел до хрипотцы.

— Посмотри. Выпьем хоть... за помин души Макаровой.

Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном.

Нарезали ветчины, хлеба.

Выпили по стакану. Сидели, склонившись локтями на стол, — лоб против лба, угрюмые, похожие друг на друга и не похожие. У старшего Любавина черты лица навсегда

затвердели в неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого — все на лице: и горе, и радость, и злость. А лицо до боли красивое — нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну, сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно: люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила.

— Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал — нонче быдто еще больше на нашего брата, кто покрепше, налогов навешают, — Емельян налил из зеленой бутылки. — От жись пошла! Руки опускаютс,. — выпил. — А ишо не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут, — Емельян Спиридоныч, как мог, подогревал свою злобу.

Егор слушал, обняв голову. Ему нездоровилось последнее время. Налил себе в стакан, выпил. Спросил:

— Знаешь, кто Макара убил?

— Яшка?

— Яшка.

Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало. Потом стали закуривать.

— Яшка — он змей подколодный. Таких еще не было. Спроси, почему я его оглоблей не зашиб, когда он у меня до переворота ишо на покосе робил. — Емельян Спиридоныч заметно пьянел. — А я мог... Имел права: он у меня жеребенка косилкой срезал, урод. А я — ничего... пожалел. Сирота. А сичас радуется ходит...

— Он нарадуется. — Егор провел ладонью по лицу. — Он нарадуется. — Ему передалась отцовская злость, охватило яростное нетерпение и страх. Показалось, что он навсегда упустил момент, когда можно было расквитаться с Яшей. Теперь Яша будет ходить и радоваться. А брат родной в земле гниет, неотмщенный. — Ты куда сейчас? — спросил он, поднимаясь.

— Никуда. Я загулял.

— Мне уйти надо...

— Иди. Я дождусь Маньку.

Егор оделся, вышел на улицу, надел лыжи и пошел скорым шагом из деревни. На окраине оглянулся — улица была пуста.

Он поправил ружье и скрылся в лесу.

6

Подойдя к знакомой избушке, Егор внимательно осмотрелся. От крыльца по поляне шла свежая лыжня. Больше следов не было. Егор двинулся по лыжне, старательно попадая лыжами в глубокие колеи.

Он шел так с час. Смотрел вперед, прислушивался... Один раз, остановившись, услышал далекий, похожий на треск сучка, выстрел. Прибавил шагу.

...В полдень он догнал Яшу.

Был ясный, морозный день. Снег слепил глаза.

— Здорово, Егор! — крикнул издали Яша.

— Здорово, — Егор глотнул пересохшим горлом. — Здорово, Яша, — он медленно приближался к нему.

Яша стоял, широко расставив ноги. На снегу рядом с ним лежала убитая лиса. Яша улыбался.

— Убил? — спросил Егор.

— Ага. Спускаюсь вон с той гривки, — гляжу: хромает, милая, — Яша показал носком валенка на переднюю левую ногу лисы: вместо ноги у нее был короткий огрызок. — Из капкана ушла, а под пулю угодила, дурочка.

Егор остановился шагах в трех от Яши. Снял рукавицы... странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он воткнул палки слева от себя...

— Что, Яша?.. — Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился. — Погань ты такая, ублюдок...

Яша побледнел.

Мгновение смотрели друг на друга... Одновременно рванулись к ружьям...

Грянул одинокий выстрел. С Яши слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону; Егор взял сгоряча выше. Яша не успел снять свое ружье. Он теперь стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Егора, — у Егора двустволка, и палец лежит на спусковом крючке второго ствола.

— Не надо, Егор, — тихо сказал он, с трудом разлепляя сведенные судорогой губы.

— Ты Макара убил!..

— Егор... прости... — Яша глядел в глаза Егору.

— Ты Макара угробил... паскуда! — Егора трясло все сильнее. Ему было жалко Яшу. — Ты Макару в висок попал. Рвань... — Егор матерно выругался.

— Егор, не губи... Егор... Эх ты, гадина! Су...

Грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил ногами, залезая головой в снег. Егор рывком перезарядил оба ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел обратно, так же старательно попадая лыжами в глубокий след. В горле стояла теплая тошнота, не проходила. Раза два он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно устал. Напрягал последние силы, передвигая лыжи.

...Перед самой деревней его вырвало. Стало жарко; жаром дышала в лицо дорога; глаза застилал горячий туман. Глядя на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспробудно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону.

Держаться он уже не мог. «Ну, все...», — подумал. И лег на дорогу. И вытянулся. И погрузился в теплый, глухой, непроглядный мир, ласково и необоримо влекущий куда-то.

Еще час, полтора — и Егор уже не вернулся бы из этого непонятного, сладостного мира. Даже молодая неистребимая сила не вернула бы его к жизни: он замерзал.

Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном.

7

Неделю Егор пластом покоился в жаркой перине, не приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо стонал, не хотел открывать рот; Марья ножом разжимала стиснутые зубы и вливала молоко или бульон.

Мерещились Егору какие-то странные, красные сны... Разнимали в небе огромный красный полог, и из-за него шли и шли большие уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками. Лиц у них не было, и не слышно было, что они смеются, но Егор понимал это: они смеялись. Становилось жутко: он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, а они все шли и шли на него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице отображались ужас и страдание.

Чьи-то заботливые руки, пахнувшие древним теплом, укладывали ему на лоб влажное полотенце... Две женские головы склонялись над ним.

— Снится, что ли, ему?..

...Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего, — Егор хотел посмотреть по сторонам, но тотчас прикрыл глаза: они так наболели, что в голове, подо лбом, заломило. — Где я?

— Дома. — Галина Петровна положила ладонь на лоб больного. Ладонь чуть вздрагивала.

— А где... Марья?

— Она ушла. У нее отец тоже заболел.

— А ты чего здесь?

— Я? Так просто. А вам что, неприятно?

— Почему?.. Ничего, — Егор отвернулся к стене и замолчал.

Яшу нашли через три дня. Охотники с гор.

Притащили в избушку к Михеюшке:

— Знаешь такого, отец?

Яша стукнулся об пол, как чурбак, — застыл скрюченным.

Михеюшка заглянул в лицо покойнику, медленно выпрямился и перекрестился.

— Наш... Яша Горячий... Царство небесное... Кто его?

— Кто-то нашелся. Кто он был-то?

— Человек... кто? Надо сказать нашим-то.

Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли.

Один на лыжах побежал в Баклань.

Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, стиснув зубы, долго молчал.

— Из ружья? — спросил он Николая, который сообщил ему эту черную весть.

— Из ружья. Всю голову размозжили.

Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавиным. Но по дороге одумался:

«Нет, так не пойдет. Надо умнее делать».

А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметно пришел к Фединой избушке.

Федя сидел в переднем углу, около окна, подшивал жене валенки.

— Здорово, Федор!

Кузьма присел на табуретку.

— Здорово, — откликнулся Федя.

И нахмурился... Швыркнул носом и низко склонился над валенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку... Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце, небольшая, конопатая, холодная рука, белая чистая рубаха — все это странным образом не походило на Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша...

— Что, Федор? — спросил Кузьма.

Федя медленно поднял большую взлохмаченную голову.

— Угробили Яшу, — тихо сказал он и снова склонился к валенку.

— Пойдем посмотрим то место? — попросил Кузьма.

На месте, где убили Яшу, была неглубокая ямка в снегу, несколько больших темно-красных ягодин крови — и все. Сколько ни искал Кузьма, ничего больше не обнаружил. Пошли обратно.

Когда подходили к деревне, Кузьма твердо решил:

— Федор, пойдем к Любавиным. Это они за Макара.

— Я не пойду, — сказал Федор.

— Почему?

— Так. Не могу пока... Шибко горько.

— Тогда я пойду один. К Егору сперва.

— Егорка хворый лежит.

— Он на этой неделе тоже охотился.

— Сходи. А я... не сердись — не могу. Я, может, выпью пойду.

Егор опять впал в беспамятство. Около него сидела Марья.

Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу сюда, но отступать было поздно.

— Здравствуйте! — громко сказал он.

Марья от неожиданности приоткрыла рот... Молча кивнула.

Кузьма снял шапку прошел к столу. На Егора не посмотрел.

Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно расправил ее.

— Когда твой муж пришел с охоты? — спросил он.

— Неделю, как... — Марья вопросительно и удивленно смотрела на Кузьму.

— Он принес чего-нибудь с собой?

— Чего?

— Дичь какую-нибудь?

— Нет.

— Ничего не принес?

— Нет.

— Где его полушубок?

— Вон висит.

Кузьма подошел к полушубку, похлопал по карманам. В одном что-то звякнуло. Кузьма вытащил четыре пустых гильзы.

— Так, — значительно сказал он. Осмотрел весь полушубок, снял со стенки ружье, заглянул в стволы. — Понятно.

Надел шапку и вышел, не посмотрев на Марью.

В тот же день он собрался и уехал в район.

Не было его три дня.

Возвратился обновленным: похудевший, собранный, резкий.

Забежал на минуту домой. Клавди не было в избе. Дверь в горницу закрыта. По глазам домашних понял: что-то случилось.

— Что такое? — не поздоровавшись, с порога спросил он.

— Ничего, — усмехнулся Николай. — С прибавлением нас...

— Родила?

— Ага. Девку. Хорошая девка получилась.

Кузьма прошел в горницу — там никого не было.

— А где она?

— У наших. Вечером съездим за ними.

Кузьма пошел в сельсовет.

Приехал он не один — в сельсовете сидел тот самый работник милиции, которого привозил Платоныч.

— Жена родила, — сообщил ему Кузьма.

— Дело, — похвалил мужчина.

— Девку... елки зеленые! — Кузьма сел к столу и рассеянно стал смотреть в окно.

— Где председатель-то? — спросил мужчина.

— Сейчас придет. Сына хотел...

— Ничего. Девки тоже нужны.

Пришел Елизар, вопросительно уставился на приезжего.

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте. В каком состоянии Егор Любавин?

— Ходит. Давеча видел — по ограде ходил.

— Надо вызвать его.

— Для чего?

— Для дела. Не надо ничего говорить. Вызывают — и все, — работник милиции говорил молодым звучным голо-

сом, короткими фразами, уверенно. Был он в том же костюме, в каком приезжал прошлый раз.

Елизар ушел.

— Сына, говоришь, хотел?

— Сына, — упавшим голосом сказал Кузьма; он сразу как-то устал. Он, конечно, обрадовался, но он так свыкся с мыслью, что у него будет сын Василий, так много думал об этом, что теперь несколько растерялся.

— Ну-у... уж ты совсем что-то скис, брат! На, кури.

Кузьма закурил. Попытался представить свою дочь... Усмехнулся.

— Ничего. Я так просто, думаю.

...Егор сильно похудел за эти несколько дней. Держался, однако, прямо. Смотрел спокойно, угрюмо.

Кузьма так и не привык к любавинскому взгляду; всякий раз, когда кто-либо из них смотрел на него, его охватывало острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее.

— Садись, — сказал приезжий.

Егор сел.

Елизар, сообразив что-то, вышел.

Кузьма и приезжий внимательно смотрели на Егора.

— Ты убил Горячего? — неожиданно, в упор, спросил приезжий.

Не столько спросил, сколько сказал утвердительно.

Голова Егора дернулась, точно его кто позвал сзади.

«Он», — подумал Кузьма.

— Нет.

— Это чьи гильзы? — приезжий расставил на столе рядком четыре штуки.

Егор посмотрел на патроны, потом на следователя и на Кузьму, на душе у него стало немного веселее: он думал, что им известно больше.

— Не знаю. Может, мои, — у меня такой же калибр.

— Ты охотничал в среду? Перед тем, как захворать?

— Охотничал.

— Видел Горячего?

— Нет. Я не дошел до избушки... плохо стало, я вернулся.

— В кого же ты стрелял?

— В зайцев.

— Не попал, что ли?

— В одного попал, но испортил шкурку, не взял. А зачем это все?

— Ты четыре раза стрелял?

— Четыре.

— Так... — следователь уставился на Егора угнетающе долгим, насмешливым взглядом.

Егору снова сделалось не по себе, он лихорадочно вспоминал: четыре раза он стрелял или больше? Один раз промазал, потом попал, двумя выстрелами добивал Яшу в голову — четыре. Двумя добивал или тремя?

— Вспомнил?

— Что?

— Сколько раз стрелял?

— Четыре.

Следователь пружинисто выкинул свое тело из-за стола, рявкнул в лицо Егора:

— А пятый раз в кого стрелял?!

Это было так неожиданно, что даже Кузьма вздрогнул.

— Почему у тебя в кармане было пять патронов? Почему?! Ну?!

— Ты не ори, — негромко сказал Егор. Он заметно побледнел; момент был жуткий.

— В кого стрелял?!

— Не ори, понял! — Егора душили страх и злоба. — А то не погляжу, что ты власть. Нечего орать.

Шрам у Кузьмы багрово накалялся.

— В кого стрелял? — сквозь зубы, тихо спросил он. Он сам в эту минуту верил, что в полушубке Егора было пять патронов.

Егор не шевельнулся, только настороженно прихмурил глаза. Он отчетливо вспомнил ясное морозное утро, Яшу, его побелевшее, растерянное лицо... Выстрел. Негромкое: «Не губи, Егор». Еще выстрел. Потом еще. И еще. Откуда же их пять?

— У меня на полатях еще двадцать пять патронов, — что же, я за всех покойников отвечать должен? — Егор обретал уверенность. Поднял глаза на следователя. На Кузьму упорно не смотрел. — Забыл, наверно, в кармане — и все. А где он, пятый-то? — Егор кивнул на патроны.

Следователь прошелся по комнате, закурил.

Егор отдыхал от великого напряжения.

«Его вовсе и не было, пятого-то, — думал он. — Ах, сволочи!.. Чуток не влопался».

За спиной Егора следователь поманил Кузьму, вышли в сенцы.

— Отпустим его, — негромко заговорил он. — Сделаем вид, что все кончилось. Потом продолжим следствие.

— Я думаю, это все-таки он.

— Мало мы слишком знаем. Думать — одно, а... Пойдем. Извинись для блезиру... Надо успокоить его.

— Нет уж, сам извиняйся.

Вошли в избу.

— У меня один вопрос к тебе, — как ни в чем не бывало, добродушно заговорил следователь, — не знаешь, у Горячего не было врагов среди охотников с гор?

Егор не сразу ответил. Молчал, думал: «Подвох какой?».

— Не знаю. Может, в тайге встречались...

— Ну ладно, — легко примирился следователь. — Иди. Извини нас.

Егор спокойно поднялся, медленно пошел к выходу. В дверях излишне низко склонил голову, чтоб не удариться о притолоку.

«Ослаб, — подумал он, спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, ноги дрожали. — Ослаб совсем».

— Где председатель-то твой? — спросил приезжий. — Позови, я ему передам... А то еще заартачится.

Кузьма нашел Елизара в соседней избе.

— Пошли, с тобой поговорить хотят.

— Про чо? — испугался Елизар.

— Скажут.

Елизар подозрительно посмотрел на Кузьму, пошел неохотно.

— Собери в субботу на сходку всех нелишенцев, — заговорил сразу приезжий.

Но Елизар перебил:

— В субботу — баня, черт их вытянет.

— Ну, в воскресенье.

— Мгм, так...

— Будут тебя переизбирать.

— Понимаю, — Елизар нисколько не удивился. — Его, да? — показал на Кузьму. — А мне какое место?

— Дело покажет. Я только передаю... В общем, приедут к вам два товарища из укома. Встретите.

8

Шел Егор из сельсовета и упорно думал: почему сразу вызвали его? Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В чем дело?.. И вдруг пришла догадка: проболтался в бреду. Когда бредил, наверно, поминал Яшу. А эта учительша слышала... тварь глазастая. Ее нарочно подослали.

Он завернул к своим.

— Эк тебя перевернуло! — заметила мать. — Не рано поднялся-то?

— Ничего... Где отец?

— Ушел куда-то. Не знаю, — Михайловна опять принялась месить тесто.

Егор сел на припечек, закурил. Стало отчего-то тоскливо — пусто было в родительском доме.

— Не хворает парнишка-то? — спросила мать.

— Нет пока.

— У Авдотьи Холманской запоносила девчонка. Говорят, поветрие ходит. Если прохватит, поите черемуховым отваром. У Маньки-то нет, наверно, черемухи? Пусть придет, я дам.

— Кондрат бывает здесь?

— Редко. С Феклой анадысь зашли посидели... Не любит наш ее чегой-то. Зря, — баба хорошая, работящая.

— Он всех их не любит, — Егор бросил в шайку недокуренную папироску, поднялся. — Не придет скоро, однако. Он не загулял?

— Нет вроде. А там бес его знает.

На крыльце заскрипели знакомые шаги. Зашуршал по валенкам березовый веник.

— Вон он... идет.

Емельян Спиридоныч вошел раскрасневшийся с мороза. Долго раздевался, кряхтел.

— Моро-оз, язви тя в душу! До костей пробирает. Скотине давала?

— Давала, — откликнулась Михайловна.

— Сейчас поболе давать надо. Такой навалился, черт те что... Воробьи падают. Поправился? — обратился к сыну.

— Поправился.

— Заходил к тебе раза два... Думали уж, каюк пришел. А чего училка около тебя сидела?

Егор нахмурился, полез за кисетом.

— Пойдем в горницу, поговорить хочу.

Отец искоса, вопросительно глянул на сына, прошел в горницу.

— Вызывали сейчас в сельсовет, — сказал Егор, прикрывая за собой дверь.

— Зачем?

— Думают, я убил Яшку.

Емельян опять внимательно посмотрел на сына.

Егор присел на подоконник.

— Ну? — спросил отец.

— Допросили.

— А ты что?

— Что? Ничего.

— А почто сразу к тебе пришли?

— А я откуда знаю? Патроны какие-то нашли в полушубке, привязались. Я в тот день тоже на охоте был.

— А Яшку видал? На охоте-то?

— Стречались, — уклончиво ответил Егор, не выдержав отцовского откровенного взгляда.

— А больше ничего? Кромя патронов-то, ничего больше не нашли?

— Ничего не нашли.

— Посылай их подальше. Нет такого закона, чтобы зазря клепать на человека.

— Ты, когда был у меня, не слышал, я бредил?

— Нет вроде. Не помню. А что?

— Сидела там эта городская... Боюсь, не слыхала ли она чего.

— У Маньки-то не спрашивал?

— Нет, я только сейчас подумал про это.

— А чего она там сидела? — опять поинтересовался Емельян Спиридоныч.

— Черт ее душу знает! Я думаю, ее подослали.

Емельян Спиридоныч долго молчал, посасывая рыжую усину... Сплюнул, полез за кисетом.

— Жись, мать ее... — и вдруг пришла ему в голову такая мысль: — Вот чего: прикинься опять хворым, она, эта училка, снова придет, а ты турýсь чего попало. Про хлеб скажи... Поговаривают, ишо будут нас облагать, сверху налогу. А я налог не отвез. Придут скоро. Налог, конечно, придется отвезти, а этот я зарыл. Под баней. Чижало догадаться, но все же... опасно. А ты, когда турýсить-то будешь, дык вроде под

пол мне советываешь. А я вроде не соглашаюсь — в завозню велю. Вроде ругаемся с тобой. Пусть тогда роются. Нету, — и все — съели.

— Не получится у меня, — с сомнением сказал Егор, удивляясь про себя отцовской хитрости.

— А тут же, — продолжал увлеченный Емельян Спиридоныч, — брякни насчет Яшки: мол, не убивал я его, чего зря привязались!.. Нет. Вроде опять со мной говоришь: жалуйся мне, что на тебя такой поклеп возводют, — старик даже устал от таких вывертов, но был доволен.

— Не получится, — еще раз сказал Егор.

— Получится! Чего тут не суметь-то? Только не все подряд рассказывай, а вперемежку. А то догадаются.

Егор ушел от отца с нетерпеливым желанием немедленно увидеть учительницу.

Марья подрубала топором ледок на крыльце.

— Давеча чуть не брякнулась, — сказала она. — Наросло черт те сколько.

— Пойдем в избу, — буркнул Егор.

Марья положила топор, вошла в избу с недобрым предчувствием.

— Я хворый турýсил или нет?

— Турýсил чего-то...

— Ну и что?

— Чего ты?

— Что говорил-то? — почти крикнул Егор.

— Господи, чего ты орешь-то? Неразборчиво было... Да я и не слушала.

— А эта... твоя слушала? Учительша-то?

— А я откуда знаю! Она тут много раз одна оставалась. Может, слушала.

Егор с ненавистью глянул на жену.

— Не можешь, чтоб кого-нибудь не тащить в дом.

— Господи!.. Да она ко всем ходит читать. А когда ты захворал, она сказала, что умеет выхаживать. Училась, говорит, этому делу. Спасибо надо...

— Вот что, — оборвал Егор. — Призови ее счас, а сама куда-нибудь выйди...

— Зачем это?

— Надо! Не разговаривай много!

Марья пошла к учительнице.

...Галина Петровна пришла сразу.

— Здравствуйте!

Егор молча кивнул.

— Как вы себя чувствуете?

— Где Манька-то? — спросил Егор, чувствуя, что скоро может сорваться; особенно злили большие, чистые глаза девушки. «Сука... Святая».

— Она сказала, что зайдет на минутку к соседям, — Галина Петровна присела на табуретку. — А почему вы ее так — Манька?

— Я слышал, что тебе надо уехать отсюда, — негромко заговорил Егор. — Пока живая. А то у нас тут... есть ухари — враз оторвут голову.

Большие глаза Галины Петровны сделались еще больше.

— Как это?.. Вы что?

— Уезжать, говорю, надо, откуда приехала! Нечего наших баб от дела отваживать. В городе надо книжки читать. А здесь надо работать. А ишо ребята обижаются, что девки по вечерам с тобой сидят — им тоскливо одним, ребятам-то.

— Пусть тоже приходят...

— Я ей одно, она другое. Уезжать, говорю, надо!

— Но почему?

— Да потому, что ты, змея ползучая, суешь нос куда не надо, — оттого ли, что он ослаб здорово, или оттого, что давеча в сельсовете сильно перепугался, Егор уже не мог сдерживать себя. — Последний раз тебе говорю: не уедешь — пеняй на себя.

Галина Петровна словно онемела, только моргала голубыми глазами.

— Два дня тебе на сборы, дальше... смотри сама, — подытожил Егор. — Жалеючи говорю. Все. Иди отсюда, чтоб я тебя больше не видел.

— Вы в своем уме? Как вы смеете...

— Еще раз говорю: хлопнут — и концов не найдешь.

Галина Петровна поднялась с табуретки. И молча вышла из избы.

Через два дня она уехала. Вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, и следователем. О причине отъезда сказала неопределенно:

— Нужно...

В Баклань больше не вернулась.

9

Из района Кузьма ехал с заданием: срочно, кто не отвез хлеб по продналогу, чтоб вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами: может, кто сверх налога раскошелится. Хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Задача нелегкая. Это не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на семь дней или на строительство школы на день. Это — хлеб. Хлеб есть, но... половина по ямам, половина — семенной, неприкосновенный. В районе строго-настрого предупредили: не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысилась, этим надо пользоваться. Богачей, зажимающих хлеб, всенародно осуждать.

«Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства», — невесело думал Кузьма.

Первое, о чем позаботился Кузьма, — чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики.

Собирались в церкви. Можно было собраться в школе (пол в зале настелен, потолок тоже), но у Кузьмы был свой расчет: в сломанную церковь богомольные бабы не пойдут. Не пойдут также и старики. А они-то как раз и не нужны там.

Долго рассаживались, кто на чем — кто прямо на полу, кто притащил из дома табуретку... Расселись, Помялись-помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались — то и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить:

— Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это когда на церкви крест, тогда нельзя.

Большинство согласились с ним.

— Нужен хлеб, товарищи, — начал Кузьма, когда расселись и стало немного потише. — Кто по налогу не вывез —

это само собой, надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх налога — сколько можем.

— Эхма-а! — громко вздохнул кто-то в задних рядах; все засмеялись.

— А сколько надо-то? — спросил Ефим Любавин.

— Я сказал: по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал — больше, кто меньше — поменьше.

— А сеять-то что будем?!

— Семенной хлеб никто у вас брать не собирается.

— А ежели нету окромя семенного-то?! — спросили звонко.

Кузьма приподнялся, чтобы увидеть, кто спрашивает.

— Давайте так: кто хочет говорить, подымайте руку. Кто сейчас спрашивал?

— Я спрашивал, — поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе. — У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез. А какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться.

Кузьма молчал. Он видел этого мужичка два раза на строительстве школы и один раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае, Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае никак не быть. Нет хлеба — его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен.

— Садись, — сказал Кузьма. — Мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть.

Кто-то, засмотревшись на стенную роспись, негромко спросил соседа:

— Это Микола-угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак.

В тишине это услышали и опять засмеялись.

У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой: хлеба, кажется, не будет. Уж больно спокойно они себя чувствуют.

— Любавины! — вызвал Кузьма. — Сколько можете?

Никто не поднялся.

— Кто Любавины-то? — спросил Ефим. — Любавиных теперь много.

— Емельян Спиридоныч.

Емельян Спиридоныч поднялся (он сидел в первом ряду), неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал:

— По налогу вывезу, а больше — ни зернышка.

— Почему?

— Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел — взял, Егорка ушел — тоже взял. Осталось себе, — Емельян Спиридоныч объяснял одному Кузьме — терпеливо, вразумительно.

— Нисколько нету?

— Не.

— А если проверим?

— На здоровье, — Емельян Спиридоныч сел очень довольный.

— Беспалов!

— Я! — бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь.

— Сколько можешь?

— Самую малость...

— Сколько?

— Куля два.

Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы.

— Садись.

— А куда же он у вас подевался-то, хорошие мои? — не выдержал Сергей Федорыч Попов. — Уж шибко вы развеселились сегодня, я погляжу!

— Давай, Федорыч, пособи властям, — съехидничал Ефим Беспалов. — Ты что-то давно не горланил. Прихворнул, я слышал?

— Поискать у них, чего тут лясы точить! — сказал Сергей Федорыч, обращаясь к Кузьме. — Припрятали, это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову.

— Милости просим! — откликнулся Ефим. — Угощу, чем бог послал.

— Чем ворота закрывают, — негромко подсказал Ефимов свояк.

— Попробуй, — спокойно сказал Сергей Федорыч и сел, не глядя на Беспаловых.

— Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело! — заговорил Кузьма. — А зря! Зря веселитесь, мужики. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб! И предупреждаю: найдем — не жалуйтесь, — он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспаловы, Холманские — богачи. — С вами, видно, только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Все. Можете расходиться.

Расходились весело, точно на представлении побывали. Шутили... Тут же сговаривались группами человек по пять, соображали насчет самогона — воскресенье было.

Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговоры, он понял, что им невыносимо скучно зимой, и ему пришла в голову неожиданная мысль: а что если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей — про то, как они хлеб зажимают? На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их.

К Кузьме подошли Сергей Федорыч, Федя Байкалов, Пронька Воронцов.

— Надо искать, — сказал Сергей Федорыч. — Так ничего не выйдет.

— Будем искать, — кивнул Кузьма. — Завтра начнем. Найдем, думаете?

— Черт его... — Федя поскреб в затылке. — Под снегом — это нелегко.

— Потом — даже, наверно, не в деревне прятали, — высказал предположение Пронька.

— А где?

— На пашнях.

— Ладно, попробуем, — Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в школе.

Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район. Честно описал сходку и высказал соображения насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделятся, но это крохи. Весь хлеб — у богачей и зажиточных, а они его надежно припрятали.

Взял бумажку с собой и пошел домой.

И дома, ночью, думал Кузьма о постановке. Надо, конечно, ее сперва написать... А может, готовые есть?

Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе (вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь).

Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему.

— Я книги возьму, бабушка.

— Возьми, милай, возьми... Я одной тут надысь печку растопила, отсырели дровишки, хоть плачь.

— Ладно, хорошо, что одной хоть. Помоги собрать.

— Да ведь не унесешь один-то? Возьми саночки у меня, только завтра привези их, саночки-то, а то я без их как без рук.

Кузьма сложил книги в мешок и на санках привез домой.

Почти до света сидел он в горнице на полу, листал книгу за книгой — искал пьесу. Нашел «Ревизора» Гоголя, некоторые коротенькие пьесы Чехова, «Грозу» Островского... Того, что нужно, не было.

«Придется писать самому», — решил Кузьма.

10

Три дня ходили Кузьма, Федя, Пронька и еще четыре мужика — искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами. Простукивали все стенки, тыкали щупами куда попало — хлеба не было. Заглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя — кормиться до нового урожая.

Из районного центра ответили, что пошлют в Баклань двух товарищей на помощь, но товарищей что-то все не было.

Днем Кузьма искал хлеб, а ночами сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе — наверняка там что-нибудь такое было, — но постеснялся: подумают, что он тут вместо хлеба шутовством занимается.

Пьеса подвигалась быстро. Сюжет был таков.

Приходят к махровому богачу несколько деревенских активистов:

— Хлеб есть? Рабочим надо помочь.

— Какой хлеб? Вы что! Сам зубы на полку положил. Семенной доедаю.

Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач — сосед.

Начинается такой разговор:

— У тебя были? — спрашивает сосед.

— Только что вышли. А у тебя?

— Были.

— Нашли?

— Как же, найдут, черта с два!

Богачи хохочут. Потом садятся за стол и начинают жрать. И ведут разговор в таком духе:

— Пусть там рабочие поголодают. Пусть попрыгают.

— У тебя сколько зарыто?

— Восемь бричек.

— А у меня десять.

— Ты где схоронил?

— На гумне. А ты?

— А я — на пашне, около березки.

Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит.

Тут занавесь закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет:

— Пришла ночь!

Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол.

Приходят активисты:

— Ну как? Подумал?

— А чего мне думать-то?

— Может, вспомнишь, где хлеб?

— Нету у меня, чего вы привязались! Я с сыновьями разделился и весь хлеб роздал по паям.

Тогда один активист, главный, говорит:

— Последний раз спрашиваю!

— Пошел ты!..

Главный активист говорит другому:

— Доставай волшебную книгу.

Один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать.

— Вот нам интересно бы знать, — спрашивает он, — где этот паразит спрятал хлеб?

Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко:

— Книга сказала: «Этот паразит спрятал хлеб на гумне».

Богач падает в обморок, а активисты, довольные, уходят к его соседу...

Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилась Кузьме. Смущали только два обстоятельства: активист, который подслушивает, и волшебная книга. Хотелось, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга — это как-то... тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка... черт с ней, пусть будет. Видно же, что они ее называют волшебной шутя. Поймут небось.

Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай.

— Какую ночь уже не спишь, все пишешь?

— А ты чего бродишь?

— Спина разболелась. Ломит — спасу нет. Табак есть?

Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. Он мужик умный, подскажет чего-нибудь.

Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением.

— Здорово! — сказал он. — Голова у тебя работает.

— Получится, думаешь?

— Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знаешь с кем поговорить? С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори.

— Ладно. Значит, поглянулось тебе?

— Просто здорово!

Кузьма был доволен.

На другой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых, Федю Байкалова, Проньку, Сергея Федорыча и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилась. Только один Федя как-то кисло принял произведение Кузьмы.

— Ты чего, Федор?

— Я изображать никого не буду, — сказал Федя.

— И не надо. Не обязательно всем. Ты так поможешь.

— Так можно, — Федя заулыбался.

Стали распределять роли.

Единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал:

— Можно.

Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорыч. Кузьма должен играть самого себя — главного активиста. Пронька будет подслушивать. Надо было еще одного, кто бы разговаривал с книжкой...

— Федор...

— Я изображать никого не буду, — уперся Федя.

Думали-думали и вспомнили — Николай Колокольников.

Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал: его почему-то обошли в этом веселом деле. Он скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорыч показал Кузьме глазами на грустного Елизара.

— Елизар! — спохватился Кузьма. — А ты будешь еще один активист. Активистов может быть сколько угодно. Мы вон по четверо ходим. Согласен?

— Можно, — сказал Елизар.

Тут же, в сельсовете, начали репетировать.

Дело пошло.

Ганя вмиг преобразился: сделался степенным, самодовольным и важным. Стал вдруг гундосить, как Ефим Беспалов. А когда он сказал: «Что вы! Да какой же у меня хлеб? Не-е...». — все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все делал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся, сидел, развалившись, у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сыто икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился и помаленьку по примеру Гани входил в роль. Когда надо было, он становился строгим и неподкупным, А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго — так, что у самого перехватило горло от жалости и горя.

Ганя не сдавался. Он тоже пошел шпарить не по написанному, а как бог на душу положит: повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал в кулак и вытирал слезы на глазах.

Зато, когда дошли до Сергея Федорыча, дело застопорилось. Богач из него был неважный. Вернее — артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей.

— Нет, ребята, не выйдет у меня, — сказал он.

Попробовал богача делать Елизар — вышло, и неплохо.

Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу. Решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца.

— Будем его хоронить! — воскликнул Ганя. — А?

— Давайте, — согласился Кузьма.

— Я буду гробик строить...

— Гробик я могу строить, — сказал Сергей Федорыч.

Но Ганя тут же сымпровизировал эту сцену, сел, по-татарски скрестив ноги, и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким голоском, гнусаво:

Гробики сосновые,
Гробики дубо-овые, —
Строим для люде-ей...

Он, наверно, где-то видел такого плотника — уж больно точно, правдиво у него получалось, у дьявола.

Федя вдруг о чем-то задумался. Долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал:

— Как же, Ганя?.. Ты, выходит, самого себя будешь хоронить? Ты же умираешь!

— Ну и что? — небрежно сказал лицедей Ганя. — Приклею бороду, и никто не узнает, — в Гане проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться.

Не хотелось уходить из сельсовета, хотелось придумывать новые и новые шутки, хохотать, беситься... У всех было такое хорошее настроение! Люди открыли вдруг источник радости.

Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу: он был зритель и как зритель судил, что хорошо, что плохо. Его слушались.

— Нет, — орал Федя, — стой! Пусть Ганька тут кукарекнет! Как тогда, помнишь, Ганька?.. Когда тебя хоронить носили.

Хором громко обсуждали, нужно тут Гане кукарекать или нет.

Разошлись поздно ночью. Договорились завтра опять сойтись вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой.

Но собраться больше не пришлось.

На другой день, рано утром, в Баклань из уезда приехали два товарища (Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал). Оба предъявили Кузьме документы (Елизара опять не было — пьянствовал). И сразу спросили: как с хлебом?

Один был небольшой, толстенький, с круглой, полированной головой, с веселыми глазками на круглом лице, другой тоже невысокий, но, видать, жилистый, с крепким подбородком, чернявый.

Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами — как будто соглашались, а когда кончил, они переглянулись между собой, и понял Кузьма: не так все расценили. Уяснили только одно — хлеб есть, и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять.

— Искал?

— Искал. Зимой без толку искать.

— Беседовал с людьми? Рассказывал, для чего нужен хлеб?

— Рассказывал.

— Плохо рассказывал, — резко сказал маленький толстенький. — Как же другие хлеб собирают?

— Не знаю. Попробуйте вы.

— Попробуем. Кстати, что нового известно по делу Горячего?

— Ничего не известно. Обещались же приехать.

— Хорош! — не выдержал другой, с крепким подбородком. — Хлеб есть — нельзя собрать, активиста убили — ничего не делается. Ты кто — Советская власть или...

— Он тут первый парень на деревне, — ввернул толстенький и засмеялся. — Председатель пьет с богачами, а секретарь...

— Ты бы полегче, между прочим, — сказал Кузьма.

— Что полегче?! — толстенький сразу посерьезнел. — Что полегче!.. Распустил тут!.. В общем — так: ехай в уезд, там скажут, что дальше делать.

Этого Кузьма никак не ожидал.

Вышел он из сельсовета растерянный. Пока шел домой, все спорил про себя с этим толстеньким:

«Я же сам говорил — надо провести настоящее следствие. А в уезде тянули кота за хвост. Теперь я же и виноват!..»

Дома попросил у Николая коня, заложил легкую кошевку и поехал в уездный город.

11

Вернулся Кузьма в Баклань по весне.

Уже отсеялись. Только кое-где еще на пашнях маячили одинокие фигуры крестьян.

Кузьма беспричинно радовался. Спроси его, чему он так уж сильно радуется, он не ответил бы. Радовался просто так — весне, черной, дымящейся паром земле, молодой травке на сухих проталинках, теплому, густому запаху земли...

Каурый иноходец (отныне за ним закрепленный) шел легко, беспрестанно фыркал и просил повод.

«Вот жизнь...», — думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно.

А один раз вдруг пришла некстати мысль: неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же — дорога петлять в логах, из-за услонов вставать солнце, орать воронье, облетая острые гривы косогоров, — а его, Кузьмы, не будет на земле?

И не поверилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле, и щемит душу радость...

Под Бакланью, на краю тайги, Кузьма увидел Егора Любавина.

Егор корчевал пни под пашню на будущий год. Кузьма остановился, некоторое время смотрел на него.

Егор подкапывался под пень, подрубал его крепкие коричневые корни и, захлестнув ременными вожжами, выворачивал пенек парой сильных лошадей. И оттаскивал в тайгу.

Дорога проходила рядом с ним. Кузьма не захотел сворачивать.

Когда он подъехал ближе, Егор посмотрел на дорогу и узнал Кузьму. И отвернулся, продолжая делать свое дело.

Кузьма сбавил шаг лошади.

«Надо же, елки зеленые!.. С первым — обязательно с ним». Он не знал, как вести себя. И, как всегда, решился сразу: поравнявшись с Егором, остановил коня, сказал громко:

— Бог помощь, земляк!

Спрыгнул, пошел к Егору.

Егор выпрямился с топором в руках, прищурился...

Долго не отвечал на приветствие. Потом кинул топор в пень, буркнул:

— Спасибо.

Кузьма остановился. Смотрели друг на друга: один — откровенно зло и насмешливо, другой — с видимым желанием как-нибудь замять неловкость. Кузьма полез в карман за кисетом.

«Зачем мне это надо было?», — мучился он.

— Отпахался?

— Отпахался, — Егор тоже полез за кисетом.

Опять замолчали. Тяжелое это было молчание. Пока закуривали — еще туда-сюда: хоть какое-то дело, — но, когда прикурили, опять стало ужасно неловко. Кузьма готов был провалиться сквозь землю. И уйти сразу тоже тяжело: знал Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в спину:

— Ну ладно, — сказал он. — Пока,— и хотел уйти.

— Опять к нам? — спросил Егор.

Кузьму этот вопрос удивил:

— А куда же?

— Так у нас же Елизарка теперь секретарит, — Егор улыбнулся.

Кузьма сразу успокоился.

— Ничего, — сплюнул по-мальчишески, через зубы, посмотрел на Егора. — Мне тоже дело найдется.

— Это конечно. Это же не пахать, а готовый искать.

— Надо будет — будем и пахать. Не ваше поганое дело, — Кузьма с виду был спокоен.

— Чего это ты поганиться начал?

— За Яшу Горячего ты все равно ответишь, — продолжал Кузьма. — Я для того и еду сюда.

Егор не изменился в лице, не посмотрел в сторону. Только еще больше прищурился.

— Смелый ты — на теплый назем с кинжалом.

— Хм... — Кузьма не нашелся сразу, что ответить, некоторое время смотрел прямо в глаза Егору. — Не знаю, где ты бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь! И братьям передай это, и папаше своему лохматому...

Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стремя.

— Все понял?

— Ехай, — негромко сказал Егор.

Кузьма легко кинул тело в седло, тронул каурого. Отъехал немного, оглянулся...

Егор стоял не двигаясь, смотрел ему вслед.

Клавдя одна была дома.

Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на него и села на кровать.

— Приехал, долгожданный, — голос чужой, злой. Глаза тоже чужие и сердитые.

Кузьма опешил:

— Ты чего?

— Ничего, — Клавдя легла на подушку и заплакала.

Кузьма подошел к ней.

— Ну чего орешь-то? Клавдя?!

— Уехал... пропал... Тут все глаза просмеяли... — сквозь слезы выговаривала Клавдя. — Уехал — так уж совсем бы не приезжал, на кой ты мне черт нужен такой...

Кузьма обозлился, сбросил с себя шинель, фуражку заходил по избе.

— Ты гляди что!.. Что же, мне отъехать никуда нельзя?

Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки.

— Здорово, Машенька ты моя! Чего эт вы в слезы-то ударились? Машенька... Маша, Марусенька... — ребенок не унимался. Клавдя тоже рыдала на подушке. — Да ты-то хоть перестань! — закричал Кузьма на жену. — Что ты, сдурела, на самом деле?!

Клавдя поднялась, взяла ребенка, и он сразу затих.

— Доченька, милая, миленочек ты мой родной... — приговаривала Клавдя, а у самой еще текли слезы.

У Кузьмы от жалости шевельнулось под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью.

— Ну? Вот дуреха-то!.. Ну, уехал. На курсах был. Я теперь милиционером здесь на законном основании. Чего же плакать-то? — то ли жалость, то ли жалость и любовь вместе вконец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее — представил себе, что было бы, если бы так случилось. Крошечное родное существо, брошенное им на произвол судьбы... Ему стало не по себе. — Милые вы мои...

— Не мог уж два слова домой написать! Уехал — как сгинул... От людей не знаешь куда деваться...

— Ладно, ладно! — Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней. Думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала. — Ну как вы здесь?

— «Как»?.. Ни стыда, ни совести у человека...

— Да хватит, слушай, — обозлился Кузьма. — Ну чего ты взъелась — не остановишься никак! Ну, уехал! И приехал. Собери поесть чего-нибудь.

Кузьма присел на скамейку, закурил.

«Не люблю я ее, вот в чем дело, — неожиданно подумал он. — Не привязанный, а будешь теперь визжать».

— Как новый председатель?

— Откуда я знаю — как?

— Хлеб искал?

— У Беспаловых нашли. У Холманских тоже...

— Много?

— Говорили — нашли, а сколько — не знаю. У тебя один хлеб только на уме! — Клавде не хотелось так просто сдаваться.

Кузьма промолчал на этот ее упрек.

— А где нашли? У Беспаловых-то?

— В простенке между амбаром и конюшней, отец сказывал. Насовсем хоть приехал-то?

— Ну.

Наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет.

— Побудь хоть немного дома-то.

— Побуду еще. Я же приехал.

— Сейчас-то побудь. Ведь от людей стыдно: не успел забежать...

— Я приду скоро! — повысил голос Кузьма.

— Сгорел бы он синим огнем, сельсовет твой проклятый!

Кузьма выскочил из избы.

«Эх, елки зеленые!..», — горько подумал он. Настроение вконец было испорчено.

В сельсовете сидел Елизар Колокольников, раздобревший, улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хозяин.

Поздоровались.

Кузьма подошел ближе и почувствовал, что от Елизара несет перегаром.

— С приездом! — Елизар широко улыбнулся.

— Ты пьяный, что ли? — спросил Кузьма.

— По какому делу к нам?

— Новый председатель тоже пьет?

Елизар враз посерьезнел.

— Мы на вопросы... разных людей не отвечаем.

— Где председатель? — строго спросил Кузьма.

— Поехал в район, — поспешил с ответом Елизар, но потом вдруг озверел: — Ты не ори на меня! — он стал подниматься. — Ты кто?! Документы! А то я те счас...

Кузьма толкнул его в грудь. Елизар грузно плюхнулся на лавку и навел на Кузьму свирепые мутные глаза.

— Ты что... длинноногий?.. Тебя поперли раз — мало? Еще надо?! — Елизар стукнул кулаком по столу. — Сма-атри у меня!

— Сиди.

Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова медленно стал подниматься.

— Сядь!

Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного ящика.

Кузьма дал ему выдвинуть ящик. И только когда тот начал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган и пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара.

«Ну, дела!.. Тьфу, черт!», — Кузьму коробило от неприятных чувств. На душе было погано.

Весь день сегодня какой-то — через пень колоду. То с Егором стычка, то Клавдины слезы при встрече, то этот дурак с наганом... Надо было что-то придумать, куда-то девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пришла желанная и властная мысль — Марья. Захотелось увидеть ее, услышать голос... И уж ноги сами собой свернули в переулок и зашагали под горку, к береговой улице, где жил Любавин Егор... И вспомнился опять сам Егор, утренняя встреча с ним.

Кузьма остановился.

«Егор — враг, враг сильный и жестокий». Кузьма ехал в Баклань с неуклонной и ясной целью: уничтожить врага. Марья все усложняла. Он понимал, что, преследуя Егора, будет больно бить Марью. Будет бить Марью, будет тяжело и больно бить себя. Так, очевидно, и произойдет. И тем сильнее захотелось увидеть ее теперь.

...Марья, ничего не понимая, долго смотрела на него.

— Здорово! — повторил Кузьма, невольно улыбаясь.

— Опять с Егором что? — спросила она, так и не поздоровавшись, — перепугалась, увидев Кузьму в милицейской форме.

— Что с Егором? — Кузьму несколько насторожил этот вопрос. — Ничего с твоим Егором не случилось, корчует пни.

— Ну?..

— Что?

— Зачем пришел-то?

— Так. В гости.

— Господи! — Марья села на лавку — Ты сдурел, что ли?

— Почему?

— Он еще спрашивает! А зайдет кто?.. Егор приедет?

— Ну и что?

— Нет, Кузьма, уходи, — Марья решительно поднялась. — Уходи, Кузьма.

— Да погоди ты! Что ты, как эта... Что я тебе сделаю-то? Посижу и уйду.

Марья неохотно покорилась. Задернула занавески на окнах и стояла посреди избы, одолеваемая противоречивыми чувствами.

Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, огляделся.

— Как сын? — привстал, заглянул в зыбку.

— Растет, что ему... Ты где был-то?

— На курсах. Милицейское дело проходил, — Кузьма как будто впервые посмотрел на Марью. Она пополнела за это время. Налилась здоровой, разящей силой. Только глаза все те же — ласковые, умные и добрые.

«Так и будет всю жизнь мучить меня», — подумал он.

В окна било лучами заходящее солнце. Красноватый мягкий сумрак заполнял избу

— Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел?

— Видел. А что?

— Тут уж подумали, что совсем уехал.

— Ты тоже так подумала?

— А мне-то чего думать? — Марья зажгла лампу.

— Да, конечно... — голос Кузьмы дрогнул. Подумалось: «А что, если бы она опять пришла за Егора просить? Отпустил или не отпустил бы? — И решил: — Нет, не отпустил бы».

Марья тряхнула головой, запрокинула назад полные, крепкие руки, поправила волосы.

— Ой, Кузьма, Кузьма...

Он встал с лавки, хотел подойти к ней.

— Кузьма! — Марья сделала строгие глаза.

Он сел.

— Ты что? Ты в своем уме? У нас дети у обоих.

— Эх, Маша... что-то не так у меня в жизни, — Кузьма, запустив пятерню в волосы, несколько минут сидел неподвижно, смотрел в пол.

Неподдельная скорбь его тронула Марью, она подошла к нему, положила на плечо руку.

— Чего мучаешься-то?

— Не люблю Клавдю. Что я сделаю?.. Разве можно так? Домой идти — хуже смерти. Нельзя так! А дочь люблю до слез. И тебя люблю.

Марья осторожно убрала руку. Кузьма поднял голову — в глазах стояло горе. Марья погладила его по голове.

— Головушка ты моя бедная... Опять мне тебя жалко, Кузьма. Ну как же ты так? Ведь Клавдя-то хорошая вон какая... Ждала тебя...

— Да... Хорошая, конечно. Может, я плохой.

— Зачем же ты женился, раз не пó сердцу она тебе?

— Откуда я знал?.. У тебя есть выпить?

— Напьешься ведь?

— Нет, выпью немного, — может, лучше станет.

Марья колебалась: и хотелось дать Кузьме выпить, — может, действительно легче ему станет, — и боялась.

— Слабенький ты, Кузьма, опьянеешь... Иди домой.

— Что ты все время меня — слабенький, слабенький!.. Какой я слабенький?

Марья негромко засмеялась и полезла под пол.

Кузьма сидел у стола и думал так: заложить бы сейчас коня, взять Марью с сыном, маленькую Машу и уехать куда глаза глядят. «Небось место на земле найдется».

Марья подала ему из подпола четверть с самогоном:

— Подержи-ка.

Он поставил четверть на лавку, помог Марье вылезти.

— Что мы делаем, Кузьма?

— А ничего, — Кузьма полез в угловой шкаф за посудой. — Стаканы где у тебя?

— Там. Подожди, я сама достану. Садись уж и сиди. Не миновать нам беды, Кузьма, сердце чует.

— Ничего! — Кузьма размашисто прошелся по избе, сел к столу.

— Клавдя-то не будет тебя искать?

— Нет, не будет, — однако пугливое счастье его поджало хвост, мимолетно подумалось: «Что же все-таки будет сегодня?». — Давай не говорить об этом, Марья.

— О чем?

— О Клавде, о муже твоем...

Кузьма налил себе стакан, Марье — поменьше. Взял свой, посмотрел на Марью... Не думал он, что так кончится его день. А может он еще не кончился?

— Ну?..

— Давай, — Марья тоже подняла стакан.

В этот момент взыкнула уличная дверь, простучали в сенях чьи-то сапоги. Кто-то остановился перед дверью в избу и искал рукой скобу — в сенях темно было...

Кузьма похолодел. В ушах зазвенело...

Дверь распахнулась. Вошел Елизар Колокольников. Остановился у порога.

— Здорово живете, — сказал он. Кузьме показалось, что Елизар усмехнулся.

— Здорово, Елизар, — откликнулась Марья тихо.

Кузьма насилу проглотил комок, распиравший горло.

— Ты чего?

— Кузьма Николаевич... — Елизар прошел на середину избы, он был уже трезв. — Отдай мне его. А то я не знаю... Отдай, Кузьма.

Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который он взял у Елизара из стола. И вместо страха — так же быстро — вскипела в нем острая злость. Он достал наган, разрядил, ссыпал патроны в карман, бросил его Елизару.

— Иди отсюда.

Елизар взмахнул руками — хотел поймать... Наган с коротким стуком упал на пол и закатился под кровать. Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, даже простонал два раза... искал.

Кузьма усилием воли сдерживал себя на месте; подмывало вскочить и броситься на Елизара.

Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, только поставила стакан.

Елизар нашел наконец наган, поднялся. Посмотрел на Кузьму, на Марью, на стол... На этот раз он действительно усмехнулся.

— Вот, Кузьма Николаевич... А то мало ли чего... — сказал он и пошел к двери. — Приятно вам посидеть.

Хлопнула дверь, опять тяжело простучали по доскам тяжелые сапоги, пропела сеничная дверь, звякнул цепок... Шаги по земле...

Потом слабо взвизгнули воротца, и шаги удалялись по дороге. Стало тихо.

Все это походило на бредовый сон.

Кузьма посмотрел на Марью. Она тоже смотрела на него.

— Пропали, Кузьма, — одними губами сказала она.

Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара.

На улице было темно.

Кузьма огляделся. Наклонился, увидел силуэт Елизара.

Тот ушел уже далеко. Кузьма кинулся за ним, Елизар — слышно было — остановился, потом тоже побежал, не оглядываясь. Черт его знает, чего он испугался, о чем подумал...

Догнал его Кузьма только около сельсовета.

— Тебе чего надо?! — заорал Елизар. — Эй, люди!!

— Не ори. Пойдем в сельсовет.

— Тебе чего от меня надо? — Елизар с перепугу обнаглел.

Кузьма вытащил наган, и Елизар затих.

— Пойдем в сельсовет.

Пока подымались на крыльцо, молчали.

В сельсовете разговаривали впотьмах, стоя.

— Как ты узнал, что я... там?

— Жена твоя сказала, Клашка.

— А она как узнала?

— Это уж я не знаю. Это вы сами разбирайтесь.

— Ладно... Теперь так: если ты хоть кому-нибудь скажешь, что нашел меня... там, то вот, Елизар, — Кузьма поднес ему под нос наган, — клянусь чем хочешь — убью.

— А какое мне дело до вас? Сами накобелили — сами и разбирайтесь. И нечего тут угрожать. За угрозы тоже можно ответить.

— Елизар, прошу тебя по-человечески — молчи.

— А то «убью»!.. Ишь ты! Молод еще! Еще сопляк! — Елизар опять осмелел.

— Елизар, еще раз тебе говорю... Я не угрожаю, я тебя на самом деле пристрелю, если скажешь. Не говори никому. Ведь разнесут, чего сроду не было, — чтó у ней за жизнь пойдет! Не за себя прошу, Елизар. Пожалей бабу. Не говори, Елизар. Это я виноват — зашел просто... Просто так зашел — и все.

— Я сказал: не мое это дело, — голос Елизара несколько потеплел. — И нечего меня просить. Отдай патроны.

— Завтра отдам, утром. Честное слово. Сейчас не могу. Ладно?

— Ладно.

— Дай руку, — Кузьма брезгливо пожал широкую потную ладонь Елизара и пошел из сельсовета.

«Скажет или не скажет? — мучился он, шлепая впотьмах прямо по лужам. — Если скажет, будет горе. Откуда Клавдя-то узнала, что я там? Видел кто-нибудь?..».

Огня у Марьи не было.

Кузьма взошел на крыльцо, споткнулся обо что-то, вздрогнул. Наклонился — лежит его шинель, рядом фуражка. Постучался. Никто не вышел. Изба мертвая. Еще постучал — ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял немного, оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и отчаяния. Вспомнил, как он весь день сегодня то ругался с

кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим дураком, то злился, то радовался трусливо... Но все бы ничего, если бы все кончилось. Еще впереди — Клавдя, Егор и, наверно, вся деревня. Страшно было за Марью. Страшно подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдя разнесут по деревне грязный слух.

Дома горел огонь.

Кузьма толкнулся в дверь — заперто. Постучался, избная дверь хлопнула, кто-то постоял в сенях... Потом скрипучий голос тещи спросил:

— Кто там?

— Я, — ответил Кузьма.

Дверь закрылась. Прошло несколько минут. Кузьма понимал, что против него что-то затевается, но не мог сообразить — чтó. Стоял ждал.

Наконец дверь снова открылась. Шаркающие босые шажки по сеням, долгая возня с засовом... Кузьма хотел войти, но его оттолкнули, выставили на крыльцо старый сундучишко, с которым они с Платонычем приехали сюда, и дверь снова захлопнулась, и только после этого голос тещи ласково сказал:

— Иди, милый, откуда пришел.

Агафья развернулась по всем правилам древней российской тактики наставления зятьев на путь праведный. Кузьме даже как-то легче стало. Он сел на приступки крыльца, задумался.

Значит, так: есть в деревне три человека, от которых сейчас зависит судьба Марьи. Как сделать, чтобы эти три человека — Елизар, Клавдя, Агафья — набрались терпения и промолчали? Просить — бесполезно, пугать — глупо. Что делать? Хоть бы посоветоваться с кем. Николая, наверно, нет дома, иначе он вышел бы к нему. Как ни стыдно перед Николаем, а надо было посоветоваться с ним.

Так думал Кузьма, когда услышал, как около прясла Колокольниковых протарахтела телега и остановилась у ворот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по телеге, негромко переговаривались — двое. Торопились. Кузьма затаился. Пригляделся и узнал Николая. Николай нес в руках что-то квадратное, похоже — ящик. Спустился в погреб, заволок туда свою ношу, вылез и побежал обратно. Опять приглушенный торопливый разговор, хихиканье... Телега затарахтела дальше, а Николай опять побежал к по-

гребу и опять с ящиком. Заволок и этот ящик, закрыл погреб, высморкался и пошел к дому. Кузьма поднялся навстречу, Николай испуганно вскинул голову, остановился.

— Кузьма, что ли?

— Я. Здравствуй.

— Испугал ты меня... тьфу! Аж в поясницу кольнуло. Ты чего тут?

— Так... Воздухом свежим дышу.

Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер потный лоб.

— Ночь хорошая, — сказал он. Он растерялся от такой неожиданной встречи и не знал, что говорить.

— Хорошая, — согласился Кузьма. Его подмывало узнать, что такое Николай прятал в погреб.

— Ты когда приехал-то? — спросил Николай.

— Сегодня.

— Мгм... Табак есть? Я намочил свой...

Кузьма подал кисет.

— Что это вы? Прятали, что ли, чего?

— Кто? Мы-то? Да тут... — Николай совсем смутился, ожесточенно высморкался и решил открыться: — Тут понимаешь, плотишко один на реке растрепало. Об камни на быстрине шваркнуло, и поплыло все. А мы как раз там сети ставили. Ну, переловили их кое-как, сплавщиков-то. Смеху было! Они переполохались, орут... А сейчас самогонки им принесли, греются.

— А что на плоту было?

— Масло.

— Это ты масло в погреб-то прятал?

— Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков, пригодится, — Николай раскурил папироску и небрежно сплюнул.

— А много ящиков было?

— Двадцать, говорят. Мы штук двенадцать поймали. Мужики ниже поплыли — за остальными, но, думаю, не найдут — темно.

У Кузьмы шевельнулось подозрение: уж не ограбили ли они тот плот? — но тут же пропало: слишком мирно настроен Николай.

— Николай...

— Чего?

— Придется отдать эти ящики.

Николай долго молчал. Попыхивая папироской, освещая при каждой затяжке кончик покрасневшего от холода носа.

— С какой стати отдавать-то? — спросил он спокойно.

— С такой, что они государственные.

— Так их же унесло! Они же все равно для государства потерянные.

— Ничего подобного. Их бы все равно собрали — не сегодня так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо скажут.

— Вон как! — Николай начал злиться. — Умнó говоришь, нечего сказать!

— Ничего не сделаешь, Николай. И потом... надо же все-таки стыд иметь: у людей несчастье, а вы обрадовались. С них же спросят, со сплавщиков-то.

— Никто не радовался, чего зря вякать. Наоборот, помогли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты по-человечески разберешься — рассказал, а выходит — зря. Помешают они нам, эти ящики?

— Отдашь, Николай.

Долго молчали. Николай глубоко затягивался вонючим самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ногтем по голенищу сапога.

— Ты кто сейчас будешь-то? — спросил Николай.

— Милиционер. Так что это... кхм... с маслом-то — отдать надо, Николай.

— Мы уж потеряли тебя.

— Я на курсах был.

Еще помолчали.

— Я-то — отдам, а вот другие... здóрово сомневаюсь.

— Не сомневайся, отдадут. Кто там еще был?

— Беспаловы ребята... четыре ящика хапнули, паразиты. Сергей Попов... Этому я бы по бедности его великой оставил. Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин Игнашка, Николай Куксин с сыном три взяли. Эх, Кузьма!.. А я уж гульнуть собрался. Думаю: продам один ящичек в городе — хоть шикану разок. Не даешь ты мне душу отвести.

Кузьме стало жалко тестя.

— Все равно бы их у вас взяли. Не я — так другие. Из города бы приехали.

— Эт пока они там приедут, у нас уж все масло растает.

Кузьма промолчал.

— Давай так: один ящик я отдаю...

— Нет, Николай.

— Тьфу! — Николай поднялся, затоптал окурок, — Нехозяйственный ты мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет.

— Николай...

— Ну.

— Дело вот в чем: меня из дома выгнали, — Кузьма заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего. — А выгнали за то, что я зашел давеча к Любавиной Марье... Ну кто-то увидел и передал. Я и зашел-то случайно...

Николая это известие развеселило.

— Вон как! — воскликнул он, толкнув запертую дверь и вернулся к Кузьме. — Так. Ну-ка дай еще закурить. Так ты, значит, хэх! Ты поэтому и кукуешь тут сидишь?

— Ну да.

— Понятно. Клюкой не попало?

— Нет.

— Мне клюкой попадало. Один раз погулял, значится, в Обрезцовке с кралей, — ну, донесли, конечно. Являюсь — подарок купил дуре такой, — она меня р-раз по спине клюкой, у меня аж в глазах засветилось. Чуть не убил ее тогда. Подарок пропил, конечно. Ты к Марье-то в самом деле случайно?

— Конечно. Никаких у меня мыслей... таких не было.

— М-да-а... У нас так. Вообще-то с Любавиными лучше не связываться.

— Я и не связываюсь.

— У нас так, Кузьма. Придется на сеновале переспать: сегодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу — ночуешь как барин.

— Я к Федору пойду переночую.

— Не ходи. У Феди Хавронья — бóтало, завтра вся деревня знать будет.

«Верно ведь!!», — подумал Кузьма.

— У меня тулуп хороший, не замерзнешь. А главное — не тоскуй. Бабы — они все такие.

— Да я не тоскую, — Кузьме действительно сделалось легче. Все-таки золотой человек этот Николай. — Стыдно только.

— Стыд не дым, глаза не ест. Сейчас вынесу тулуп.

— Спасибо.

Николай постучался. Тотчас — словно этого стука ждали — из сеней спросили.

— Кто там? — спрашивала Агафья.

— Я, — откликнулся Николай.

— Ты один?

— Нет, с кралей, — сострил Николай.

Агафья открыла дверь. Николай вошел в избу. Не было его довольно долго. Потом он вышел в тулупе внакидку, сказал негромко:

— На. Там, значит, такие дела: одна ревет, другая вся зеленая сделалась от злости. Иди. Завтра будем как-нибудь подступаться.

Кузьма взял тулуп и пошел к сеновалу.

Ночь была темная, холодная. Высоко в небе зябко дрожали крупные, яркие звезды. Тишина. Ни одного огонька нигде, ни шороха, ни скрипа. Только, если хорошо вслушаться, можно уловить далекий ровный шум реки.

Кузьма выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылся тулупом, вытянулся. Он устал за день, издергался. Сейчас было тошно. Самые разные мысли ворошились в голове, и не было сил прогнать их. Думалось о Марье, о Николае, о Клавде, о дочери своей, о Яше, опять о Марье... О Марье думалось все время.

«Лежит теперь Марья, мучается, милая. Родная ты, добрая... Вот тебе и любовь, елки зеленые!.. Одно мучение».

Из края в край по селу прокатился петушиный крик. Потом опять стало тихо. Только далеко-далеко, на другом конце деревни, шумит река, да в углу двора хрустит овсом лошадь, да жует свою бесконечную жвачку и глубоко вздыхает сонная корова.

Вдруг дверь из сеней тягуче скрипнула, и чьи-то шаги едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнялся, высунул голову в пролом крыши. Сперва ничего нельзя было разобрать, потом различилась высокая мужская фигура — Николая. Николай прокрался к погребу, неслышно открыл крышку, спустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане.

«Перепрятать хочет, — понял Кузьма. — Весь измучился сегодня с этим маслом, бедный».

Николай перетащил оба ящика в баню, так же тихо, — он даже, кажется, разулся, чтобы не шуметь, — ушел в избу. Он бы так и остался неуслышанным, если бы не проклятая дверь: оба раза она предательски певуче пропела. Николай, наверно, всю изматерил ее.

«Завтра скажет, что масло украли. Надо как-нибудь нечаянно наткнуться на эти ящики», — решил Кузьма, устраи-

ваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил, что на этом самом сеновале они были с Клавдей год тому назад, и пролом в крыше все такой же. Только тогда через него была видна ярко-красная, праздничная заря, а сейчас — холодное небо и звезды.

«Год прошел, елки зеленые...».

12

Елизар Колокольников, конечно, не утерпел.

Получив наган, он тут же забыл свои обещания, выждал, когда еще больше стемнеет, и прямехонько направился к старику Любавину. Емельяна Спиридоныча дома не было, он остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и пошел к Кондрату. По дороге напевал песенку про Хаз-Булата — хорошее было настроение.

У Феклы в избе горел небольшой огонек. Занавески на окнах спущены, а на окно, выходящее на дорогу, навешана шаль.

«Что-то делают», — подумал Елизар и тихонечко перелез через прясло — решил подглядеть на всякий случай. Перелез, сделал два шага и остановился: вспомнил про знаменитых любавинских волкодавов. Он не знал, взял себе Кондрат одного кобеля, когда делился с отцом, или нет. Если взял, тогда не стоило подходить к окну: кобели у Любавиных такие, что впустить он тебя впустит, гад, а когда выходить начнешь, тут он кидается. Послушал-послушал Елизар — вроде тихо. Значит, не взял себе Кондрат собаку. Осторожненько подошел к окну, заглянул под занавеску и видит: Фекла стоит в кухне, оперлась могучей грудью на ухват. На ее и без того красном лице играет красный свет пламени из печки. На полу, на лавке, на столе — всюду крынки, миски, туески.

«Что за хреновина?», — удивился Елизар.

За столом сидят Кондрат и Емельян Спиридоныч. Кондрат сидит ближе к окну, загородил своей широкой спинищей все, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное — по выражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о чем-то беседуют. Фекла прислушивается к ним, время от времени улыбается.

Елизар долго смотрел на эту немую странную картину, но так ничего и не понял.

«Не то масло топят, не то сало», — решил он. Ему показалось уютно в избе, тепло, чистенько. А главное — на столе прозрачная, как ручеек, водочка. Булькает она, милая, из горлышка — буль-буль-буль... От одного вида под сердцем теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми можно про жизнь поговорить, пожаловаться можно, можно нахмурить лоб и сказать, между прочим:

«Я еще про это не слыхал. Узнаю».

Или:

«Вчерась указание прислали...».

И два умных мужика будут слушать. А это ведь не просто — когда тебя слушают.

Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел сюда, а когда вспомнил, то обрадовался. И пошел от окна. И тут ему на спину прыгнул кто-то живой и тяжелый... Елизар заорал раньше, чем сообразил, что это собака.

— Мельян! Кондрат!.. — дурным голосом закричал он, закрывая от собаки лицо.

Кобель норовил вцепиться в горло. Елизар пинал его ногами и орал:

— Мельян! Кондрат!

Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридоныч держал его, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, нисколько не угрожая, спросил:

— Ты что тут, сука, подсматриваешь?

— Кондрат, я это! — взмолился Елизар. — Елизар. Не подсматривал я... С важными вестями к вам... хотел в окно постучать, а он налетел, гад полосатый. Пусти ты меня!

Кондрат отпустил Елизара.

— С какими вестями? — спросил встревоженный Емельян.

— С такими... Наплодили зверей каких-то. Еще немного — и я бы его стукнул здесь, — Елизару было совестно за свой заполошный крик.

— Я б тебя тогда самого на цепь посадил заместо кобеля, — сказал Кондрат. — И лаять заставил.

— Посадишь... Бабку мою Василису посади, она еще резвая. Герой мне, понимаешь...

— Посторонись, Кондрат, я на него Верного спущу, — серьезно сказал Емельян Спиридоныч.

— Э-э! — вскрикнул Елизар. — Пошли, в избе новость скажу.

— Здесь рассказывай.

— Здесь не буду. Нельзя.

— Подожди тут, — Емельян Спиридоныч повел собаку, а Кондрат один зашел в избу.

Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридонычем, крынок и туесков на лавках уже не было. Устье печи прикрыто заслонкой.

Фекла встретила незваного гостя настороженным, злым взглядом; удивительно быстро она сделалась Любавиной.

— Раздевайся, проходи, — как ни в чем не бывало пригласил Кондрат Елизара.

Елизар быстренько скинул полушубишко, потер ладони, крякнул.

— Ночи холодные стоят!

— Садись погрейся.

— О-о! Да у вас тут... так сказать...

— Сапоги-то вытри, — сказала Фекла.

Елизар обшмыгнул сапоги о мешковину и устремился к столу.

Емельян Спиридоныч налил ему:

— Держи.

— А себе-то чего же?

Емельян Спиридоныч мельком глянул на сына, налил себе и ему по половинке стакана.

Елизар повеселел, оглянулся на Феклу.

— А я думал, ты блины печешь. Чего, думаю, так поздно?

Фекла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро отвернулся и больше не оглядывался.

Выпили.

— Ух-ха! — Елизар для приличия закрутил головой. — Не пошла, окаянная.

Фекла фыркнула в кути:

— У тебя не пойдет!

Кондрат и Емельян Спиридоныч выпили молчком.

Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холодную розоватую ветчину, блаженно сопели.

— Какая новость? — не выдержал Емельян Спиридоныч.

Елизар смело потянулся к бутылке — хотел налить себе, но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Елизара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал резковато:

— Фекла, выдь!

— Куда это? — Фекла строго посмотрела на Елизара, потом вопросительно — на мужа.

— Ну, выйди, — нехотя сказал Кондрат. — Нам поговорить надо.

Фекла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вышла из избы.

— Какая новость?

— Новость-то... — Елизар не торопился. — Табачишко есть у кого-нибудь?

Емельян Спиридоныч налил ему полстакана водки, сунул в руку.

— Пей и рассказывай. Выкобенивается сидит тут...

Елизар выпил, громко крякнул, вытащил свой кисет и стал закуривать.

Емельян Спиридоныч как-то обиженно прищурился и подвинулся к Елизару.

— Значит, так, — торопливо заговорил тот, — жена Егорки вашего, Манька, спуталась с этим, с длинноногим, с Кузьмой. Он седня приехал — прямо к ней.

У отца и сына Любавиных вытянулись лица. Смотрели на Елизара, ждали. А ждать нечего — все сказано. Только всегда в таких случаях чего-то еще ждут, каких-то еще совсем незначительных, совсем ничтожных подробностей, от которых картина становится полной. Елизар продолжал:

— Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, к Кузьме-то, а мне Клашка наша и говорит: «А он, — говорит, — у Маньки сидит». — «Как у Маньки?» — «А так», — сама в слезы. Я — к Маньке: как-никак она мне племянницей доводится, Клашка-то. Жалко. Плачет... Захожу к Маньке — он там. Выпивают сидят. Я и говорю ему: «У тебя совесть-то есть, Кузьма, или ты ее всю загнал по дешевке?». Он на меня с наганом... Там было дело.

— Давно это? — осевшим голосом спросил Кондрат.

— Ну, как давно? Нет, только стемнело.

— А сейчас он там? — спросил Емельян.

— Там, наверно.

— Кондрат, сходи. Ничего пока не делай, только узнай, — Емельян Спиридоныч встал, снова сел, запустил лапы в лохматую волосню и страшно выругался.

Кондрат в две секунды оделся, вышел, ничего не сказав.

Емельян Спиридоныч сидел, опустив голову на руки, молчал.

Елизар осторожненько протянул руку к бутылке, стараясь не булькать, налил полный стакан...

Емельян Спиридоныч поднял голову. Елизар вздрогнул.

— Налей мне тоже, — сказал Емельян.

Выпили. Закурили.

— Он кем теперь? Опять в сельсовете, а тебя куда?

— Да нет, он милиционером.

— Во-он што!.. — Емельян Спиридоныч качнул головой. — Са-абаки! Не мытьем — так катаньем...

Елизар сочувственно вздохнул. Помолчали.

— А ведь говорил Егорке, подлецу: «Не бери вшивоту Попову не бери», — нет, взял. Ну во-от... Он ей подарил чего-нибудь, она и ослабла, сука.

— Без подарков не обошлось, конечно, — поддакнул Елизар. То состояние, о котором он думал и которого хотел себе, заглядывая в окно, наступило. — А я даже так думаю: сын-то у нее от Егора?

Емельян Спиридоныч, застигнутый врасплох этим вопросом, некоторое время тупо смотрел в стол, потом шаркнул ладонью по лицу, отвернулся и громко сказал:

— Откуда я знаю? Что я ее, за ноги держал, гадину? — это было горе, которого Емельян Спиридоныч сроду не чаял. — Растишь их... кхэ! — Емельян Спиридоныч остервенело высморкался, вытер глаза. — Думаешь — толк будет. Вырастил! Одного хряпнули, как борова, другому.. мм! За что?!

Елизар сочувственно молчал.

— За что, спрашиваю?! — Емельян Спиридоныч грохнул кулаком по столу.

— Жись... — трусливо вздохнул Елизар.

— «Жи-ись»! — передразнил его Емельян. — Что она, жись-то?..

Вошел Кондрат.

— Не открыли. Стучал-стучал — чуть дверь не выломал... — он скинул полушубок, сел к столу.

— Так. О!.. — Емельян Спиридоныч посмотрел на Еизара. — А ты тут про жись толкуешь!

У Елизара отлегло от сердца: он боялся, что Кондрат придет и скажет: «Никакого там Кузьмы нету».

— Выпьем? — предложил он.

Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели понурые, убитые позорным горем.

Вошла Фекла. Долго раздевалась, приглядывалась ко всем троим — хотела понять, что произошло.

— Лизар, поздно уж, иди спать, — бесцеремонно сказала она, заметив, что ни муж, ни свекор не обращают на Елизара никакого внимания.

Елизар поднялся, нашел свой полушубок, вышел из избы при полном молчании хозяев. И тотчас вернулся.

— Там собака-то...

— Привязана! — заорал Емельян Спиридоныч.

Елизар поспешно вышел.

— Спать! — скомандовал Кондрат. — Завтра видно будет.

13

Егор поднялся в то утро чуть свет. Напоил коней, закусил на скорую руку и принялся за пни. Выкорчевал один, взялся за другой... И увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, и похоже — к нему. Егор приложил ладонь ко лбу, долго всматривался. Всадник пропал в лощинке и появился снова — на взгорке. Егор узнал сперва коня, потом уж брата.

— Корчуешь? — спросил Кондрат.

— Ты чего? — у Егора похолодело в груди от недоброго предчувствия.

— Жену-то там... — Кондрат прибавил словцо, от которого удивленные глаза Егора сделались глупыми, как у телка.

— Ты тронулся, что ли? — он попробовал улыбнуться — растерялся.

— С Кузьмой ночевала эту ночь. Опять объявился, гад. Милиционером теперь, — лошадь под Кондратом забеспокоилась, засучила ногами. — Той! — сказал Кондрат и дал ей кулаком по шее.

Егор все стоял и смотрел на брата. Долго стоял так... Потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды повторил:

— Я не верю. Не верю. Не верю тебе.

— Апостол! — Кондрат плюнул и стал заворачивать коня. — Нарожает она тебе длинных — заживешь тогда! На крестины только не зови, пошел ты... Не верит он, когда я сам ходил к ним и достучаться не мог. Не пустили.

Егор схватил топор и пошел к Кондрату, — он ошалел от горя, не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, тот прыгнул с места.

— Врешь, — сказал Егор, останавливаясь.

— Не сходи с ума-то, черт! — Кондрат резко натянул поводья. — Если я вру, так Елизар Колокольников не врет — от их сам видел. Распустил слюни, с бабой управиться не мог. Опозорила, сволочь, на всю деревню!

— Врешь! — Егор опять пошел к нему.

Кондрат понужнул коня. Обернулся, крикнул издали:

— У нас в роду этого еще не было! Ты — первый!

Крикнул и пропал в лощинке, потом появился снова — на взгорке, оглянулся... Егор стоял с топором в руках. Дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся к лошадям, отстегнул одну, пал ей на спину и полетел прямиком, без дороги. Он знал еще один путь в Баклань — короче.

Перед самой деревней надо было перебраться через студеный ручей. По весне ручей широко разливался — целая речка. Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, испугался и заупрямился.

Егор долго мордовал его, толкал вглубь, потом вывел на берег и начал бить. Мерин пятился, поднимался на дыбы, ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин тоже взбесился — начал изворачивать и бить задом. Егор намотал повод на руку и, увертываясь от копыт, стал доставать пинками в брюхо. Долго кружились так по вязкому берегу. Егор негромко матерился, мерин храпел и рвался из узды. Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин оскалился и кинулся грудью на человека. Сшиб с ног, проволок по земле на поводу, развернулся, накинул пару раз задними ногами... Егор выпустил повод. Мерин отбежал недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним копытом вскользь пришелся по голове — он-то и выхлестнул его из сознания.

Было еще рано.

Солнце только оторвалось от гор и заливало долину веселым желтым золотом.

Земля исходила паром — дышала всей грудью.

Потревоженные утки снова начали подавать голоса. Из-за кустов тальника на середину ручья выплыла небольшая серая уточка. Почистила перышки, огляделась и крякнула громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба упали два красавца селезня и поплыли рядом. Потом еще один крупный селезень низким косым лётом шаркнул вдоль кустов и шлепнулся на воду, подрулил к двум своим товарищам. Трое самоуверенных, гордых, хвастливо выпятив

груди, преследовали одну — и ничего, не проламывали друг другу хрупкие черепа крепкими тупыми клювами. У людей так не бывает.

Егор долго лежал неподвижно. Уже солнце стало припекать основательно, несколько раз ржал тревожно мерин. Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие бойкие волны ручья, разговаривали утки...

Наконец Егор пошевелился, приподнял голову... И показалось ему, что лежит он на той самой полянке, где стоит избушка Михеюшки, где праздновали его свадьбу, где угробил он Закревского. Он даже как будто услышал неподалеку голос Макара — Макар смеялся.

«Выпил, что ли?», — подумал о себе Егор. Потом стал приглядываться, увидел ручей, коня своего, тальник... и вспомнил, и лег опять. Полежал, с трудом поднялся, намочил в ручье голову, медленно пошел к коню. Конь вскинул голову, всхрапнул и отошел от него. Егор сел на сырую землю. Закурил. Курнул несколько раз, бросил папироску. Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь на жизнь и на коня. О Марье не думал. Марьи живой для него не было. В мутном сознании своем Егор перешагнул какую-то грань и не злился больше — только тяжело было. Муторно было. И жалко кого-то. И себя тоже жалко.

Но жизнь еще не кончилась.

К обеду Егору стало легче. Боль в голове поутихла. Только шумело в ушах и в глазах — нет-нет да сдвигалась куда-то в сторону большая гора перед Бакланью. Она ужасно мешала, эта гора.

Конь, когда Егор подошел к нему, задрожал, но остался стоять. Егор долго ласкал его, гладил по голове, потом сел и поехал вокруг, через мостик.

Марья сидела посреди избы на разостланной дерюге — выбирала из решета в ведро клюкву. Ванька играл рядом с ней.

Егор вошел спокойный, усталый... Остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку.

— Ягодки выбираешь? — спросил негромко.

Марья побледнела, смотрела на мужа испуганными глазами.

— Приехал?

Егор подошел к ней, грохнул сапогом по ведру с клюквой.

Марья потянулась к Ваньке — хотела взять его на руки.

— Не трожь, сука!

Второй удар прозвучал мягко и тупо. Марья опрокинулась на спину, не вскрикнула, не охнула... Схватилась за грудь. Из открытого рта ее на пол протянулся клейкий ручеек крови.

Егор с минуту ошалело смотрел на этот ручеек... Ванька, сидевший рядом с матерью, молчком поднялся и, ковыляя, пошел к отцу. Егор попятился от него к двери, давил сапогами клюкву, она лопалась. Споткнулся о ведро, чуть не упал... В сенях сшиб с лавки еще одно ведро, оно оглушительно загремело.

Егор, как впотьмах, нащупал сеничную дверь, толкнул ее, вышел на улицу...

Ванька плакал в избе.

Егор побежал к воротам, где стоял конь, потом вернулся, осторожно закрыл сени, накинул петлю на пробой, поискал глазами замок, не увидел, воткнул в пробой палочку, как это делала Марья, когда уходила в огород или за водой к колодцу. Вернулся к коню, вскочил и пустил вмах по улице. Поехал к Кондрату.

— Я, однако, убил ее, — прохрипел он, входя в избу (Феклы не было дома). Егор был белый, в глазах стояли отчаянное напряжение и боль; он как будто силился до конца постичь случившееся и не мог.

Кондрат враз утратил тупое спокойствие свое, бестолково заходил по избе.

— Совсем, что ли? Может, нет?

— Совсем.

— Тьфу! — Кондрат выругался. — Пошли к отцу.

Емельян Спиридоныч лежал на печке — нездоровилось.

— Егорка Маньку убил, — с порога объявил Кондрат.

— Цыть! — строго сказал отец. — Орешь чего ни попадя! Как убил?

— Убил. Совсем.

Егор сел на припечье и стал внимательно рассматривать головку своего правого сапога, — точно речь не о нем шла, а о ком-то другом, кто его не интересует.

Емельян Спиридоныч легко прыгнул с печки, натянул сапоги.

— Иде она теперь?

Егор качнул головой:

— Там.

— Ну-ка... мать!..

Михайловна стояла тут же, ни живая ни мертвая, смотрела на своего младшего.

— Пойдешь со мной, — велел Емельян. — Молоко иде стоит у вас?

— Там, — опять вяло кивнул Егор.

— Никуда не выходить! Пошли. Смелей гляди, старая, — громко, как будто даже весело говорил Емельян Спиридоныч. — С убивцами живешь!.. Обормоты...

Мать с отцом ушли.

Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся.

— Сядь, — сказал Кондрат.

Егор сел.

Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, сказал:

— Теперь держись: лет десять вломают, если до смерти зашиб, — вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок веревочки. — Рази ж так можно бить!

Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и усталость. Хотелось даже спать.

Кондрат развязал наконец кисет, свернул папироску.

— На, покури.

Егор машинально протянул руку, взял папироску. Кондрат поднес ему горящую спичку. Прикуривая, Егор ясно увидел вдруг маленького Ваньку, протянувшего к нему руки, и сразу в груди огнем вскинулась резкая, острая боль. Он встал и пошел к двери.

Кондрат сзади облапил его.

— Куд-да ты?..

— Пусти.

— Нельзя туда.

Егор сдался.

Кондрат стал у двери. Объяснил еще раз:

— Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо.

Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмысленно смотрел на них.

— Чего уж раскис-то так? Помрет — надо уходить... Есть такой закон: побыть столько-то лет в бегах — все прощается. У отца в горах знакомые... ни один черт не найдет.

«Почему у нас так все получается — через пень-колоду? — пытался понять Егор, не слушая брата. — Почему нас не любят в деревне? Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как зверю, мыкать по лесам проклятое горе?.. Почему не с кем-нибудь случилось сегодняшнее, а со мной? Почему в висок угодили не кому-нибудь, а брату Макару? Почему, когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо, говорят: «Любавины»... Что это?».

Впервые так горько и безысходно думал Егор и впервые смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто кто-то нашептывал в ухо: «Не радуйся... Не смейся». А почему? Кто мешал? Ведь живут другие — горюют, радуются, смеются, плачут... И все просто и открыто. А тут как проклятие какое — вечная, непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость... «Любавины...» «Какие же мы такие — Любавины, что нет нам житья среди людей, негде голову приклонить в лихое время?..».

Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя. А они гонят от себя.

В сумерки пришли старики.

Марья скончалась у них на руках.

В полутемном большом доме Любавиных началась тихая, шепотливая суетня: Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный.

Емельян Спиридоныч объяснял сыну:

— Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо — на гору Бубурлан. Ее даже ночью заметишь. И держи ее на виду все время. Потом пасека одна попадется... старик Малышев там. Он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами.

Кондрат набивал в мешок хлеб, сало, патроны.

— Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это, — сказал он.

— Он сейчас-то иде? — спросил Егор.

— К Ефиму занесли, — ответил отец, — он принесет его проститься.

В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим. Нес на руках спящего мальчика.

— Куда бы его?..

— Давай сюда, — Михайловна приняла внука, положила на кровать.

Егор подошел к кровати, долго ломал о коробок спички — не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул... Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя.

Лицо Егора окаменело. Глаза сухо горели невыразимой тоской.

Ефим послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец, поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михайловна.

— Пореви ишо! — сдавленным голосом зашипел Емельян Спиридоныч, сам едва сдерживая слезы.

...В полночь Егор выехал с родительского двора.

Тихо шуршал дождь. Деревня спала. Огней нигде не было.

До ворот по бокам лошади шли отец и братья.

— Не горюй особо, — напутствовал отец. — Передавай о себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь.

Кондрат и Ефим молчали. Только у ворот пожали один за другим руку Егора. Ефим сказал:

— Счастливо добраться.

Егор подстегнул коня и пропал, растворился в темноте.

14

Марью хоронили на другой же день. Торопились: опасались, что Сергей Федорыч тронется умом.

В гробу лежала черная, какая-то старая, чужая женщина. Трудно было узнать в ней красавицу Марью.

Когда Сергей Федорыч приходил в себя, он начинал выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, как с живой.

— Доченька, Маня! — звал он. — Проснись, милая. Вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает?.. Манюшка! Ну-ка поверни головушку свою...

Сергей Федорыч брал в руки голову покойницы, шевелил, качал из стороны в сторону, поднимал веки... Мертвые

глаза Марьи смотрели внимательно и жутко. Присутствующие не выдерживали, Сергея Федорыча брали под руки и выводили из избы. Он вырывался, снова вбегал в избу падал лицом на грудь мертвой дочери и начинал:

— Ой, да не проснешься ты теперь, не пробудишься! Да кровинушка ты моя горькая, да изорвали-то они все твое тело белое, да надругались-то они над тобой, напоганились!..

Его силой оттаскивали от гроба, и он терял сознание. Любавиных никого у гроба не было. Только на могилку, когда хоронили, пришли Емельян Спиридоныч с Михайловной.

Стали в сторонке.

Сергей Федорыч увидел их, пал на колени, сделал земной поклон могиле дочери и взмолился к небу:

— Господи, батюшка, отец небесный! Услышь меня, раба грешного: пошли ты на их, на злодеев, кару. Никогда я тебя не просил, господи!.. Шибко уж мне сейчас горько!.. Господи!

Емельян Спиридоныч круто развернулся и пошагал прочь с могилок. Михайловна — за ним. Так шли по деревне, один — впереди, другая — сзади, шагах в трех.

Когда подходили к дому, Емельян Спиридоныч сказал:

— Караулить дом надо ночами: может подпалить.

15

Федя Байкалов узнал о смерти Марьи через два дня, когда ее схоронили уже. Он возвращался из города — ездил за углем и железом — и встретил около Баклани дальнего своего родственника, Митьшу Байкалова. Тот ехал домой с возом бревен для сарая.

— Слыхал новость-то?! — крикнул с воза Митьша.

— Каку новость? — Федя придержал коня.

— Егорка Любавин бабу свою решил.

Федя выронил из рук вожжи... С минуту беспомощно смотрел на Митьшу, потом подобрал вожжи, подстегнул коня. И опять остановился.

— За что?

— А черт его знает! Никто толком не может сказать... Спуталась, что ль, с кем-то!

Федя погнал коня.

Дома быстро распряг его, засыпал овса в ясли, вошел в избу.

Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то испуганно съежилась и, не поздоровавшись (Федя тоже не поздоровался), усердно зашаркала щеткой по шестку.

Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки.

— Дай закусить.

Хавронья молчком, послушно достала из печки жареную картошку. Взяла с полки пустой стакан, поставила на стол.

Федя налил вровень с краями, выпил.

— Егорка, конечно, ушел? — сказал он, не обращаясь к жене.

— Нет, дожидаться будет, — буркнула Хавронья.

Федя медленно повернул к ней голову:

— Я тебя не спрашиваю.

— А я не разговариваю с тобой. Нужен ты мне, пьянчуга!

— Выйди в один момент из избы! — приказал Федя. — Не доводи до греха.

Хавронья вышла.

Федя допил водку, долго искал в сундуке, среди жениных юбок, свою новую синюю рубаху, надел ее и вышел на улицу.

Пошел к Любавиным, к Кондрату.

Кондрат собрался куда-то идти. Встретились у ворот.

Федя, заложив руки в карманы, стал перед ним.

— Здорово, Данилыч! — первым поздоровался Кондрат.

Федя продолжал стоять молча. Руки не вынул из карманов.

— Здорово, говорю! — Кондрат протянул руку, беспокойно-настороженно играя глазами.

Федя плюнул в протянутую руку и спокойно и выжидательно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не вынул.

Кондрат натянуто улыбнулся, вытер ладонь о штаны, оглянулся по сторонам.

— Ты чего это?

Федя повернулся и пошел в направлении к могилкам. Не дошел немного, постоял... и двинулся обратно. Решил пойти к Кузьме.

Кузьмы дома не было.

— Уехали с Пронькой — искать, — недовольным голосом сказала Клавдя.

Федя не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма уехал...

Он пошел в кузницу.

16

Кузьма уже четыре дня мотался с Пронькой Воронцовым по тайге — искали Егора.

Первым делом кинулись к Игнатию Любавину.

Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился — не видел и слыхом не слыхал.

— Что он натворил-то?

— Мы у тебя побудем пока, — Кузьма сделался в эти дни раздражительным, резким. — Подождем.

Игнатий подумал и сказал:

— Зряшное занятие: не придет он сюда. Что он, дурак, что ли?

Это была трезвая мысль.

— А куда он может податься?

— Черт их, оболтусов, знает. Тайга большая, — Игнатий успокоился, в глазах появился любавинский насмешливый блеск. Это обозлило Кузьму.

— Ничего, придет и сюда. Так что — поживем здесь.

— Живите, — согласился Игнатий. — Только я вам дело говорю: зря.

Пронька предложил, вызвав Кузьму на улицу:

— Поедем к Михеюшке? Сюда он правда не придет.

Поехали к Михеюшке.

В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел один Пронька. Побыл там немного и вышел.

— Никто не был. Михеюшка хворый лежит.

— Что с ним?

— Говорит — грудь.

— Подождем здесь, — решил Кузьма.

Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на виду, залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться.

Прошел остаток дня, прошла ночь — никто к избушке не подъезжал.

Спали по очереди.

На рассвете бодрствовали оба. Было холодно. Курили, чтобы согреться, вполголоса говорили. Пронька, чтобы хоть немного отвлечь Кузьму от горьких дум, рассказал историю своей любви к одной городской женщине. История была странная и смешная.

Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подошла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж она выбирала-выбирала — кое-как выбрала. Потом начала торговаться. Отец Проньки разозлился и отдал кусок почти в два раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разглядывал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубая, острая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был готов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, чтобы она еще приходила, попозже, когда отец пойдет в лавочку греться. Он ей даст мяса за так, за красивые глаза. Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, Пронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился прийти к ней вечером с бутылкой. Закуска будет — жареное мясо.

— И, понимаешь, — рассказывал Пронька, — не знаю, как думать — специально она так подстроила или это правда было. Сидим, значит, с ней, толкуем. А живет она аж на краю города, под горой...

— Где кладбище?

— Ага, около кладбища. Ночь на дворе. А у ней тепло, хорошо так. У меня аж душа радуется, — думаю: заночую тут. Ну, захмелели. Она, значит, целоваться лезет. Я — ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней. И тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по избе, — я все-таки думаю, притворялась, зараза. «Ой, — говорит, — муж!». А до этого — ни слова про мужа. Да. «Он, — говорит, — у меня бешеный». Куда? Давай под кровать. Я — под кровать. Она, значит, открыла. Слышу — вошли. Этот мужик, значит, разделся... И спрашивает: «Кто у тебя был?» — «Никого не было». Ну, в общем, выволок он меня из-под кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да я еще выпил... Значит уделал он меня, отобрал деньжонки, какие были, и выставил.

— А она что?

— Она? А ничего. Стоит у печки, посматривает, как он меня метелит.

Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой, с восточной стороны, все шире и шире — просторно — разливается

свет. В тишине в настороженной шел по земле новый, молодой день. Птицы еще молчали. Туман поднимался от земли: на той стороне полянки кряжистые сосначи стояли по колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько вдруг, до того одиноко, что не стало больше сил сдерживаться. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном.

Пронька замолчал.

— Надо Егора найти, — сказал Кузьма. — Жить лучше не буду, но найду.

— Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно.

Еще ждали до полудня.

— Ладно, — сказал Кузьма. — Поехали. Не придет он сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем посмотрим старика.

Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как следует не мог. Увидев людей, долго шевелил губами — хотел, видно, сказать что-то, потом махнул рукой и прикрыл глаза.

— Съезди за доктором, Пронька. Коня у Николая Колокольникова возьми. Скажи, я просил. И еще к Феде заехай, пусть он тоже сюда едет, если дома. Я здесь подожду.

Пронька переобулся, закурил на дорожку и пошел ловить коня.

Кузьма остался с Михеюшкой.

17

Егор, как советовал отец, пробирался ночами. Днем отсыпался в сограх, кормил коня, а ночами осторожно ехал.

До Малышевой пасеки он добрался на третью ночь, к рассвету.

Пасека располагалась в логовине, в редкой березовой рощице. Обнесенная ветхим березовым пряслицем, точно опоясанная белой опояской, она была видна с горки как на ладони — серенькая избушка с покосившейся трубой, с полсотни ульев, колодец с гнилым срубом, старая колода около него и, конечно, огромные молодые волкодавы, три. Зачуяв всадника, они подняли такой устрашающий лай, что конь под Егором сам остановился. Долго никто не выходил из избушки. Наконец на крыльцо вышел белобородый старик в холщовых шароварах, с костылем в руке. Цыкнул на собак, огляделся.

Егор спустился в логовину, остановился поодаль от прясла — кобели хоть замолчали, но были на изготовке.

— Здорово, отец! — сказал Егор.

— Здорово, здорово, — неохотно откликнулся старик, присматриваясь к Егору.

— Подержи собак-то, я заеду!

— Ты откуда будешь?

— Из Баклани.

— Чей?

— Любавин.

— Емелькин сын, что ль?

— Ну.

Старик сошел с крылечка, отвел собак куда-то за избушку, вернулся и, пока Егор въезжал в ограду, все недоверчиво присматривался к нему.

— Говорили, убили у Емельки какого-то сына...

— Брата, — сердито буркнул Егор. Его начала раздражать подозрительность старика.

— Тебя как зовут-то?

— Егором.

— Ты младший, что ль?

— Младший.

Старик успокоился, даже как будто обрадовался. Помог Егору расседлать коня, показал, куда сложить мешки с провизией.

— Похож ты на брата-то, на Макарку, я, вишь, обознался. Слыхал, что убили его... Как же, думаю? Бывал он тут. Отчаянный парень. А ты чего?

— В горы еду, а дорогу не знаю. Отец велел к тебе завернуть.

— Это можно. Как отец-то?

— Ничего.

— Заходи. У меня там ишо один бакланский гостит.

— Кто? — Егор невольно попятился от двери.

— Гринька Малюгин.

У Егора отлегло от сердца — он подумал почему-то, что его ждет Кузьма.

Старик заметил растерянность Егора.

Гринька проснулся и ждал гостя, ничуть не встревожившись, даже с кровати не поднялся. В избушке был полумрак.

— Боженька человека живого послал? — спросил он старика, с любопытством разглядывая Егора. — Кто такой?

— Ты сам говоришь, человек.

— Нет, может, ты купец — тогда твоя жизнь конченая. А может, ты от властей посланный — тогда поворачивай оглобли, нам не о чем толковать. А может, ты добрый молодец — тогда мы с тобой выпьем, — Гринька, видно, намолчался в тайге, разглагольствовал с удовольствием.

Егор много слышал о Гринькиных похождениях, поэтому сам тоже с интересом рассматривал его. Он видел Гриньку, когда того водили по деревне за конокрадство, но тогда Гринька был не такой, и Егор, пожалуй, не узнал бы его, встреться он где-нибудь один на один с ним.

— Я проездом тут. В горы еду.

— В горы едет, — с дурашливой многозначительностью пересказал Гринька старику слова Егора. — А зачем, спрашивается? Коня прогулять? Или, может, тяпнул кого-нибудь по темечку? — тогда надо в горы. Егору стало нехорошо от Гринькиных шуток, он нахмурился и, ничего не сказав, полез в карман за табаком.

— Не глянутся мои слова, — заметил Гринька старику. — А?

— Твои слова редко кому поглянутся, — сказал старик. — Он ведь земляк твой, из Баклани.

Гринька враз утратил беспечность, впился в Егора маленькими жуткими глазами.

— Нет, не помню, — сказал он. — Чей?

— Любавин.

— А-а... — Гринька опять лег, закинул руки за голову, долго молчал. — Помнишь, меня водили за коней Беспаловых.

— Помню.

— Я тоже помню. Я всех тогда запомнил. Любавиных не было. Правильно?

— Где не было?

— Бил кто-нибудь из Любавиных меня?

— Нет.

— Правильно. Давай, Кузьмич, медовухи. Мне что-то тоскливо сделалось.

— Давай-ка лучше поспим маленько, — сказал старик. — Да и парень умаялся с дороги, пусть отдохнет. А потом выпьем, этого добра не жалко.

— Согласный, — сказал Гринька. — А ты?

Егор усмехнулся:

— Я тоже.

Ему постелили на полу. Старик полез на печку.

Егор с удовольствием вытянул натруженные за ночь ноги, зевнул.

В два маленьких оконца вливался ранний свет. Постепенно в избушке все четче обозначались отдельные предметы: печь с большим, неуклюжим чувалом и с непомерно широким устьем, кадка в углу, куль с мукой, старенькое ружьишко на стене, волосяные маски от пчел, пучки сухих трав... Откуда-то — Егор не понимал откуда — потягивало свежим воздухом. На стене, над дверью, шевелились слабенькие тени — под окном стояла березка, и ее чуть трогал утренний ветерок.

Егор заснул незаметно, но и во сне все от кого-то убегал, а ноги плохо слушались, и сердце замирало от страха. Потом — не то приснилось, не то почудилось: как будто он так и лежит на полу в избушке. На печке спит старик Малышев, на кровати — Гринька. Вот Гринька полежал-полежал, зевнул и сел.

— Не спится.

— Мне тоже, — сказал Егор. — Ты Макара, брата, не знал?

— Знал, как же! Он атаманил в одной шайке.

— Так вот — убили Макара.

— Да ну?! Кто? — Гринька опять, как давеча, уставился на Егора страшными глазами.

— Уполномоченный у нас... Кузьмой зовут. На Клашке Колокольниковой женатый.

— Так чего же ты ушел из деревни?

— Я все равно его убью. Он тоже недолго погуляет. Примешь меня в свою шайку?

— Конечно. Ты Маньку-то любил свою?

Егор помедлил с ответом.

— А ты откуда знаешь про... Откуда ты все знаешь?

— Знаю, добрый молодец! — сказал Гринька и захохотал. — Я все знаю.

— Любил. Мне теперь тоскливо без нее.

— Ничего, не тоскуй. Сейчас выпьем. Правильно сделал, что убил.

— Кого?

— Уполномоченных-то.

— Я говорю: без Маньки мне теперь тоскливо будет.

— Ничего. Сейчас выпьем.

— Я же не хотел ее убивать. Я только ударить хотел, а получилось...

— А Яшу Горячего тоже ты убил?

— Нет.

— Ты мне не ври, добрый молодец! — Гринька опять громко захохотал, а глаза смотрели пронзительно. — Я ведь все знаю. И ты мне никогда не ври. А то я тебе самому сейчас голову отверну!

Гринька встал и начал кривляться над Егором, и все хохотал оглушительно... Егор всмотрелся лучше и увидел, что у Гриньки нет лица. А Гринька подходил все ближе к нему и все хохотал и кривлялся... Егор проснулся от ужаса, охватившего его.

...Гринька, скорчившись в кровати, надсадно кашлял. Егор пошевелился, Гринька повернулся к нему.

— Вот, брат, до чего... — прохрипел он. — Всю душу выворачивает.

— Простыл?

— Простыл... Кузьмич! А Кузьмич!

Старик на печке поднял голову.

— Чего?

— Хватит спать! Давай медовухи.

Малышев протяжно зевнул и полез с печки.

— До чего утренний сон хороший!

— Ты как жених спишь, — упрекнул его Гринька.

— А чего ж? Я людей не убивал — душа не болит, — непонятно, к чему он сказал это. То ли недоспал — обозлился на Гриньку; то ли из ума стал выживать, забывает, с кем и о чем не следует говорить. Скорей всего не подумал и брякнул.

Гринька внимательно посмотрел на старика.

— Ты к чему это?

— Да так... присказка такая есть.

Гринька промолчал.

У Егора совсем пропал сон.

Было уже светло.

Позавтракали.

Егор напоил коня из колодца, спутал и пустил около ограды. Взял у старика драный тулупишко и полез на вышку. От выпитой медовухи голова отяжелела, и сон снова обуял Егора.

На вышке было хорошо — тепло. Сквозь многочисленные щели крыши глазело солнце. Пахло пылью и старой кожаной сбруей. На карнизе дрались воробьи.

18

Кузьма вернулся домой через неделю. Похудел, оброс смешной рыжей бороденкой.

Домашние встретили его гробовым молчанием. Даже Николай не нашелся, что сказать сразу.

Кузьма разделся, ополоснул в сенях лицо. Когда вошел с мокрым лицом, Клавдя молча подала ему полотенце.

— Баню можно истопить? — спросил Кузьма, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Баню надо, — поддержал Николай.

— Истопим, — сказала Клавдя.

Кузьма прошел в горницу и стал раздеваться — хотел спать лечь.

Вошел Николай, плотно прикрыл за собой дверь.

— Ну как? — участливо спросил он.

— Нет... Ушел.

— Ушел, — Николай сел на краешек кровати, глядя на Кузьму с отеческой неподдельной заботой. — Его теперь в горах надо искать.

— Где?

— В тайге, в горах. Там знакомство у Емельяна...

— Посоветоваться надо с председателем.

— Председателем-то счас другой. Пьяных Павел...

— Я слышал. Он ваш, кажется, бакланский?

— Наш, ага. Сейчас только нету у него тут никого. Мать была, в позапрошлом году схоронили. А он, как в армию тогда взяли, в тринадцатом, однако, так его с тех пор не было. Никто не знал, иде он. А когда выбирали, рассказал: воевал сперва в империалистической, а потом за советскую власть. Барона тут какого-то гоняли... А счас потянуло, видно, на родину...

— Хороший мужик?

— Дык вить... как скажешь? Его толком-то никто не знает. Ушел молодым ишо... В парнях вроде не выделялся, жили бедновато. Отца в японскую убило, а мать — чего она? А он — малолеток, незаметный... Хороший, говорят. Лизара

нашего попер от себя, — Николай усмехнулся, качнул головой. — Третьего дня приходит пьяный. «Выгнали», — говорит. Давно пора...

Председателя в сельсовете не было. Сказали, в школе.

Кузьма пошел в школу.

Дороги подсохли, затвердели. Под плетнями зазеленела молодая крапива. Мирно и тепло в деревне, попахивает дымком и свежевыпеченным хлебом... Опять была весна. Надо бы радоваться, наверно, а на душе неспокойно. Тяжело, что Марьи нет. Невыносимо тяжело и больно, что виноват в этом он. Как страшно и просто все вышло!

Захотелось очень поговорить с Платонычем. И он стал сочинять ему письмо (он иногда матери тоже «писал» письма).

«Дядя Вася!

У нас опять весна. Много всякого случилось без тебя — Марью убили, Яшу... Мне сейчас трудно. Жалко Марью, сердце каменеет... С семьей у меня тоже вышло как-то не так. Но школа твоя уже достраивается, скоро совсем достроим. Хорошая получилась школа. Ребятишки учиться будут, скакать, дурачиться, и ты будешь как будто с ними. Я теперь понял, что так и надо: все время быть с людьми, даже если в землю зароют. А с Марьей-то — я виноват. Не могу людям в глаза глядеть, дядя Вася. Хоть рядом с тобой ложись... Сергея Федорыча еще не видел и не знаю, как покажусь. Плохо!»

19

Председатель ругался с плотниками. Втолковывал, какие вязать рамы, чтоб больше было света. Даже показывал — чертил угольком на доске. Плотники таких никогда не вязали, упрямились. Уверяли, что и так хватит света.

— Куда его шибко много-то?

— Так дети же! — кричал председатель. — Черти вы такие! Дети учиться-то будут! Им писать надо, задачки решать... Наши же дети?!

Плотники, нахмурив лбы, стали совещаться между собой.

Кузьма окликнул председателя. Тот повернулся, и Кузьма узнал его: один из тех, кто тогда приезжал на заготовку хлеба, невысокий, плотный, с крепким подбородком. Улыбнулся Кузьме.

— Здорово! Что ж долго не заходишь?

— Я заходил — ты в уезде был. А эти дни...

— Слышал, — председатель посерьезнел. — Никаких следов?

— Нет. В горы ушел.

— Ждать не будет, конечно. Ну, давай знакомиться: Павел Николаевич. Тебя — Кузьма?

— Я помню — приезжали...

— Отойдем-ка в сторонку, поговорим.

Походка у Павла Николаича упружистая, и весь он как литой. Шея короткая, мощная. Идет чуть вразвалку, крепко чувствует под ногой землю.

Вышли из школы, сели на бревно.

— То, что ты милиционер, это хорошо. Что молод, это малость похуже, но дело поправимое. А?

— Думаю...

— Я тоже так думаю. Надо, Кузьма, начинать работать. Ты тут, прости меня, конечно, ни хрена пока не сделал, — Павел Николаич посмотрел своим твердым, открытым взглядом на Кузьму. Тот невольно почувствовал правоту его слов, не захотелось даже ничего говорить в свое оправдание. — Деревня глухая, я понимаю, но дела это не меняет, как ты сам понимаешь.

— Понимаю.

— У тебя как с семьей-то? — вдруг спросил Павел Николаич.

— Что с семьей?

— Ну... все в порядке?

Кузьма нахмурился. Подумал: «Вот так и будет теперь все время».

— Ты же знаешь... Что спрашивать?

— Что знаю?

— Не в семье дело, а... Ну, знаешь ты! Из-за меня убийство-то... случилось. Марью-то Любавину...

Председатель жестоко молчал.

— Знаешь или нет? Говорят ведь!

— Говорят.

— Ну вот. Зашел к ней, а сказали... Да ну к черту! Тяжело, — действительно, было невыносимо тяжело. Но именно оттого, что было так тяжело, нежданно прибавилось вдруг: — Я любил ее, не скрываю. Только ничего у нас не было. Вы-то хоть поверьте. Вот и все. Теперь мне надо най-

ти его. Возьму человек трех, поедем в горы. Возможно, к банде пристал...

— В горы не поедешь. Из-за одного человека четверо будете по горам мотаться... жирно. А банду ту накрыли. У Чийского аймака. Человек шесть, что ли, ушло только. Сейчас туда чоновцев кинули — вот такие группы ликвидировать. Никуда и Любавин твой не денется.

— А когда банду?

— Четвертого дня.

— Далеко это?

— У границы почти. Наверно, хотели совсем уйти. Суть сейчас не в Любавине. Есть дела поважнее. Надо молодежь сколачивать — комсомол. Комитеты, актив... Богачи могут поднять голову. Раз «кто — кого», так и нам ушами не надо хлопать. Насчет убийства Марьи — считай, что это тебе урок на всю жизнь. Переживать переживай, а нос особо не вешай, а то им козырь лишний, всяким Любавиным да Беспаловым. Понял?

— Сергей Федорыча жалко... Прямо сердце заходится.

— Жалко, конечно. Не везет старику: трех сынов потерял, и теперь вот... — председатель замолк, подобрал с земли щепочку, повертел в руках, бросил и сказал негромко, но с такой затаенной силой, что Кузьма вздрогнул: — Сволочи!..

— Егора надо найти.

Председатель поднялся с бревна.

— У дяди бумаги какие-нибудь остались?

— Есть... дома.

— Пойдем. Отдашь мне.

Пошли от школы.

— В уезде ничего не требуется?

— Нет. А что?

— Я сейчас еду туда. Со школой надо тоже утрясать. Деньги нужны. Что за учительница здесь была?

— Она не учительница, так просто... попробовала, а ничего не вышло. Испугалась, что ли...

— Вот надо все налаживать. А за нас никто ничего не сделает. Так, Кузьма.

20

В тот же день, проводив председателя, Кузьма пошел к Сергею Федорычу.

Увидел его кособокую избенку, и с новой силой горе сдавило сердце.

Сергей Федорыч ковырялся в ограде — починял плетень. На приветствие Кузьмы только головой кивнул. Даже не посмотрел.

— Дядя Сергей... — заговорил было Кузьма.

Но тот оборвал:

— Не надо ничо говорить. Ну вас всех к дьяволу! — присел у плетня, вытер рукавом рубахи глаза, посмотрел на ребятишек, игравших в углу двора, вытер еще раз глаза, долго сидел не двигаясь.

Кузьма стоял рядом.

— Не надо про то... Сядь-ка, — сказал Сергей Федорыч. Кашлянул в ладонь. Голос дрожал. — Хлеб-то, помнишь, искали?

— Ну?

— У Любавиных тоже искали — не нашли. А хлеб есть.

— Есть, наверно.

— Не «наверно», а есть. И — ое-ей, сколько!

— Ну?

— Не понужай — не запрёг. Значит, так: мылся я у них как-то в бане — когда еще родней были, — и показалось мне подозрительно, что сам старик — мы вместе были — мало воды на себя льет. И на меня один раз рявкнул, чтобы я тоже не плескал зря.

Кузьма опять хотел сказать: «Ну». Он ничего не понимал пока.

— А чего бы ее, кажись, беречь, воду-то? — продолжал Сергей Федорыч. — Заложил коня да съездил на речку с кадочкой. Нет! Он прямо на дыбошки становится: не лей зря воду — и все! Я и подумал тогда: не хлеб ли лежит у них там, под баней-то?

Кузьма смотрел в рот Сергею Федорычу, слушал. Но тот кончил свой рассказ и тоже смотрел на Кузьму.

— А зачем им его под баню-то прятать?

— А куда же его прятать? Тебе в голову придет искать хлеб под баней?

— Так он же сгниет там!

— Не сгниет. Поглубже зарыть — ничего с ним не будет. А они и баню редко топили нынче, я заметил. Да еще накрыли его хорошенько, вот и все. И воды поменьше лили.

— Чего же ты раньше-то молчал?

— Чего молчал! — Сергей Федорыч рассердился. — Родня небось были!.. — рыжий клинышек бородки его опять запрыгал вверх-вниз, он отвернулся, высморкался и опять вытер глаза рукавом вылинявшей ситцевой рубахи. — Вот и молчал. Скажи тада, дочери бы житья не было. А счас мне их, змеев подколодных, надо со света сжить — и все. Не ной моя косточка в сырой земле, если я им что-нибудь не сделаю, —эти слова Сергей Федорыч произнес каким-то даже торжественным голосом, без слез.

Кузьма в душе еще раз поклялся отомстить за Марью.

— Дак вот я и думаю, как у их этот хлеб взять?

— Возьмем, да и все.

Видно, Сергея Федорыча такая простота не устраивала, он хотел видеть здесь акт мщения.

— Тогда скажите, когда найдете: это я подсказал, где искать.

— Может, его нет там...

— Там! — опять рассердился Сергей Федорыч. — Я уж их изучил. Там хлеб! Говорят — надо слухать.

Когда стемнело, к Любавиным явились четверо: Кузьма, Федя Байкалов, Пронька Воронцов и Ганя Косых.

Емельян Спиридоныч вечерял.

Когда вошли эти четверо, он настолько перепугался, что выронил ложку. Смотрел на незваных гостей и ждал. Михайловна тоже приготовилась к чему-то страшному.

— Выйдем, хозяин, — сказал Кузьма, не поздоровавшись (из четырех поздоровались только Ганя и Пронька).

— Зачем это?

— Надо.

— Надо — так говори здесь, — Емельян Спиридоныч начал злиться, и чем больше злился, тем меньше трусил.

— Пойдем, посвети, мы обыск сделаем. И пошевеливаться надо, когда говорят! — Кузьма помаленьку терял спокойствие.

— Ишь какой ты! — Емельян Спиридоныч смерил длинного Кузьму ненавистным взглядом (он в эту секунду подумал: почему ни один из его сыновей не стукнул где-нибудь этого паскудного парня?). — Лаять научился. А голоса еще нету — визжишь.

— Давай без разговоров!

Емельян Спиридоныч встал из-за стола, засветил еще одну лампу и повел четверых во двор. Он был убежден, что ищут Егора. Даже мысли не было о хлебе. Давно все забылось. Успокоились. И каковы же были его удивление, растерянность, испуг, когда Кузьма взял у него лампу и направился прямо в баню. Но это еще был не такой испуг, от которого подсекаются ноги... Может быть, они думают, что Егор прячется в бане? И тут только он обнаружил, что двое идут с лопатой и с ломом. Емельян остолбенел.

Трое идущих за ним обошли его и скрылись в бане.

Емельян Спиридоныч лихорадочно соображал: взять ружье или нет? Пока он соображал, в бане начали поднимать пол — затрещали плахи, противно завизжали проржавевшие гвозди...

Емельян Спиридоныч побежал в дом за ружьем.

Увидев его, белого как стена, Михайловна ойкнула и схватилась за сердце: она тоже подумала, что Егор потайком вернулся и его нашли.

Емельян Спиридоныч трясущимися руками заряжал ружье.

— Да что там, Омеля?

— Хлеб, — сипло сказал Емельян Спиридоныч.

— Осподи, осподи! — закрестилась Михайловна. — Да гори он синим огнем, не связывайся ты с ними. Решат ведь!

Емельян Спиридоныч бросил ружье и побежал в баню.

— Гады ползучие, гады! — заговорил он, появляясь в бане. — Подавитесь вы им, жрите, собаки!.. Тебе, длинноногий, попомнится этот хлебушек...

Пронька орудовал ломом, Федя светил.

Подняли четыре доски. Пронька с маху всадил в землю лом, он стукнул в глубине о доски.

— Вот он... тут! — сказал Пронька.

Емельян Спиридоныч повернулся и пошел в дом.

Кузьма, растирая ладонью ушибленное колено, бросил Гане:

— Гаврила, давай за подводами.

21

Кондрат узнал обо всем только утром. Фекла пошла за водой к колодцу, а там все разговоры о том, как от Любави-

ных всю ночь возили на бричках хлеб. Фекла не стала даже брать воду, побежала домой.

— Наших-то ограбили! — крикнула она.

Кондрат подстригал овечьими ножницами бороду. Бросил ножницы, встал.

— Что орешь, дура?

— Хлеб-то нашли ведь!

Кондрат как был, в одной рубахе, выскочил на улицу и побежал к отцу.

Емельян Спиридоныч сидел в углу, под божницей, странно спокойный, даже как будто веселый.

— Проспал все царство небесное! — встретил он сына. — Хлебушек-то у нас... хэх!.. Под метло!

Кондрата встревожило настроение отца:

— Ты чего такой?

— Какой? Сижу вот, думаю...

— Как нашли-то?

— Найдут! Они все найдут. Они нас совсем когда-нибудь угробют, вот увидишь.

— Все взяли?

— Оставили малость на прокорм... — Емельян Спиридоныч махнул рукой.

Кондрат скрипнул зубами.

— Знаешь, что я думаю? — спросил отец.

— Ну?

— Петуха им пустить. Школа-то стоит?..

— Какой в ней толк, в школе-то?

— Дурак, Кондрашка! Сроду дураком был...

— Ты говори толком! — окрысился Кондрат.

— Школа сгорит — они с ума посходют. Строили-строили... Старичок-покойничек все жилы вытянул. Мне шибко охота этому длинногачему насолить, гаду. Я всю ночь про это думал. Его вопче-то убить мало. Он разнюхал-то... Но с ним пускай Егорка управляется, нам не надо. Тому все одно бегать. А школа у их сгорит! Все у их будет гореть!.. Я их накормлю своим хлебушком.

Кондрат молчал. Он не находил ничего особенного в том, в чем отец видел сладостный акт мести.

— А маленько погода установится, — продолжал Емельян Спиридоныч, — поедешь в горы, расскажешь Егорке, как тут у нас... — старик изобразил на лице терпеливо-страдальческую мину. — Гнули, мол, гнули спинушки, собирали по зернышку, а они пришли и все зачистили. А? Во как дела-

ют! — Емельян Спиридоныч отбросил благообразие, грохнул кулаком по столу. — Это ж поду-умать только!..

— Не ори так, — посоветовал Кондрат.

В глухую пору, перед рассветом, двое осторожно подошли к школе, осмотрелись... Темень, хоть глаз выколи. Тишина. Только за деревней бренькает одинокая балалайка — какому-то дураку не спится.

Кондрат вошел в школу с ведерком керосина. Емельян Спиридоныч караулил, присев на корточки.

Тихонько поскрипывали новые половицы под ногами Кондрата, раза два легонько звякнула дужка ведра. Потом он вышел.

— Все.

— Давай, — велел Емельян Спиридоныч.

Кондрат огляделся, помедлил.

— Ну, чего?

— Надо бы подождать с недельку хоть. Сразу к нам кинутся...

— Тьфу! Ну, Кондрат...

— Чего «Кондрат»?

— Дай спички! — потребовал Емельян Спиридоныч.

Кондрат вошел в школу. Через открытую дверь Емельян Спиридоныч увидел слабую вспышку огня. Силуэтом обозначилась склоненная фигура Кондрата. И тотчас огонь красной змеей пополз вдоль стены... Осветился зал: пакля, свисающая из пазов, рамы, прислоненные к стене... Кондрат быстро вышел, плотно закрыл за собой дверь.

Двое, держась вдоль плетня, ушли в улицу.

Из окон школы повалил дым, но огня еще не было видно — Кондрат не лил керосин под окнами. Потом и в окнах появилось красное зарево. Стало слышно, как гудит внутри здания огонь. Гул этот становился все сильнее, стреляло и щелкало. Огонь вырывался из окон, пробился через крышу — все здание дружно горело. Треск, выстрелы и гул с каждой минутой становились все громче. И только когда огнем занялись все четыре стены, раздался чей-то запоздалый крик:

— Пожар!.. Эй!.. Пожа-ар!

Пока прибежали, пока запрягли коней, поставили на телеги кадочки и съездили на реку за водой, за первой порци-

ей, тушить уже нечего было. Оставалось следить, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Ночь, на счастье, стояла тихая, даже слабого ветерка не было.

Стояли, смотрели, как рассыпается, взметая тучи искр, большое здание, большой труд человеческий...

Прибежал Кузьма.

— Что же стоите-то?! — закричал он еще издали. — Давай!

— Чего «давай»? Все... нечего тут давать.

Кузьма остановился, закусил до крови губу...

Подошел Пронька Воронцов:

— Любавинская работа. Больше некому.

Как будто только этих слов не хватало Кузьме, чтобы начать действовать.

— Пошли к Любавиным, — сказал он.

Дорогой к ним присоединились Федя и Сергей Федорыч.

— Они это, они... — говорил Сергей Федорыч. — Что делают! Злость-то какая несусветная!

— Они-то они, а как счас докажешь? — рассудил Пронька. — Не прихватили же...

— Вот как, — Кузьма остановился. — Сейчас зайдем к старику, так?.. Пока я буду с ним говорить, вы кто-нибудь незаметно возьмете его шапку. Потом пойдем к Кондрату. Скажем: «Узнаешь, чья шапка? У школы нашли». А?

— Попытаем. Не верится что-то.

...Ворота у Любавиных закрыты. Постучали.

Никто не вышел, не откликнулся, только глухо лаяли псы. Еще раз постучали — бухают псы.

— Давай ломать, — приказал Кузьма.

Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, другой — ворота нисколько не подались.

— Погоди, я перескочу, — предложил Пронька.

— Собаки ж разорвут.

— А-а...

Еще постучали, — все трое барабанили.

— Стой, братцы... я сейчас, — Кузьма вынул наган, подпрыгнул, ухватился за верх заплота. — Пронька, подсади меня!

— Собаки-то!..

— Я их постреляю сейчас.

Пронька подставил Кузьме спину, Кузьма стал на нее, навалился на заплот.

— Кузьма! — позвал Федя.

— Что?

— Собак-то... это... не надо.

— Собак пожалел! — воскликнул Сергей Федорыч. — Они людей не жалеют...

— Не надо, Кузьма, — повторил Федя, — они невинные.

— Хозяин! — крикнул Кузьма.

На крыльцо вышел Емельян Спиридоныч.

— Чего? Кто там?

— Привяжи собак.

— А тебе чего тут надо?

— Привяжи собак, а то я застрелю их.

Емельян Спиридоныч некоторое время поколебался, спустился с крыльца, отвел собак в угол двора.

Кузьма спрыгнул по ту сторону заплота, выдернул из пробоя ворот зуб от бороны.

— Пошли в дом, гражданин Любавин!

Емельян Спиридоныч вгляделся в остальных троих, молчком пошел впереди.

В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорыч, остановил и торопливо зашептал в ухо:

— Ведерко... Счас запнулся об его, взял, а там керосин был. У крыльца валялось. На. Припрем...

Федя и Пронька были уже в доме. Ждали, когда Емельян Спиридоныч засветит лампу.

Вошли Кузьма с Сергеем Федорычем.

Лампа осветила прихожую избу.

Кузьма вышел вперед:

— Ведро-то забыли...

— Како ведро?

— А вот — с керосином было... Вы его второпях у школы оставили.

Емельян Спиридоныч посмотрел на ведро.

— Ну что, отпираться будешь? — вышагнул вперед Сергей Федорыч. — Скажешь, не ваше? А помнишь, я у вас керосин занимал — вот в этом самом ведре нес. Память отшибло, боров?

— Собирайся, — приказал Кузьма.

Михайловна заплакала на печке:

— Господи, господи, отец небесный...

— Цыть! — строго сказал Емельян Спиридоныч. Ему хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую ма-

лость, чтоб вспомнить: нес Кондрат ведро домой или нет? И никак не мог вспомнить.

А эти торопили:

— Поживей!

— Ты не разоряйся шибко-то...

— Давай, давай, а то там сыну одному скучно. Он уже все рассказал нам.

Емельян Спиридоныч долго смотрел на Кузьму. И сказал вроде бы даже с сожалением:

— Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. Узнает Егорка, про все узнает... Не жилец ты. И ты, гнида, не радуйся, — это к Сергею Федорычу, — и тебя не забудем...

— Тебе сказали — собираться? — оборвал Сергей Федорыч. — Собирайся, не рассусоливай.

— Построили школу?.. Это вам за хлебушек. Дорого он вам станет... — Емельян Спиридоныч сел на припечье, начал обуваться. — Не раз спомните. Во сне приснится...

Пронька остался в сельсовете, караулить у кладовой Емельяна Спиридоныча и Кондрата.

Сергей Федорыч, Кузьма и Федя медленно шли по улице. Думы у всех троих были невеселые.

Светало. В воздухе крепко пахло свежей еще, неостывшей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. День обещал быть ясным, теплым.

У ворот своей избы Сергей Федорыч приостановился, подал руку Кузьме, Феде:

— Пока.

Федя молча пожал руку старика, Кузьма сказал:

— До свидания. Отдыхай, Сергей Федорыч.

Сергей Федорыч посмотрел на него... Взгляд был короткий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот взгляд, не кричал, а как будто из последних сил, тихо выговаривал: «Больно...».

Кузьму как в грудь толкнули.

— Сергей Федорыч, я...

Сергей Федорыч повернулся и пошел в избу.

Кузьма быстрым шагом двинулся дальше.

— Пошли. Видел, как он посмотрел на меня?.. Аж сердце чуть не остановилось. Сил нет, поверишь? На людей — еще туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я зашел к ней?..

Федя помолчал. Потом тихо произнес:

— Да-а, — и вздохнул. — Это ты... вобчем... это... Не надо было.

— Разве думал, что так получится!..

— Знамо дело. Да уж так оно, видно... А вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь...

22

Егор проспал на вышке до обеда. Выспался. Слез, посмотрел коня и стал собираться в дорогу.

Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке.

— Как теперь в деревне-то? — спросил он.

— Ничего, — откликнулся Егор, зашивая несмоленой дратвой лопнувшую подпругу.

— Отпахались?

— Давно уж.

Гринька задумался. Долго молчал.

— А ты чего дернул оттуда?

— Надо.

— Какой скрытный! — Гринька засмеялся хрипло.

Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него.

— Выкладывай, — сказал тот, — легче станет, по себе знаю. Убил кого-нибудь?

— Жену, — не сразу ответил Егор. Он подумал: может, правда, легче будет?

— Жену — это плохо, — Гринька сразу посерьезнел. — Баб не за что убивать.

— Значит, было за что.

— Сударчика завела, что ли?

— Завела, — Егор жалел, что начал этот разговор.

— Паскудник ты, — спокойно сказал Гринька. — Падали кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело.

Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, прикинул: если Гринька будет и дальше так же вякать, можно — как будто по делу — сходить в избушку, взять обрез и заткнуть ему хайло.

— А сударчик-то ее что же, испугался?

У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из последних сил.

— Чья у тебя жена была?

— Ты что это, допрос, что ли, учинил? — Егор поднял глаза на Гриньку, через силу улыбнулся.

— Поганая у тебя душа, парень. Не любит таких тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только... Эх, падаль!

Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и направился в избушку.

Малышев был у своих пчел.

Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь.

— Говори теперь.

Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами.

— Неужели я сгину от такой подлой руки? — спросил он серьезно. — Даже не верится. Ты что, сдурел?

Егор проверил взведенный курок, — отступать некуда, надо стрелять. А убивать Гриньку расхотелось — слишком уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не верилось, что вытянется сейчас Гринька на завалинке и уснет вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, сколько придется пробыть в тайге, — и все время будет за спиной Гринька или его товарищи.

— Не балуйся, парень, убери эту... Не бойся меня, я хочу менять свою жизнь. Вишь, хворый я. Поеду домой, покаюсь...

— Что же ты лаяться начал, хворый-то?

— А ты что же, чистым хочешь быть? Нет, врешь, — Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сейчас. — Врешь...

— Хватит!

— Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеча старик сказал? Спать плохо будешь... А старик этот повидал нашего брата мно-о-го. Так что... вот. Ты думал: «Выехал на раздолье, погуляю»?. Не... За все надо рассчитываться. От людей уйдешь, от себя — нет.

Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот говорил сущую горькую правду.

— Я уж и так измучился эти дни, — он опустил обрез.

— Во-о! — торжествующе сказал Гринька. — Ишо не то будет.

— А что делать?

— Это ты во-он, — Гринька показал на небо, — у того спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь.

— А я не хочу. Перед кем?

— Тебе рано, — согласился Гринька не без некоторого превосходства.

— Так что же делать-то, Гринька? — еще раз с отчаянием спросил Егор.

— Не знаю, парень. Бегать. Узнаешь, как птахи разные поют, как медведь рыбу в речках ловит. Я ему шибко завидую, медведю: залезет, гад, на всю зиму в берлогу и полеживает...

Та небывалая, острая тоска по людям, какую Егор предчувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось пять минут назад... Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхватил у него обрез. Егор вскочил, но поздно — его собственный обрез смотрел прямо на него, в лоб. Даже лица Гринькиного не увидел он в это мгновение, даже не успел ни о чем подумать... Показалось, что он ухнул в какую-то яму и всего обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшатнулся и крепко зажмурился... Грянул выстрел. Горячее зловоние смерти коснулось лица Егора. Он оглох. Открыл глаза...

Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул обрез. Похлопал ладонью рядом с собой.

Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах поослаб.

— Садись, — сказал Гринька. — Возьми эту штуку свою.

Егор взял обрез, сел.

— Ну и шуточки у тебя...

— Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то наставляем его, а на своей шкуре не испытывали ни разу. Теперь знай. Крепко трухнул?

Егор ничего не сказал, опять покрутил головой.

— Оглох к черту.

— Пройдет.

— Тьфу!.. Прямо сердце оторвалось.

— Надо было. А то я разговариваю с тобой, а сам все на него поглядываю, — Гринька кивнул на обрез. — Думаю: парень молодой ишо, ахнет — и все. Курево есть?

Закурили.

— Значит, нет выхода? — все о том же заговорил Егор.

С пчельника неторопким шагом пришел старик Малышев.

— Живые обое?

— Слава богу, старик.

Старик ушел.

— Выход? Выход есть — садись в тюрьму.

— В тюрьме мне совсем не вынести.

— Сидят люди... ничего.

Егор подумал.

Нет, не вынести.

— Значит, бегай.

Опять тоска прищемила сердце. Егор зверовато огляделся.

— Обложили...

Гринька задумался о чем-то своем.

— Не поедешь со мной? — спросил Егор.

— Не. Отлежусь маленько. А потом — с таким все равно бы никуда не поехал.

Егор встал, пошел к коню. Подвязал обрез к седлу, сел, тронул в ворота.

— Счастливо оставаться!

— Будь здоров!

Дорогу Малышев давеча утром объяснил. И сказал, что тут можно и днем ехать. Но не радовало это Егора. Ничто не радовало. Тоска не унималась.

А день, как нарочно, разгулялся вовсю. Зеленая долина, горы в белых шапках — все было залито солнцем. В ясном небе ни облачка.

«А может, вернуться?», — мелькнуло в голове. Егор даже приостановил коня. И сразу встали в глазах: Федя, Кузьма, Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорыч, Марья, сын Ванька...

Он почти физически, кожей ощутил на себе их проклятие. Тронул коня.

Гнали они его от себя — все дальше и дальше...

23

...Сидели на берегу, у кузницы.

Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузьма задумчиво следил за полетом каждого камешка — от начала, когда Федя прицеливался к нему пальцем, до конца, когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде.

Из-за гор вставало огромное солнце. Тайга за рекой дымилась туманами — новый день начинал свой извечный путь по земле.

— Да, Федор... — заговорил Кузьма. — Вот как все вышло. В голове прямо мешанина какая-то...

— Душу счас надрывать тоже без толку, — Федя вытер ладонь о штанину. — Вот Егорка ушел — это да. Это шибко обидно.

— Егор, может, найдется, а они-то никогда уж!

— Знамо дело, — согласился Федя.

— Понимаешь, не могу поверить, что их нету... Марьи... дяди Васи... Забыться бы как-нибудь... — Кузьма лег на спину, закинул руки за голову.

— Как забудешься?

— И школа... Строили, строили... Теперь все сначала.

Федя ничего не сказал на это.

Ревет беспокойная Баклань, прыгает в камнях, торопится куда-то — чтобы умереть, породив новую большую реку.

Кузьма закрыл глаза.

— Слыхал, старик-то Любавин давеча: «Недолго, — говорит, — по земле походите». Может, так и будет?

— Кто ее знает? — помолчав, Федя положил руку Кузьме на плечо. — Не горюй, брат... Я так считаю, — поторопился он, — ишо походим.

— Ну и рука у тебя, Федор! Железная какая-то. До сих пор не пойму, как они тогда побили тебя!.. Макар-то... с теми...

Федор смущенно кашлянул.

— Что меня побили — это полбеды. Хуже будет, когда я побью, — и рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к худому плечу городского парня.

Свело же что-то этих непохожих людей!

Жизнь... Большая она, черт возьми!..

Книга вторая

Ехали вместе шестеро: четыре парня и две девушки. Девушки были прехорошенькие, хохотушки, всему удивлялись... Трое парней держались солидно, только очень много острили. Четвертый же все время как-то на отшибе, молчал. Он был старше всех и победнее одет. И вещичек с собой вез мало: небольшой потрепанный чемоданишко и демисезонное серое пальто. Когда знакомились в Москве, этот молчаливый, подавая крупную рабочую руку, говорил кратко:

— Иван.

— Вы какой кончили? — спросили его (три других парня и девушки окончили разные вузы и ехали по распределению в Сибирь).

Иван отрицательно качнул головой, сказал:

— Я случайно с вами. Вообще-то туда же, но... это... я шофер просто.

— Но вы по путевке?

— Да, — парень нахмурился и отошел в сторонку. И всю дорогу потом молчал, чем очень удивлял девушек. Он подолгу смотрел в окно, много курил. Когда его спрашивали о чем-нибудь, он охотно отвечал, только как-то путался в словах, наверно, злился на себя за это, хмурился и уходил совсем из купе.

Один раз он выпил в вагоне-ресторане, пришел в купе, сел, положив на колени громадные руки свои, оглядел всех красивыми, задумчивыми глазами. Улыбнулся.

— Что, братцы?.. Закурим, что ли?

Все с удовольствием поднесли три портсигара — хотели, чтоб он разговорился наконец. Он был человек загадочный, а загадочных сперва уважают, а потом уж любят или презирают, смотря по тому, чем обернется эта загадочность.

Все время оставаться загадочным невозможно, поэтому ждали, когда парень расскажет о себе.

Иван закурил, опять посмотрел на всех по очереди, кивнул на столик.

— Играйте. Я не мешаю вам?

— Да ну!.. Присаживайтесь к нам.

Играли в карты, в какую-то длинную, сложную игру.

— Я не умею, — ответил Иван и опять улыбнулся; улыбка у него простецкая, вспыхивала неожиданно на угрюмом лице и была доброй и чуть грустной. Вообще был он красив: глаза темные, глубокие, с сильным блеском нерастраченной энергии, черты лица крупные, в уголках губ — упрямство... Очень русский. Одна из девушек, когда он улыбнулся, невольно засмотрелась на него. Ее одернули, она покраснела.

— Вам не нравится наше общество? — спросила другая.

Иван посмотрел на нее и сказал серьезно:

— Нет, ничего, — и опять замолчал — не о том и не так немножко заговорили. Иван много читал. Однажды, когда он вышел из купе, кто-то посмотрел, что он читает.

— О!.. молчун-то наш... Я думал, он детективы жрет.

— А он что?

— Алексея Толстого.

— Приключения барона?..

— Перестаньте, пожалуйста! Интеллектуалы... — рассердилась та самая девушка, которая засмотрелась на Ивана. По поводу такого заступничества начали острить. Девушка горячо и серьезно стала доказывать, что в наше время так называемый простой человек совсем не такой уж простой, что иногда... и так далее. Причем никто этого не оспаривал.

Иван в это время стоял в тамбуре, смотрел в окно, курил. Он очень много курил.

В Баклани приезжих встречал представитель райкома партии, большой, медлительный человек в галифе и кителе.

— Здравствуйте, — сказал он. И пошел подавать по очереди руку. — Так... Так... Так... — приговаривал он, заглядывая молодым специалистам в глаза. — Ну, хорошо. Пойдемте, с вами хочет познакомиться первый секретарь.

Шли по улице довольно живописной группой: пестрые, клетчатые, крашеные... На одной девушке был ярко-красный плащ, длинный парень-инженер был в какой-то женской кофте — сиреневой с белыми узорами на груди. Даже

молчаливый Иван — и тот был при галстучке и в шляпе. На серой сельской улице все это резко бросалось в глаза.

Иван и девушка в красном плаще несколько отстали от остальных.

— Давайте помогу, — сказал Иван и взял у нее чемодан.

— Спасибо, — сказала девушка. Это была та самая, которая отстаивала его, Ивана, право на Алексея Толстого.

Как частенько бывает, разговорились в самый неподходящий момент.

— Вы родом из Москвы? — спросил Иван.

— Нет, из Харькова.

— Я так и думал, — Иван посмотрел на девушку, потом на улицу, вдаль.

— Что так и думали: что не из Москвы? Почему?

— Не знаю.

— А вы?

— Что?

— Из Москвы?

— Нет, конечно, — Иван улыбнулся. — Что, не видно?

— А почему москвичей обязательно должно быть видно?

— Вон их... — видно же, — Иван кивнул на группу, которая шла впереди с райкомовцем.

Девушка засмеялась.

— Как раз там нет ни одного москвича! Что? — она посмотрела в глаза Ивану. Смотреть она умела как-то очень доверчиво. — А вы думали — все москвичи, да?

— Да.

— Между прочим, меня зовут Майей, — сказала девушка.

— Я помню.

— Вы почему такой?

— Какой? — Иван опять как-то странно посмотрел вокруг себя.

— Угрюмый. У вас случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось.

— Какой-то вы одинокий. Прямо герой из романа.

— Не похоже, — Иван улыбнулся. — Глаза не... это... не голубые.

Девушка опять с интересом посмотрела на него.

— Зато вы... — она не сказала, какой он, а неопределенно показала руками. — Такой... — и изобразила на лице мрачность и непроницаемость.

— Это ерунда, — просто сказал Иван. — До поры до времени.

— Вам нравятся наши ребята?

— Ничего, — Ивану как будто расхотелось говорить. Он закурил и дальше шагал молча. Девушка тоже замолчала.

Райком партии размещался на втором этаже двухэтажного здания.

Поднялись по крутой узкой лестнице наверх. Райкомовец впереди. Поставили в приемной чемоданы и вошли в кабинет секретаря. Перед тем как войти в кабинет, Майя прочитала табличку на двери:

— Родионов К.Н. — и добавила: — Красиво.

Родионов сидел на уголке стола и кричал в телефонную трубку:

— А что же ты-то?! Да перестань, слушай! Брось!.. — кивнул вошедшим, показал глазами — рассаживайтесь.

Рассаживались. Осматривались.

— Привет! — сердито воскликнул секретарь. Встал и заговорил резко и требовательно: — Слушай сюда. Ты эти четыре трактора перебрось... в Березовку... перебрось! Пойдут! Завтра доложишь. Все! — в трубке еще шуршало, пискало — говорили, но секретарь еще раз сказал: — Все! — и положил трубку. Повернулся к приезжим. Он был высокий, сухой, с веселыми глазами. На лбу — через бровь — застарелый шрам. Улыбнулся, пошел знакомиться. — Ждали вас, дорогие товарищи. Как доехали?

Поднимались навстречу ему, пожимали сухую, мосластую ладонь. Вблизи глаза секретаря поражали усталостью.

— Родионов Кузьма Николаевич, — представился он. Ему в ответ говорили фамилии; фамилия Майи — Светличная, другая девушка назвалась: — Елена Борисовна, педагог.

Угрюмый Иван опять кратко сказал:

— Иван.

— Хорошо. Садитесь, пожалуйста, садитесь, — секретарь отошел к столу, чтобы видеть всех, присел на краешек. — Сколько же вас?.. Шестеро. Кто будете?

— Инженер-механик по ремонту и эксплуатации автотранспорта, — первым назвался длинный парень.

Секретарь посмотрел на инженера, кивнул.

— Хорошо.

— Врач.

Секретарь опять кивнул головой и внимательно посмотрел на врача.

— А мы вот, трое, педагоги, — весело сказал за всех педагогов парень-учитель.

Секретарь кивнул и глянул с любопытством на шестого. У шестого было полнейшее равнодушие на лице.

— Я шофер, — сказал он, глядя на секретаря.

У того в усталых глазах промелькнуло не то удивление — как это, мол, шофер затесался в «молодые специалисты», — не то что-то другое, непонятно.

Иван усмехнулся и опустил голову.

— Хорошо, — подытожил секретарь и заходил по кабинету. — Я вам ничего объяснять тут не буду — вы сами грамотные. Что нужны вы здесь, вы это без меня знаете. Очень нужны, — секретарь остановился и опять посмотрел на шофера. Тот тоже смотрел на него... Короткий миг глядели друг на друга, потом Иван опустил голову, а секретарь, продолжая ходить, закончил свою короткую речь: — Сейчас устраивайтесь, отдыхайте, а завтра поговорим насчет главного. Федор Иваныч вот займется сейчас вами, на квартиры определит.

Грузный, большой Федор Иваныч (во время знакомства он сидел неподвижно и упорно смотрел на всех по очереди) с готовностью поднялся, ждал, когда все попрощаются с секретарем.

Улыбались, двигали стульями, говорили:

— До свидания, — и выходили.

Секретарь опять посмотрел на шофера и сказал вдруг:

— А вы задержитесь на минутку.

Иван прислонился плечом к дверному косяку и спокойно ждал.

Все вышли.

Секретарь подошел ближе к нему, уставился в упор. Долго смотрел.

— Как фамилия-то, говоришь?

— Любавин.

— Так, — секретарь кивнул седеющей головой, ушел к столу, сел в кресло, прикрыл глаза, слегка надавил на них прокуренными пальцами, некоторое время сидел так, молчал.

Иван ждал.

— Садись, — сказал секретарь, отнимая от лица руку. — Меня, конечно, не узнаешь?

Иван внимательно и серьезно посмотрел на секретаря. Тот усмехнулся, покачал головой.

— До чего же ты на мать свою похожий! Вылитый. Только... устал ты, что ли?

Иван все смотрел на секретаря.

— Не узнаешь?

— Нет.

— А ведь я тот самый дядя, который тебя в приют отвозил, — Родионов, продолжая смотреть на Ивана, задумался — вспомнил, видно, то далекое время. Очнулся, сказал с улыбкой: — Вот как. Вот тебе и гора с горой... Домой приехал?

— Приехал, — несколько охрипшим голосом ответил Иван.

— Ты садись, чего как столб стоишь. Удивляешься?

Иван сел на потертый кожаный диван, полез в карман за папиросами.

— Чего удивляться?

— Да-а... — секретарь смотрел на него. — Нет, это удивительно.

Иван закурил, помахал спичкой, спичка не погасла, он сунул ее, горящую, в коробок с тыльной стороны. Перевернул коробок и стал внимательно разглядывать этикетку.

— Ну, не вспомнил? — опять спросил секретарь. — Ты посмотри, может, вспомнишь.

Иван, не глядя на него, качнул головой.

— Нет, забыл.

— Тебе шесть лет было... Конечно, — секретарь поднялся и пошел к двери. Сказал на ходу: — Ничего, вспомним, — открыл дверь, позвал громко: — Ивлев!

Через пару минут в кабинет вошел Ивлев, лет тридцати человек, поджарый, смуглый, с резкими морщинами около рта, с живыми умными глазами. Тоже, видать, устал, он держится прямо, легко — подвижный. Одет с иголочки: новые галифе, новый китель, новые хромовые сапоги мягко горят черным блеском.

— Познакомься, — сказал секретарь.

Иван оторвался от этикетки, привстал.

— Иван.

— Ивлев.

— Это мой гость, — сказал Родионов. — Я уйду сейчас... ты побудь тут.

— Я ж хотел в Суртайку ехать.

— Потом. Побудь здесь.

— Ладно.

— Пошли, Иван.

Иван поднялся, положил в карман спички, вышел за секретарем в коридор.

— Твое барахлишко?

— Мое.

— Бери. Пошли.

Иван прихватил чемодан, перекинул через руку пальто, пошел за секретарем. Тот шагал впереди, не оглядываясь. Смотрел в пол, курил.

На улице Иван приостановился.

— А куда идем-то?

— Ко мне. В гости, — секретарь оглянулся. — Что?

— Ничего.

До самого дома секретаря так и шли — один впереди, другой сзади, в двух шагах. Молчали.

С секретарем то и дело здоровались встречные. Он поднимал голову, говорил глуховато:

— Здравствуйте, — и опять смотрел себе под ноги, о чем-то крепко задумываясь.

Дома встретила их немолодая, очень толстая женщина. Представилась заученно:

— Клавдия Николаевна.

— Это, знаешь, кто? — спросил ее Родионов.

— Нет. Кто?

— Погляди внимательно. Не узнаешь?

Ивану было не по себе от этих знакомств. Он с тоской посмотрел на секретаря. Тот невольно рассмеялся.

— Ладно, потом скажем. Сделай чайку нам.

— Сейчас, — суховато сказала Клавдия Николаевна и пошла на кухню.

Комнат в доме четыре. Родионов и Иван прошли в одну, в угловую, празднично убранную, очень уютную.

— Садись, Ваня, — сказал Родионов и рукой показал на всю комнату. — Водку пьешь?

— Пью.

— А у меня нету. Не обессудь, — Родионов сел на диван, улыбнулся, как давеча, в райкоме, просто, несколько устало. — Вот так... Ну и где ж ты был? Ты воевал?

— Пришлось маленько. Здесь курят?

— Кури.

Некоторое время молчали. Иван закуривал. Родионов с интересом разглядывал его.

— У тебя дядя здесь? Даже два?

— Да.

— Ефим Емельяныч... Ничего, хитрый мужик.

Иван коротко глянул на Родионова и опустил голову — опять стал рассматривать спичечную коробку.

— Да-а... — сказал секретарь.

И опять повисла пауза.

Вошла Клавдия Николаевна, принесла чай. Расставила все на столе, присела было на диван, с любопытством и некоторой тревогой разглядывая Ивана.

— Мы сейчас поговорим здесь, — сказал ей Родионов. — Подсаживайся, Иван.

Клавдия Николаевна, не обидевшись, вышла.

Иван погасил о коробку окурок, поискал глазами пепельницу...

— Нету. Здесь дочь живет. На вот, в блюдце, — секретарь пододвинул Ивану блюдце, налил из чайника чай. Подал один стакан Ивану. — Держи.

Иван пил без сахара. Секретарь удивился, предложил класть сахар, Иван мотнул головой.

— Не люблю. Пить просто хочу, — пил, смотрел в стакан.

— Что-то мы никак разговориться не можем. А?

Иван пожал плечами.

— Расскажи о себе, что ли... Как жилось, где бывал, что видел?

— По-разному жилось, — неохотно ответил Иван.

— Ты все время в Москве жил?

— Нет. Жил одно время во Владимире, потом в Калуге, под Москвой тоже...

— Мгм. Женат?

— Был.

— А сейчас?

— Разошлись, — Иван посмотрел прямо в глаза секретарю, улыбнулся. — И в тюрьме сидел, между прочим.

Секретарь не удивился, только спросил:

— Много?

— Давали шесть, отсидел три.

Секретарь кивнул головой.

Иван почему-то обозлился.

— За драку сидел-то, — добавил он. — С поножовщиной.

Секретарь опять понимающе кивнул. Наверно, это его спокойствие и невозмутимость и разозлили Ивана. Секретарь как будто заранее знал все и расспрашивал только так, для порядка. И смотрел еще при этом спокойно и весело.

— Дети остались?

— Нет. Ну, что еще?.. — в глазах Ивана почувствовалась некая решимость. — Не общественник, на собрания не хожу, не перевариваю болтунов, — он сам налил себе из чайника, подул на чай — хотел казаться спокойным, даже зачем-то оглядел комнату. Не вытерпел и еще добавил: — Вообще жизнь наша мне очень не нравится. Так что вот. Все?

— А что в жизни не нравится?

— Много... Болтовня, например. Воровства много, хамства тоже хватает... Жадности... В общем, хватает. А говорим, что все хорошо, — Иван посмотрел на секретаря. Тот задумчиво щелкал кривым прокуренным ногтем по краешку стакана. Долго молчал.

— В общем, разложил, — сказал он серьезно.

— Тут и раскладывать нечего — и так все видно.

— Ну, ладно, — устало сказал секретарь. — Хамства много, болтовни... — ему не хотелось об этом говорить. Не об этом хотелось говорить. — Ну и что?

— Ничего, все.

— Успокоился?

— Я и не волновался. Мне непонятно: к чему весь этот допрос?

— Поговорить хотел, — в голосе секретаря прозвучала нотка искренней обиды.

Иван молчал. Смотрел в стол.

— Я тебя с первого твоего дня знаю. Думал... Интересно же узнать.

Иван молчал.

— Пойдешь в райком работать?

Иван удивленно посмотрел на секретаря.

— Как это?

— На «Победе»... Начальство возить.

— Нет.

— Хм, — секретарь улыбнулся. — Не торопись, подумай. Жить у дяди пока будешь? У Любавина?

— Да.

— Он знает, что ты приехал?

— Нет. Нас сразу к... в райком повели.

— Сразу видно, что сидел: в райком повели. В райком н е в о д я т. В райком приглашают, вызывают, просят прийти, — секретарь объяснил это с каким-то дурашливым, веселым удовольствием. — И скажи, пожалуйста: чего ты сразу в бутылку полез? Не понравилось, что спросили, как жил?

Не буду спрашивать, черт с тобой, раз ты такая барышня. Это раз. Во-вторых: ты что, все время такой мрачный?

— Все время.

— Не в мать, значит. Я тебе как-нибудь расскажу про мать. Хочешь?

Иван сразу не ответил:

— Не знаю... Вообще-то не хочу.

— Ладно. Значит, разговор у нас не вышел. Жалко, — секретарь поднялся.

Иван тоже встал. Ему не было ничего жалко.

— До завтра. Подумай насчет моего предложения.

Иван пожал протянутую руку секретаря, кивнул головой. И пошел к двери. И вышел не оглянувшись.

Секретарь сел, прикрыл глаза, положил на них пальцы, долго сидел так...

Иван шагал серединой улицы, думал об этой странной встрече. Он не понимал, что с ним произошло — почему наговорил резкостей секретарю. Почему в душе поднялось вдруг едкое чувство обиды? На кого, за что?

Ефим был дома, копался в завозне.

— Здравствуй...те, — негромко сказал Иван, останавливаясь на пороге завозни.

Ефим обернулся.

— Здорово.

Некоторое время стояли, смотрели друг на друга.

— Я Иван Любавин, — сказал Иван.

Ефим подслеповато прищурился, моргнул несколько раз... Высморкался прямо на пол завозни, сел на верстак, полез за кисетом. Сказал хрипловато;

— Ванька... Ничего себе!.. Ты откуда?

— Из Москвы. По путевке.

— Как это? — не понял Ефим.

— Пошел, попросился, чтобы сюда направили. Надоело в городе, — Иван поставил чемодан, сел на него. Пальто положил на колени. Тоже стал закуривать. Ефим, прищурившись, изумленно смотрел на него.

— Так... Ну, и как же теперь? — спросил он.

— Что? — Иван вопросительно посмотрел на дядю.

— Ничего себе! — еще раз сказал тот. — Не ждал. Я думал, уж не увижу тебя. Думал, пропал где-нибудь.

— Нет.

— Что же не написал ни разу? Что жив-здоров... У тебя же родня тут.

— Та-а... чего писать? — Иван нахмурился, поднял с пола золотистую стружку, стал ее внимательно разглядывать.

— Семья есть?

— Нету. Я первое время у тебя поживу пока?

— Ну, а где же еще? Ты только... это... правильно все говоришь-то? Что по путевке, что посланный... Все по закону?

— Конечно.

— У нас одно время слух прошел, что будто ты в тюрьму угодил. Из райкома, что ли, в приют писали... Родионов сам, однако, посылал на розыски...

— Сидел. Три года.

— Вышел?

— Вышел.

— Да-а... Вот так встреча. Ну, пошли баню заказывать. А потом уж поговорим, — Ефим сморщился, вытер рукавом пиджака повлажневшие глаза, кашлянул. — Я уж и не чаял, что увижу тебя. Пошли в дом.

Пошли в дом.

В сенях им встретилась белолицая молоденькая баба, пышногрудая и глазастая. Уставилась на Ивана.

— Вот, Нюрка, — сказал Ефим, — это Иван наш, Егора нашего сын.

— Мамочки!.. — Нюрка всплеснула руками.

Ефим засмеялся. Иван улыбнулся, перехватил из одной руки в другую чемодан, поздоровался с молодухой. Она покраснела и тоже улыбнулась.

— Это сына мово младшего жена, — пояснил Ефим. — Он сам-то в армии. Последний год дослуживает. А она вот с нами тут... А старшего-то, Ивана тоже, у меня на войне убило, а средний, Пашка, со мной живет, никак не могу женить кобеля такого. Нюрка, натопи баню пожарче. Чтоб камни лопались в каменке.

— Конечно! Я сейчас это... Господи, радость-то какая!..

Иван отвернулся и стал смотреть в сторону — он не выносил, когда при нем говорили, что рады его видеть. Он считал, что люди врут, притворяются. С какой стати радоваться, например, этой Нюрке, когда она его и в глаза-то сроду не видела.

Вошли в дом.

— Вот так мы и живем, — сказал Ефим, опять внимательно разглядывая племянника. — Ты ничего вымахал-то — в отца. А лицом — в мать. Семьи-то нету?

— Нету, я говорил уже.

— Что же, и не было?

— Была жена... Когда в тюрьму посадили, она вышла за другого.

— Понятно. А моя старуха приказала долго жить — в войну померла, царство ей небесное. Да, Ванька... Ну, хорошо, что приехал. Отмечаться-то никуда не надо идти?

— Я был уж. У секретаря был, чай пил с ним... — Иван посмотрел на дядю, усмехнулся.

— У Родионова? Ишь ты! А как же это получилось-то?

— Узнал он. В райком когда пришли, он говорит: «Останьтесь».

— Узнал. Ну, конечно. Я потом расскажу тебе про него. Он, конечно, узнает. Ну, посиди пока. Сполоснись с дороги-то да приляжь. А я в лавку сбегаю. Да к дяде твоему, к Николаю Попову зайду... Сейчас прилетит на крыльях. Он у нас председателем сельсовета работает. Ничего, хороший мужик. Остальных ребят у них тоже в войну всех побило. А сам Сергей Федорыч, дед твой, еще до войны скончался. Ну, давай тут... Чего надо, спроси у Нюрки. А к вечеру Пашка подъедет. Он тоже шоферит. Боюсь, сломит где-нибудь голову — шибко отчаянный, гад. В дядю Макара уродился. Тот у нас сызмальства на винтах ходил. Ну, давай тут...

— Может, денег надо? — спросил Иван.

— Зачем? У меня есть. Я ничего живу справно. Плотничаю сейчас. А так все эти годы бригадиром полеводческой бригады был. А сейчас перевели наш колхоз-то в совхоз, молодые понаехали... А я плотничать пошел. Ну, давай, вопчем, устраивайся, — Ефим ушел.

Иван задвинул чемоданишко под кровать, повесил пальто, прошел в передний угол, сел. И впервые за много-много дней почувствовал себя успокоенным...

Дом у Ефима большой, светлый. В комнатах — в горнице и в прихожей — не нарядно, но чисто. Когда в городе, бывало, Ивана охватывала беспричинная глухая тоска, когда он мучился без сна на узкой койке в общежитии, ему мерещился такой вот дом — просторный, уютный, с крашеными полами. Может быть, детская цепкая память схватила на всю жизнь образ дома, может быть, он его выдумал, этот

дом, но дом был точно такой, Родина... Что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас на всю жизнь, то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь...

Вошла Нюра.

— А где же тятенька? — улыбнулась и опять покраснела.

— В магазин пошел.

Нюра не знала, что еще спросить, еще раз улыбнулась Ивану, прошла в горницу, побыла там немного... Потом взяла из кути ведро и вышла.

«Хорошая баба», — отметил Иван. Где-то, когда-то он усвоил одну привычку — всех встречных и поперечных женщин довольно, в общем, равнодушно определять: «хорошая» или «плохая». Вспомнилась девушка в красном плаще, Майя, спокойно подумалось: «Хорошая. Только доверчивая, налететь может».

Иван прошелся по комнатам, посмотрел фотографии незнакомых людей в рамках на стенах, опять сел. Все-таки ужасно приятно иметь еще на земле уголок, куда можно приехать, сесть и слушать, как тикают ходики, и ни о чем почти не думать...

«Устал я, наверно, в этих городах, намыкался».

Вспомнился секретарь Родионов, захотелось как-то определенно подумать про него, но тотчас расхотелось.

«Ну его все!», Завалиться бы сейчас на кровать, положить ногу на ногу, руки под голову и смотреть в потолок — было бы совсем здорово. И чтобы еще ни о чем не расспрашивали и не гадали, на кого ты похож.

Пришел Ефим.

— Дядя твой без ума сделался от радости. Скоро придет. У них там совещание какое-то. Осмотрелся?

— Осмотрелся.

— Так, — Ефим начал доставать из карманов бутылки с водкой. — Узнал, говоришь, тебя Родионов-то? — бутылок оказалось много; Ефим все доставал и доставал их.

Иван промолчал.

— Этот узнает, — продолжал Ефим. — Он узнает. Как не узнать! Он ведь почти всю нашу породу на корню вывел, — Ефим сказал это без особенной ненависти — устал, видно, ненавидеть, израсходовал всю ненависть. Вообще он силь-

но сдал к шестидесяти годам. От прежнего хитрого, крепкого Ефима осталось очень немного.

— Раскулачивал он? — спросил Иван.

— Он, кто же еще. Он. Давай выпьем пока до бани. Я маленько расскажу тебе.

Позвали Нюру. Она собрала на стол — нарезала ветчины, огурцов, хлеба. Поставила два стакана и ушла топить баню.

Выпили по полному стакану.

Ефим долго кряхтел, сопел... Хрумкал малосольными огурцами и говорил:

— От так... Ничего. Кхэх... Ничего.

Иван закусывал молча. Закусил и полез в карман за папиросами.

— Ты ешь больше, — сказал Ефим. — Ешь.

— Не хочется.

— Как там, в Москве-то? Большая она, поди?

— Большая. Строят ее сейчас здорово.

— У нас тут тоже строится народишко, поднялись маленько.

— При совхозе-то лучше стало?

— Не шибко. Оно, вишь, какое дело: работай, говорят, за деньги, как рабочий, — Ефим отвалился от стола, стал тоже закуривать. — Давай, я буду за деньги. Мне даже лучше. А чего? Отработал часы — отдыхай, — Ефим икнул раза три кряду. — Поминает кто-то. Ну... давай за деньги. Но ты мне тогда дай, чтобы я на эти деньги мог мяса купить, солонину всякую, яиц, молочишко... А то придешь в магазин-то, а там одни концэрвы. А, допустим, захотел ты себе сапоги сшить — где товар брать? Дубить кожу самому не дают, и в магазинах ни хрена нету. А пимы захотел скатать — опять: где шерсть брать? Положено только двух овечек держать, а мне надо пятерых обуть.

Иван слушал, кивал головой и думал: «Ну это ерунда. Два-три года, и вся эта дребедень будет кончена. Тогда и жаловаться не на что будет. Так и переделают они мужика в рабочего».

— А коров-то дают держать?

— Держат. Я, правда, не держу. Сил больше нету. Пашка все время в разъезде, Нюрка тоже работает — я один тут нянчись с ней!.. Продал к чертям. Свиней держу пару. Без мяса нельзя.

— Шофера хорошо зарабатывают?

— А ничего, ничего — грех жаловаться. У Пашки до тыщи выходит в среднем. Может, в городе это небольшие деньги, а тут хорошо. Да Нюрка пятьсот с лишним приносит, да я в месяц-то рублишек шестьсот все наколупаю... Деньжонки есть. Вот купить на них нечего, вот беда. Это ж в город приходится ездить за каждой мелочью. Шутка сказать.

— А где Нюрка-то работает?

— Библиотекарем.

— О!

— Как же. Она десятилетку кончила, да еще потом где-то два года училась. Она ничего, хорошая баба, послушная. И не зряшная. Четвертый год вот уже пошел, как без мужика живет, а чтобы там... чего-нибудь такое — это нет, зря не скажешь. К Новому году посулился Андрей-то.

— Он во флоте, что ли?

— Ага. Стосковался уж без него, язви тя... Старею, — Ефим шаркнул ладонью по щекам — стер слезы.

— Ничего еще, чего ты...

— Ну-у! Я рази бы такой сейчас был. Сколько я перенес тогда, это ужасть! Сперва Макара убили, потом с отцом твоим эта беда случилась... Николай-то писал тебе про это?

— Писал.

— Вот. А в тридцать третьем отца с Кондратом забрали — все пережить надо было.

— А тебя ничего, не тронули?

— Я поумнее был. Они тогда напролом поперли, а куда тут попрешь, когда эта самая коммуния всю власть забрала. Соображать надо. Грех виноватить покойников, но они тоже неправильно тогда делали. Я, помню, вступил тогда в колхоз, так они на меня с кулаками... Кхэх! Ладно...

— А с отцом как?

— С Егором-то? Ушел он тогда в тайгу, в Чернь, и сгинул. Я ездил потом к старику-то, к которому он уходил... Пожил, говорит, у меня с месяц и ушел. Куда? Неизвестно. С шайкой спутался с какой-нибудь и сломил голову. Они у нас, Макарка да отец твой, такие были — потемные, царство им небесное. Егорка еще ничего, а тот вовсе... У меня Пашка в него выродился. Боюсь за дурака, свернет где-нибудь шею.

— Подраться любит?

— Любит, стервец. В прошлом году затеялись с целинниками — кое-как замяли это дело. Райком уж вмешался:

неудобно — целинники. А то бы сидеть шалопутному — драку-то он затеял.

— Целинников много здесь?

— Было сперва много, а сейчас меньше стало. Одни разбежались, других туда вон, за Катунь перебросили. У нас ведь ее почти не было, целины-то. Так зашумели тогда: давай! Давай! А дали бы столько же техники, сколько с ними пришло, мы бы ее сами распахали, залежь ту. Техники много понавезли.

Вошла Нюра.

— Тятенька, баня готова. Собирайтесь.

Иван полез в чемодан за бельем, но Нюра вынесла из горницы заготовленную пару — кальсоны и майку.

— Вот, Андрюшено наденьте пока...

— Да у меня есть.

— Надевай, чего там, — сказал Ефим. — Свежее белье. А твое она простирнет потом — извалялось, поди, в чемодане-то.

— Берите, что вы!

Ефим усмехнулся.

— Что эт ты его на «вы»-то величаешь? Свои люди.

— Привыкнем, — сказал Иван, забирая у Нюры белье.

Нюра раскраснелась в бане, от нее пахло мылом и горклой копотью.

— Веник на полке́, а мыло на подоконнике найдете, — говорила она. — Горячая вода в маленькой кадочке, а холодная в кадушке и во фляге...

— Найдем... Давай теперь, мы разболокемся.

Нюра ушла в горницу.

— Если Николай Попов придет скоро, посылай его тоже в баню, пусть заодно помоется, — сказал Ефим, снимая штаны.

— Ладно, — откликнулась Нюра из горницы.

Иван тоже снял штаны, рубаху, накинул на плечи старенький полушубок и вышел на улицу.

Серенький осенний день был на исходе. На землю — на улицы, на огороды — пал негустой туман. Вся картина деревни, звуки ее, приглушенные, низковатые, показались Ивану давным-давно знакомыми. Как будто когда-то слышал он и это мирное тарахтение движка, и скрип колодезного журавля в переулке, за плетнем, и лай собак, и голоса человеческие — все это когда-то он уже слышал. И на душе от этого было спокойно. И думалось неторопливо, и хоте-

лось заложить руки в карманы и пройтись по деревне медленным, тяжелым шагом, и смотреть встречным людям в глаза, и здороваться негромко и просто: «Здоров». Вспомнился опять секретарь Родионов. Именно так шел давеча Родионов по улице — медленно и здоровался со всеми одинаково: «Здравствуйте».

На крыльцо вышел Ефим.

— Чего задумался?

— Так... Интересно: мне кажется, я помню все это, — Иван кивнул в сторону огородов.

— Что? — не понял Ефим.

— Деревню.

— Ну-у навряд ли! Тебе тогда лет пять было.

— Шесть.

— А может быть... Но она уже другая стала, деревня-то. Пошли. Попаримся сейчас!.. Любишь париться?

— Люблю.

— А где в Москве париться-то?

— Там бани есть... с парильнями.

— Какие уж там парильни, поди.

Пошли огородом в баню. Иван шел за дядей, трогал рукой сухие бодылья подсолнухов... Наклонился, поднял с грядки застарелый огурец-семенник, понюхал. Шершавый, с коричневой полопавшейся кожицей, огурец издавал запах сырой огородной земли — пресной, с гнильцой.

— А зачем он меня тогда в приют-то увез? — спросил вдруг Иван.

— А хрен его знает! — с живостью откликнулся Ефим. — Наших тогда раскулачили, он пришел, говорит: «Дай Ваньку, я его в приют отвезу». Ему говорит, там лучше будет. Я подумал-подумал и отдал. Время тогда голодное было...

— А у деда Сергея?

— У деда Сергея у самого шестеро по лавкам сидело. Он всю жизнь в бедности жил.

...Парился Ефим на славу. Три раза принимался, Иван пережидал в предбаннике, курил. Слушал, как охает и стонет Ефим, и думал: «Все, буду здесь жить. Хватит».

Потом Ефим вывалился из бани, долго отхаркивался... Еле выговорил:

— Иди... ху-у!..

Иван ливанул на каменку слишком много. Распахнул дверь, переждал, пока схлынет жар, залез на поло́к и, обжигаясь, начал хлестаться.

Потом мылись. Разговаривали. Ефим рассказывал про секретаря Родионова.

— Его ж в тридцать седьмом самого сажали. Года два где-то не было, потом приехал снова. Сперва в Старой Барде работал, потом, когда район сюда перевели, сюда приехал.

— Воевал?

— Воевал, ага. Одна баба тут за него оставалась секретарить. Она и сейчас здесь, в клубе работает.

— А детей много у него?

— Дочь одна. Рослая такая, красивая. Твоих лет. Вы тогда, по-моему, в одно время и родились-то. Училась в городе, потом работала там, замуж раза три выходила. С одним приезжала сюда — ничего парень, здоровый. Ну и с этим разошлась... Шибко распутная, говорят. Сейчас вот, с год уж как, сюда приехала, в школе работает физкультурницей. Красивая, ведьма! Идет по улице — что тебе царевна. Но, говорят, распутная.

С улицы мужской сильный голос окликнул их:

— Вы живые там?

— Живые! — крикнул Ефим. — Давай с нами! Дядька твой, Николай.

— Я мылся недавно, — сказал голос. — Вылезайте скорей, я на Ивана хоть гляну.

— Кончаем.

Ополоснулись. Иван вышел в предбанник... На низенькой приступке, прислонившись спиной к косяку, сидел широкоплечий, плотный мужчина с серыми веселыми глазами. Увидев Ивана, встал, широко улыбнулся, обнажив крупные белые зубы.

— Ну, здорово, племянничек!

Иван вытер руку чистыми кальсонами, поздоровался с дядей. Некоторое время смотрели друг на друга, улыбались.

— Ну, одевайся, — сказал Николай.

Иван начал одеваться. Старательно, чтобы не смотреть на молодого дядю, завязывал подвязки кальсон, застегивал пуговицы на ширинке. Было почему-то неловко.

Вышел Ефим, кивнул Николаю.

— Зря не пошел мыться, хорошая баня получилась: жару много и не угарно.

— Я мылся недавно, — Николай все улыбался.

Оделись, пошли в дом.

В прихожей избы сидели уже человек восемь мужиков и баб. Все поздоровались с Иваном, разглядывали его — с любопытством, но не очень настырно.

— Никого тут не знаешь... Все родня твоя, — сказал Ефим.

Иван надел в горнице новые брюки, рубаху, причесался у зеркала, вышел опять к гостям.

Приехал Пашка. На машине. Зарулил в ограду, заглушил мотор, вошел в дом, вопросительно уставился на всех...

— Никак браток приехал?

— Браток, — сказал Ефим. — Не Андрей только, а Иван.

— Ну?! — Пашка подошел к Ивану, запросто поздоровался, засмеялся и сказал: — Хорош браток!

Иван невольно улыбнулся и подумал, что с этим парнем ему наверно, легко будет сойтись. У Пашки был редкий дар от природы — сразу вызывать в людях радостное желание быть самими собой. Он смотрел просто и прямо. И смело. Он был красив той несколько хищной, дерзкой красотой, какая даруется людям отчаянным и бесшабашным, одинаково готовым к подвигу и к преступлению. Пашка действительно очень походил на дядю Макара — та же едкая насмешливость в глазах, те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы... Взгляд смел и нахален, добр и жесток — вместе.

— С приездом, значит! — сказал Пашка.

— Спасибо.

— Шофер тоже, — сказал Ефим.

— Ну, это совсем здорово! В общем, газанем сегодня, насколько я понимаю? — Пашка опять засмеялся. И все тоже засмеялись. Иван поймал себя на том, что любуется Пашкой. Хорош, должно быть, этот паренек в драке, красив, наверно. С таким можно идти в огонь и в воду — не подведет.

— Хочешь в баню? — спросил Ефим сына.

— В баню? Можно. Но только вы без меня не начинайте! Ладно? Ваня, останови их в случае чего, а то они забудут про меня.

Гости засмеялись.

— Про тебя забудешь...

— Пойдет сейчас, одни пятки вымоет и быстрее всех за столом окажется.

Пашка вмиг собрался и ушел в баню.

Между тем Нюра и еще две молодые бабы накрывали в горнице стол. А в прихожей беседовали не торопясь. Мужи-

ки сидели — кто на лавке, кто на кровати, кто на припечье, — говорили о своих житейских делах: о том, как было при колхозе и как стало при совхозе. Иван так и не понял, лучше стало при совхозе или хуже. Понял только, что разрешается держать десять кур, а держат по двадцать-тридцать, можно выкармливать только одну свинью, а откармливают по две, а некоторые умудряются по три. Приусадебные участки урезали до пятнадцати соток, а сажают картошку по старым своим межам — чего зря земле пустовать.

И говорили все это при председателе сельсовета. Тот весело смотрел на мужиков и говорил:

— Вы думаете, мы этого не знаем, что ли? Знаем. Все скоро уладится — привыкнете маленько, тогда уж...

Между прочим, он же сообщил, что скоро вдоль Чуйского тракта будут тянуть высоковольтную линию до Горно-Алтайска. Кто хочет, может хорошо заработать на земляных работах — ямы под мачты копать. Работы в совхозе сворачиваются. Потом он рассказал, какую выгоду получит село с постоянным дешевым электричеством — большую выгоду. Перечислял, какие работы будут электрифицированы. С председателем соглашались.

Иван, слушая их, подумал, что он, городской житель, не умеет так рассуждать: какая выгода от электричества, какая польза и какое облегчение в труде.

Подошли еще несколько мужиков и баб, здоровались с Иваном, включались в общую беседу. Пришел широкоплечий кряжистый мужик с черной окладистой бородой, с маленькими умными глазами — Григорий Малюгин. Гриньку мало изменили годы, то есть, конечно, изменили, но крепости почти не поубавили. Раздался вширь Гринька, стал медлительней, не так горели глаза, но и в пятьдесят восемь лет мог он заводиться с лодкой вверх по Катуни на тридцать — сорок километров, жить неделями в островах, высиживать ночи в скрадках, поджидая раннюю весеннюю зарю, когда красновато-пепельный склон неба то тут, то там начнет перечеркивать прямой низкий лет ожиревших селезней... А надо знать, как бежит, торопится по камням буйная Катунь, как своенравно и круто заворачивает она то вправо, то влево, как обрывисты ее дикие берега, чтобы понять, что такое — завести лодку на сорок километров вверх по ней. Надо знать, как холодна алтайская весенняя ночь, чтобы понять, что такое — высидеть ее, согреваясь только жгучим волнением от предстоящей торопливой пальбы по кра-

сивым, оглупевшим от любовной страсти селезням. Надо знать также, как хорош предрассветный час на Катуни, как тих он притом, что Катунь кипит в камнях, надо видеть хоть один раз, как величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, как играют на воде теплые краски зари, как чиста катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, к какой красоте он привык.

Странно повернулась Гринькина судьба: конокрад, разбойник, наводивший ужас на села, страшный и жестокий мститель за обиду сидел теперь с винтовкой через две ночи на третью — стерег районную сберкассу с ее немалыми деньгами в плохоньких сейфах. И никто этому не удивлялся, никому это не казалось смешным.

Гринька шумно поздоровался с Иваном, заглянул в его глаза, усмехнулся непонятно чему...

— Встречались когда-то с тятькой твоим, — сказал он. — Ничего, здоровый мужик был. А пропал зазря.

Иван ничего не сказал на это.

Из горницы вышла Нюра.

— Тятенька, у нас готово. Садиться будем?

Нюра принарядилась, неузнаваемо похорошела, в глазах светилась неподдельная радость. Умеет радоваться наша хорошая русская женщина. Легче жить, когда в доме такая вот умная, терпеливая, «незряшная»... Такой и пожаловаться не грех: поймет ли, не поймет, а все легче станет. Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжко, и уж равнодушной не останется. Главное, не стыдно будет, что пожаловался.

Пошли в горницу. Гасили на ходу окурки, досказывали наспех, кто что начал говорить... Смотрели на стол нежадно, рассаживались с шутками, мест не делили. Говорок не умолк, только принял общий, шутливый, беспорядочный характер. Посмеивались, острили, как умели.

Ивана Ефим посадил рядом с собой.

Пошли вкруговую рюмочки с золотыми ободочками, их передавали с осторожностью, с шутливым словом... Женщины заботились, чтоб перед мужиками стояла закуска. Тут были и большие пироги-курники, и пироги с катунской рыбой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенного — сибирского — засола: с тонким привкусом чеснока и сосновой кадушки, капуста, огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье...

«А ничего себе живут-то», — невольно подумал Иван, оглядывая стол. Не знал он, что почти все это принесено

женщинами, которые сидят здесь. Принесено в тарелках, накрытых чистыми полотенцами, в туесках, в мисках. Так водится: гость нежданный, где же хозяину найти сразу столько угощения. И несут, не сговариваясь, кто что может, у кого что оказалось на сегодня печеного, жареного. А хозяйское дело — водка. На водку Ефим не поскупился. Тут ему, видно, и Николай Попов помог крепко.

Шум и веселье внес в компанию Пашка. Вымывшись на скорую руку, он оделся впотьмах в предбаннике и явился к гостям в вывернутой наизнанку рубахе. Сперва не поняли, чем он так рассмешил добрых людей, потом сообразил, тут же снял рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова.

— Быть тебе битому, Пашка.

— До чего человек торопился! Я бы на твоем месте голый прибежал.

— На работу бы так торопились.

Пашка, огрызаясь, пробрался в середку к молодым бабам, принял свою рюмку и объявил:

— Я готов.

Выпили по первой. Выпили по второй, по третьей... Раскраснелись. Стало шумно. Уже говорили и не слушали друг друга. Уже тарелки отодвинули и пошли в ход папиросы. Открыли окна, чтоб не задохнуться... До песен еще не дошло, но зато какой-то толстый дядя, что-то объясняя соседу, уже крепко стучал кулаком по столу и говорил:

— А я ему говорю: ты не и-ме-ешь права, говорю! Не имеешь права так делать! Есть закон!

— Правильно.

— Я говорю: есть закон, говорю!

— Правильно.

К Ивану подсел Николай Попов и, улыбаясь, сказал:

— Мы потом поговорим с тобой. Ты потом расскажешь...

— Расскажу, — согласился Иван. Ему сделалось очень хорошо среди этих людей. И хотелось, чтобы они знали об этом.

Гринька Малюгин сидел рядом с рябой бабой. Та что-то рассказывала; Гринька скалил желтые лошадиные зубы и восхищенно мотал головой.

Пашка смешил в углу Нюру и молодых баб — что-то рассказывал им. Они так и покатывались, а Пашка оставался серьезным.

Ефим покашливал, смотрел на всех веселым хозяйским глазом и радовался, что все идет как надо.

Николай налил Ивану пятую или шестую рюмку...

— Давай, Ваня, давай, друг... Какой я тебе дядя? Ты с какого?

— С двадцать шестого.

— А я с двадцать четвертого. Дядя, называется...

— Понимаешь, Микола, не мог больше... Тоска заела, — говорил Иван Николаю, и ему казалось, что говорит что-то значительное.

— Правильно! — Николай встал, обратился ко всем: — Товарищи, давайте выпьем за нашего гостя, за Ивана Любавина, за нашего, так сказать, родича!

Перестали разговаривать, зазвякали рюмками — наливали.

— С приездом!

— С благополучным возвращением.

— Будь здоров!

Иван растрогался.

— Спасибо, — встал, поклонился. — Спасибо, родня, на добром слове.

Ефим вытер рукавом глаза.

— То-то!.. Как ни говори...

— А как же! — воскликнула рябая женщина, которая сидела с Гринькой. — Надо прибиваться теперь к дому, к своим ближе. В чужих-то краях несладко, поди.

— Несладко, — сказал Иван.

Выпили. Чуть погодя затянули песню.

У Ивана защемило сердце. Захотелось почему-то плакать — наверно, выпил много. Чтобы этого не случилось, он встал и вышел во двор.

Вечер был по-летнему теплый, мягкий, задумчивый. Было хорошо в этот час на земле, грустно. Небо обложили низкие тучи, и только западный край его озарялся ясной, голубовато-красной полоской зари. И было в ней, в этой полоске, что-то исцеляюще-чистое, нетронутое... Была она нерукотворная и нежная, и была она беззащитная: сплошной низкий полог туч медленно надвигался на нее. Было грустно, но не было тяжело; было немножко душно под низким небом, но в то же время остро чувствовалось необъяснимое родство всего живущего на земле, и было легко.

Иван сел на приступки крыльца, закурил. Песня взволновала его. Он стал думать о том каторжнике, который просил открыть окно... Очень хотелось человеку глотнуть вольного ветра, упасть в степи, в траву, забыться. Ах, как хочется жить человеку! Как хочется человеку жить! Ивану знакомо

было это состояние — когда мерзкий холодок смерти проникает в грудь, к сердцу, и когда особенно сильно хочется жить. Было такое на фронте, но особенно запомнился ему момент в той самой драке, за которую он сидел в тюрьме: где-то под тупой кирпичной стеной сошлись шестеро — четверо на двоих. Трое кинулись на Ивана. Двое пытались заломить ему руки за спину, третий — маленький, верткий гад — суетился спереди с бритвой. Несколько раз эта бритва выписывала тоненькие светлые черточки около его лица и ниже. Маленький гад целил в горло. Иван отбивал его ногами. Раза два или три бритва почти задела горло. Вот тогда-то холодок касался сердца. Хотелось зажмуриться...

Хлопнула калитка. К крыльцу шли двое. Иван поднялся.

— Иван?.. Ты что здесь? — Нюра стояла перед Иваном, чувствовалось — улыбается: выпила маленько и осмелела. За ней стоял кто-то, наверно, гармонист.

— Так... покурить вышел.

Гармонист один прошел в дом, и слышно было, как там взревели — обрадовались.

Нюра присела на крыльцо.

— Ну, давай посидим маленько.

Иван сел с ней рядом.

— Что же ты грустный-то такой, а? — спросила Нюра. — Мне даже жалко тебя давеча стало, днем.

— Это кажется только. Мне хорошо здесь. Только думы всякие лезут...

— У нас хорошо, — согласилась Нюра. — Я тоже часто думаю. Только я никак не могу понять, о чем я думаю.

— Хорошо все-таки жить, — сказал Иван.

— Хорошо! Я бы так и жила, и жила. Только, чтобы не стареть — боюсь старости. Я даже вижу, какая я буду...

Иван негромко засмеялся.

— Вот дождешься Андрея — перестанешь бояться. Молодость надо отдавать кому-нибудь, иначе она замучает. Всего бояться будешь.

— Это верно, — согласилась Нюра. — А ты почему без семьи?

— Не вышло. Была, вообще-то, семья.

— А кто виноват?

— Как?

— Она или ты — кто виноват, что разошлись?

— А вместе... И она, и я. Ну его — об этом. Ты, значит, библиотекарь?

— Да.

— Хорошее дело, — похвалил Иван. — Я люблю книжки читать. Запишусь к тебе.

— У-у я тебе такие найду!.. Все хочу Павла втянуть, но никак не удается. Ему не до этого.

Избяная дверь хлопнула; кто-то, шаря руками по стене, шел по сеням.

— Ваня! — шел Николай Попов.

— А! Здесь мы.

Николай вышел на крыльцо.

— Ты что же ушел?

— Голова маленько закружилась.

— А это кто с тобой?

— Нюра.

— Я это, Николай Сергеич.

— А-а... — Николай грузно опустился на приступку, захлопал по карману — искал папиросы.

— На, у меня есть, — предложил Иван.

Николай долго ловил толстыми пальцами папиросу в пачке.

— Нюра, иди-ка туда, милая. Мне поговорить охота... с племянником, — сказал Николай и засмеялся. — Никак не могу привыкнуть, что ты — мой племяш.

Нюра поднялась, пошла в дом.

— Только вы скорее, а то там хватятся.

— Ну, так... — Николай поймал наконец папироску, размял в пальцах, прикурил от спички, которую ему зажег Иван. — Так куда же ты пропал после того, как мы списались с тобой?

— В тюрьме был, — сказал Иван. Который уже раз говорил он сегодня об этом!

— Это я знаю. Узнал. А потом? Ты же вышел, а почему не писал?

Иван не сразу ответил.

— По правде говоря, стыдно было.

— Ну-у... зря. С кем не бывает! Зря.

— Может, зря. Я бы не хотел сегодня об этом говорить. Ладно?

— Ладно, — легко согласился Николай. — Пошли туда.

Поднялись, пошли в дом.

— Завтра обязательно приди в райком.

— Зачем? — Иван забыл, что об этом его просил и секретарь.

— Не знаю, Кузьма Николаевич просил передать тебе.

— Постой-ка, Николай, — Иван придержал Николая в темных сенях. Не видели друг друга. — Ты скажи мне по-свойски: чего он ко мне привязался?

— Кто?

— Секретарь ваш.

— Секретарь наш... Не знаю, Ваня. Я знаю только, что это... хороший человек. Я лучше этого человека еще не встречал в жизни. Вот это я знаю. Я вообще-то еще кое-что знаю... но это после. Ты сходи завтра. Раз зовет, значит, кому-то надо: тебе или ему.

— Схожу.

Вошли в дом.

А в доме разворачивался, закипал праздник...

На другой день, к вечеру, Родионов стал ждать Ивана. Ходил по кабинету волновался... Ждал и не скрывал этого от себя, не выдумывал неотложного дела в кабинете — просто ждал.

Был субботний день, здание райкома опустело рано. Только в соседнем кабинете покашливал дежурный да в коридоре переговаривались уборщицы — мыли полы.

Родионов знал, почему он так нетерпеливо ждет Ивана...

Более тридцати лет уже носил он в себе горькую любовь к Марье Любавиной. Она снилась ему, иногда снилась мертвая, а чаще живая, и часто говорила: «Ох, Кузьма, Кузьма», — точно упрекала. Может быть, потому это, что он был виноват в ее смерти. Может быть. А может — и скорей всего, так, — потому он не мог забыть Марью, что ни до нее, ни после нее не было у него ни к кому такой любви. Одна она и была. Он пытался забыть ее, хотел заглушить всякими заботами, пытался однажды пить — ничего не помогало: она жила в нем, любовь. Он устал от нее.

Вчера, когда он увидел сына Марьи, он растерялся и обрадовался. Почему-то он подумал, что пришло спасение. Этой ночью он все понял. Он понял, надо кому-то рассказать о Марье, о своей любви к ней, и она перестанет мучить. До сего времени некому было рассказать. Может быть, и поняли бы, но не помогли. Надо, чтоб поняли каким-то особенным образом, надо было кому-то отдать часть этой любви, а кому? Кому она нужна? И вот явился сын Марьи — сыну она нужна. Вчера радостно колыхнулось сердце, за-

хотелось долго-долго рассказывать про свою молодость, про Марью, про жизнь вообще и опять про Марью. Разговор с Иваном не вышел. Это не испугало Родионова. Он понимал, почему сразу ощетинился этот угрюмый парень: жизнь он, видать, прожил нелегкую, научился не доверять людям. А ему взбрело в голову сразу начать с расспросов. Это легко исправить. Не надо только суетиться перед парнем, заглядывать ему в глаза, угодничать. Парень, чувствуется, хороший, сам все поймет. Но вот его не понимал Родионов; что нового внесет парень в его жизнь. А предчувствие нового, причем какого-то хорошего нового, устойчиво жило в нем со вчерашнего дня.

Родионов подошел к телефону попросил сельсовет.

— Попова мне.

— Он ушел, а кто это?

Секретарь положил трубку надел пальто и вышел на улицу. Он знал, где живет Ефим Любавин. Пошел туда — не мог больше ждать.

В доме Ефима второй день продолжался праздник. Правда, не в таких размерах, но продолжался.

Сидели втроем — Ефим, Пашка и Иван, — пели песню, уткнувшись лбами друг в друга. Пели Пашкину любимую:

Паренек кудрявый лишь сказал три слова
И увел девчонку от крыльца родного...

Ефим слов и мотива не знал, просто мычал. Иван мотив слышал, а слов тоже не знал — тоже мычал. Зато Пашка с великим удовольствием выводил за всех:

Эх, мята лугова-ая-я, черемухи цвет —
В жизни раз бывает во-сем-надцать лет...

Секретарь помешал им. Оборвали песню, смотрели на него.

— Присаживайтесь с нами, — пригласил Пашка.

— Можно, — Родионов снял пальто, подсел к столу, отодвинул рукой тарелки, облокотился. Соврал: — Хорошо пели. Даже жалко, что помешал вам.

— Ничего, — сказал гордо Ефим, — мы, если надо, не такое споем.

— Выпить не хотите? — предложил Пашка.

Родионов не смотрел на Ивана, но чувствовал, как тот глядит на него.

— Выпить? — подумал. — Давай. Только много не наливай.

Пашка налил полный стакан.

— Я же говорил!.. Куда ты столько?

— Пейте, — сказал Иван. Он вспомнил, как вчера в темноте, в сенях, Николай Попов говорил: лучше этого человека я еще никого не встречал в жизни.

Родионов посмотрел на Ивана, улыбнулся.

— Что ж не пришел сегодня? Я ждал.

Иван показал глазами на стол — куда тут пойдешь. Потер ладонью лоб, сказал:

— Вы... это... извините за вчерашнее, наговорил я там...

У Родионова отлегло от души.

— Ничего. Ну?.. Так давайте уж все тогда!

Тут в дом ввалился Гринька Малюгин. С двумя бутылками. Увидел секретаря, очень обрадовался.

— Хах!.. Вот это так! Кузьма Николаич!.. — поставил бутылки, полез к Родионову целоваться. Тот вытерпел шумный натиск старого своего друга, засмеялся, похлопал Гриньку по спине, сказал:

— Здорово, здорово. Ты что, загулял, что ли?

Гринька сел рядом с ним.

— Что ты?! Просто Ваньку стретили вот...

«Притворяется добрым», — подумал Иван про секретаря.

Пашка тем временем налил всем по полному стакану.

— Три — поехали! — поднял свой стакан.

Чокнулись. Выпили. Родионов передернул плечами.

Скоренько и молча закусили... Ефим постучал вилкой по тарелке.

— Споем!

Пашка и Гринька откликнулись.

— Споем!

Родионов полез за папиросами. Иван тоже.

Пашка опять было запел про восемнадцать лет, но Гринька перебил его и запел свою:

Отец мой был природный пахарь,
И я работал вместе с е-ом...

Склонили головы, завыли.

Родионов тронул Ивана за колено.

— Пойдем выйдем.

Иван охотно поднялся. Вышли. Секретарь незаметно прихватил пальто. В сенях сказал Ивану:

— Оденься, слушай.

Иван вернулся в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, вышел на улицу.

Родионов стоял у ворот, ждал его.

— Пошли со мной.

— Куда?

— Пройдемся... Вечер хороший.

Пошли по улице, которая вела к горе за селом.

— Как ребята, с которыми ты ехал, ничего? — спросил Родионов, чтобы начать разговор. — Ты вместе с ними ехал?

— С ними. Хорошие ребята.

Некоторое время молчали.

— Что, здесь на самом деле людей не хватает? — спросил Иван.

Секретарь с искренним удивлением посмотрел на него.

— Еще как!.. А ты что, не веришь этому?

— А куда же отсюда люди деваются? Если ученых надо, так и тут у вас, по-моему, все учатся.

— Не хватает. Москва строится?

— Строится здорово.

— И мы строимся. Я не сравниваю, конечно... Так, чтоб ты понял. Вообще жизнь разворачивается. У нас, например, в районе пять лет назад было... сейчас вспомню: не то двадцать семь, не то тридцать семь комбайнов. Всего. А сейчас триста одиннадцать. Одних комбайнов! А машин! Тракторов! Это ж кадры.

— Пашни, что ли, прибавилось? Целина?

— Целины у нас немного было. Да дело тут даже не в целине — я о своем районе говорю. Просто раньше надо было хлебушек сперва сжать, потом связать в снопы, потом заскирдовать, потом уж обмолотить... вот сколько! Да все почти руками. А сейчас машины работают. Ты ведь не знаешь ничего этого.

— Не знаю.

Родионов усмехнулся.

— Мы с тобой поменялись, так сказать: я, городской, стал деревенским, а ты, деревенский, городским.

— Мне один умный человек говорил так: зря мужика от частной собственности отучают. Рабочим он все равно ни-

когда не станет, а от земли отвыкнет, разлюбит ее — ни два, ни полтора получится. И зря, говорит, рынок ликвидируют.

— Передай тому умному человеку или напиши, что он не умный.

— А я согласен с ним.

— Почему?

— Ну вот, к примеру, ехали со мной эти ребята. Они хорошие ребята, но какие они, к черту, сельские жители? Они отработают свои три года и дернут отсюда. Ведь бегут?

— Бегут... кто здесь не нужен.

— Да и здешних возьми, брата моего: он шофер, и все. Разве он крестьянин? Он больше о своей машине думает, чем о пшенице там...

— А чего ты привязался к этому слову — крестьянин? Ну, крестьянин, только этот крестьянин сел на машину; вот и все. Умнее стал, грамотнее.

— Какой же он крестьянин, если он за работу деньги получает?

— А чем это плохо?

— А в магазинах-то нет ничего. Вот и получается — ни два, ни полтора. Случись в государстве перебой с питанием, как сейчас, и кинуться некуда — крестьянин сам из магазина питается. А так хоть на рынке можно взять...

— Так мы с тобой пританцуем знаешь куда?

— Та-а...

— Ну, а что скажет твой умный человек, если через год-два у нас в магазинах будет полно всего — и мяса, и молока, и ширпотреба разного? Что он тогда скажет?

Иван промолчал.

— Так какая же это, к черту, философия, если она на временном затруднении строится! Разве это умный человек? А я тебе с цифрами в руках докажу что через два года у нас в деревне в магазинах будет все.

Ивану нечего было возразить. Он не очень верил, правда, что через два года в магазинах будет всего полно, но говорить об этом не стал. Он заметно отрезвел. Секретарь тоже не стал продолжать эту тему.

Вышли между тем за село и стали подниматься в гору, к кладбищу. Иван только сейчас обратил на это внимание.

— Куда мы идем-то?

— К матери твоей.

Иван нахмурился, стал закуривать. Секретарь тоже както ушел в себя, молчал. Смотрел вперед.

Пришли на кладбище, нашли среди могил одну неприметную — невысокий холмик с крестом, давным-давно склепанным из санных полозьев. На поперечнике зубилом высечено: *«Попова Марья. Пом. 1926 год»*.

Ивана охватило чувство, какое он испытывал всегда на кладбище — грустное любопытство и удивление: ведь все, кто под этими холмиками, хотели жить, хотели бы жить все время, но какая-то непостижимая сила уложила их сюда. И ничего нельзя сделать. Что под холмиком лежит его мать — это как-то не доходило до него. Он не чувствовал этого слова — мать. Сделалось грустно, и все. Он молчал.

Родионов тоже молчал. Он думал, что здесь, на кладбище, он расскажет Ивану о его матери. Он ждал этого момента и заранее волновался. А сейчас его поразила одна простая мысль: а что, собственно, рассказывать? Единственное, о чем мог бы он сейчас рассказать, это о том, как лет тому двадцать восемь назад вот над этим холмиком развернулась непонятная борьба. Над могилой тогда стоял вот такой же крест из полозьев. Кузьма Родионов выдернул его и поставил большой деревянный крест с красной звездой. Прошла ночь — над могилой опять стоял железный крест, а деревянного не было. Кузьма сделал второй крест и опять прибил к нему красную звезду: Через день его опять не было, и опять над могилкой стоял железный крест. Кузьма сделал третий, поставил, а железный отнес и бросил в реку: Утром пошел на кладбище — на могиле у Марьи стоит точно такой же железный крест, какой стоял вчера и позавчера. И подпись такая же. А деревянного нету. Кузьма решил, что кому-то не нравится, что он прибивает к кресту красную звезду. Тогда он поставил простой крест без звезды, только выкрасил его в красный цвет. Через ночь — тоже самое: деревянного нет, стоит железный, из полозьев. Кузьма поставил пятый крест и остался на ночь на кладбище — решил подкараулить своего странного соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то идет по кладбищу. Ночь была лунная. Кузьма узнал Федю Байкалова. Окликнул его. Федя вздрогнул, остановился... Кузьма пошел к нему и видел, что тот бросил что-то в траву, но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он здесь, Федя сказал, что пришел попроведать Яшу Горячего. Кузьма рассказал ему историю с крестами. Федя выслушал, долго молчал, а потом сказал: «А зачем он тебе, деревянный-то? Пусть железный стоит — дольше простоит». Кузьма согласился с ним. Так с тех пор и стоит над

Марьей простой железный крест с надписью: *«Попова Марья. Пом. 1926 год»*.

Иван обратил на это внимание.

— А почему Попова, а не Любавина?

Родионов пожал плечами.

— Не знаю, — он действительно не знал, почему тот «неведомый» человек, который ставил Марье железные кресты, упорно писал «Попова», а не «Любавина».

Уже стемнело. А двое все стояли над холмиком, молчали. Думали — каждый по-своему. Иван думал: неужели не чувствуют и не понимают те, которые лежат внизу, то, что происходит над ними? Что же, все кончается, и все? И понятно это, и нисколько не понятно. А Родионов думал: вот привел я тебе твоего сына. Ты хотела, чтобы он был большой, умный... И так оно, пожалуй, и есть: сын твой не слабый парень и не дурак. Встать бы тебе сейчас и посмотреть на него. Всего один миг...

— Ну, пошли, — сказал Родионов.

— Пошли, — откликнулся Иван.

Долго молчали дорогой. Как-то не о чем было говорить. И, пожалуй, даже неловко было бы говорить о чем-либо. Так дошли до дома Родионова.

— Зайдем ко мне, — сказал Родионов. Не предложил, не спросил, а негромко и властно сказал: зайдем.

Иван послушно пошел за секретарем. Странное у него было чувство к этому человеку: безмолвное стояние над могилой матери необъяснимым образом сблизило его с ним, и в то же время он не верил секретарю. Не верил, что он так просто ходит с ним, зовет в гости, предлагает работать в райкоме... Что-то ему, секретарю, нужно от него. А что?

Жены Родионова не было дома, зато была дочь.

— Здравствуйте, — сказал Иван, входя в ту самую комнату, в которой они с секретарем пили вчера чай.

Ему негромко ответили:

— Здравствуйте.

На диване, поджав под себя ноги, лежала крупная женщина с красивой шеей и маленькой, гладко причесанной головой. Читала книгу. На Ивана посмотрела мельком, поздоровалась и отвернулась. Короткая юбка ее вздернулась, Иван увидел часть голой ноги повыше чулка — ослепительно белая полоска. Он так поспешно отвернулся, что у него в шее что-то хрустнуло.

— Познакомься, Мария, — сказал Родионов, — это Любавин Иван, мой старый друг.

Мария повернула голову к Ивану, в глазах ее, серых, спокойных, немножко усталых, ленивое любопытство. Подала крупную белую руку. Иван пожал ее, пожал немного крепче, чем обычно, когда знакомился с женщинами. Увидел, как на короткий миг глаза ее стали чуть-чуть веселей. Она, не стесняясь, окинула взглядом всего его.

— Что-то больно молод для старого друга, — сказала она и улыбнулась. Улыбка у нее скупая, злая, усталая — уголки губ вниз. Но именно она, эта улыбка, врезала вдруг в сознание Ивана мысль, что женщина эта красива. Красива не той легкой, скоро отцветающей красотой, а прочной, никому не нужной, нехорошей красотой. Такая красота знает, что она красота, и уж не заволнуется, не забудет о себе, не испортит себя слезами... И она всегда каменным образом ждет себе кого-нибудь, кого может подчинить своей власти. Без подчинения себе, без поклонения она не мыслит существования, тоскует. Почему она никому не нужна — ее боятся. Боятся, потому что очень уж снисходительно, очень спокойно выбирает она тех, кого должна подчинить, а подчинив, так же спокойно и снисходительно ждет других. Она всегда ждет — вот что пугает. И, может быть, именно поэтому к ней так тянет — всем хочется оказаться счастливее других. Иван один раз в жизни уже встречал такую красоту — женщину с такой красотой. Во время той самой драки, когда сердце его пронизывал смертельный холодок, такая же вот красивая стояла и спокойно смотрела на все. Не кричала. Не звала на помощь. Стояла и смотрела. И за это любил ее Иван. Это была его жена. Из-за нее потом, когда она ушла от него, мучился и не находил себе места. Но только та, кроме всего прочего, была очень глупа, и это делало ее особенно неумолимой.

— А где мать наша? — спросил Родионов у дочери.

— Пошла в кино.

— Она не говорила тебе?..

— Говорила, — Мария встала с дивана, поправила юбку, пошла из комнаты — рослая, легкая, с крутыми бедрами. Юбка и кофта были тесны ей — так, наверно, было задумано. Это должно было доконать того, кого она ждала, чтобы подчинить себе.

«Уж не меня ли она ждет!», — с тревогой подумал Иван.

— Я, знаешь, что надумал? — доверчиво заговорил секретарь, когда дочь вышла. — Так как вчера у нас разговор не получился, я попросил сегодня купить водки, может, разговоримся.

Иван усмехнулся.

— Наверно, думаешь: и чего привязался старый дурак? Так? — спросил секретарь.

— Да нет... — Иван смутился, потому что он только что так именно и подумал. Только без «старого дурака». — Почему?.. Вообще-то... — Иван махнул рукой, ибо совсем запутался.

Родионов, глядя на него в этот момент, понял, что ничего особенного он никогда не дождется от этого парня. Его мать он любил, любит и будет любить. И никому он этой любви не собирался отдавать. Просто сын ее, очень на нее похожий, был нужен и ему. И еще ему нужен был друг или брат, или сын — кто-то был очень нужен. Иван нравился ему, бередил память, но другом и братом он, наверно, никогда не станет.

Мария принесла водку в графине, тарелки...

Когда она вошла, Иван радостно вздрогнул.

«Меня она ждет, меня», — весело подумал он.

— Сейчас закуску принесу.

— Ты выпьешь с нами? — спросил секретарь.

Мария мельком взглянула на Ивана, сказала:

— Можно.

— Давай закуску.

Когда закуска была принесена, и все расставлено на столе, Мария села рядом с Иваном, причем так, что ногой — бедром — коснулась его ноги, но не обратила на это внимания. Ивана опять охватило тревожное и радостное предчувствие.

«Нет, тут что-то будет», — опять подумал он. Угрюмость понемногу сходила с его лица, глаза засветились необидной насмешливостью. Он потихоньку убрал свою ногу и опять подумал: «Будет дело».

Родионов налил в рюмки... Посмотрел на дочь, на Ивана...

— Ну, за что?

— За знакомство, — сказала Мария и чокнулась с Иваном, потом с отцом.

— И за дружбу, — добавил Родионов и первый выпил.

Иван выпил последним — смотрел с интересом, как пьет женщина. Мария выпила, удивленно посмотрела на него,

дрогнула уголками влажных губ... Стала закусывать. Иван тоже выпил.

— А ты чего в кино не пошла? — спросил Родионов.

— Не хочется, — ответила Мария, лениво перегнулась назад, через стул, включила приемник. Опять коснулась своей ногой ноги Ивана. И опять не обратила на это внимания, причем действительно не обратила: Иван умел разбираться, когда не обращают внимания, а когда только делают вид. Он не убрал свою ногу.

Из приемника полилась хорошая музыка. А может, показалось, что хорошая. Во всяком случае, с музыкой Ивану стало лучше.

— Странное вы поколение, молодые люди, — заговорил Родионов, — иногда просто трудно понимать вас.

— Мы пассивные, неинициативные, равнодушные, — спокойно стала перечислять Мария и опять перегнулась через стул — за сигаретами, которые лежали на приемнике. И опять невольно прислонилась к Ивану. Достала сигареты, отодвинулась от него. — Неужели активность в том только и заключается, чтобы в кино каждый вечер бегать?

— Не в этом, конечно.

— А в чем? — Мария взяла со стола спички, прикурила.

— А в том хотя бы, что ты вот куришь! Да еще при отце.

Мария слабо усмехнулась, но продолжала курить.

— Ведь это же дико! — Родионов посмотрел на Ивана, точно призывая его согласиться с ним.

— А без отца не дико?

Родионов сердито глянул на дочь. И отвернулся. Видно, это был старый разговор у них.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, отец. Но вот чего я действительно не понимаю: почему я сейчас должна волноваться, суетиться, проявлять инициативу?.. Во-первых, где проявлять? На работе? Я неплохо работаю, меня даже хвалят. Что еще? Целина? Но, сколько бы я ни волновалась по поводу целины, я ничего не изменю — ее вспашут без меня. И посеют, и уберут хлеб, и выполнят план. Что еще? Государственные вопросы? Там тоже без меня все сделают. Что я должна делать, чтобы не казаться равнодушной? Заметки писать в областную газету? Не умею. Да и... все, что там пишут, меня опять-таки не волнует. Все идет своим чередом, что же тут волноваться?

«Умная, — отметил Иван. — Правильно говорит».

— А в кино не люблю ходить — не интересно. Фильмы неинтересные. Ну что я могу сделать, если фильмы неинтересные?.. Если я знаю заранее, чем все кончится, кто кого полюбит, кто будет прав, кто виноват. Скучно.

— Что ты с фильмами привязалась? Не в фильмах дело... — чувствовалось, что отец не сразу находит как возразить дочери, и от этого больше злится.

Иван с интересом слушал перепалку отца с дочерью.

— А в чем?

— А в том, что ты вот сейчас сидишь и преспокойненько меня же спрашиваешь: «А почему должна волноваться?». Да ты молодая, черт возьми-то! Поэтому. Почему я, старик, должен волноваться?

— По должности.

— Поехала!.. Не то ведь совсем говоришь! И не так думаешь. Кривляешься.

— Возможно.

«Сам ты не то говоришь», — с досадой и сожалением подумал Иван; его начала раздражать деланная невозмутимость молодой женщины.

— Вот!.. Вот это самое и называется равнодушием.

— Неубедительно.

Иван заскучал. Разговор перестал его интересовать. Кроме того, ему разонравилась Мария. Захотелось уйти домой.

— Пожалуй, поздно, — сказал он, глядя на Родионова. Тот спохватился.

— Ты что? Ну, нет. Это, брат, нет... Давайте-ка еще по одной выпьем. А потом споем чего-нибудь. Вон вы как хорошо давеча пели.

Иван усмехнулся, вспомнив Пашку: сидит сейчас, наверно, с отцом и с Гринькой и учит их петь про восемнадцать лет.

— А вы с кем согласны: с отцом или со мной? — спросила вдруг Мария.

Иван спокойно посмотрел ей прямо в глаза.

— Мое дело маленькое.

— Ну, а все-таки? Вы же слышали, о чем мы говорили...

— А о чем вы говорили? — Ивана охватило непонятное раздражение. Показалось ему, что женщина ждет от него какой-нибудь смешной глупости — тоже, видно, заскучала. — Вы, в общем-то, ни о чем и не говорили. А вы особенно.

— Так их, Иван!— поддакнул Родионов и испортил все дело. Иван замолчал.

— Так, — неопределенно сказала Мария и опять просто и весело оглядела его всего, потом внимательно посмотрела в глаза.

— Что? — спросил Иван.

— Ничего.

— А я, значит, тоже неважно выступил? — поинтересовался Родионов.

— По-моему, да, — с суровой непоколебимостью ответил Иван.

Отец и дочь засмеялись.

— Тогда выпьем! — Родионов подал рюмки молодым.

Мария взяла свою, подняла.

— За правду-матку!

«Воображаешь из себя много», — подумал о ней Иван и выпил залпом. И почувствовал, что женщина наступила ему на ногу. Иван ухом не повел. Как сидел, так и продолжал сидеть, в сторону Марии не посмотрел. Закусывал. Женщина опять наступила на его ногу. У Ивана сдавило сердце... Он откинулся на спинку стула, нехотя полез в карман за папиросами. На женщину опять не посмотрел. Она убрала ногу.

«Вот так. Так-то оно лучше будет», — весело и победно подумал Иван. Домой идти расхотелось.

— Ну, так споем? — Родионов посмотрел на Ивана.

— Я певец неважный. Подтянуть, если что, могу, — сказал тот.

— Какую вы любите? — спросила Мария.

— Гоп со смыком, — Иван посмотрел на женщину и улыбнулся. И понял, что пошутил рискованно: у той нехорошо дрогнули ноздри красивого прямого носа и так же — чуть дрогнув — сузились холодные глаза. — Русскую какую-нибудь.

Родионов встал.

— Сейчас гитару принесу, — сказал он и вышел из комнаты.

Иван внутренне весь подобрался — ждал.

— Вы молодец, — насмешливо сказала Мария.

— Спасибо, — вежливо поблагодарил Иван. И спокойно и серьезно посмотрел на нее. — Стараюсь.

Мария слегка растерялась. Иван понял почему: она, видите ли, позволила себе вызывающе-смелый жест — наступила на ногу. А это не приняли. Причем это, конечно, надо было принять и понять как знак союзнической соли-

дарности в борьбе со стариками. Но после этого молодой союзник может «по-товарищески» обнять женщину за талию, а при удобном случае притиснуть в углу. И тогда-то получит в ответ обжигающую пощечину. Иван эти шуточки знал. Потом выяснится, что она просто «хотела обратить его внимание на то-то, а он, оказывается, понял это вон как!..»

«Сильно умная», — думал Иван о женщине. Он не хотел затевать с ней никакой игры. Он устарел для игры.

— А где гитара-то, Мария? — спросил из другой комнаты Родионов.

— На комоде, наверно! — громко сказала Мария. — Или за ящиком.

Иван аккуратненько — мизинцем — стряхнул пепел в блюдечко.

— Вы оригинальничаете или действительно такой? — спросила женщина.

— Какой?

— Такой... что-то вроде телеграфного столба — прямой и скучный.

— Я бы ответил, но неудобно — в гостях все-таки.

— А вы коротко, в двух словах.

— В двух словах не умею, я не учитель.

— А вы кто, кстати?

— Шофер.

Женщина не сумела скрыть удивления. Ивана это окончательно развеселило. Он повернулся к женщине и тут со всей ясностью понял: она красива, как черт ее знает кто!

— Что? — спросил он и опять улыбнулся.

Женщина ничего не сказала, пристально и серьезно смотрела на него.

Родионов нашел наконец гитару. Неумело забренькал, направляясь к ним.

— Ну-ка!.. — сказал он, подавая гитару дочери.

Мария взяла ее, отодвинулась со стулом от стола, положила ногу на ногу. И опять Иван, не желая того, увидел белую полоску на ее ноге — между чулком и юбкой.

— Так что же?.. — Мария посмотрела с усмешкой на Ивана.

— Что хотите. Спойте только одна.

Мария подстроила гитару, подумала... Запела негромко:

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его...

При первых же звуках песни, необычайно верно выбранной, у Ивана заболело в груди — сладко и мучительно. Пела Мария хорошо, на редкость хорошо — просто и тихо, точно о себе рассказывала. А Иван так и видел: стоит русская девка в сарафане и просит матушку: «Не брани ты меня, милая, не надо...». Мария пела и задумчиво смотрела в темное окно. Гитара тоже задумчиво гудела, навевала ту тихую грусть, которая где-то, когда-то родилась и осталась жить в песне.

Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной...

«Ох ты!..», — Иван посмотрел на Родионова. Тот сидел, накоршунившись над столом, печально смотрел в стол. Наверно, многое он прощал дочери за ее песни. И стоило. Ах, какая же это глубокая, чистая, нерукотворная красота — русская песня, да еще когда ее чувствуют, понимают. Все в ней: и хитреца наша особенная — незлая, и грусть наша молчаливая, и простота наша неподдельная, и любовь наша неуклюжая, доверчивая, и сила наша — то гневная, то добрая... И терпение великое, и слабость, стойкость — все.

Мария допела песню, положила ладонь на струны, посмотрела с улыбкой на Ивана и на отца; она знала, что поет хорошо.

— Чего носы повесили?

Родионов очнулся, поднял глаза, внимательно и долго смотрел на дочь, точно изучал.

— Давайте вместе какую-нибудь? — предложила Мария.

— Ну уж нет! — возразил Иван.

Родионов тоже сказал:

— Зачем? Спой еще.

Я о прошлом уже не мечтаю... —

запела Мария, и опять властное чувство щемящей тоски и скорби — странной какой-то скорби: как будто вовсе и не скорбь это, а такое состояние, когда говорят: «Э-э, да чего мы! Вот она, жизнь-то! Жить надо!» — такое чувство опять сразу охватило Ивана. И он увидел степь и солнце... И почему-то зазвенела над степью милая музыка далекого детства, точно где-то колокольчики вызванивали — тихо и тонко. В таком состоянии люди плачут. Или молятся. Или начинают любить.

«Наверно, я влюбился в нее, — думал Иван. И не пугался и не тревожился больше. — Значит, песни эти будут мои. Вся она моя будет». Это радовало.

У Родионова были другие мысли. Он думал:

«Почему я еще горюю? Да у меня же хорошая жизнь была — я же любил свою жизнь. Другие в двадцать пять лет скисают, а я всю жизнь любил. Радоваться надо, а не горевать».

Песня кончилась.

Долго все трое сидели молча — додумывали те думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, радостного и грустного мира, в который уводила песня.

— Да-а, — сказал Родионов. — Так-то, братцы.

Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах, и его охватило сильное желание взять эту руку и положить себе на грудь. И прижать.

— Давайте еще выпьем, и я пойду, — сказал он несколько осевшим голосом.

Родионов молча налил в две рюмки, посмотрел на дочь... Та отрицательно покачала головой. Она по-прежнему была задумчива.

Родионов и Иван выпили. Иван не стал закусывать. Закурил, поднялся.

Мария тоже поднялась, чтобы пропустить его. Иван, проходя, задел ее, почувствовал тепло ее тела. И с этим теплом вышел на улицу и долго еще чувствовал его — легкое, с тонким дурманом духов.

Родионов проводил его до ворот. Остановились.

— До свиданья.

— Я подумал насчет вашего предложения, — сказал Иван.

— Ну и как?

— Согласен.

— Ну вот... Принимай завтра машину и... будем работать.

— Как же поет она! — не выдержал Иван.

— Поет, — неопределенно согласился Родионов. — Из нее могла бы большая человечина вырасти... — секретарь замолчал, видно, спохватился, что начал об этом совсем некстати. — До свиданья.

— До свиданья.

Иван пошел домой.

Шел, засунув руки в карманы, медленно, как будто он очень устал, как будто нес на плечах огромную глыбистую

тяжесть — не то счастье, вдруг обретенное, не то погибель свою, роковую и желанную.

«Как же это так — с одного вечера врезался, — думал он. — Наверно, пройдет».

А в глазах стояла Мария. Смотрела на него. И луна смотрела. И слепые глаза домов — окна — тоже смотрели на него. «Смотрите, смотрите — хорошего тут мало».

Пашка Любавин жил легко и ярко. Он решительно ничего не унаследовал от любавинского неповоротливого уклада жизни, и хитрость отцовскую и прижимистость его тоже не унаследовал — жил с удовольствием, нараспашку. Шоферил. Уважал скорость. Лихачество не один раз выходило ему боком — Пашка не становился от этого благоразумнее. Он никогда не унывал. Ходил по селу с гордо поднятой головой — крученый, сухой, жилистый... С круглыми, изжелта-серыми ясными глазами, с прямым тонким носом— смахивал на какую-то птицу. Отчаянно любил форсануть. На праздники надевал синие диагоналевые галифе, хромовые сапоги, вышитую рубаху, подпоясанную гарусным пояском, пиджак синего бостона — внакидку военную новенькую фуражку, из-под козырька которой темно-русой хмелиной завивался чуб — и шел такой, поигрывая концами пояска.

Но и работы Пашка не боялся. И работать умел. Как шофера его охотно брали везде, только предупреждали: «Но смотри!..». Пашка отвечал: «Главное в авиации — что? Не?.. Ну: не?..» — «Главное в авиации — порядок, точность». — «Нет, не то, — Пашка дарил конторским обаятельные улыбки и принимался за работу.

Но судьба с ним как-то нехорошо шутила: не везло Пашке в любви. Он всем своим существом шел ей навстречу — смело, рискуя многим, а счастье почему-то сворачивало с его дорожки, доставалось другим. Пашка нервничал, но не сдавался. Нахватался по дорогам у разных людей словечек всяких и сыпал их кстати и некстати — изощрялся, как мог.

Он много раз был влюблен. Но всегда в последний момент что-нибудь да случалось: то оказывалось, что он недостаточно крепко любит, то — его не очень. То выяснялось, что она — дура дурой, то обнаруживалось, что он — редкий трепач, то она — «колода», то он — ветрогон и пустомеля. А чаще всего приходил кто-то третий — «он» — и бессовестным образом становился у Пашки на дороге. А иногда Паш-

ка не менее бессовестным образом сам становился у кого-нибудь на дороге, и все равно ему не везло.

Вот, к примеру, две его последние любовные истории.

Поехал он в отдаленный район в командировку — на уборочную. По дороге встретил председателя колхоза Прохорова Ивана. Тот ехал из города домой на колхозном газике и не доехал — лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал «голосовать» попутным машинам. Тут-то и подлетел Пашка на своей полуторке.

— Куда?

— До Быстрянки.

— А Салтон — это дальше или ближе? (Пашка не знал дороги в Салтонский район — впервые ехал туда).

— Малость ближе. А что?

— Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

Поехали.

Мрачное настроение председателя не привлекло внимания Пашки. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука на баранке, левая — локтем — на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво щурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одним встречным самосвалом разъехались так близко, что у Прохорова дух захватило. Он посмотрел на Пашку: тот сидел как ни в чем не бывало — щурился.

— Ты еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров.

— А?.. Ничего, не трусь, дядя, — и спросил, как всегда спрашивал: — Главное в авиации — что?

— Главное в авиации — не трепаться, по-моему.

Пашка обжег гневного председателя ослепительной доброй улыбкой.

— Нет, не то, — совсем отпустил руль и полез в карман за папиросами. Придерживал руль только коленями. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло — Прохоров инстинктивно схватился за дверцу... Свирепо посмотрел на Пашку.

— Ты!.. Авиатор!

Пашка опять улыбнулся.

— Ничего не сделаешь — скорость, — признался он. — Поэзия российских деревень, как говорится.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза Пашке... Парень начинал ему нравиться.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На уборочную, что ли?

— Да... Помочь надо отстающим. Верно?

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Он смекнул, что парня можно, пожалуй, переманить из Салтонского района к себе.

— В сам Салтон или на периферию?

— На периферию. Деревня Листвянка. Хорошие места тут у вас, — похвалил Пашка.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. А что? Павел Ефимыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке — Ефимыч.

— Очень приятно.

— Поехали ко мне, Ефимыч?

— То есть как это?

— Так... Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я, видишь ли, тоже председатель. И я тебе авторитетно заявляю, что Листвянка — это дыра, каких свет не видел. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю: у меня же в путевке сказано...

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ, что отработал на уборочной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Район-то один — Салтонский! А?

— Клуб есть? — спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!.. Вот такой клуб!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты... Один лишний шофер да еще с машиной! На уборочной — это пирамидон. Шутник ты, оказывается, Ефимыч.

— Что делать! Значит, говоришь, клубишко имеется?

— Вот такой клуб! — бывшая церковь.

— Помолимся, — сказал Пашка. Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

В тот же вечер Пашка уписывал у председателя жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.

— Жена должна чувствовать! — утверждал Пашка.

— Правильно, Ефимыч! — поддакивал Прохоров, согнувшись пополам, стаскивал с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует.

— Если я приезжаю домой, — продолжал Пашка, — так? — усталый, грязный, то, се... так? Я должен кого первым делом видеть? Энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Муся!». Она мне должна весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?».

— А если она сама, бедная, наработалась за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — заметила на это хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая — я ей говорю: «Пирамидон». И меня потянет к другим. Верно, Ефимыч?

— Абсолютно! — воскликнул Прохоров.

Хозяйка назвала их «охальниками».

Два часа спустя Пашка появился в здешнем клубе — нарядный, как всегда (он возил с собой чемодан с барахлишком).

— Как здесь население? Ничего? — довольно равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос мне устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я — ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

— Ничего, — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале. — Целинники есть?

— Пошел ты!.. — сказал парень.

Пашку тоже разглядывали. Он такие моменты очень любил: неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу, волновало его. Больше всего его, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что это за дивчина? — спросил Пашка у того же парня — он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел. Пашка стоял около стенки, поигрывал концами гарусного пояска, смотрел на Настю.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

— Предлагаю на тур вальса.

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку...

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка начал сходу выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него.

Пашка выдрючивался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Вот будет когда-нибудь настроение — покажу, как это делается».

Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты! — весело сказала она, глядя в глаза Пашке. Пашка только повел бровью. Ничего не сказал.

— Откуда ты такой?

— Из Питера, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка весь затрепетал в ее руках, весь ходуном заходил...

— Вы мне нравитесь, — сказал он, — я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты, — Настя в упор, спокойно смотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе, — сказал он.

— Ну, и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку на место, опять галантно поклонился и вышел покурить в фойе к парням.

Парни косились на него. Пашка по опыту знал, что так бывает всегда.

— Тут забегаловки нигде поблизости нету? — спросил он, подходя к группе курящих — решил сразу войти в доверие. — Пивишка бы выпить...

Парни молчали... Смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили? — спросил Пашка.

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развел? — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне лично кажется.

— Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут? Потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете сейчас ни за что... Мы потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок... Тут-то и рассказали ему, что его карта уже бита — у Насти есть жених, инженер, и дело у них идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушает, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Где он?

— Кто?

— Инженеришка.

— Его нету сегодня.

— Зарубите себе на носу: я интеллигентов делаю одной левой, — сказал Пашка.

Танго кончилось. Пашка прошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна дойду. Спасибо.

— Не в этом дело... — Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его смотрели серьезно. Длинные тонкие пальцы рук заметно дрожали. — Поговорим, как жельтмены...

— Боже мой, — вздохнула Настя и поднялась. И пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед... Слышал, как вокруг него сочувственно посмеиваются. Он не испытывал никакого позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На другой день после работы Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова синюю шелковую рубашку — увидел, как тот вчера надевал ее на собрание, — надел свои синие диагоналевые галифе, надраил до жгучего сияния сапоги, накинул на плечи пиджак и появился такой в здешней библиотеке (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и еще у стола сидел молодой человек интеллигентного вида, просматривал «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась. Пашка с серьезным видом подошел к ее столу и стал перебирать книги — на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» — и есть тот самый инженер, жених Насти.

— Почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

— Да, надо, знаете...

— Что вам дать? — Настя невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал... Надо дочитать, пока есть свободное время. Верно?

Парень, сидевший за столом, с удивлением посмотрел на Пашку. Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

— Как ваше фамилие?

— Любавин Павел Ефимыч. Год рождения 1935, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, водитель-механик искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня с «Огоньком»... Тот тоже в этот момент смотрел на него. Пашка на секунду-две растерялся... Зачем-то подмигнул парню.

Тот улыбнулся.

— Кроссвордиками занимаемся? — ляпнул Пашка.

Парень не сразу нашелся, что ответить.

— Да... А вы, я смотрю, глубже берете, — глаза у парня веселые и неглупые.

— Между прочим, Гена, он тоже из Ленинграда, — сказала Настя.

— Ну?! — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового?

Пашка излишне долго расписывался в карточке, потом придирчиво оглядел том «Капитала»... Молчал.

— Спасибо, — сказал он Насте. Подошел к парню, ухнул на стол огромный том, протянул руку. — Павел Ефимыч.

— Гена. Очень рад!

— Взаимно.

— Как там Ленинград-то?

— Ленинград-то? — переспросил Пашка, придвигая себе несколько журналов. — Шумит Ленинград, шумит, — и сразу не давая Гене опомниться, затараторил: — Люблю смешные журналы смотреть! Особенно про алкоголиков — так разрисуют всегда...

— Да, иногда смешно. А вы давно из Ленинграда?

— Из Ленинграда-то? — Пашка перелистнул страничку журнала. — А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала. Или во сне видела.

— Вы же мне вчера в клубе говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее весело и невозмутимо.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку... А Пашка спокойно листал журнал.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне действительно приснилось.

— Это бывает, — сказал Пашка, продолжая смотреть журнал. — Вот, пожалуйста, — очковтиратель, — показал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена посмотрел очковтирателя, улыбнулся. Ему хотелось разговориться с Пашкой.

— Вы на уборочную к нам?

— Так точно, — Пашка оглянулся на Настю: та улыбалась, глядя на него. Пашка отметил это. — Сыграем в пешки? — предложил он инженеру

— В пешки? Может, в шахматы лучше?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). А в пешечки — раз-два и пирамидон.

— Можно в шашки, — согласился Гена и посмотрел на Настю. Настя вышла из-за перегородки, подсела к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это? — не понял инженер.

— За то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку, — пояснила Настя.

— А-а. Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске... Взял две, спрятал за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет, — ходил первым Пашка.

— Сделаем — так, — начал он, устроившись удобнее на стуле, выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить нельзя, конечно? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— По-нятно, — Пашка пошел второй. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу, Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

— Погоди, слушай, ну так же нельзя! Зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь!

— Ну и что! Играю-то я, а не ты.

— Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро и точно.

— Вон той, Гена, крайней, — не выдерживала Настя.

— Нет, я не могу так! — кипятился Гена. — Я сам только что хотел идти этой, а теперь не пойду принципиально.

— А что ты волнуешься-то? — удивилась Настя. — Вот чудак.

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — встревал Пашка и подмигивал незаметно Насте. Настя краснела и смеялась: ей было немножко неудобно за своего жениха — за то, что он по пустякам нервничает.

— Ну, и проиграешь сейчас со своей принципиальностью.

— Нет, почему?.. тут еще полно шансов сфотографировать меня, — снисходительно говорил Пашка. — Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — серьезно обиделся Гена. — Нельзя же так, в самом деле. Отойди.

— А еще — инженер, — Настя отошла от стола.

— Вот это уж... ни к чему. При чем тут инженер-то?

— Боюсь ему понравиться; с любовью справлюсь я одна... — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — к чему-то сказал Пашка. Инженер смешал шашки на доске, сказал чуть охрипшим голосом: — Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

— Не понимаю: что за натура? Во все обязательно надо вмешаться!

— Ничего, — неопределенно сказал Пашка. — Давно здесь?

— Что?

— Я, мол, давно живешь-то здесь?

— Живу-то? Пятый месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением посмотрел на Пашку; Пашкин взгляд был прям и серьезен. В сумраке сеней глаза его даже слегка светились.

— Да. А что?

— Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, — да.

— По-моему... Надо знать точно.

— Ты к чему это?

— Так, к слову.

Помолчали.

Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик папиросы. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, — Пашка небрежно прихватил губами папироску — в уголок рта, — сощурился, заложил ладони за поясок,

коротким красивым движением расправил рубаху. — Может, в кинишко сходим?

— А что сегодня?

— Говорят, комедия какая-то. Посмеемся хоть...

— Можно.

— Только это... ты пригласи ее тоже, — Пашка кивнул на дверь библиотеки; взгляд его был по-прежнему серьезным и теперь еще каким-то участливым.

— Настю? Ну, а как же, — тоже серьезно сказал инженер. — Я сейчас зайду к ней, поговорю... Помириться надо.

— Давай, давай.

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу. Взгляд его был задумчивый.

В кино сидели вместе все трое. Настя — между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте, взял ее руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась от него. Пашка стал смотреть на экран. Посмотрел минут пять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг сама придвинулась к нему и шепнула на ухо:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал свою руку. И отодвинулся. Посидел еще... Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

— У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка, ободренный, опять потянулся к ее руке. Настя обратилась к Гене:

— Давай поменяемся местами.

— Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! — распорядился Пашка. Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

— Теперь ничего?

— Ничего, — сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил под шумок и торопливо стал глотать сладкий дым. В лучах от проекционной будки отчетливо закучерявились синие облачка дыма. Настя толкнула его в бок.

— Ты что, с ума сошел?

Пашка спрятал папироску в рукав... посидел с минуту, нашел Настину руку, с силой пожал и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

— Пусть эту комедию сами тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, — глубоко вздохнул... Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров.

— Да так... — сказал Пашка, Полежал немного и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Прохоров.

— Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.

— А-а. А черт его знает. А зачем их воровать-то? Они так, по-моему, рады, без воровства.

— Это — конечно! Я так просто спросил, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нету?

— Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате — о чем-то глубоко задумался.

— В жизни ра-аз бывает, эх, восемнадцать ле-ет! — пропел он вдруг. — Ефимыч, на — рубаху свою. Сенк'ю!

— Чего вдруг?

— Так, — Пашка снял шелковую рубаху Прохорова, надел свою... Постоял посреди комнаты, еще подумал. — Все, сфотографировано!

— Ты что, девку что ли, надумал украсть? — спросил Прохоров.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу

Была темная теплая ночь. Недавно прошел дождик, отовсюду капало. Лаяли собаки.

Пашка пошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто — свои?

— Любавин.

— Командировочный, что ль?

— Ну.

В круг света вышел дедун-сторож в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

Закурили.

— Дождь, однако, еще будет, — сказал дед. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя, — дед сладко зевнул. — Я тут давеча соснул было...

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай, — старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора.

Он знал, где живет Настя — у самой реки, над обрывом. Большущий домина в саду. Днем Прохоров показал ему этот дом (Пашка незаметно приспросился). Запомнилось, что окна горницы выходят в сад — это хорошо.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Дождь разогнал даже влюбленных. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь в узеньких переулках. Подъезжая к Настиному дому, он совсем сбросил газ — ехал, как на похоронной процессии. Остановился, вылез, мотор не стал глушить.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь — он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь листву деревьев темно-мерцающие окна горницы. Там, за окнами, — Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он был собран и серьезен, как вор перед чужой дверью.

«Только бы собаки не было», — думал он. Кашлянул, потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с деревьев.

«Ну, Пашка... если ноги не выдернут, будешь ходить».

Он осторожненько перелез через низенький заборчик и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Тучная теплая ночь исходила соком. Пахло затхлым погребом, гнилой древесиной и свежевымытой картофельной ботвой. Пашка, пока шел по саду; мысленно пел песню про восемнадцать лет — одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет».

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние три шага и стал в простенке между окнами. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?», — возник новый вопрос. Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое

пятно света поползло по стенам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печку-голландку дверь, кровать... На кровати пятно дрогнуло и замерло. Под одеялом кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила, подошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарь.

Настя откинула крючки и раскрыла окно. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко. Тон ее насторожил Пашку — какой-то отчужденный, каким говорят с человеком, который незадолго до этого тебя обидел.

«Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтоб его принимали пока за другого. Молчал.

Настя отошла от окна... Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил свою мигалку.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной спальной рубахе».

Настя навалилась грудью на подоконник — приготовилась беседовать. Пашка уловил запах ее волос; в голову ударил жаркий туман. Он отстранил ее рукой и полез в окно.

— Додумался! — сказала Настя несколько потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался, — думал Пашка. — Сейчас будет цирк».

— Ноги-то вытри хоть.

Пашка молча обнял ее, теплую, мягкую... И так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя. — Что ты делаешь? Шальной ты, шальной... — Пашка начал ее целовать... И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вырвалась из Пашкиных объятий, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и начнет его «фотографировать». Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет... Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стола юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке... И не успел тот подумать худое, как почувствовал на левой щеке сухую, горячую пощечину. И

тотчас такую же — на правой. Потом с минуту стояли, смотрели друг на друга. У Насти от гнева еще больше потемнели глаза; она была удивительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру», — невольно подумал Пашка.

— Сейчас же уходи отсюда! — негромко приказала Настя.

Пашка понял: кричать не будет, не из таких.

— Побеседуем, как жельтмены, — заговорил он, закуривая. — Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. Это — глубокая провинция, — он бросил спичку в окно. Он волновался и дальше развивал свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет, утюг, например, и снова предложит ему убираться. От волнения он стал прохаживаться по горнице — от окна к столу и обратно.

— Я влюблен, так? Это — факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже твоего инженера? Если на то пошло, я легко могу сделаться Героем Социалистического Труда. Но надо же сказать об этом! Зачем же тут аплодисменты устраивать? — Пашка потрогал горевшие щеки — рука у Насти тяжелая. — Собирайся и поедем со мной. Будешь жить у меня, как в гареме, — Пашка остановился... Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил. Она поняла это.

— Какой же ты дурак, парень, — грустно и просто сказала она. — И чего ты елешь тут? — села на стул, поправила съехавшую рубашку. — Натворил делов, да еще философствует ходит. Он любит! — Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала. — Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю?! — она резко повернулась к нему — в глазах слезы. Взгляд горестный и злой. И тут Пашка понял, что никогда в жизни ему не отвоевать эту девушку. Не полюбит она его.

— Чего ты плачешь-то?

— Да потому, что вы только о себе думаете, эгоисты несчастные. Он любит! — она вытерла слезы. — Любишь, так уважай человека, а не так...

— Что же я уж такого сделал? В окно залез — подумаешь! Ко всем лазят...

— Не в окне дело... Дураки вы все, вот что. И тот дурак тоже — весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался. Пусть едет!..

— Как уезжать?! — Пашка понял, кто этот дурак — инженер. — Куда?

— Спроси его.

Пашка нахмурился.

— На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

— Собирайся! — приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

— Куда это?

— Поедем к нему. Я объясню этим питерским фраерам, что такое любовь человеческая.

— Сиди уж... не трепись.

— Послушайте, вы!.. Молодая интересная! — Пашка приосанился. — Мне можно съездить по физио — я ничего, если за дело. Так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит — не трепись?

— Не болтай зря, значит. Куда мы поедем сейчас? — ночь глубокая.

— Наплевать. Одевайся! Лови кофту, — Пашка снял со спинки кровати кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности... Пашка опять заходил по горнице.

— Из-за чего же это он приревновал? — спросил он не без самодовольства.

— Танцевали с тобой — ему передали. Потом в кино шептались... Он подумал... Дураки вы все.

— Ты бы объяснила ему, что мы — по-товарищески.

— Нужно мне еще объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

— Считаю до трех: раз, два, два с половиной... А то целоваться полезу!

— Я полезу! Что ты ему скажешь-то?

— Я знаю, что.

— А я к чему там? Ехай один и говори.

— Одному нельзя. Надо, чтоб вы при мне помирились. А то вы будете год пыхтеть...

Настя надела кофту, туфли.

— Лезь, я за тобой, — сказала она, выключая свет. — Видел бы сейчас кто-нибудь, что мы тут с тобой выделываем...

— Инженеру бы все это передать!.. Тогда бы уж он уехал. Поневоле бы пришлось за меня выходить, — Пашка вылез в сад, помог Насте.

Вышли на дорогу. Полуторка стояла, ворчала на хозяина.

— Садись, рева... возись тут по ночам с вами, понимаешь... — Пашке эта новая роль чрезвычайно нравилась.

Настя села в кабину.

— Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

— Где уж тут!.. С вами скорей прокиснешь, чем какое-нибудь полезное дело сделаешь.

— Ну до чего ты, Павел...

— Что? — строго оборвал ее Пашка.

— Ничего.

— То-то, — Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал. И помирил инженера с Настей.

И той же ночью уехал из Быстрянки — не мог же он ходить в клуб и слышать за спиной хихиканье девчат.

Было грустно, когда уезжал. Написал Прохорову писульку: *«Прости меня, но я не виноват»*.

Подсунул ее под дверь и уехал в Листвянку.

Это одна из многочисленных Пашкиных любовных историй.

А вот — последняя.

Вез из города одну прехорошенькую молодую женщину. Она ехала к мужу, который работал в Баклани зоотехником.

Перед тем, как уехать из города, Пашка полаялся с орудовцем, и поэтому был мрачный.

Женщина сидела в кабине, с ним рядом, помалкивала. Смотрела по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и сказал:

— Не знаю, как вы, но я лично говорил и буду говорить, что на каждой станции кипяток бесплатный, — он сказал это совершенно серьезно.

Женщина удивленно уставилась на него.

— Я не поняла, — сказала она.

— Я хотел сказать, что вам ужасно идет эта шляпка.

Женщина улыбнулась. Ничего не сказала.

— Значит, в Баклань к нам? — спросил Пашка.

— А вы из Баклани?

— Из Баклани.

— Мужа моего знаете? Он зоотехником у вас работает.

— Нет, я начальство мало знаю. Значит, к мужу едете? Жалко.

Женщина опять улыбнулась.

— Молодой муж-то?

— А зачем вам это?

— Не знаю... Просто нечего больше говорить.

Женщину этот ответ почему-то очень рассмешил. Она смеялась, закрыв ладошками лицо, — сама себе, негромко.

— Веселый вы.

— Я не только веселый, я ужасно остроумный, — сказал Пашка. Женщина опять прыснула и опять закрыла лицо ладошками. А ладошки у нее маленькие, беленькие. Ноготочки розовые, крошечные.

«Прямо — куколка», — думал Пашка.

— По-французски не говорите? — спросил он. Женщина перестала смеяться, смотрела на него, готовая снова закрыть лицо и смеяться.

— Нет. А что?

— Поболтали бы... — Пашка приподнял колени, придерживая руль, закурил.

— А вы что, говорите по-французски?

— Кумекаю.

— Что это такое?

«Нет, она, конечно, божественное произведение», — спокойно, без волнения, думал Пашка.

— Значит, говорю.

Женщина смотрела на него широко открытыми синими глазами — не знала: верить или не верить.

— Как по-французски... шофер?

Пашка снисходительно усмехнулся.

— Смотря, какой шофер. Есть шофер первого класса — это одно, второй класс — уже другое... Каждый по-разному называется. А женщина по-французски — мадам.

— Не знаете вы французский.

— Я?

— Да, вы.

— Вы думаете, что говорите?

— А что?

— Я же француз! Вы присмотритесь получше. Я просто в командировке в Советском Союзе.

Женщина опять засмеялась.

Так ехали. Пашка плел несусветную чушь, женщина тихонько хохотала. Дохохоталась до того, что живот заболел.

— Ой, — сказала она, — у меня даже в бок что-то вступило. Что это, а?

— Пройдет, — успокоил Пашка.

Прошло действительно, но зато Пашка заметил, что она что-то очень уж нетерпеливо стала поглядывать вперед. Раза два спросила:

— А долго нам еще ехать?

— Еще километров шестьдесят.

Женщина затосковала.

«Досмеялась», — понял Пашка. Выбрал место, где Катунь близко подходит к тракту остановился.

— Вот что, мадам, сходите-ка за водой. А я пока мотор посмотрю.

— С удовольствием! — сказала женщина, схватила ведро и побежала к реке — вниз, через кустарник. Пашка смотрел ей вслед. Была она изящненькая, стройненькая — девочка. И то обстоятельство, что она уже замужняя женщина, делало ее почему-то еще прелестней.

Вернулась женщина повеселевшей, готовой опять сколько угодно смеяться.

— Красивая река? — спросил Пашка, весело и понимающе глядя на нее.

— Да, — Женщина тоже глянула на него, покраснела и засмеялась.

Пашка с минуту влюбленно смотрел ей в глаза.

— Что вы?

— Так, — он принял у нее ведро с водой и окатил задние скаты — в радиаторе было полно воды.

— А я думала — вам в мотор надо.

— Колеса греются, — пояснил Пашка.

— Я еще никогда не видела, чтобы шоферы колеса обливали.

— Потому что — обормоты, поэтому и не обливают. Положено обливать после каждой полсотни километров.

Поехали дальше. Странное дело: до этой остановки Пашка ничегошеньки не чувствовал к женщине, а сейчас — как глянет на нее, так в сердце кольнет.

«Попался, по-моему», — подумал Пашка. Трепаться расхотелось.

— Расскажите еще что-нибудь, — попросила женщина. «Я бы рассказал... Измять бы тебя сейчас всю, исцеловать... Кошмар — влюбился опять!», — Пашке почему-то захотелось поднять женщину на руки, поднести к обрыву, над рекой, и держать над обрывом — вот визгу было бы.

— Почему вы замолчали?

— Думаю, как бы у вас чемоданы украсть.

— Ха-ха-ха...

— Вот доедем сейчас до глухого места, ссажу вас, а сам уеду с чемоданами.

— А я номер запомню.

— А он у меня фальшивый.

— Ну да!..

«Нет, это кошмар!», — сердце Пашки прямо кипятком обливалось — от одного ее голоса. «Влопался. Хоть бы доехать скорей».

— Муж-то знает, что вы едете?

— Знает. Уже ждет, наверно.

— Что же он в город не поехал встречать? Что это за манера, между прочим: отпускать жен одних в такой путь?

— Наверно, некогда было. А то бы приехал.

— Некогда... Вы надолго к нам?

— Недели на три.

— А почему не насовсем?

— Я же тоже работаю.

— А здесь что, нельзя работать?

— Здесь нельзя. Я — технолог по специальности.

— А как же так жить? — муж здесь, ты там.

— А он скоро уедет. Отработает, сколько положено, и уедет. Насмеялась я с вами... Жене вашей, наверно, весело жить с вами. Да?

— Я, видите ли, холостой, — зло и весело сказал Пашка. — А мужу своему передайте, чтобы он больше таких номеров не выкидывал.

— Каких номеров?

— Он поймет.

Пашка разогнал машину и до самой Баклани молчал. На женщину не смотрел. Она тоже притихла.

Зоотехник действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятно одетый молодой человек с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся — не знал, что делать: то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.

— Сколько вам?

— Нисколько. Иди к мужу-то... поцелуйтесь хоть — я отвернусь.

Женщина покраснела и засмеялась.

— Нет, правда, сколько?

— Да нисколько! — заорал Пашка. Мóка сплошная с этими куколками.

Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы и негромко и торопливо стал выговаривать:

— Но одна в следующий раз с шоферами не езди. Я же писал! Я же писал?

— А что особенного? — тоже негромко возразила женщина.

— Да то!.. Ты еще не знаешь их... Они тут не посмотрят...

Пашку какая-то злая мстительная сила вытолкнула из кабины. Он одним прыжком заскочил в кузов, стал против зоотехника и, глядя ему в глаза, негромко сказал:

— Ну-ка плати за проезд. Быстро!

— А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила? — зоотехник растерялся — глаза у Пашки были, как у рассвирепевшей кошки.

— Он не взял...

— Плати! — рявкнул Пашка.

Зоотехник поспешно сунулся в карман... Потом спохватился.

— А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?

— Три рубля.

— Вы что!.. Тут же только рубль берут.

— Олег! — крикнула снизу женщина. Она тоже не понимала, что стряслось с Пашкой, с этим веселым, смешным человеком, но каким-то своим, женским чутьем догадалась, что лучше сейчас с ним не связываться — он в чем-то прав.

— Пожалуйста, — сказал зоотехник и подал три рубля.

— Выкидывайтесь поскорей! — приказал Пашка, выпрыгивая из кузова.

К нему подошел краснолицый толстый мужчина.

— До Горного едешь?

— Еду, садись.

Мужчина втиснулся в кабину и стал жадно смотреть на женщину. Когда тронулись, он долго еще смотрел на нее, высунувшись из кабины, потом сел нормально и вздохнул:

— Хороша бабец. С такой не заскучаешь. А? — посмотрел на Пашку, колыхнул большим пузом — засмеялся.

Пашка резко затормозил, сказал коротко:

— Вылазь.

— Ты что? Ты же едешь до Горного...

— Мало ли, куда я еду. Вылазь.

Мужчина вылез, саданул дверцей, проворчал сердито:

— Психопаты, черти.

Пашка уехал.

Через неделю, примерно, Пашка был дома и пошел в клуб, в кино. Про куколку он уж почти забыл. И вдруг видит в фойе — куколка! У него сладко заныло сердце. Подошел.

— Здрассте!

— Ой, здравствуйте! — обрадовалась куколка. — Что это вас не видно нигде?

— В рейсах. Вы что, одна, что ли?

— Одна. Олег в командировку поехал, дня на два. Я с...

— Где вы сидите? — Пашка знал, что делать дальше — дальше действовать.

— Я с хозяйской дочкой пришла. А она куда-то пропала.

— У кого вы живете?

— У Лизуновых.

У Пашки вытянулось лицо: эту хозяйскую дочку, Катю Лизунову он знал, даже любовь с ней когда-то крутил. Если сесть рядом с ними, значит завтра об этом будут знать все. Значит, куколка обеспечена семейной драмой, когда вернется зоотехник.

— Где же она... А, вон! Катя!

Пашка успел сказать:

— Когда из кино пойдете, как-нибудь отколись от этой Кати. Мне надо кое-что сказать тебе, — отошел в сторону. И с этой минуты не спускал глаз с куколки.

Кино кончилось, стали выходить. Катя Лизунова точно прилипла к куколке. Да и та, наверно, забыла о Пашкиной просьбе.

Пашка незаметно шел за ними до самого их дома. Сердце его больно колотилось.

Женщины вошли в дом. В горнице вспыхнул свет. По занавескам задвигались две аккуратненькие тени.

«Эх, Катя, Катя!..», — с отчаянием думал Пашка. Мысль его работала быстро, путано и безрезультатно. Что делать? Куколка, милая куколка! Хоть бы взять тебя за руку, что ли, хоть бы посмотреть в глаза твои синие... Что ж делать? Ведь эта Катя наверняка ляжет спать в горнице вместе с куколкой. Подружились!..

Мучился Пашка, думал о чем угодно, только не о том, что ведь это все-таки подло — добиваться свидания с замужней женщиной.

Вдруг он услышал, как хлопнула уличная дверь в доме Лизуновых... Кто-то спустился с крыльца, легкими шагами прошел по двору, скрипнул калиткой — пошел по улице,

направляясь к центру села. Пашка забежал выше по улице и пошел навстречу человеку... Было совсем темно.

Шла женщина, но — кто?

В двух шагах от себя Пашка узнал Катю Лизунову.

— Здорово!

— Кто это? Павлик?.. Здравствуй.

— Куда это ты, на ночь глядя?

— Дежурить в сельсовете. Зерно возят — звонят все время. Пойдем со мной? Потрепемся...

— Ну уж — привет! Твой отец дома?

— Нет. А что?

— Хотел табаку зайти попросить... Прокурился.

— Зайди вон к Беспаловым, они не спят еще.

— Придется. Ну, счастливо тебе подежурить.

— До свиданья.

«Так, так, так, — думал Пашка. — Что же получается: Архипа Лизунова дома нет, Катьки нет, дома куколка — в горнице, и Лизуниха — в прихожей избе, на печке. Лизуниха, конечно, спит без задних ног — хоть из ружья стреляй, не услышит. Дверь у них всегда открыта... Так, так...»

Пашка вошел во двор к Лизуновым, поднялся на крыльцо... Осторожно нажал плечом на дверь, она со скрипом открылась. Пашка прошел в сени, открыл избную дверь и, не останавливаясь, прошел в горницу.

Куколка стелила постель. Оглянулась, беззвучно открыла ротик...

— Спокойствие, — сказал Пашка, — за мной гонятся.

— Кто? Кто? — у куколки от ужаса округлились глаза; она побледнела.

— Штатские. Гаси свет.

Куколка не двигалась.

Пашка сам выключил свет, подошел к ней, обнял и стал целовать.

— Что ты...

Пашка целовал исступленно, с болью, с остервенением...

— Что ты...

Целовал так, как если бы до этого три года никого не целовал.

— Что ты делаешь? — куколка слабела в руках, слабела все больше и больше.

— Что ты...

Пашке хотелось раздавить ее. В груди у него мучительно горело — жгло. Он целовал и целовал... И когда у него са-

мого закружилась голова, когда он подумал, что теперь — все: можно ничего не бояться, он выпустил куколку из объятий. Она некоторое время молчала, поправляла волосы. Потом громко позвала:

— Тетя Даша!

Пашка схватил ее, зажал рот. Она замычала, закрутила головой. Пашка опять начал ее целовать. Она опять покорно обвисла у него в руках, откинула голову... Но когда Пашка отпустил ее, она опять громко позвала:

— Тетя Даша!

Пашка остолбенел.

— Чего тебе? — откликнулась заспанным голосом Дарья Лизунова. — Эт ты, что ль, Муся? Чего тебе?

— Тетя Даша, оденьтесь, пожалуйста, и зайдите сюда.

— Да чего там стряслось-то? — Дарья — слышно — начала слезать с печки.

Пашка открыл окно, выпрыгнул в палисадник... Перемахнул через прясло и вышел на дорогу. Сперва душила злость, потом стало смешно.

«Вот так куколка! Ай, да куколка!.. То ли дура, то ли хитрая...»

Любовь умерла, не родившись. Больше он куколку не видел — уехал в рейс. А когда приехал, ее уже не было в деревне. И память о ней зачахла.

Так жил Пашка — работал и мыкался в поисках любви. Некоторые — Нюра, например, — говорили ему, что он не так ищет, другие — Николай Попов — утверждали, что ее вообще не надо искать. Пашка никого не слушал, сам знал, как надо жить.

Кузьма Родионов был еще крепок. В старики дочь зачисляла его рано. Старик — это когда человек перестает понимать, что происходит вокруг. Родионов понимал почти все. И у него еще хватало сил удерживаться не на отшибе житейской кипени, а быть где-то ближе к центру.

Работал Родионов спокойно, въедливо. Нервничал редко. Один раз только видел Иван, как он нервничает.

В Соусканихе проходило отчетно-перевыборное партийное собрание колхоза. От райкома на нем присутствовал Ивлев. Родионов ехал с другого партийного собрания домой и по пути решил завернуть в Соусканиху. Приехал как раз в

тот момент, когда собрание закончилось и люди расходились.

Ивлев сел к Родионову. Поехали.

— Ну, как? — спросил Родионов. Он сидел на первом сиденье.

— Дело в том, что выбрали опять Кибякова, — сказал Ивлев, Родионов долго молчал. Смотрел на дорогу.

— А что же ты-то там делал? — спросил он наконец и обернулся к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел его шрам.

— Кибяков признал свои ошибки. О будущем он тоже правильно думает, — Ивлев приготовился спорить. Только он не ждал, наверно, что спор этот произойдет тотчас после собрания. — Я не видел оснований, чтобы выступать против него. Люди его тоже все поддерживают...

— Ты знаешь, что он обманывает людей?! — резко спросил первый секретарь. — Ты знаешь, что он демагог и трепач?

— Я не думаю так.

— А я думаю!

— И люди так не думают... Он прошел большинством голосов.

— Эх-х... — Родионов отвернулся и стал закуривать. — Растяпы. Признал ошибки!.. А какие ошибки? Он не ошибался в прошлом году, он врал!.. Какие же это ошибки?.. — Родионов опять повернулся к Ивлеву. — Он врал, что наладил в колхозе комсомольскую работу, врал, что коммунисты у него учатся, врал, что у них работают курсы механизаторов...

— Но работают-то у них свои трактористы. Зачем же зря...

— Куклы у них работают, а не трактористы! — почти крикнул Родионов. — Трактористы — до первой поломки! Пока трактора новые... Они их за неделю там поднатаскали и посадили на машины.

Ивлев ничего не сказал на это.

— Сам будешь снимать Кибякова, — Родионов отвернулся, полез в карман за папиросами. — Сам проворонил, сам теперь и занимайся им. Ведь предупреждал еще!

Ивлев и на этот раз промолчал.

Молчали до самого дома.

Уже в Баклани, подъезжая к райкому, Родионов сухо сказал:

— Завтра подробно расскажешь мне о собрании. И попроси, чтоб кто-нибудь привез протокол. Завтра же.

— Хорошо.

— До свиданья.

— До свиданья.

Впервые в присутствии Ивана так резко говорили друг с другом эти два человека. Иван считал их друзьями. Обычно они мало разговаривали, но понимали друг друга с полуслова.

У Ивана с Родионовым наладились хорошие деловые отношения. Поначалу Иван опасался, что Родионов будет его опекать, лезть с откровениями — ничего этого не случилось. Родионов просто и коротко говорил обычно:

— В Усятск.

Иван вез его в Усятск. Первое время — с неделю — Родионов показывал дорогу, потом Иван мог сам проехать в любую деревню Бакланского района.

Обычно кто-нибудь еще ехал в машине. Но, даже когда ехали вдвоем, разговаривали мало. Один раз Родионов спросил:

— Нравится?

— А чего ж?.. — беспечно ответил Иван. — Работать можно, — вообще-то он думал, что работы будет гораздо меньше.

Родионов усмехнулся.

В те годы вывозили зерно из дальних глубинок. Остатки. Торопились, ибо вот-вот должны были пойти вредные затяжные дожди. Родионов мотался из края в край по району, торопил, подбадривал, требовал... Ночевали где придется. Один раз ночевали на пасеке.

Приехали туда, когда садилось солнце. Родионов вылез из машины, поздоровался с пасечником, который почему-то начал перед ним заискивать, сказал Ивану:

— Вылазь, больше никуда не поедем. Глянь, красота какая.

Иван заглушил мотор, вышел из леска на открытое место и остановился, пораженный поистине редкой красотой.

Пасека находилась в отложье, которое широким, еще зеленым пологом, опускалось к неширокой речушке. А дальше взору открывалась широкая ровная долина... А еще дальше глыбистой синей стеной вставали горы. Прямо из долины. А посередине долины извивалась Катунь. И сейчас, когда солнце висело над зубцами гор и уже чувствовался

вечер, долина вся пылала нежарким красноватым огнем. Только Катунь холодно блестела.

Потом солнце коснулось вершин Алтая... И стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись и стали еще более синими. А в долине тихо угасал красноватый огонь. И двигалась задумчивая мягкая тень от гор. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом, и тотчас оттуда вылетел в небо стремительный веер лучей. Он держался недолго. Тоже тихо угас. И в небе, в той стороне, пошла полыхать заря.

Родионов, засунув руки в карманы, стоял неподвижно, смотрел в долину.

— Везде был: на Кавказе, в Крыму, в Финляндии — видел красоту. Но такой вот не видел нигде, — сказал он.

Иван тоже нигде ничего подобного не видел. Он поймал себя на том, что думает черт-те о чем — что надо когда-нибудь побывать здесь с Марией.

Прибежал услужливый дураковатый пасечник.

— Этта вчера тоже приезжали, стояли здесь... Говорят: рай!

— Батя, достань-ка нам неводишко, — сказал вдруг Родионов. — Мы сбегаем, пока светло.

Пасечник ушел за неводом, а Кузьма Николаич начал снимать с себя одежду.

— Разболокайся, — велел он Ивану. — Уху сейчас варить будем.

Иван разделся до трусов, побежал вниз по отложине... Охватила первобытная бездумная радость. Затеять бы с кем-нибудь «борца» — бороться, напрячь до боли занеженные мускулы, хряпнуть об землю противника... И потом лежать на земле лицом вверх и тяжело дышать.

— Эгей!.. — крикнул сзади секретарь.

Иван оглянулся, секретарь бежит за ним чуть ли не вприпрыжку с неводом на плече.

— Давай с ходу! — крикнул Родионов и показал рукой на речушку.

Иван так и сделал — ухнул с ходу в речушку, заорал дурным голосом и выскочил на берег.

Родионов стоял на берегу, хохотал, как ребенок — со всхлипами. Иван его еще не видел таким.

— Что?.. Нарвался? Она только с виду безобидная...

— Это что же такое? Почему она такая холодная-то?

— Родниковая. Ну, раз уж ты окунулся, лезь вглубь.

Сделали четыре тоньки. После каждой Иван бросал невод и бегал по берегу — согревался. Вода была просто ледяная. Родионов выбирал из невода рыбешку — чебаков, битюрей, — посмеивался:

— Вот так, так... привыкай. А то набаловались там в бассейнах-то...

Наловили рыбы на две хорошие ухи. Пошли к избушке. Намокший невод несли вдвоем. Шли медленно. Разговаривали.

— Ну, как?.. На родине-то? — спросил Родионов.

— Хорошо.

— Люди нравятся?

— Люди как люди... Везде люди.

— Не скажи... Я, грешным делом, городских недолюбливаю, — признался Родионов. — По-моему, они зазнаются здорово. Я только не могу понять почему.

— Культуры больше, поэтому... — Иван сам недолюбливал городских жителей, но поддакивать секретарю не хотелось.

— Культуры... — повторил секретарь. Это было самое уязвимое место Родионова — культура городских и деревенских. Сравнение шло всегда не в пользу деревенских, и Родионова это злило. Он спорил.

— Вы что, обиделись, что ли? — спросил Иван, чувствуя, что секретарь замолчал неспроста.

— Да что ты! — откликнулся тот. — За что?

«Открою техникум — сразу все заткнутся», — думал между тем секретарь. В последние полтора-два года у него была одна заветная мечта — открыть в Баклани техникум механизации сельского хозяйства. Сперва хотел один, своими силами, поднять эту махину — не смог. Списался со специалистами в Москве, изучил вопрос и начал подговаривать соседних секретарей райкомов — вместе затевать дело. Подал проект в крайком: межрайонный сельскохозяйственный техникум имени XX съезда партии. Причем только в Баклани. Проект в крае нашли вполне реальным, только не поняли: почему обязательно в Баклани? Есть села крупнее и ближе к городу. Родионов не смог убедительно доказать, почему в Баклани, и опять стал задумываться, как осилить такую работу одному. Ему хотелось, чтобы техникум был в Баклани, и все.

Уже сумерки опускались в долину. Пал туман. Было покойно на земле.

Около избушки, в оградке, горел небольшой костер; дед суетился около него.

При свете костра начали потрошить рыбу на чистой тесинке. Дед смотался в избушку и через минуту вынес туесок с медовухой. Шел в темноте по оградке, держал в руках туесок, ворчал:

— Глаза стали — ни хрена не вижу.

— Что он суетится так? — негромко спросил Иван.

— Он знает, — так же негромко сказал Родионов.

— Ну-ка!.. После родниковой водички-то!.. Глотните! — радостно говорил старичок, подавая туесок секретарю. Тот отпил немного, подал Ивану. Иван приложился и выпил чуть не все пиво. Оно было очень вкусное.

Потом сидели, ждали уху. Родионов смотрел задумчиво на огонь, молчал. Вспомнились ему далекие-далекие дни молодости: покос, Федя Байкалов, Марья... Уходит жизнь. Постоянно. Каждую минуту. Тогда он не понимал этого, а сейчас понимает. И трудно как-то понять, что она не совсем кончается, что тут же встают еще сотни новых жизней и начинается все сначала. Он так глубоко влез в эти мысли, что когда наклонился прикурить к костру и вдруг увидел Ивана, то вздрогнул. На мгновенье почудилось даже, что с ним рядом сидит Марья.

Дед помешивал в котелке таловой палочкой, приговаривал:

— Сича-ас дойдеть... глаза уже побелели. Эх, и ушица будет! Еще, что ль, туесок принести?

— Хочешь, Иван? — спросил Родионов.

— Нет.

— Я тоже.

— А вчера этта приехали тоже... смехота одна! — начал старик, но секретарь перебил его:

— Кто приезжал-то? Туристы?

— Ага. Две бабы с ними. Пьют тоже, как мужики. Танцы и тут открыли...

— Ну, а что ж... Отдыхают люди.

— Оно конечно. Я ничего. Мне только шибко бабы не глянутся — в штанах, гогочут, как кобылы... Ну, готова!

Хлебали уху прямо из котелка деревянными ложками. Иван никогда с таким удовольствием не ел.

«Надо Марию привезти сюда», — думал он.

Тихонько гудел, постреливал костер. С ласковым звуком — твить! — отскакивали в разные стороны красные угольки и умирали на земле. В лесочке громко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей откликнулись с реки:

— Гыть-гыть-ыть-ыть!..

И звуки эти далеко прокатились по долине.

Дохлебали уху, закурили...

— Вынеси нам тулупишко, — попросил Родионов. — На сене ночуем.

— А пошто? А в избушке?

— Там клопов у тебя до черта. Что ты их не выведешь?.. Где так знахарь, а тут...

— Верно, клопы имеются. Дамочки вчера визжали.

— Давай тулуп.

Легли на свежем сене в древнем сарайчике. Долго лежали молча. Спать не хотелось.

— Вспомнил, как дочь ваша поет, — сказал Иван. Ему хотелось поговорить о Марии.

— Поет, да, — согласился Родионов. И все.

— А чего вы о ней так говорите? Как-то нехорошо, — не отставал Иван.

Родионов долго лежал молча. Потом откинул тулуп, сел, с осторожностью закурил.

— Проморгал я свою дочь, Иван, — заговорил он негромко. — Когда надо было говорить ей умные слова, я думал, что она еще глупенькая, не поймет. А потом поздно было — другие стали говорить.

— Кто?

— Нашлись... А сейчас худо: чувствую себя при ней как дурак. Заметил небось, как разговариваю с ней — как плохой агитатор с капризной избирательницей. Находятся такие в выборы: охота поломаться перед кем-нибудь, вот она начинает перед агитатором. А тот, бедный, шпарит ей по инструкции... Аж пот прошибет. Так и я.

Иван жадно слушал.

— А что с ней такое произошло-то?

— Запуталась она, вот и все. Обозлилась.

— Что разошлась с мужьями — это, считается, запуталась?

— Не в мужьях дело, — неохотно возразил Родионов. — Хотя и это... не геройство. Сложно все, — Родионов не хотел говорить об этом.

Иван тоже сел и тоже закурил.

— Осторожней, — предупредил секретарь. — Сено как порох.

— Мгм, — Ивану еще хотелось поговорить о Марии, но он больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не очень легко говорить о таких делах. — Да, жизнь — штука сложная, — сказал он.

— Запуталась, а характер, как у лошади необъезженной, — прибавил Родионов. — Закусила удила и несет, — заплевал окурок, выбросил в дверь, лег. — Давай-ка спать, а то завтра вставать рано.

— Давайте.

Легли, затихли. Но не спал ни тот, ни другой — думали каждый о своем.

Мысль о Марии гвоздем засела в голове Ивана.

«Что значит — запуталась? — думал он. — Просто, наверно, не везло в жизни, и все. Бывает: не повезет — хоть ты что делай, хоть лоб расшиби».

...На следующий день к вечеру они были в Баклани.

Иван вымыл машину, загнал ее в гараж и пошел домой. В ограде стояла Пашкина полуторка — Пашка был тоже дома.

«С Пашкой поговорю», — решил Иван.

Пашка ужинал. Он был нарядный, веселый, как всегда. Точил лясы с Нюрой — учил ее писать письма мужу.

— Во-первых, никогда не пиши: «Милый Андрюшенька...».

— Почему это?

— Нельзя.

— Да почему?

— Вот он придет, скажет тебе почему. А-а, браток! Пойдем в клубишко сегодня?

— Пойдем, — легко согласился Иван.

Нюра не без удивления посмотрела на Ивана: ей почему-то казалось, что он не будет ходить в клуб.

— Заправляйся, и двинем. Сегодня танцы.

Иван умылся, подсел к Павлу. Нюра налила ему в тарелку наваристой лапши.

— Пораньше хоть приходите-то, — сказала она недовольным голосом. — Нечего до света шататься, — ей не хотелось оставаться одной дома (Ефим уехал в город); кроме того, поучить двух здоровенных парней уму-разуму — это занятие не лишено удовольствия.

Иван похлебал на скорую руку, вылез из-за стола, пошел в горницу одеваться. Потом вылез Пашка. Закурили, взяли курева с собой и пошли.

— Ты знаешь Родионову Марию? — сразу начал Иван.

— Дочку секретарскую? Знаю. Видел вообще...

— А ничего не слышал о ней?

— Слышал, что она много раз замужем была. А что? Хочешь познакомиться?

— Я познакомился. Нет, я думал, ты больше знаешь.

— Меня такие не интересуют, — равнодушно сказал Пашка. — Я люблю пухленьких таких... Чтобы взял ее в руки и сперва не понял: человек это или лакировка действительности. Знаешь, кто про нее может знать? Дядька твой, Николай Попов.

— Да?

— Да... Я их много раз вместе видел.

— Тогда я зайду к нему.

— А в клуб не пойдешь?

— Приду. Попозже.

Николай сидел в сельсовете один, читал какую-то книгу, усмехался (страсть как любил читать книги, а дома детвора не давала почитать). Увидел Ивана, спрятал книгу в стол, поднялся навстречу.

— Каким это ветром тебя?

— Проведать дядюшку зашел.

— Хорошее дело, племянничек. Садись. Дело какое?

— Да вроде дело... а дело такое — не очень важное.

— Давай, — Николай смотрел на Ивана серыми добрыми глазами — ждал. Ивана удивляла доброта Николая. Причем он заметил, что Николай добр не только с ним — со всеми. Первое время Иван думал, что это идет от председательства — по должности. Потом понял, что он просто такой человек. Вообще в деревне было много добрых людей. Иван постепенно привык к этому.

— Знаешь, я зачем?

— Нет.

— Ты Марию Родионову знаешь?

— Знаю. А что?

— Расскажи про нее. Сильно мне нравится... женщина, а про нее что-то... это... говорят всякое... Что она за человек?

— А что говорят-то?

— Что мужей у нее чуть не дюжина была...

— Ну и что?

— Как что?

— Было три мужа. А женщина хорошая, — убежденно сказал Николай. — Красивая к тому же.

— Это я понимаю.

— А что же непонятно-то? Почему столько раз замужем была?.. Не знаю. Я знаю только, что сплетни по деревне собирать не стоит. Тут тебе наговорят всякой всячины. Понял? — Николай улыбнулся. — Вот так, племянничек.

Ивану стало неловко.

— Это верно, конечно. Но охота же было узнать.

— Ну, могу еще тебе сказать: Ивлев Петр Емельянович — это тоже ее муж. Бывший, конечно. Тоже хороший человек, как ты знаешь, а вот... И любит ее, между прочим, и сюда из-за нее приехал, а жизни все равно нет. Так тоже бывает.

Иван обалдел на минуту. Ивлев?.. Красивый, умный, сдержанный Ивлев — бывший муж Марии? А что же еще надо тогда?

— Вон как!..

— Так... Понравилась, говоришь?

— Да. Но тут уж, видно, лучше не соваться...

— Почему? — удивился Николай. — Зря. Вот это уж зря. А что ты?.. Богом, что ли, обиженный?

Иван встал. Он скис было, но последние слова Николая — даже не столько слова, сколько тон его — вселили в его душу нагловатую бодрость.

— Ну, спасибо. Пойду в клуб.

— В воскресенье едете куда?

— Не знаю еще. А что?

— Хотел пригласить тебя в гости... Жена хочет познакомиться, ну и потомство мое поглядишь. Пять штук!

— Да что ты!

— А что?.. — Николай засмеялся. — Приходи.

— Приду, — Иван вышел из сельсовета. Шел и думал про Николая. До чего ж простецкий мужик! Пустили же такого в свет белый — умного русского хорошего человека. А теперь он пустит — пятерых сразу, если не больше, тоже таких же неглупых, добрых... Сильна матушка Русь. Неистребима.

Потом мысли вернулись к Марии.

«Так чего же она хочет? — опять подумал Иван. — Если уж Ивлев нехорош, то кто же тогда хорош будет?»

Опять начало одолевать сомнение. И чем больше оно одолевало его, тем желаннее становилась Мария. Нестерпи-

мо захотелось увидеть ее. Он даже стал выдумывать какой-нибудь повод, чтобы пойти к Родионовым. Ничего не придумал и пошел в клуб.

«Главное, не суетиться, блох не ловить», — решил он.

Танцы в клубе были в разгаре.

Иван купил в окошечке в фойе билет, вошел в зал. И первый, кого увидел, был Пашка. Пашка танцевал с той самой девушкой, с которой ехал Иван, с Майей. Иван присел на стул возле стенки, стал смотреть на танцующих. Подумал: «Вообще-то никакое тут не захолустье. Девки одеваются так же, как в городе. Даже лучше — скромнее».

Пашка, проходя мимо него, сделал рожу; Иван понял это так: держу в руках такое, что самому не верится. Майя была очень стройная девушка, совсем не пухленькая... В общем, красивая. Она тоже увидела Ивана, улыбнулась, кивнула головой. Иван улыбнулся в ответ.

Когда танец кончился, Пашка и Майя подошли к нему.

— Поспорили из-за тебя, братка! — заорал радостный Пашка. — Она говорит, что ты не танцуешь, а я говорю — танцует. На что мы поспорили?

Майя тоже была возбуждена танцами. Она слегка запыхалась, улыбалась, как она умела улыбаться — доверчиво.

— На бутылку шампанского.

— Шампанское — это конская... тэ-тэ... это... На шампанское? Я лично спорю на коньяк! Идет?

— Но, если я выиграю, что я с ним буду делать?

— А мы с Иваном Егорычем для чего? Мы его выпьем втроем.

Майя опалила Ивана сиянием веселых глаз, тряхнула решительно головой.

— Идет!

Иван разнял их. Сказал, невольно поддаваясь их радостному возбуждению:

— С разъемщика не брать. Не танцую я, Паша. Горько мне это говорить, но так.

Майя засмеялась, откинув назад головку. Пашка смотрел на нее... улыбался... А глаза не улыбались, глаза пожирали красивую девушку... Похоже было, что он опять влюбился...

Майю позвали; в клубе были еще двое из тех, с кем ехал сюда Иван: парень-учитель и вторая девушка. Поздорова-

лись с Иваном. И увели Майю, Пашка проводил ее тоскливым взглядом.

— Нравится? — спросил Иван.

— А?.. Кошмар, — сказал Пашка, — меня опять сфотографировали.

— Хорошая девушка, — подзадорил его Иван. — Скромная, умная...

Пашка заволновался, поправил рубашку, хэкнул...

— Я, между прочим, не согласен с Хрущевым, — сказал он. — Для чего сюда ребят присылает?

— Зато он и девок присылает.

— Девок — правильно. Девки здесь нужны. А эти!.. — Пашка загорячился самым серьезным образом. — А без этих мы сами как-нибудь обошлись бы. А что, не так?

Заиграла музыка. С Майей пошел танцевать парень-учитель. Пашка не мог спокойно смотреть на это.

— Пойдем покурим, — сказал он.

Вышли в фойе, закурили. Стояли и смотрели на танцующих через дверь. Иван заметил, как проходившие мимо двери девушки оглядывают его оценивающими взглядами.

«Мария всех бы тут заслонила», — подумал Иван, и опять в душу въелось сомнение. Подумалось, что не мужа ищет и ждет Мария, не любви, а чего-то другого, черт ее знает чего.

— Ерунда, — сказал Пашка. — Если враг не сдается, его уничтожают. Это я тебе как танкист говорю.

— Нет, плохо твое дело. Ты видишь, как он на нее смотрит?

— Ну и что? Пусть пока посмотрит.

— Пока посмотрит, а там глядишь, комсомольская свадьба.

Пашка взглянул на брата и ничего не сказал: он сам чуял немалую опасность со стороны этого парня-учителя.

Танец кончился.

— Пойдем, — сказал Иван, — не зевай, главное.

Вошли в зал.

С ходу заиграла музыка. Объявили:

— Дамский танец!

Пашка пошел было в ту сторону зала, где сидела Майя, но она сама шла к ним.

— У меня будет беспартийная свадьба! — гордо сказал Пашка, возвращаясь на место. — Сама идет.

Но Майя шла не к нему, а к Ивану.

— Пойдемте, я вас приглашаю!

— Но я же...

— Ничего, надо учиться. Пойдемте, пойдемте. Это вальс, очень просто.

Иван положил тяжелую руку на ее беленькое полуголое плечико... Майя сняла ее, взяла в свою руку.

— А правой поддерживайте меня слегка за талию, — велела она. — Так. Теперь пошли... Раз! Делайте, как я. Раз... два...

Пошли с грехом пополам.

— Вот и получается! — Майя была довольна.

«Пашка сейчас рвет и мечет», — думал Иван.

— Охота вам возиться со мной. Павел-то хорошо ведь танцует.

— Он действительно ваш брат?

— Да.

— Он очень смешной. Он говорит, что влюбился в меня, — Майя засмеялась.

Иван серьезно смотрел на нее. А сам думал: «Вот первая ошибка Пашкина — сразу про любовь начинает».

— А что тут смешного? — спросил он.

— Ну как же!.. Первый раз видит и сразу — влюблен.

— Бывает и так.

— С вами так бывало?

«Выпила она, что ли!», — недоумевал Иван. Уж очень смело, свободно держит себя. Учительница все-таки...

— Бывало сколько раз.

— Да? А вы женаты?

— Женат, — соврал Иван. Девушка его не интересовала. Даже неудобно стало, что он таскается с ней по залу — на смех людям. — Все, — сказал он, — натанцевался. Голова закружилась.

— Ну-у, такой большой, а голова закружилась.

Иван подвел ее к Пашке.

— Выручай, браток, я не могу больше.

Пашка взял Майю и умчал ее на середину зала.

Иван вышел на улицу и широким решительным шагом направился к Родионовым. После того как он подержал в руках чужую, ненужную ему женщину, в нем пробудилось вдруг неодолимое желание взять так же бережно в руки любимую, желанную. Пока шел, выдумывал способ, как вызвать Марию на улицу. Решил так: написать записку и сунуть ей незаметно. А к Родионову у него есть дело: спросить насчет завтра, когда подавать машину.

Остановился у столба, под электрической лампочкой, написал на клочке бумаги химическим карандашом: «Выйди. Надо сказать пару слов».

Все Родионовы были дома. Мария слушала музыку в своей комнате. Кузьма Николаевич сидел в прихожей на корточках — чинил примус, хозяйка кроила на столе в другой комнате материю.

— Здравствуйте, — сказал Иван, увидел через дверь Марию, и у него екнуло сердце.

Родионов поднялся.

— Я на минуту, — сказал Иван, проходя в комнату Марии. — Я хотел спросить: когда завтра выезжаем? — Получилось так, что он прошел в комнату впереди секретаря.

— Завтра никуда не поедем, — ответил Родионов. — Садись. Иван остановился около Марии, заслонил ее собой от Родионова, бросил на колени ей бумажный комочек — записку. И отвернулся. Он не видел, взяла ли она его, почувствовал, что взяла. На сердце стало немного веселее.

— Не едем, значит?

— Нет. Садись.

— Да я на минутку... хотел спросить только.

— Садись! Чаю попьем сейчас, — настаивал Родионов, но Иван уперся на своем.

— Нет, пойду. Спасибо большое.

— Ну-у, елки зеленые!.. — Кузьма Николаевич был огорчен. — Чего так?

— Да надо идти, — Ивану не терпелось уйти. Не терпелось скорей начать ждать. Что, если выйдет? Почему-то не верилось, что Мария выйдет. Неужели выйдет?

Попрощавшись, он вышел на улицу облегченно вздохнул... Отошел к воротам, прислонился к столбу, закурил. «Заварил кашу», — подумал.

Ждать пришлось долго. Иван решил уже, что Мария не выйдет, но отойти от столба не было сил. Стоял, материл себя.

Вдруг сеничная дверь скрипнула; кто-то вышел на крыльцо, остановился... Иван отделился от столба, кашлянул... Мария — это была она — спустилась с крыльца, подошла к нему.

— Ну?

Белело в темноте ее холеное крупное лицо, блестели веселые холодные глаза.

— Сейчас скажу... — охрипшим голосом проговорил Иван — он струсил. — Нравишься ты мне.

Мария усмехнулась. Некоторое время молчала, потом спросила:

— Все?

— А чего еще?

— Можно идти?

Иван растерялся... Долго молчал.

— Что ты из себя строишь вообще-то? — спросил он, желая казаться спокойным. — Ты можешь объяснить?

Мария засмеялась. Смеялась негромко, весело, в нос. Иван пошел прочь от нее. Стало невыносимо тяжко и стыдно. Шагал, матерился шепотом и думал: «Ну ладно. Это вы над Любавиными смеетесь?». Вспомнилось почему-то, как смеялась в клубе над Пашкой веселая девушка Майя.

«Ладно».

Петр Ивлев рано задумался о своей судьбе. Парень он был неглупый. Он знал это. И решил во что бы ни стало выйти в люди.

Детство выпало трудное. Он рос у тетки в деревне, под Барнаулом. Жили материально туго, частенько голодали. С грехом пополам окончил он десятилетку (учился хорошо, но учиться не любил), пошел было в институт (сельскохозяйственного машиностроения), но путь этот показался ему не самым верным. Ушел с первого курса в военное училище и через четыре года, не слишком изнурительных, вышел из него бравым лейтенантом. И с удовольствием отметил, что многое с этого времени в жизни стало проще, доступнее, ярче. Он был хороший офицер: подтянутый, исполнительный, в меру строгий, в меру снисходительный. Он как-то очень точно определил для себя эту меру. Вообще, понял, что здесь он пойдет далеко — впереди маячила военная академия. Его хвалили и начальники и подчиненные. Не любили (когда любят, редко хвалят) — хвалили. Хвалили и тут же забывали. Ивлева это не смущало. Он не лез ни к кому в друзья, не завидовал товарищам, даже тем, у кого «наверху» была «своя рука», которая при случае могла крепко поддержать. Он понимал: это — недолговечно, то есть гораздо надежнее в жизни то, что сделано при помощи своей головы.

Вступил в партию. В автобиографии писал, что его отец, Ивлев Емельян Иванович умер в 1933 году, мать жива,

пенсионерка, живет в деревне под Барнаулом. Он врал. Отец и мать его были посажены в 1933 году органами ОГПУ и, очевидно, расстреляны, как враги народа. Тетка, сестра матери, усыновила его, когда ему не было двух лет. Муж тетки, Ивлев Емельян Иванович, действительно помер в том же 1933 году. И Петр действительно считал его своим отцом, а тетку — матерью, и все так считали, потому что она, когда переехала после смерти мужа из города в деревню, сказала, что это ее сын. Только в девятом классе Петр узнал обо всем. Из-за чего-то крепко поругались с теткой, и у той сгоряча сорвалось: «Вместо того, чтобы быть благодарным...». И выболтала.

Три дня Петр ходил сам не свой, не зная, как думать теперь о тетке, о Советской власти, о жизни вообще. Добрая тетя потом уж делала все, чтобы успокоить его. Она же, желая добра ему, советовала помалкивать о том, что родители его репрессированы, говорила, что никто никогда в жизни не узнает правду, потому что все документы (даже свидетельство о рождении) у него «в порядке». Впервые узнал он тогда, что он вовсе не Ивлев, а Докучаев, и не Емельянович, а Степанович. На вопрос его: за что посадили отца и мать? — тетка ответила: «Не знаю». Сказала только, что они были хорошие люди. Отец был партийным работником, мать тоже. И все. Она могла тогда сделать больше: могла отдать Петру письмо его отца, которое тот написал для сына незадолго до ареста. Он написал его втайне от жены и упросил свояченицу сохранить и передать сыну, когда тот вырастет. Он ждал беду, и она грянула.

Письмо тетя сохранила, но отдать тогда не решилась.

Петр Ивлев продолжал оставаться Ивлевым.

Испытывал ли он угрызения совести, когда вступал в партию и скрывал правду об отце и матери? Нет. Его заботило только: достаточно ли надежно укрыта его тайна. Не осталось ли что-нибудь в этом деле непродуманным. Все было в порядке.

И вот погожими летними днями ехал лейтенант Ивлев к себе на родину в отпуск. Четыре года не был он дома и радовался всему. Ехал поездом, валялся целыми днями на мягком диване, читал журналы, ходил раз пять на день в вагон-ресторан, норовил сесть за один столик с немолодой уже, но очень красивой женщиной, но всякий раз с ней рядом оказывался длинный худой парень в огромных очках. Ивлев снисходительно и нагловато посматривал в их сторо-

ну и сдержанно улыбался. Юношу в очках он мысленно назвал: «хилый аспирант». Женщина ему нравилась, но он не подходил к ней. Он хотел, чтобы она сама поняла, что юноша в очках в данном случае — лишний человек, и пришла бы в ресторан одна. Женщина продолжала появляться в вагоне-ресторане с «хилым аспирантом», хотя не раз и не два перехватывала выразительные взгляды Ивлева.

«Не хочет рисковать», — понял он женщину.

Он любил сидеть у окна за столиком, пить маленькими глотками хорошее вино и смотреть на проплывающие мимо деревеньки, села, поля, леса, перелески... Есть в этом неизъяснимое наслаждение. Рождается чувство некой прочности на земле всего существующего. Особенно, когда там, откуда едешь, все осталось в хорошем состоянии — и дела, и отношения с людьми; и когда там, куда едешь, тоже должно быть все хорошо. Ивлев не знал, как он проведет отпуск, знал только, что все должно быть хорошо.

Тетка обрадовалась племяннику... Заплакала. Она стала уже старенькой. Захлопотала, забегала, собрала на стол... Стали подходить друзья Ивлева с женами. Стало шумно и весело в тихом домике Ивлевых. Выпили, пели старинные сибирские песни, пели новые песни, танцевали, плясали... Разошлись поздно ночью.

Петр сходил на речку, вымылся холодной водой до пояса; выпить за вечер пришлось много — тошнило.

Потом сидели с тетей, беседовали. Петр рассказывал о своей жизни, о своих успехах, не скрывал, что доволен этими успехами... Сказал, что вступил в партию. И тут тете пришло в голову отдать ему письмо отца. Достала из недр огромного сундука тряпицу долго разворачивала ее... Наконец подала Петру толстый конверт с сургучной печатью.

— Что это?

— Это, Петя... пишет тебе отец.

Петр не сразу понял.

— Как?..

— Он просил, когда ты вырастешь, передать тебе это письмо.

Петр ушел в горницу, сел к столу... Долго сидел, никак не мог решиться разорвать конверт. Его трясло мелкой нервной дрожью. Встал, походил по горнице, выпил воды — дрожь не унималась. Он вышел в прихожую, попросил у тети стакан водки. Тетя налила ему, он выпил.

— Не читал еще?

— Сейчас прочитаю.

Пожелтевший конверт лежал на столе, и исходила от него какая-то цепенящая некончающаяся сила. Об отце не думалось, но было ощущение, как будто кто невидимый — не отец — присутствует в комнате, и от этого делалось не по себе.

Водка придала храбрости. Петр сел опять к столу, разорвал конверт... Три больших листа исписаны крупным разборчивым почерком с наклоном влево. Петр, перескакивая через слова и снова возвращаясь, стал глотать строку за строкой.

«Дорогой и любимый сын Петр!

Пишу тебе, малость тороплюсь, а сказать надо много. Я не довел тебя, сынок, до настоящего дела. Ты у меня только еще начинаешь ходить, а надо сказать тебе очень серьезные вещи, и поэтому у меня двоится в голове. Но когда ты это будешь читать, тебе, наверно, будет столько же лет, сколько мне сейчас. А, может, даже больше. И поэтому я говорю с тобой, как с большим мужиком. Нас с матерью, наверно, посадят, и я не знаю, как дальше обернется дело. Все может быть. Но как бы там ни случилось, вот тебе мой отцовский наказ:

Никогда в жизни не вешай голову и не трусь.

Не стыдись, что у тебя отец с матерью сели за такое позорное дело — нам приписывают, что мы вредим Советской власти, срываем коллективизацию. Это неправда. Просто завелась тут одна зараза, гнида, которая ничего не понимает в крестьянских делах, и она может сделать поганое дело. Но не думай, что мы сдались так просто. Мать у тебя молодец, знай это всю жизнь. Так что смотри людям в глаза и не думай про нас худого. Мы мечтали с матерью, что ты будешь большим человеком, ученым. Я уверен, что так и будет. А главное — не унывай и живи всегда честно. Нас помни. Когда будет своя семья, будь хорошим отцом и мужем.

И еще раз тебя прошу: никогда не трусь и не унывай. Мы это горе переживем как-нибудь. Жизнь на этом, конечно, не остановится. Не ищи только, кому за нас отомстить. Злым не надо быть. А зараза эта, про которую я говорю, скоро сама сгинет. Плохо, что она есть. Это идет от нашей же глупости и неопытности. Скоро в этом разберутся. Так что живи спокойно, сынок, учись. Я лично хотел бы, чтобы ты стал ученым в области астрономии. Я сам когда-то мечтал об этом, но у

нас сейчас другое время. А мать хочет, чтобы ты стал врачом. Но это ты сам посмотришь, когда вырастешь.

Про нас подробнее тебе расскажет тетя твоя.

Ну, сын, всего тебе хорошего. Здоровья хорошего, ума покрепче, счастья вообще, как говорят. Не забывай нас. Будет сын, назови Степаном. А дочь — Ниной, по матери.

Степан Докучаев».

Голова Петра горела огнем, в глазах двоилось от слез, губы прыгали. Он не чувствовал, что кусает их до крови. Он встал и, шатаясь, вышел на улицу. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не слышал, как за ним шла тетя и звала в дом... Привалился в ограде к плетню, заплакал в голос. Плакал, колотился головой о плетень, бормотал что-то неразборчиво... Тетя стояла рядом, тоже плакала и тихонько говорила:

— Петя, сынок, что же сделаешь?.. Что же теперь сделаешь? Перестань, сынок, люди услышат, перестань. Их теперь не вернешь...

Петр помаленьку успокоился, пошел опять на речку умылся. Домой вернулся с готовым решением: завтра ехать в часть.

Насколько радостной и бездумной была дорога домой, настолько мучительной она была из дома.

Из Новосибирска Петр полетел самолетом. Смотрел сверху на землю, видел крошечные домики, аккуратные квадратики полей, огородов, видел узенькие ленточки дорог, речушки... Все было игрушечно-маленьким. И это как нельзя более подходило к его состоянию. Где-то среди этих маленьких домиков, думал он, по извилистым дорожкам может ходить человечек и думать о себе, что он — пуп земли, что он все может. Смешно. Жизнь представлялась теперь запутанной, сложной — нагромождение случайных обстоятельств. И судьба человеческая — тоненькая ниточка, протянутая сквозь этот хаос различных непредвиденных обстоятельств. Где уверенность, что какое-нибудь из этих грубых обстоятельств не коснется острым углом этой ниточки и не оборвет ее в самый неподходящий момент?

Много всякого передумал Ивлев, пока летел.

Он не знал, что будет с его жизнью дальше, но он знал, что она не будет такой, какой началась. Сейчас самому

омерзительными казались недавние мечты и помыслы. Ведь как мечталось!.. Вот он в тридцать пять лет — генерал-майор (за какие заслуги — неизвестно, не в этом дело). Приезжает в Москву, приходит в театр. Все оглядываются на него, все удивлены: какой молодой, а уже генерал! А он, хоть и генерал, а ужасно простой. Нашел свое место, сел, приготовился смотреть спектакль. Рядом — молодая красивая женщина с мужем. Муж — пожилой полковник.

Вообще думалось до этого очень просто: есть жизнь — что-то вроде высокой унылой стены, за стеной — сад, солнце, музыка, беззаботные женщины.

Приехав в часть, Ивлев пошел первым делом в партком и все рассказал: что отец его и мать — враги народа. Ему предложили подать по начальству рапорт с просьбой уволить его из рядов Советской Армии, как человека, недостойного носить высокое звание советского офицера. Он подал рапорт. Просьбу удовлетворили.

Потом было партсобрание. Большинство голосов — исключить. Исключили.

Ивлев попрощался с товарищами и... вышел из части гражданским человеком. Двадцати пяти лет от роду, без друзей, без специальности, с одним только злым, упорным желанием начать жизнь сначала.

На улице догнал его рассудительный капитан и сочувственно заговорил:

— Дурак ты, слушай. Никто же не знал.

— Пошел ты к...! — оборвал Ивлев и выругался матерно.

Ивлев устроился на завод учеником слесаря в том же городе, где служил. Тетке не сказал, что ушел из армии, деньги по-прежнему аккуратно высылал ей, правда меньше. В отпуск скоро не обещался.

Началась другая жизнь. Подтянутости и собранности армейской Ивлев не утратил, только похудел и в глазах погас неприятный блеск раннего самодовольства. Глаза стали задумчивыми. С новыми людьми сходился трудно, больше молчал. Был справедлив, даже резок.

Он ожидал, что теперь начнутся невероятные трудности, которые он стойко будет переносить. Никаких особенных трудностей не было. Правда, деньжонок стало значительно

меньше в кармане, пришлось основательно поужаться, но и только. В общежитии он не стал жить, снял у одной хорошей женщины небольшую комнатку, натащил туда книг, читал, курил беспрерывно, чем очень огорчал хозяйку. Работа на заводе не утомляла почти. Времени свободного достаточно. Ивлев соображал, осматривался.

Прошло не так уж много времени. Он не без удивления стал замечать, что к нему с уважением относятся самые разные люди — от богомольной хозяйки до заводских «выпивох». Это насторожило. Ивлев знал за собой одно такое качество: мог легко понравиться, когда хотел этого. Он раньше знал точно: когда после его ухода говорят «хороший парень», а когда не говорят. Причем, когда говорили «хороший парень», это не радовало. Значит, дальше надо напрягаться и поддерживать в людях это мнение о себе. А поддерживать приходилось в основном болтовней и притворством. Он притворялся, что ему хорошо в обществе тех или иных людей, смеялся, когда не хотелось, внимательно слушал, когда заранее было известно, чем кончится рассказ. Причем, делалось это зачастую без всякой цели — просто трусил быть самим собой. Скажи кому-нибудь, что его скучно слушать — обидится. Помолчи с какой-нибудь вечер, другой, скажет: дурак. И приходилось изощряться. Впрочем, и искусство-то не ахти какое, но утомительное. Начав другую жизнь, Ивлев первым делом решил быть самим собой, во что бы то ни стало, в любых обстоятельствах. И стал. И заметил, что люди за что-то начинают уважать его. Он перебрал в памяти все, что он делал и говорил, и не нашел, чтобы он последнее время угождал кому-нибудь, поддакивал, говорил, когда не хотелось, или молчал, когда хотелось сказать. Это открытие радовало — так было легче жить.

Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабочими послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку.

Деревня, куда приехали, большая. Помощников понаехало много — рабочие, студенты, служащие... Половина — лоботрясничали, жгли на полях костры, дурачились.

Вечерами в деревне было шумно. Возле клуба выставляли радиолу и до глубокой ночи танцевали. А вечера стояли хорошие — тихие, теплые. С неба срывались звезды и, прожив мгновенную яркую жизнь, умирали.

Ивлев сидел вечерами на крыльце (он жил возле самого клуба, у колхозного бригадира), курил, слушал радиолу, женский смех... И было как-то тяжко на душе. Бродила в крови беспокойная сила, томила.

Один раз, в субботу, засиделся он так до самого утра. Накурился до тошноты, пошел на край деревни, к озеру. Сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается ярким огнем ветхая заброшенная церквушка. Оттого ли, что церковка отражалась в синей воде особенно чисто, оттого ли, что горела она в то утро каким-то особенным — горячим рубиновым огнем — и было тихо кругом — отчего-то защемило сердце. Ивлев лег на землю лицом вниз, вцепился в траву и заскрипел зубами. Подумалось вдруг о боге. И каким-то странным образом: что человек, особенно женщина, лучше бога...

На другой день он опять пошел на озеро — смотреть, как горит церквуха на закате солнца. И встретил на улице Марию Родионову. И остолбенел: такой красивой девки ему еще не случалось видеть. Пошел за ней... Мария оглянулась.

— Здравствуй, — сказал Ивлев.

— Здравствуйте, — она остановилась.

Ивлев ласково улыбнулся — его немножко пугала красота женщины. И удивляла.

— Вы что, обознались? — спросила она.

— Нет, — Ивлев не знал, что говорить. Стоял, смотрел на нее.

У Марии насмешливо дрогнули губы; она повернулась и пошла прочь.

«Вот это да!», — подумал Ивлев.

В тот же вечер он увидел Марию еще раз — возле клуба.

Она стояла в кругу девушек-студенток. Рядом толпились парни.

Ивлев пошел прямо к ней.

— Отойдем в сторонку, — сказал он.

Мария не удивилась, улыбнулась ему как знакомому.

— Зачем?

— Мне надо сказать пару слов... — у Ивлева от волнения перехватило горло — последние слова он пискнул: «Пару слов».

Мария открыто, громко засмеялась. Засмеялись и все стоявшие поблизости. У Ивлева от стыда и злости свело затылок. Он тоже через силу улыбнулся и, сам не понимая,

что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взял девушку за руку и хотел силой отвести.

Мария вывернула руку... И тут — как из-под земли вырос — появился чернявый парень, броско красивый тонкой южной красотой — не то армянин, не то азербайджанец.

— Одну минутку, — сказал он. — В чем тут дело?

Мария улыбалась и с любопытством смотрела на Ивлева. Молчала.

Чернявый ловко оттер Ивлева плечом в сторонку, взял за локоть и, немножко рисуясь, сказал:

— Здесь вам делать нечего. Вы меня поняли?

В глазах Ивлева стояла красивая Мария.

— Нет, не понял, — сказал он.

Чернявый вежливо улыбнулся — он хотел казаться страшным.

— Объяснить?

— Попробуй.

Чернявый оглянулся для пущей важности, взял Ивлева за грудки.

— Тебе что, собственно, надо?

Ивлев хотел оторвать от себя руку, но она точно приросла — парень был цепкий.

— Отпусти, дурачок, — спокойно сказал Ивлев, — все равно ты потерял эту девку. Успокойся.

— Да? — парень сильно рванул его в сторону, отпустил и дал пинка под зад.

— Бежи отсюда! Чтобы я тебя больше не видел!

Ивлев вернулся. Драться не хотелось — злости не было. В глазах стояла насмешливая Мария. Почему-то именно в этот момент он поверил, что она будет его.

— Отойдем дальше, я тебе все объясню, — сказал он чернявому.

Чернявый стал в боксерскую стойку, больно ткнул Ивлева в грудь. Ивлев, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта... Чернявый все пытался боксировать, прыгал, делал обманные движения, но схватывал гораздо чаще, чем Ивлев. Их разняли. Чернявый успел разорвать Ивлеву новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз.

Ивлев сразу же, как только их разняли, ушел домой, умылся, надел другую рубаху... И пошел опять к клубу. И опять подошел к Марии.

— Меня Петром зовут, — сказал он. — А тебя как?

У Марии радостно заблестели глаза. Ей начинала нравиться эта скандальная история.

— Зовуткой, — откликнулась она.

— Отойдем в сторонку, — Ивлев сам не ожидал от себя такой нахрапистости. Все в нем больно и сладко ныло; как будто все нерастраченное тепло двадцати пяти прожитых весен выплеснулось из тайников души, ударило в голову. Он ошалел.

— Мне здесь хорошо.

— Не пойдешь?

— Нет.

Ивлев хотел улыбнуться разбитыми губами — не получилось: не хотелось улыбаться.

— А почему? — спросил он.

— Что?

— Пойдем!.. Чего ты боишься-то?

— Ты сам-то не боишься?

— Нет.

— А тебе не кажется, что ты нахально действуешь?

— Нет, что ты!

— А мне кажется.

— Перестань... Вообще, успокойся... — Ивлев плел черт-те что, только бы не молчать — почему-то боялся замолчать. — Я тебе сейчас все объясню... Пойдем?

— Ты что, дурак, что ли?

— Халда, — негромко сказал Ивлев. Он обозлился вдруг.

Мария смерила глазами поджарую фигуру Ивлева, презрительно усмехнулась.

— Между прочим, за халду придется ответить.

— Дура ты породистая... — Ивлева трясло. — Я ж тебе говорю: пойдем со мной!

Мария отошла от него.

Через минуту к нему подлетел чернявый.

— Я ее провожаю сегодня домой, — решительно заявил Ивлев. — Понял? Отойди, а то я тебе второй глаз закрою, — теперь Ивлев готов был драться по-настоящему.

Чернявый задохнулся от возмущения. Некоторое время молчал.

— Ты что? — спросил он.

— Ничего. Иди сюда! — Ивлев пошел за клуб, в темноту, чернявый — за ним. Дрожь у Ивлева прекратилась, он успокоился: начиналось представление покрупнее.

Он слышал, что сзади, вместе с чернявым, идут еще двое или трое.

Шли долго — уходили от света. Ивлев шагал впереди, не разбирая дороги... Перелезли через прясло в чей-то огород, пошли по грядкам, громко шуршали картофельной ботвой...

— Ударишь сзади — изувечу насмерть, — предупредил Ивлев чернявого.

— Иди, иди, — с дрожью в голосе сказал чернявый и подтолкнул его в спину.

Неожиданно тишину ночи просверлил громкий милицейский свисток: их догоняли.

Остановились.

— Милиция, — сказал один из парней, следовавших сзади. — Все.

— Моли бога, — сказал чернявый Ивлеву.

Подошел милиционер.

— Кончайте эту канитель. Давайте, давайте... Давайте разойдемся.

Чернявый и два его друга ушли.

Ивлев закурил с милиционером (милиционер был молодой парень).

— Влюбился, что ли? — спросил он.

— Влюбился, — просто сказал Ивлев.

— Нда-а... Интересное дело, между прочим: когда влюбляются, малость дураками делаются. Я по себе знаю... — шли по улице, направляясь к клубу. — Я, значит, когда влюбился, — а она за рекой жила, жена-то моя теперь, — так я ночью к ней через реку на руках плавал. Опасно, все-таки, — ночь, а вода у нас в реке холодная, сведет судорогой — хоть закричись тогда. Нет — плыл!

— Она где живет, не знаешь? — спросил Ивлев.

— Кто?

— Эта девушка-то... ну, эта...

— Она — там, — неопределенно сказал словоохотливый милиционер. Помолчал немного и добавил с искренним участием: — Мой тебе совет: отстань от нее.

— Почему?

— По-моему... черт ее знает, конечно, но по-моему, она того... Я уж со вторым ее замечаю. До этого черненького еще один был. Тот здоровый. Уехал чего-то. Может, из-за нее. Но красивая!.. Это ж надо такой уродиться. Измучаешься с такой. Пойди с ней куда-нибудь — вся душа изболит: на нее же оглядываются все... Нервы надо железные.

Ивлев глубоко затягивался папироской.

— А она откуда?

— Из служащих. У нас тут приехали из двух городов. Зря так делают, между прочим: из разных городов везут. Так порядка никогда не будет.

— А где она живет-то?

— Там... у Сосниной старухи. Возле магазина. Но ты не ходи туда сегодня, а то мне и так позавчера выговор всучили.

— Нет, я просто так спросил.

У клуба уже никого почти не было — разошлись.

Ивлев попрощался с милиционером и пошел к своему дому. Отошел метров двадцать, подождал, когда милиционер завернет за угол, и пошел скорым шагом к магазину. Шел и думал: «Что со мной делается?». Он хотел еще раз увидеть Марию. Зачем? — непонятно. Надежды, что она оставит чернявого и пойдет с ним, не было. Было одно тупое упорное желание видеть ее и все.

И вдруг встретились.

Чернявый шел в обнимку с Марией и что-то негромко и торопливо рассказывал ей. Мария молчала.

Ивлев первый узнал их — по голосу чернявого. Загородил им дорогу. Мария почему-то испуганно вскрикнула, узнав Ивлева, а ее кавалер ошалело уставился на своего недруга. Ивлев глупо улыбнулся.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал он Марии.

Мария молча обошла его и стала быстро удаляться по улице. Чернявый не знал, что делать: догонять ее или оставаться с Ивлевым выяснять отношения.

Ивлев пошел за Марией.

— Одну минуту!.. Подожди! — он не знал даже, как зовут девушку.

Чернявый догнал его и ударил сзади по уху. Ивлев развернулся, чтобы ответить, но тот отскочил: его покинула уверенность. Ивлев на ходу вывернул из плетня кол и ускорил шаг, догоняя Марию. Чернявый некоторое время шел сзади, потом отстал.

У Ивлева радостно колотилось сердце. Впереди, совсем близко, мелькала белая кофточка Марии, и никакие силы теперь не могли заставить его свернуть с прямого пути к ней.

Мария шла быстро.

Ивлев пробежал немного, догнал ее.

— Подожди!.. не бойся ты меня, глупенькая.

— Чего тебе надо? — Мария сбавила шаг.

— Слушай... — Ивлев взял ее за руку и понял, что он всю жизнь ждал вот этой минуты. — Ты почему не хочешь поговорить со мной?

Мария молчала. Руку не отняла.

— А?

— Тебя ведь изобьют сейчас, — сказала она.

— Ничего.

— Они же бешеные, они могут...

— Я сам бешеный.

— Странный ты человек, все-таки. Непонятный.

— Влюбился!.. Чего же тут непонятного? — сказал Ивлев.

— А халдой давеча назвал...

— Не в этом дело. Замуж пойдешь за меня?

— Ох!.. — Мария искренне, негромко засмеялась. — Ты прости меня, но у тебя действительно не все дома.

— Почему?

— Это уж... я не знаю.

«Пойдет, — подумал Ивлев. — Пойдет».

Сзади раздался топот нескольких пар ног: их догоняли.

— Беги! — негромко сказала Мария.

Ивлев обнял ее, хотел поцеловать. Она вывернулась и побежала по улице. Ивлев обернулся...

Первым бежал чернявый. Сошлись сразу, молча. С чернявым было еще двое. У всех колья.

Удары звучали мягко, тупо. Сопели, кхэкали, негромко матерились... Ивлев вьюном крутился меж трех кольев. Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще доставалось чернявому, потому что тот пер напролом. И не заметил Ивлев, кто из трех изловчился и тяпнул его по голове. В глазах лопнул и рассыпался искрами огненный шар... Ивлев враз оглох, выронил кол и, схватившись за голову, стал потихоньку садиться на дорогу. Его оттащили к плетню и ушли, сморкаясь сукровицей и отхаркиваясь.

Очнулся Ивлев глубокой ночью. Долго припоминал, где он, и что произошло. В груди, он чувствовал, затаилась какая-то смутная, сильная радость... И вдруг все вспомнилось — вспомнил, как он держал Марию за руку и как она негромко смеялась. Радость в груди встрепенулась, возликовала. Ивлев с трудом приподнялся, привалился спиной к плетню... и заплакал. От слабости и от счастья. Голову раскалывала страшная боль. Даже тошнило от боли. А плакалось сладко, как редко плачется, — когда здорово обидят, но ничего этим не докажут.

Вдруг — он, скорее почувствовал, чем увидел и услышал, — невдалеке показалась знакомая белая кофточка. Мария осторожно шла вдоль плетня, Ивлева не видела.

Ивлев притаился. И в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он, как в минуту серьезной опасности, вспомнил разом всю свою недолгую странную жизнь, путаницу дорог, искания свои — все. И подумал: «Хватит, теперь успокоюсь».

— Я здесь, — сказал он.

Мария вздрогнула, взялась за сердце.

— Ох!.. Ты?

— Я. Иди сядь со мной.

— Избили, — в голосе Марии была неподдельная скорбь. Она села рядом с Ивлевым, теплая, родная. — Говорила ведь тебе... не послушал.

— Ничего. Мы завтра уедем отсюда.

Мария пристально вгляделась в него.

— А? — спросил Ивлев.

— Хорошо, — она бережно обняла его, погладила ладошкой избитую голову. Светлеющий мир качнулся в глазах Ивлева и поплыл, увлекая его в неведомую новую жизнь...

На другой день они уехали из деревни.

И началась эта новая жизнь.

Ивлев переехал в город, где работала Мария, (она работала секретаршей в каком-то учреждении, хотя окончила институт — физкультурный. Ни то, ни другое не нравилось Ивлеву.) Сам он устроился работать на стройке, в бригаду слесарей-монтажников.

Сняли на краю города полдома... И пошли кривляться неопрятные, грязные, бессмысленные дни. Точно злой ветер подхватил Ивлева и потащил по земле. Летела в голову какая-то гадость, мусор... Какие-то лица улыбались, кто-то нетрезво взвизгивал...

Кого только не видел Ивлев в своей квартире! Какие-то непонятные молодые люди с обсосанными лицами, с жиденьким, нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных юбках... Обычно девицы садились с ногами на диван и мучили Ивлева тупыми белыми коленками. И в мыслях и в словах девиц сквозили все те же белые, круглые, тупые коленки. Приходили какие-то полуграмотные дяди с красными лицами, похохатывали... Кажется, все они что-то где-то приворовывали, перепродавали — денег было много. Часто

пили дорогой коньяк, пели. Молодые были все модно одеты, пели заграничные песни, обсуждали заграничные фильмы, млели, слушая записи Ива Монтана. Краснорожие дяди в основном налегали на коньяк.

Глубоко русская душа Ивлева горько возмутилась. Между ним и этими людьми сразу завязалась нешуточная война.

Через пару недель грянула бестолковая, крикливая свадьба.

Много пили, смеялись, острили. Упившись, забыли иностранные песни и, потные, развинченные, взявшись за руки, пели хором:

Лиза, Лиза, Лизавета!
Я люблю тебя за это!
И за это, и за то —
Ламца-дрица-ом-ца-ца!..

Некто, с лицом красного шершавого сукна и с вылинявшими глазами, все время пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли:

— Нельзя. Нельзя, ты понял?

Одна пышногрудая девица переплясала трех пучеглазых парней, вышла на четвертого и свалилась с ног. Взрыв хохота, визг... А девица — лежит. Потом поняли: с девицей плохо. Вынесли на улицу, на свежий воздух.

То и дело то в одном углу, то в другом пытались драться.

Мария и в этой навозной хляби была на удивление красивой. Она распустила по плечам тяжелые волосы, засучила рукава кофточки и, улыбаясь, ходила такая среди гостей, дурачилась. Ей нравилась эта кутерьма. Сильная натура ее требовала большой работы, но не найдя ее, она спутала силу свою, оглушила. Когда она плясала, то так бессовестно и с таким искусством играла телом своим, что у юнцов-молокососов деревенели от напряжения лица. Ивлев в такие минуты особенно остро любил ее. И ненавидел.

Когда наплясались, когда вконец очумели и просто так орали за столом, один кряжистый дядя, по фамилии Шкуру-пий («шурупчик»; как называли его), пьяный меньше других, хитрый и жадный, очевидно, организатор подпольных махинаций, ласково глядя на Ивлева, — он не без оснований побаивался его, ибо этого прохиндея Ивлев ненавидел особенно люто, — застучал вилкой по графину.

— Ти-ха! Сичас жених споет! Просим!

Откуда он взял, что жених поет, непонятно.

На жениха, вообще-то, не обращали внимания, не замечали его. А тут посмотрели — действительно, сидит жених.

— Давай! Э-э!.. Жених споет! Урра-а!.. Хэх...

Кто-то не понял, в чем дело, и заорал:

— Горько-о!

Кто-то насмешливо продекламировал:

— Вот моя дяревня, вот мой дом родной...

— Да ти-ха! — опять закричал Шкурупий. — Просим жениха!

Когда заорали, Ивлев заметно побледнел и, стиснув зубы, сидел и смотрел на всех нехорошими, злыми глазами.

— Жени-их!.. — стонала своенравная свадьба.

Мария посмотрела на Ивлева, подошла к нему, положила на плечо горячую руку, сказала негромко и требовательно:

— Спой, Петя.

Человек с вылинявшими глазами пробрался к ним, облапал Ивлева сзади и, обдавая горячим перегаром, заговорил в ухо:

— Есенина знаешь? Спой Есенина, а! — и крикнул всем: — Сейчас Есенина, вы! — его не услышали.

Ивлев сшиб со своего плеча тяжелую руку краснолицего, встал и вышел на улицу.

Был тусклый вечер, задумчивый и теплый. Кропотливо, въедливо доделывала свое дело на земле осень. Это — двадцать шестая в жизни Петра Ивлева, самая нелепая и желанная.

Он ушел в дальний конец ограды, сел на бревно, уперся локтями в колени, склонил голову на руки, задумался... Собственно, дум никаких не было, была острая ненависть к людям, визг, суетню и топот которых он слышал даже здесь.

Из дома кто-то вышел... Ивлев вгляделся, узнал Марию, позвал:

— Маша!

Она подошла, присела на корточки перед ним.

— Ну, что?

— Этот бардак надо разогнать. Пусть догуляют сегодня и забудут сюда дорогу.

Мария не сразу ответила.

— Мне весело с ними, — нехотя сказала она.

— Неправда, ты просто от скуки бесишься.

Мария опять долго молчала.

— С тобой-то не веселее, Петя.

Ивлева передернуло от ее слов, он пытливо уставился ей в глаза.

— Серьезно, что ли?

— Серьезно.

— Тэкс... — он не знал, что говорить. Решил быть тоже спокойным. — И сколько же мы с тобой прожили?

— Две недели.

— С месяц протянем или нет, как думаешь?

— Не знаю.

Ивлева слегка начало трясти, хмель вылетел из головы — спокойствие Марии было неподдельное, страшное.

— Ты что говоришь-то? Ты думаешь?

Мария вздохнула, уронила голову ему на колени, сказала, как говорят глубоко прочувствованное, пережитое:

— Опротивело мне все. И никого я не люблю, и ничего не хочу... На всё наплевать.

Ивлев растерялся.

— Выпила ты лишнего. Я сейчас пойду выгоню всех, а ты ляжь...

— Не в этом дело... Я устала.

«От чего? — изумился про себя Ивлев, но сказать это вслух не решился. И подумал про тех, в доме: — Довели, сволочи, закружили».

— Побудь здесь, я сейчас приду.

— Куда ты?

— У меня спичек нет. Пойду прикурю.

Мария села на бревно, склонилась, как Ивлев, на колени...

Ивлев вошел в дом, оставил дверь распахнутой.

— Так! — громко обратился он ко всем, — собирайте шмотки и вытряхивайтесь отсюда. Немедленно!

Те, кто услышал это, остановились, замолчали, с любопытством смотрели на него. Большинство не слышало приказа.

— Я кому сказал?!! — заорал Ивлев. — Уходите отсюда! И больше чтобы ни одна скотина не появлялась в этом доме.

Теперь его слушали все. Прямо перед ним стоял без пиджака краснолицый дядя с вылинявшими глазами. Он первый заговорил:

— Ты на кого это орешь? — спросил он довольно трезво. — А? Вошь, ты на кого орешь? Ты чье сегодня жрал-пил? А?

— Кирилл! — предостерегающе сказал Шкурупий.

Кирилл двинулся на Ивлева.

— Ты на кого это, сопля, голос возвысил? Ты...

Ивлев, не дожидаясь, когда набычившийся Кирилл кинется на него, сам выступил вперед, хлестко и точно дал ему в челюсть. Кирилл, взмахнув руками, мешком стал падать назад. Его подхватили. И сразу, как по команде, на Ивлева бросились четыре человека — так дружно бросаются на постороннего, на лишнего в чужом пиру. Ивлев отпрыгнул в сторону, к кровати, сорвал со стены ружье, взвел курки...

— Постреляю всех, гадов, — сказал он негромко.

Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Кирилл, очухавшись, попер на Ивлева. Его схватил сзади Шкурупий... Кирилл стал вырываться. Шкурупий отпустил его и, развернувшись, ахнул кулаком по морде. Кирилл опять мешком рухнул на пол.

— Пошли, действительно... Поздно уже, — спокойно сказал Шкурупий, глядя на Ивлева маленькими пронзительными глазами. — Спасибо, хозяин, за угощение.

«Этот припомнит мне», — подумал Ивлев.

Пока разбирались с одеждой, пока одевались, Ивлев стоял в сторонке с ружьем, сторожил движения парней. Гости одевались молча. Только кто-то хихикнул и сказал негромко:

— Весело было нам.

И тут вошла Мария. Остановилась на пороге, пораженная диковинной сценой. Смотрела на мужа, ничего не говорила, только побледнела. Потом тоже оделась и ушла вместе со всеми. Кирилла увели силой. Ивлев остался один.

Потянулась бесконечная ночь. Ивлев сперва ходил по комнате, мычал и думал: «Придешь, никуда не денешься. Подумаешь, — обидел сволочей».

Потом стало невмоготу. Сел к столу начал пить. Решил напиться и уснуть. Но сколько ни пил — не брало. Только на сердце становилось все тяжелее и тяжелее.

— О-о!.. — взвыл он, встал, опять начал ходить.

«Неужели совсем ушла? Неужели не придет?».

Взял ружье, заглянул в казенник — ружье было не заряжено. Он полез под кровать — там в старом чемоданишке лежали патроны. Для чего-то захотелось зарядить ружье. Достал патроны, зарядил оба ствола...

«Зачем?», — остановился посреди комнаты.

В сенях послышалась какая-то возня. Ивлева как током дернуло... Выскочил из комнаты — в сенях стояла та самая девица, с которой давеча стало плохо. Шарила руками по

стене — искала дверь. Ивлев прислонился спиной к косяку, смотрел на нее.

— Что? — спросила девица.

— Очухалась?

— А где все?

— Ушли. Крепко же ты нарезалась, милая.

Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете.

— Все ушли?

— Все, — Ивлев повесил ружье на стенку; тут только девица обратила внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно уставилась на него.

— Опохмелиться хочешь? — спросил Ивлев; ему стало немного легче. — Голова-то болит, небось?

— Ты что, стреляться хотел?

Ивлев, не отвечая, налил ей водки, себе тоже.

— Давай.

— Что-нибудь случилось?

— Нет.

— Драка была?

— Да нет, ну тя к дьяволу! Не знаю я ничего. Я тоже пьяный был.

Девица выпила, сморщилась, завертела головой... Ивлев сунул ей огурец, она оттолкнула его.

— Эхх... — Ивлев покачал головой. — Вот бить-то некому!

Девица села на стул, глубоко вздохнула и сказала облегченно:

— Лучше стало.

— Неужели не стыдно так жить? — спросил Ивлев серьезно. — Или тут уж про совесть говорить не приходится?

Девица посмотрела на него, как на стенку — безучастно.

— Ты думаешь, Мария тебя любит? — улыбнулась, губы толстые, чувственные, осоловелые глаза поражают усталостью и покорностью, щеки толстые — так и хочется нахлестать по ним. — Можешь не волноваться — не любит.

— Заразы вы!.. — с дрожью в голосе громко сказал Ивлев, сорвался с места и заходил по комнате. — Поганки вы на земле, вот кто! — остановился перед девицей. — Натянула шелк на себя! Дрыгать ногами научилась!.. — Ивлев побелел от ярости, но слов, убийственно точных, разящих слов не находил. Срывались оскорбительные, злые, пустые, в сущности, слова. — Ну что вот ты сидишь, пялишь глаза?! Что?.. Что ты поняла в жизни — жрать! Пить! Ложиться под кого попало!.. Сопли пускать на заграничных фильмах! Эх, вы... — он

сразу как-то устал — понял, что никому ничего не докажет: как смотрела она пустыми глазами на свет белый, так будет смотреть, не мигая, как берегла свою тучную глупость, так будет беречь и дальше — пока способна будет волновать пышной грудью и белыми коленками. Потом станет «умной», найдет терпеливого дурака и сядет ему на шею. — Будь моя воля, я бы вас загнал за Можай. Вы бы станцевали у меня.

Девица презрительно и спокойно смотрела на Ивлева.

— Марию не лапайте! — опять повысил голос Ивлев. — Она вам не чета. Я вас отучу от нее.

— Посмотрим.

— Посмотрим! Я вас каленым железом выжгу из города. Вы же воруете, гады, я же знаю. Эти мордастые воруют, а вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется.

— Сколько время сейчас? — холодно спросила девица.

— Не знаю. Утро, — Ивлев кивнул на окно.

— Мария с ними ушла?

Ивлев не ответил, взял свою водку, выпил. Напомнили о Марии, и у него опять заболела душа.

Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати свою шляпку... Остановилась на пороге, перед тем как выйти.

— Насчет этой лавочки... это доказать надо, а то...

— Что?

— Ничего! Нечего зря на людей говорить.

— А я и не говорю на людей, я на паразитов говорю.

— Вот так. А то быстро заткнут рот.

— Иди отсюда, выползай, — негромко, сквозь зубы сказал Ивлев.

Девица вышла.

...Мария пришла на другой день, к вечеру.

Ивлев прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжелый запах... Сидел у окна, положив подбородок на кулаки, смотрел на улицу — ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку; отпросился у бригадира еще на день, пришел и сел ждать.

Мария вошла тихонько... Вечер был теплый, дверь на улицу открыта — Ивлев не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Ивлев обернулся... С минуту, наверно, смотрели друг на друга.

— Ну? — спросил Ивлев.

— Что?

— Нагулялась? — он встал, подошел к жене, взял в руки ее голову, долго целовал в теплые, мягкие губы, в щеки, в глаза... Она стояла покорная, смотрела на мужа грустно, с любопытством.

— Где была-то?

— Там, — кивнула она. — Петя... ты никогда не разлюбишь меня? Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то.

— Ты устала просто. Это — психика, — авторитетно сказал Ивлев. — Надо отдохнуть.

— Как отдохнуть?

— Так, спокойно пожить, не дергаться.

— Спокойно — значит, скучно.

— Сядем потолкуем, — предложил Ивлев. — Ты есть хочешь?

— Нет, Петя, ты, наверно, хороший парень, тебе, наверно, нужна не такая жена...

— Перестань, что ты завела панихиду какую-то. Сядь, — Ивлев посадил жену на кровать, а сам стал ходить перед ней.

— Ты малость не так начала жить, — заговорил он уверенно. — Я тебя хорошо понимаю. Со мной бывают такие штуки: идешь где-нибудь — в лесу или в поле — и доходишь до такого места, где дорога твоя на две расходится. По какой идти? — неизвестно. А идти надо. И до того момент этот тяжелый — выбирать, по какой идти, — аж сердце заболит. И потом, когда уж идешь по одной, и то болит. Думаешь: «А правильно?».Так и в жизни, по-моему: надо точно дорогу знать...

— Ты знаешь?

— Я?.. — Ивлев не ждал от нее такого вопроса. — Я... если честно, тоже не совсем знаю. Но я найду. И я знаю еще, что ты сейчас кинулась совсем не в ту сторону, не туда...

— Эх, Петя, Петя... легко рассуждать — туда, не туда. А куда надо?

— Не знаю! — крикнул Ивлев. — Найдем! Вместе искать будем. На четырех ногах можно крепче стоять на земле — это я знаю.

Мария прилегла на подушку, закрыла глаза. Ивлев минут пять ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор этот серьезный и ответственный.

— Эти... товарищи твои... я их не виню, — заговорил он мягко. — Они, может быть, хорошие люди, но они сами запутались и тебя запутают. Я тебе сейчас докажу, что они

запутались. Первое: они ничего не делают, гоняют лодыря. Так жить нельзя. Возьми, к примеру, первобытное общество — там же все работали! А кто не работал, тому разбивали голову дубиной.

— Мы же не в первобытном обществе, — нехотя возразила Мария.

— Тем более!

— Они учатся все почти... И проводят время, как хотят. Это не запрещается.

— Они воруют! — опять сорвался на крик Ивлев, но тут же взял себя в руки. — Они — паразиты самые настоящие, а паразиты никогда людьми не были. Паразит никогда еще ничего хорошего не придумал. «Они учатся!» А чему сами учить будут? Учителя!.. Убивать надо таких на месте. У них гной в жилах!

— А у тебя?

— А у меня — кровь! — Ивлев весь напрягся, сжал кулаки... И заговорил так, как никогда в жизни не говорил: — Я люблю свою родину! Я не продаю ее по мелочи, как вы... Не разменниваю! И народ мой — это могучий народ, а я — сын его!..

Мария, не открывая глаз, слабо усмехнулась.

— За что же тебя, сына, из партии исключили?

— За дело. Я не спрашиваю, за что тебя из института исключили.

— Слюнтяй ты, — неожиданно зло и резко сказала Мария, села, посмотрела на мужа. — Слова красивые говоришь, а... Эх, слюнтяй. Тебя бьют, а ты говоришь — за дело.

Этот отпор Марии был так неожидан, что Ивлев сперва растерялся, смотрел на жену тоже зло и удивленно.

— Тебе только на четырех ногах и ходить, мужчина... — она встала с кровати, мельком оглядела комнату. — Я ухожу. Совсем. Люди эти, о которых ты говоришь, — слякоть. Но и ты не лучше. Тебя загнали в угол, тебя бьют, а ты только скулишь. В разнорабочие подался... нашел место в жизни! Эх, сын народа... Молчи уж.

Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева.

«Сейчас изобью», — думал он и не двигался с места, слушал оскорбительные слова.

— Прощай, сын народа. И не гоняйся за мной — бесполезно. Ивлев подскочил к двери, толкнул Марию на кровать.

— Сядь.

Она встала и пошла грудью на мужа.

— Уйди. Прочь!

Ивлев опять сильно толкнул ее в плечо. Она упала на кровать, поднялась и опять пошла... Негромко трижды сказала:

— Уйди. Уйди. Уйди.

«Все», — понял Ивлев. Прошел в передний угол, сел на лавку.

Мария вышла.

«Все. Отняли все-таки».

Захотелось заплакать, как тогда под плетнем — обильно и сладко. Не плакалось. Было больно. Точно кто грубой рукой схватил за кишки, за мякоть, и потянул... Очень больно было.

Мария не пришла на второй день. Не пришла и на третий и на четвертый. Ивлев ждал ее вечерами, а она не шла.

«Увели все-таки, уманили. Не сумел ничего доказать...», — мучился он, сидя у окна и глядя на улицу.

На пятый день пришла с чемоданом та самая девица, с которой Ивлев так любезно беседовал после того, как разогнал гостей со своей свадьбы.

— Здравствуйте, — вежливо сказала она.

— Здравствуй, — Ивлев приготовился услышать что-нибудь о жене.

— Мария попросила меня взять тут кое-что из ее вещей.

— Пусть сама придет.

— Она не придет.

— Тогда ничего не получите.

Девица уставилась на Ивлева уничтожающим взглядом.

— Как не стыдно?..

— Нет, это вам как не стыдно!.. — взвился было Ивлев, но тут же осадил себя — не этой же кукле открывать свое отчаянное положение. — Забирай, что надо, и уходи.

— Я только попрошу на минуту выйти.

— Зачем?

— Ну, нужно... Я буду женские вещи брать...

— Ну и бери, что ты пионерку из себя строишь. Юбки, что ли? Бюстгальтеры? Забирай на здоровье, не стесняйся — я все это видел.

— Все равно я прошу выйти, — уперлась на своем девица.

Ивлева кольнула догадка: «А юбки ли ей нужны-то? Может, не юбки?».

— Бери при мне.

— Нет.

— Тогда — будь здорова.

— Как только не совестно!

— Ты только насчет совести не распространяйся здесь, а то я хохотать начну.

— Выйди на десять минут. Неужели трудно?

— Трудно.

Девица постояла еще немного, хотела еще подействовать на Ивлева уничтожающим взглядом, но на того уже ничего не действовало. Догадка выросла в уверенность: «Не за юбками ты пришла, милая, а за чем-то другим».

— Не выйдешь?

— Нет.

— Но я прошу... как мужчину...

— Я не мужчина. Я — гермафродит.

— Дурак! — девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью.

Ивлев подождал немного и принялся искать то, за чем приходила девица. И сразу почти нашел: в диване, под сиденьем, лежали заготовки для туфель. Пар на двадцать. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был самого высокого качества, коричневый, мастерской выделки.

«Сапожники... — ядовито думал он. — Я вам устрою». О Марии — что она причастна к воровским делам — он почему-то не думал. Не мог так думать.

Собрал весь материал в вещевой мешок, дождался, когда на улице стемнеет, и пошел с мешком в милицию.

— Мне начальник нужен, — сказал он дежурному офицеру.

— Зачем?

— Я только ему скажу. Лично.

— Говорите мне, какая разница, — офицер обиделся. — В чем дело?

— Я же сказал: я буду говорить только с начальником.

— Его нет сейчас.

— Тогда я завтра приду.

— Погодите... Дело-то срочное?

— Не срочное, но в общем... не это... не маленькое.

— Сейчас я его вызову. Посидите.

Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в кабинет, сел за стол, приготовился слушать.

«Тоже — работка у них, — невольно подумал Ивлев, вытряхивая на пол материал. — Телевизор, наверно, дома смотрел, а тут — хочешь, не хочешь — иди».

— Что это? — спросил начальник. Наклонился, взял одну заготовку помял в руках. — Хорош!

— Высший сорт.

Начальник вопросительно посмотрел на Ивлева.

— Ворованное. Дома у себя нашел, — сказал тот.

— Подробнее немножко.

Ивлев подробно все рассказал. Назвал фамилии, какие знал.

— А жена, ты думаешь, непричастна?

— Нет, уверен. Просто прятали у нее — она даже не знала.

— Мда-а... — начальник долго смотрел в окно. — Ну ладно. Спасибо.

Ивлев пожал большую крепкую ладонь начальника.

— Не за что.

— Не боишься?

— Чего?

— Ну... могут ведь прийти за этим... — начальник показал глазами на товар. — Такими кусками не бросаются.

— Ничего. Пусть приходят.

— Тебя вызывать будем... Может быть, свидетелем пойдешь.

— Я понимаю.

...Месяца через полтора тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, не узелок, а большой запутанный узел.

Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз встретил там Шкурупия. Шкурупий нисколько не изменился, смотрел маленькими глазками спокойно, даже несколько насмешливо. Он обрадовался, увидев Ивлева.

— Вот! Пусть он подтвердит! — воскликнул он. — Помнишь, я тогда на вашей свадьбе ударил одного?.. Кирилла...

— Ну, — Ивлев хорошо помнил и Кирилла, и то, как ударил его Шкурупий.

— Так он теперь несет на меня черт-те чего. Ты ж понимаешь!.. Мстит, собака!

Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, слушая Шкурупия, нехорошо улыбался.

— Часто вы видели у себя дома этого человека? — спросил он Ивлева.

— Раза четыре.

— Он ничего не приносил с собой? Или может, уносил?

— Этого не видел.

— Он действительно ударил Кирилла?

— Да.

— За что?

— Тот развозился... хотел на меня кинуться...

— А как вы объясняете такое заступничество?.. Хорошим отношением к вам Шкурупия?

— Нет. Просто он боялся лишнего шума. Я для них человек новый — неизвестно, чем все могло кончиться.

Шкурупий бросил на Ивлева короткий пронзительный взгляд. Ивлев обозлился.

— По-моему, он у них самый главный, — сказал он, глядя на Шкурупия. — Хочешь на Кирилле отыграться?

Шкурупий горько усмехнулся, качнул головой, сказал негромко:

— На самом деле ни за что посадят. От народ!

— Уведите, — велел следователь милиционеру.

Шкурупия увели.

Следователь нахмурился, опять долго копался в бумагах.

— Мне надо с вами... вам сказать...

Ивлев похолодел от недоброго предчувствия.

— Что?

— Жена ваша тоже замешана.

— Да что вы!

— Да.

— И сидит сейчас?

— Нет, они пока не сидят. Сидят вот такие, вроде Шкурупия.

— Как же так, а? — Ивлев расстегнул ворот рубахи. — Как же так?

— Пугаться не надо, — успокоил следователь. — Преступление-то не очень уж такое... — он помахал рукой в воздухе. — Перепродажа. Думаю, что их даже не посадят. По крайней мере не всех посадят.

Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздохнул.

— Черт возьми!.. Она тоже перепродавала?

— Хранила ворованное.

— Но она же не знала!

— Знала.

— Черт возьми!..

— Зайдите к начальнику, он просил.

Ивлев прошел в кабинет подполковника — начальника милиции (прокуратура и милиция размещались в одном здании).

— Узнал? — спросил начальник, увидев взволнованного Ивлева. — Садись.

Ивлев сел.

— Сроду не думал этого.

— Если б думал, не сообщил бы нам?

Ивлев подумал и сказал честно:

— Нет.

Начальник понимающе кивнул головой.

— Ты сам откуда?

— С Алтая. За хранение ворованного что бывает?

— Тюрьма бывает.

— Значит, ее посадят?

— Думаю, что — да.

— И сколько дадут?

Начальник пожал плечами.

— Да немного, наверно. Для первого раза.

«Все. В тюрьме она совсем свихнется», — подумал Ивлев.

— А ничего нельзя сделать?

Начальник прикурил от зажигалки.

— А что можно сделать, ты подумай? Ничего, конечно.

— Черт возьми совсем! — Ивлев тоже достал папиросы.

— Ты служил? — спросил начальник, доставая из ящика стола бумаги.

«Прямо бюрократы какие-то», — подумал Ивлев, вспомнив, что и следователь все время рылся в бумагах.

— Служил.

— Старший лейтенант, командир подразделения особого назначения? Так?

Ивлев посмотрел на начальника; тот изучал бумаги.

— Расскажи о себе подробно.

— Зачем?

— Нужно. Занятий в армии можно не касаться.

Ивлев понял, что бумаги в руках начальника — это сведения о нем. Стал рассказывать. Все, как было. Начальник

слушал и осторожно шуршал бумажками — перебирал их. Когда Ивлев кончил, он поднял голову.

— Все? А как служил?

— Ничего...

— Благодарности были?.. Ты говори все, не скромничай.

— Были. Две от командующего округом, одна от министра... А в чем дело?

— Тетка про отца что-нибудь рассказывала? Кроме того, что их посадили...

— Нет. Мало... Говорила, что они были хорошие люди. — «В чем дело?», — соображал Ивлев.

Начальник протянул ему две бумажки.

— Читай.

Ивлев внимательно читал.

— Так... — Ивлев аккуратно положил бумажки на стол. — Кхэ... где-то папиросы... — захлопал по карманам.

— На, — начальник протянул ему «Беломорканал».

— Спасибо, — Ивлев размял папироску, от протянутой зажигалки отказался — руки тряслись, он не хотел, чтобы это заметили. Нагнулся, прикурил от спички.

— Документы я скопирую и отдам тебе.

— Спасибо.

— А дело вот какое, Ивлев: ты не хотел бы поработать в нашей системе? Никогда не думал?

— Как это?.. Милиционером, что ли?

— В милиции.

— Не думал сроду.

— У нас сейчас есть возможность послать двух человек на двухгодичные курсы оперативных работников. Подумай, через недельку зайди. У тебя знакомые есть в городе?

— Нет, никого нету.

— Хочешь, пойдем ко мне?

— Нет, я домой пойду. Пойду отдохну маленько.

— Ну, ладно. Заходи через недельку, — подполковник встал, пожал руку Ивлеву.

Ивлев вышел из милиции... Остановился на улице, долго соображал: что сейчас делать, с чего начинать. Слишком много сразу свалилось всего. В голове путаница, на душе мглистая, сырая тяжесть-боль. Пошел домой. Шел, как ночью: боялся, что оступится и будет долго падать в черную, гулкую яму.

Дома, на двери, нашел записку:

«Не радуйся сильно, ты свое получишь, скрываться бесполезно — смерть будит тижелая».

«Тоже в смерть балуются, — как-то равнодушно подумал Ивлев. — Всякая гнида грозится стать вошью».

В комнате холодно, неуютно, жильем не пахнет. Ивлев включил свет, не раздеваясь, лег на кровать лицом вниз. Подумал, что надо бы запереться, но лень было вставать, и страха не было.

«Пусть приходят. Пусть казнят».

Захотел представить человека, автора записки, — всплыло лицо, похожее на лицо Шкурупия.

«Надо же так безответственно брякнуть: смерть будет тяжелая. Посадить тебя, сволочь, голой задницей в навоз и забивать осиновым колом слова твои обратно в глотку. Чтобы ты наелся ими досыта, на всю жизнь».

Опять потянулась бесконечная ночь. Часа в два Ивлев встал, нашел письма к Марии с родины, списал адрес и составил телеграмму ее отцу. Он знал только, что тот работает секретарем райкома партии на Алтае.

«Срочно вылетайте помочь Марии». Адрес и подпись. И стал ждать утро. Ходил по комнате, думал о чем угодно, только не о делах сегодняшнего дня. Вспомнил почему-то, как он пацаном возил копны, и его один раз понесла лошадь. То ли укусил ее кто, то ли испугалась чего — вырвала из его слабых ручонок повод и понесла. За ним на другой лошади летел мужик-стогоправ, не мог догнать, кричал: «Держись за гриву! Крепче держись!.. Отпустишься — запорю потом!». Зыкнуться бы тогда головой об землю — ни забот бы сейчас, ни трудностей не знал.

За окном стало светлеть. Ивлев прилег на кровать и забылся в зыбком полусне.

Через два дня прилетел Родионов.

Ивлев шел с работы и увидел на крыльце своего дома пожилого мужчину. Он догадался, кто это.

— Здравствуйте. Ивлев.

— Здравствуй. Я — отец Марии.

— Я догадался. Сейчас войдем, я расскажу все, — Ивлев отомкнул замок, впустил Родионова в дом.

— Ну? — глаза Родионова покраснели от бессонницы. — Слушаю.

— Мария спуталась здесь с плохими людьми... В общем, ей грозит тюрьма.

— Что они делали?

— Воровали. А кто помоложе, продавали. Ворованное хранилось у Марии.

Левый уголок рта у Родионова нервно дергался книзу. Он закурил, крепко прикусил папироску зубами.

— Ты — муж, насколько я понимаю?

— Да.

— Как же ты позволил?..

— Я не знал ничего. Она еще до меня была знакома с ними.

— Сейчас она где? Сидит?

— Нет, не сидит. Но я не знаю, где. Она ушла из дома. Можно в милиции узнать, где она сейчас.

— Пойдем в милицию.

Почти всю дорогу молчали. У самой милиции Ивлев тронул Родионова за рукав, остановил. Сказал, глядя прямо в глаза ему:

— Как-нибудь отведите ее от тюрьмы. Она пропадет там.

Родионов смотрел на зятя угрюмо и внимательно.

— Как вы жили?

— Плохо жили. Любви у нее никакой не было... Почему пошла за меня, не знаю.

— Телеграмму-то раньше надо было дать.

— Я сам не знал, что так обернется...

— Пошли.

К начальнику Родионов вошел один. Ивлев сел на диван и стал ждать.

Ждать пришлось около часа. Наконец Родионов вышел... Увидел Ивлева, подошел, сел рядом.

— Ну?

— Плохо, — тихо сказал Родионов. — Не знаю... — Помолчал, повторил: — Не знаю.

— Я тоже зайду к нему, — Ивлев поднялся.

Родионов, продолжая сидеть, — Ивлев видел, как он раза два незаметно, под пиджаком, погладил левую сторону груди, — сказал:

— Я схожу к ней, а ночевать приду к тебе.

— Хорошо. Найдете?

— Найду.

Ивлев вошел к начальнику.

— Здравствуйте.

— Здравствуй. Садись. Отца ты вызвал?

— Я.

— Поздновато. Дело-то уже там гуляет, — подполковник показал глазами на потолок — на втором этаже была прокуратура. — Я лично ничего не могу сделать. Жалко, конечно, отца.

— Неужели ничего нельзя сделать?

Начальник не сразу ответил.

— Не знаю. Может, и можно что-нибудь... Там, — он кивнул в сторону окна, в направлении к центру города. — Там — люди большие. Подумал насчет нашего предложения?

— Думаю.

— Давай, давай, думай. На, кстати, эти документы. Мой тебе совет: иди к нам. Что вы боитесь милиции, как пугала?

— Я не боюсь. Но подумать-то надо.

— Вот и думай. Проучишься два года, начнешь работать, а там можно подавать заявление о восстановлении в партии.

— Подумаю. Один вопрос можно?

— Можно.

— Почему вы именно меня хотите послать? Что, желающих что ли, нету?

— Желающих больше, чем надо. Это, знаешь... потом поймешь. Жду тебя через три дня.

Ивлев взял документы и вышел из кабинета.

«А ведь пойду, наверно, в милицию-то», — подумал он.

Родионов пришел поздно. Мрачный.

— Вот какие, брат, дела. Дай умыться.

Ивлев налил воды в рукомойник, подал мыло, полотенце. Очень хотелось спросить о Марии — что она, как? И не хватало решимости. Родионов точно подслушал его мысли.

— Что же о жене-то не спросишь?

— Как она?..

— Плохо наше дело: и твое и мое.

«Уеду к чертовой матери отсюда, — решил Ивлев. — Поеду на эти курсы».

— Я примерно так и думал.

— А?

— Я знаю, что плохо. Мое — особенно. А ваше... Мне начальник намекнул, что можно похлопотать... там.

— Не знаю. Буду стараться, конечно.

— Есть хотите?

— Нет, — Родионов вытерся, повесил полотенце, сел к столу, сгорбатился. Опять погладил под пиджаком левую сторону груди.

Молчали. Все было ясно.

На улице шел поздний осенний дождик. Уныло хлюпало под окнами, в стекла мягко и дробно стучало.

— Ты сам здешний?

— Нет, тоже с Алтая.

— Откуда?

Ивлев назвал деревню.

— А как сюда попал?

— Служил в этих местах... остался.

— А родители там живут?

«Ничего домой не написала обо мне, — подумал Ивлев. — Она и жить-то со мной не собиралась».

— Родители мои... Вот, вручили сегодня... — Ивлев достал из кармана справки и подал Родионову. Тот внимательно их прочитал, недоуменно уставился на Ивлева. Тот сперва не понял, в чем дело.

— Что?

— Твоя фамилия Ивлев?

— Ивлев, да.

— А тут — Докучаевы.

Ивлев рассказал свою постылую историю. Родионов слушал, глядя в стол. Из-за кустистых бровей не видно было глаз его, и непонятно было, как он относится ко всему этому. Впрочем, Ивлев и не хотел знать, как он относится. Ему было все равно. Рассказал, забрал бумажки, положил в карман.

— Давай спать, — решительно сказал Родионов.

— Давайте.

Родионов лег на кровать. Ивлев на диван. Закурили, выключили свет. Молчали. Плавали в темноте два папиросных огонька, то вспыхивая, то совсем почти угасая. Сыпал в окна дождь, тоскливо барабанил по крыше.

— Предлагают ехать учиться на оперативного работника, — сказал Ивлев. — На два года. Как думаете — стоит?

Огонек родионовской папироски ярко вспыхнул, выхватил из тьмы его лицо, часть подушки...

— По-моему, стоит. И надо восстановиться в партии.

— Я тоже так думаю.

Замолчали. Папироски погасили. Непонятно — спали или нет. В комнате было тихо.

Через три дня Ивлев уехал на курсы в областной центр, Родионов остался вызволять дочь из мусорной ямы, куда завлекла ее развеселая жизнь.

Простились утром, дома. Ивлев собрал барахлишко в чемодан, сел на него, посмотрел на Родионова. Тот усмехнулся.

— Готов?

— Долго нищему собраться — только подпоясаться.

— Закурим на дорожку.

Закурил. Встали.

— Счастливо тебе. Напиши, как устроишься. Адрес есть?

— Есть. — Ивлев достал записную книжку, заглянул в нее. — Есть.

— Напиши.

— Обязательно. Вы мне тоже напишите, как тут все...

— Напишу.

Пожали руки... Ивлев подхватил чемодан и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где убили его первую большую любовь... Растоптали в вонючем углу, испинали тяжелыми сапогами, замучили.

В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед сыном и племянником такую речь:

— Строится народишко шибко. Прямо как блины пекут — дом за домом. Не успеешь оглянуться — уж дом стоит.

— В гору пошел мужик, — поддакнул Пашка. — Набирает сил.

— Как вы насчет своей дальнейшей жизни соображаете? — прямо спросил Ефим.

— Тоже надо в гору, — легкомысленно сказал Пашка.

Иван не понял, куда клонит дядя.

— Строиться надо, — выложил Ефим, неодобрительно глядя на сына. — Когда-никогда, а семьи-то будут. Где жить? Тут Андрей будет.

Пашка почесал мизинцем переносье, скосоротился — сделал вид, что глубоко задумался; Иван на самом деле задумался.

— Мой вам совет такой, — продолжал Ефим, — берите ссуду — каждый по десять тыщ и зачинайте строиться. Место вам Николай отведет хорошее — какое сами выберете. Строиться лучше вместе — легче. Рубите крестовый дом на два семейства и живите. Как?

— Пойдемте в горницу, потолкуем, — предложил Иван, мысль о строительстве собственного дома понравилась ему.

Перешли в горницу закурили.

— Я уже все обдумал, — заговорил Ефим. — Сейчас первым делом надо брать ссуду. Потом езжайте вверх, в Чернь, наймите там человек пять плотников и срубите сруб. Иногда там уже готовые стоят — на продажу. Это станет тыщ семь-восемь, не больше. А за девять-то можно ха-ароший домину заворотить. Вот. Пло́тите там плот и сплавляйте сюда. Только это тоже надо быстрее делать, пока вода высокая держится. Крестовый дом — это как раз плот. Можно еще небольшой салик подцепить — на банешку, на пристройки разные. Вопчем, там поглядите. На месте.

— А если на машине вывезти сруб? Не лучше? — спросил Пашка.

— Дороже. Ты за одни машины ухнешь тыщи полторы, если не больше. А по реке его за два дня сплавляют.

— Надо знающего человека — по реке-то. А то накуряемся на порогах.

— Гринька сплавает с вами, я говорил с ним. Вот. А тут, приплывете, помощь отведем — навалимся все сразу и за неделю поставим. Тесу можно в совхозе купить. А можно так, взять пару машин, съездить ночью на Бию, наторкать выше кабин и привезти на совхозную пилораму — как будто сами приплавили. А за распиловку — ерунда, копейки берут. Поняли? К первым снегам дом будет уже под крышей стоять. А окосячить там, печку сбить, отштукатурить — это плевое дело.

— Ну, что? — Пашка посмотрел на Ивана.

— А ссуду-то дадут мне? — спросил тот.

— А чего?

— Я же не совхозник.

— Ерунда, — авторитетно сказал Ефим. — Поговорим с Родионовым, он сделает.

— Поедем прямо сейчас, а? — загорелся Пашка. — Посмотрим на месте — как, что... Доскочим до Онгудая...

— Зачем до Онгудая? — встрял Ефим. — Вы доезжайте до Симинского перевала, там уже можно рубить. Зачем далеко забираться.

— Сейчас схожу к Родионову, узнаю насчет завтра.

— Слушай!.. — Пашке пришла в голову какая-то мысль. — Если он завтра никуда не поедет, попроси «Победу».

— Даст думаешь?

— А чего ему? Что она, его собственная, что ли?

— Ладно, — Иван пошел к секретарю.

Через двадцать минут он подъехал к дому на «Победе».

— Дал. У них завтра бюро. Ссуду тоже обещал помочь...

— Ну!..

Мигом собрались, захватили продуктов на случай ночевки, ружьишко и покатили.

Пашка сел на заднее сиденье, развалился, спел про восемнадцать лет, потом перелез к Ивану.

— Посижу хоть раз, как начальник.

— Как насчет дома-то думаешь? — спросил Иван.

— А что?.. Давай строиться. Надо ведь.

— Надо. А хватит двадцати тыщ?

— Хватит, я думаю. Не хватит — у отца есть в загашнике, раскошелится. Знаешь, где поставим?

— Где?

— У реки. Я знаю одно местечко... над обрывом. Красотень! С одной стороны — река, острова, березник на том боку... Когда солнце садится, там как все равно пожар разгорается. А с другой стороны — гора. Банешку прямо на лбу, над обрывом поставим. Залезешь зимой на поло́к, глянешь в окошечко — все позастывало, а тут жарынь, спасу нет!..

— Хм, — Иван с удовольствием слушал.

— А летом, например: я приехал с работы, и ты приехал... Так? Взяли бутылочку, поставили ее в сенцы, а сами на реку с неводом — рядом! Добыли на пару сковородок, твоя или моя жена поджарит...

— Нету их, вот беда.

— Будут! — твердо сказал Пашка. — Нашел об чем горевать.

— Как у тебя с этой, с Майей-то?

— Та-а...

— Что?

— Та-а... Пока никак. Под нее учитель клин бьет. Я, конечно, не сдаюсь, но... Да будут жены!

— Конечно. Нет, дом действительно надо сделать, — сказал Иван серьезно. Его все больше и больше увлекала эта мысль.

— Сделаем, что мы, калеки, что ли.

— Над рекой поставим — это было бы...

— Значит, так: там вон двое голосуют, — перебил его Пашка, — я изображаю начальника, а ты шофер. Понял?

«Ну балаболка!», — изумился Иван.

— Ладно.

«Голосовали» старушка и девушка. Иван тормознул около них.

Девушка подбежала первой, обратилась к Ивану:

— До Маймы довезите, пожалуйста.

Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка важно нахмурился, окинул девушку строгим взглядом... Девушка просительно смотрела на молодого «начальника».

— Можно, — разрешил Пашка.

— Бабушка!.. Давай сюда! — крикнула девушка.

Приковыляла бабка.

— Бла-адать, от бла-адать-то, — говорила она, тоже влезая в «Победу».

Поехали.

— Зачем в Майму-то, бабка? — спросил Пашка. Обернулся назад и уставился на девушку.

— Вы меня спрашиваете? — спросила девушка.

— Я же ясно сказал: бабушка, — начальственным голосом, грубовато сказал Пашка.

— Я-то? Хлопотать, сынок, насчет пензии. Я работала там, а теперь еду добывать справки, — охотно объяснила бабушка.

— А вы? — спросил Пашка девушку.

— Я тоже в Майму.

— Тоже насчет пенсии?

— Что вы!..

Слушая краем уха Пашкину болтовню, Иван крепко задумался насчет дома. За всю жизнь у него не было не только своего дома, но даже угла, куда бы можно было прийти и делать, что хочется, и чтоб тебя никто не одергивал, не косился. Как подхватила его с семи лет суетливая казенная жизнь, как закрутила, так крутит до сей поры. Детдом, интернаты, казармы, блиндажи, окопы, рабочие общежития... Даже когда женился, и то жил, как в общежитии — пять человек в одной комнате. И как-то свыкся с этим — как будто так и надо. И вдруг, оказывается, можно построить свой дом над рекой, можно прийти вечером, лечь, закрыть глаза — отдохнуть. Надо, видно, и отдохнуть иногда — за тридцать перевалило. Сколько можно. Вместе с домом, вернее, в доме он видел и Марию... Его не смутила первая неудача, только озлобила и подхлестнула.

«Рано я начал действовать, рано. Надо было не с этого начинать».

С того самого вечера, когда Мария так великолепно отшила его, Иван видел ее два раза. Один раз дома, когда приходил узнавать у Родионова, куда и когда ехать. Дело было вечером, Родионовы уже ужинали. Хозяин пригласил его к столу, Иван отказался. Узнал, когда ехать и ушел. На Марию ни разу не глянул, но чувствовал, что она смотрела на него. Второй раз, когда возил Клавдию Николаевну и Марию в город. Женщины сидели сзади и негромко разговаривали о том, что необходимо купить в городе в первую очередь. Иван краем глаза видел в зеркальце Марию и всю дорогу наблюдал за ней. Нарочно ехал не так быстро — чтобы продлить удовольствие. Потом ждал их у магазинов, без конца курил и думал: «А ведь влюбился!.. Эх, черт тебя задери».

В Майме ссадили девушку со старушкой. Зашли в чайную, выпили по кружке пива, поехали дальше.

— Тут я не бывал, — сказал Иван.

— Давай я порулю, а ты посмотри. Тут здорово!

Поменялись местами.

— Только не гони, — попросил Иван.

Красота кругом была удивительная. Горы подступали к самому тракту, часто серые отвесные стены поднимались прямо от кювета, слева. А внизу, далеко, ослепительно сверкала чешуей Катунь. То поднимались, петляя, то ехали вниз... То видно было далеко вокруг, и тогда у Ивана захватывало дух от невиданного простора, от силы земной. Всюду, куда хватал глаз, горы, горы... Серо-зеленые, с каменными боками, обшарпанными временем, громоздились они одна на другую, горбатились, щетинились редким сосняком. А внизу было прохладно и немножко тоскливо, и хотелось, чтобы тракт снова полез вверх.

К обеду доехали до Симинского перевала.

— Ну, вот, — сказал Пашка, — Симинский начинается. Давай осмотримся. Тут есть один зверосовхоз, туда, что ли, свернем?

— Давай свернем.

Приехали в совхоз, остановились у крайней избы. Разговорились с хозяином.

— Это вам надо в Чуяр, деревня такая на Катуни, — сказал хозяин, белоголовый старик с медной серьгой в ухе. — Езжайте по той же дороге, потом она, дорога-то, на две разойдется: одна по правую руку пойдет, другая по левую. Вот, которая по левую, вы по ней и езжайте. И прямо до Чуяра. Там и рубят дома.

— Спасибо, отец.

Старик вышел проводить их за ворота. Посмотрел на «Победу»...

— Большой дом-то надо?

— Крестовый.

— Там у меня зять живет. Расторгуев Ванька... Как заедете в Чуяр, так четвертый дом по левую руку. Поговорите с ним, может, он согласится. Он лес готовил нынче, хотел тоже рубить да вниз плавить, а сам занемог чего-то. Он лесником работает.

— Расторгуев?

— Расторгуев, Расторгуев. Ванька Расторгуев, спросите, вам любой покажет. Он готовил лес-то, я знаю.

— Ну, спасибо.

— Ага. А найдете, скажите, что просил, мол, отец-от, я, значит, чтоб он не продавал всех поросят. У него скоро пороситься будет, так пусть мне двух оставит.

— Ладно.

До Чуяра доехали часа за полтора. Небольшая деревня на самом берегу реки. На плетнях сушатся невода, сети, переметы. Кругом тайга, глухомань, тишина. На единственной улице — ни души.

Подъехали к четвертому дому, постучали в ворота. Вышел высокий сухой мужик, сел на лавочку возле ворот. Выслушал приезжих, поковырял большим пальцем босой грязной ноги сухую землю, потрогал поясницу, сказал:

— Восемь, — посмотрел вопросительно на парней. — За неделю срубим. Дешевле никто не возьмется.

Пашка начал торговаться. Расторгуев ковырял землю и повторил упрямо:

— Дешевле никто не возьмется.

Иван отвел Пашку в сторону, сказал:

— Черт с ним, слушай...

— Погоди ты! — воскликнул Пашка. — Дай уж я буду.

— Ну, давай.

Иван попросил у Расторгуева ведро, пошел к реке за водой — радиатор парил.

Солнце коснулось уже верхушек гор, на воду легли длинные тени, От реки веяло холодком.

Иван сел на теплый еще камень-валун, засмотрелся на воду. Она неслась с шипением: лопотали у берега быстро текучие маленькие волны, кипело в камнях...

«Будет дом, будет Мария — и все, больше мне ничего не требуется, — думал Иван. — Буду сидеть вот так вот на бережку... может, сын будет...».

Пока Иван ходил на реку, пока мечтал там, Пашка успел поругаться с Расторгуевым. Сторговались так: за восемь тысяч срубить дом, баню и помочь сплотить плот. Пашке это все-таки показалось дорого. Он обозвал Расторгуева куркулем, тот обиделся и посоветовал Пашке «мотать отсюда, пока светло».

Когда Иван подошел к ним, они сидели на лавочке и молчали.

— Что? — спросил Иван.

— Не вышло дело, — сказал Расторгуев. — Он хочет и рыбку съесть и...

У Ивана упало сердце.

Пашка вскинул голову.

— Давай так, — заговорил он, — семь тыщ...

— Руби сам за семь тыщ. Мне надо шестерых плотников на неделю брать, мне надо им харч ставить, надо заплатить да еще напоить в конце.

Пашка встал, сказал Ивану:

— Пойдем пройдемся малость. Машина пока пусть здесь постоит.

— Пусть постоит, — согласился Расторгуев.

Пошли по улице, заспорили негромко.

— Что ты делаешь! — начал Иван. — Ты что, не хочешь...

Пашка сделал рукой успокоительный жест.

— Спокойствие. Все будет в порядке. Никуда он от нас не уйдет. Походим по домам, приспросимся. Если дешевле не рубят, значит, отдадим восемь.

Зашли в три дома, поговорили с хозяевами: цена, в общем, нормальная. А если Расторгуев соглашается еще срубить баню и помочь сплотить плот — это совсем по-божески.

— Ну вот, — сказал Пашка, — пойдем теперь окончательно договариваться. Только ты не встревай.

Расторгуев колол в ограде дрова.

— Значит, так: семь с половиной — и дело в шляпе, — сказал Пашка.

— Не-е, — Расторгуев хэкнул — развалил огромную чурку пополам. — Руби сам за семь с половиной.

— Сгниет у тебя заготовленный лес. Кто же сейчас, осенью, приедет дом заказывать, ты подумай? Это уж я — же-

нюсь, поэтому мне приспичило. Нормальные люди с весны строятся.

Это были разумные слова. Расторгуев промолчал, опять хэкнул — развалил еще одну чурку.

— Как?

— Лишние разговоры, — сказал Расторгуев, нацеливаясь колуном в чурку. — Сказал — значит все.

— Поехали, — решительно заявил Пашка. — Проедем в другую деревню.

Расторгуев бросил колун, вытер рукавом рубахи вспотевший лоб.

— Семь восемьсот. Это вообще-то называется грабеж средь бела дня. Я еще таких заказчиков...

— Семь шестьсот...

— Тьфу!.. — Расторгуев, обессилевший, сел на дровосеку. — Черт с тобой: семь семьсот — и пойдем магарыч пить.

— Все, — сказал Иван. — Согласны. Вы тут до второго потопа будете торговаться. Семь семьсот.

— Магарыч с тебя! — Пашка показал пальцем на Расторгуева. — Я первый сказал.

Иван захохотал; даже Расторгуев усмехнулся и покачал головой.

— Ты, парень, не пропадешь.

Выпили самогона, разомлели...

— Переночуем? — предложил Иван.

— Давай.

— Могу вас с собой взять переметы ставить. Потом лучи́м сплаваем.

— Никогда не видел? — спросил Пашка брата.

— Что?

— Как луча́т?

— Нет.

— Поплывем.

Переметы Расторгуев раскинул на той стороне, против деревни. А лучи́ть завелись далеко вверх.

Причалили к берегу. Расторгуев закурил и стал налаживаться. На носу долбленной лодки укрепил «козу» — приспособление, напоминающее длинную тонкую руку с растопыренными пальцами. В «козу» — меж «пальцев» — аккуратно наложил смолья, подточил подпилком острогу, выплюнул в воду окурок, сел, закурил новую.

— Подождем — пусть стемнеет получше.

Тишина навалилась на реку и на ее берега. Ни собака не взлает, ни телега не скрипнет, никто нигде не кашлянет, не засмеется... Тишина. Гнетущая, сосущая душу тишина. Только шипит в камнях вода.

— Как вы тут живете! — негромко воскликнул Пашка. — С ума же сойти можно.

— Почему это? — не понял Расторгуев.

— Дико. Тишина, как в гробу...

— Привычка. Я сейчас в шумном месте неделю не вынесу — голова начинает болеть.

— А молодые-то есть в деревне? Девки, ребята...

— Молодые уходют. Есть четыре молодых мужика, так им уж теперь трогаться никуда нельзя — семейные.

— Ну и жизнь!..

— Поплыли с богом. Ты на корму садись, — распорядился Расторгуев, подавая Пашке кормовое весло, — а ты, — к Ивану, — посередке, на досточку вот. И не шуметь. Ты будешь... Как тебя зовут-то?

— Павел Ефимыч.

— Вот... Ты, значит, будешь держать ближе к берегу, старайся, чтоб лодку не отуряло.

— Знаю.

— Вот.

Расторгуев поджег смолье, взял острогу, стал в носу. Замер.

Тихонько заскользили по воде. Смолье быстро разгорелось, ночь придвинулась плотнее, стало еще тише.

— Вот туда смотри, — шепнул Пашка брату и показал рукой на воду сбоку от огня.

Иван стал смотреть туда.

Расторгуев стоял на носу, как древний варвар: отблески света играли на его бородатом лице, на голой волосатой груди... Он казался сзади огромным. Косматая голова усиливала это впечатление.

Вдруг Иван увидел, как из тьмы, из-под лодки, в круг света выплыли две прямые темные стрелки. И замерли. Расторгуев стал медленно поднимать острогу. Пашка толкнул ногой Ивана. Иван, боясь пошевелиться, смотрел на темные стрелки, ждал.

Расторгуев мучительно долго поднимал острогу... Потом он резко качнулся вперед, вода коротко всхлипнула... Одна стрелка мгновенно исчезла, вторая забилась на остроге.

Расторгуев присел, выхватил рыбину из воды и стряхнул в лодку. Рыбина начала подпрыгивать вровень с бортами.

— Ломай ей лён! — заорал Пашка.

— Какой лён? — Иван пытался поймать рыбину и никак не мог: она была скользкая от крови.

Пашка бросил весло, упал на рыбину, схватил ее и сломал хребет около головы — лён. Рыбина перестала биться.

— Теперь опять тихо, — велел Расторгуев.

Опять ровно заскользили вниз по реке. И почти сразу в круг света выплыла длинная узкая стрела... Блеснула на развороте серебряным боком и замерла. Только чуть заметно шевелились прозрачные плавники — рыбина подвигалась вниз по течению вместе со светом.

«Ну, не дура ли!», — изумился Иван.

Опять Расторгуев стал медленно поднимать острогу... Опять качнулся; всхлипнула вода, взбурлило в глубине, и острогу повело в сторону. Расторгуев присел, рванул острогу вверх... Рыбина трепыхнулась в воздухе, шлепнулась в воду и исчезла. Пашка застонал на корме, а Расторгуев тихонько эаматерился. Иван так вцепился в борт, что пальцы заныли.

— На полпуда, не меньше, — сказал Пашка.

— Тихо! — скомандовал Расторгуев.

...Пока доплыли до деревни, закололи еще две хорошие рыбины — килограммов на восемь в общей сложности.

— Ничего, — сказал Расторгуев. — Завтра уха будет на похлебку!

Он ушел домой, а братья задержались на берегу у лодки. Закурили.

— Весь день я про этот дом думаю, Паша, — признался Иван. — Охота пожить как следует.

Пашка зажигал спички и гасил их в воде; спички гасли с приятным коротким звуком «чк».

— Сделаем, чего же... Мне тоже, в общем-то, не мешает насчет семьи подумать: двадцать пять скоро. Вся трудность теперь — жена.

— Ну а что с Майей-то?

— Та-а... крутит носом. Высшее образование губит их здорово.

— А нравится?

— Нравится, — не сразу ответил Пашка. — Но, по-моему, пустые хлопоты.

Почему Иван не мог думать о себе так плохо? На что он, собственно, надеялся? Он сам не знал. Не думалось плохо, и все тут.

— Но ты не вешай голову, — посоветовал он Пашке.

— Я не вешаю. Зло берет только: что я, хуже какого-нибудь задрипанного учителя, что ли?

— Это штука сложная, — философски заметил Иван.

— Пошли спать, — сказал Пашка.

Легли на сеновале. Иван долго не мог заснуть — думал о доме.

«Надо начинать жить, надо начинать», — думал он.

Обсуждение вопроса о переводе Верх-Катунского колхоза «Заря коммунизма» в совхоз затянулась. Устали.

Выступает — в третий раз — председатель этого самого колхоза, толстый короткий человек с белыми веселыми глазами. Ласково смотрит куда-то мимо членов бюро и тихим голосом торопливо говорит:

— Я вас перестану уважать всех, если вы не поймете здесь одной простой вещи: пре-жде-вре-менно. Я сейчас докажу. Первое: база. Второе: база. Третье: опять база же. А базы нет.

— Не устраивай клоунаду, Кречетов. Что ты задолдонил одно: база, база. Наша база — техника.

— Вот! — обрадованно воскликнул Кречетов; он всякий раз открыто радовался репликам с мест — они давали ему возможность говорить и говорить без конца. — Давайте порассуждаем. Техника? Правильно. Согласен. У вас есть техника, и у меня есть техника... Так?

— Короче, Кречетов, — попросил Родионов.

— Хорошо. Значит, так, я считаю: не-об-хо-ди-мо расширить производство. Надо выстроить фермы, — Кречетов стал загибать пальцы, — ремонтную мастерскую, какой-нибудь, хоть небольшой, кирпичный заводишко, автопарк, пару, самое малое, столовых, и так далее, и так далее. Переведи нас сейчас с нашей базой в совхоз, большинство людей будут сидеть зимой сложа руки. Умно это? Нет. По-хозяйски? Нет. Мы же сразу залезем в государственный карман — раз. Дальше: колхозники сейчас начали строиться. Хлеба зарабатывают много, деньги даем... Ну, не секрет, что тут им крепко помогает и их личное хозяйство. Это неважно. Пусть хоть обстроятся. А то в совхоз-то переведемся, а как жили в кособоких халупах, так и будем — это уже позор нашему го-

сударству будет. Мы до этого не должны допустить. Значит, пускай хоть сейчас нажимают — строятся. А мы тем временем постепенно будем готовить базу для совхоза. Все наши денежки сейчас на капстроительство пустим. Я же за совхоз! Я руками и ногами за совхоз, но я еще раз говорю: для нас это преждевременно. Ферму мы заложим, кирпичный завод уже заложили... Дайте нам еще три-четыре года, и мы потом сами скажем: теперь можно. А равнять, например, ваше районное село с нашим глупо. Вы на всем готовом организовали совхоз. Да и то вам сейчас несладко. Так что вот мое предложение: с совхозом подождать, но нацелиться.

Встал Ивлев, заговорил решительно:

— Все правильно и все неправильно, — вытащив из кармана авторучку, взял в руку, как нож, привычка такая. — Колхоз «Заря коммунизма» надо переводить в совхоз. Я хоть и недавно здесь, но знаю, что в большом колхозе, на базе которого организовали один из первых совхозов, тоже не было механизированных ферм, тоже не было автопарка, а теперь есть. Выстроили. Тоже не было такой реммастерской, а теперь есть. Выстроили.

— За чей счет? — вежливо спросил Кречетов.

— За государственный.

Кречетов посмотрел на всех, улыбнулся.

— Не улыбайся, Кречетов. Мы не последний год живем — рассчитаемся. А ты будешь пять лет строить свой кирпичный завод и так и не достроишь его. Зато твои колхозники будут круглый год торчать на базаре, в городе, будут закладывать крестовые дома — и плевали они на твою базу. Ты нацелиться-то нацелился, но не туда малость. Я понимаю, у тебя сейчас ни горя, ни заботы: план выполняешь, колхозники не жалуются...

— А что еще требуется?

— Коммунизм строить.

— А я что делаю?

— Ты, в основном, хочешь спокойной жизни. Жиреть хочешь.

— Спасибо на добром слове.

— Ты говоришь: совхознику нечего будет делать зимой. А колхозник что у тебя зимой делает? Занимается собственным хозяйством. Он хочет строиться, хочет богатеть — все понятно. Я тоже за то, чтобы он был зажиточным, но вместе со всеми, со всем народом. Вот когда он будет совхозник и когда ему нечего будет делать зимой, тогда он придет к тебе

и потребует работы. Тогда он будет знать, что его собственное благосостояние зависит и прямо связано с ростом совхозного производства. Жизнь для тебя, Кречетов, будет не такая спокойная. Работы ты ему найдешь, и он будет работать. Он будет откармливать тех же свиней, только в тридцать раз больше. И не один человек от семьи работать будет, как сейчас, а все трудоспособные. И зарабатывать они могут не меньше, а больше, чем получают с собственного хозяйства. Об этом мы с вами тоже должны позаботиться. Я уж не говорю сейчас о том, что в условиях совхоза мы имеем гораздо больше возможностей заниматься воспитанием людей. Рабочий совхоза занят на работе не больше восьми часов, у него больше свободного времени... Взрослая молодежь в совхозе легче совмещает работу с учебой в вечерних школах, больше занимается в кружках художественной самодеятельности...

Тут Кречетов снисходительно поморщился.

— Да, да, Кречетов, так: больше занимается самодеятельностью, больше читает... Это истина.

— Можно мне? — вскочил Кречетов.

— Одну минутку... Кончил, Ивлев?

— Да, — Ивлеву нездоровилось, он устал и говорил вяло, поэтому решил лучше замолчать. Тем более что главная борьба за совхоз предстоит не здесь, а на общем собрании в «Заре коммунизма».

— Докучаев просил слова.

Военком Докучаев, красивый седеющий майор, посмотрел серыми выпуклыми глазами на Ивлева, спросил строго:

— Я не понял: ты что, вообще против колхозов?

Засмеялись. Майор недоуменно огляделся... Ивлев сказал:

— Я считаю, что в «Заре коммунизма» есть все возможности для того, чтобы организовать там совхоз. Это мое мнение, и я его буду отстаивать. База, о которой говорил Кречетов, там есть. Он просто побаивается, что его не назначат директором. Это тоже мое мнение. А если есть возможность организовать совхоз, я не понимаю, почему этого не сделать.

— Мгм.

— Я не против колхозов, но за совхозы.

— Мгм.

— Вот так.

— Ясно, — майор кивнул головой.

— Можно? — опять вскочил Кречетов.

Родионов посмотрел на часы.

— Кречетов, нам же ясна твоя позиция. Что ты нового хочешь сказать?

— Я отвечу товарищу Ивлеву насчет директорства...

— Это мнение Ивлева, он сказал об этом. У меня, например, другое мнение: я думаю, ты не боишься, что тебя не назначат директором. Серьезно. Тебе просто жалко ломать привычную форму хозяйствования. Да и силенки, конечно, уже не те. Теперь подведем итог, что ли. Ясно одно: вопрос этот надо обсуждать, и очень серьезно, с самими колхозниками. Обсуждение будет нелегкое. Послушаем, что скажут колхозники. Теперь в порядке информации. Давай, Ивлев.

— Дело вот в чем, товарищи, — заговорил Ивлев сидя. — Решили мы тут с комсомолом создать в райцентре пока штаб культуры. Что это такое? Это, вообще говоря, борьба за высокую культуру на селе. Нужно, чтобы молодежь наша взялась за это самым серьезным образом. Послезавтра вечером мы собираем в клубе весь комсомольско-молодежный актив села и будем договариваться, как и с чего мы начнем эту нелегкую работу. Желательно, чтобы члены бюро присутствовали на этом совещании, и не просто присутствовали, а посоветовали бы что-нибудь. Вот и все.

— Все, товарищи.

Из райкома оба секретаря шли вместе. Ивлев жил на той же улице, что и Родионов, только дальше.

— Тебе что, нездоровится, что ли? — спросил Родионов.

— Есть немного... Туман какой-то в голове, черт его знает.

— Ложись в постель. Пару дней на лечение.

— Когда собрание в Верх-Катунске планируешь?

— Не знаю еще. Торопиться не надо — подготовимся как следует. Трудновато будет... Кречетов сейчас дополнительно настроит своих...

— Надо прямо объяснить людям, почему он боится совхоза.

— Будешь выступать — не горячись. У тебя еще есть эта замашка. Спокойнее.

— Ну, они и разложат нас, спокойных-то.

— А разложат, так не потому, что мы не горячились. Спокойнее — значит умнее. Насчет базара полегче с колхозниками.

— А что, не так, что ли?

— Большинство работают, а ты под всех черту подвел, — Родионов помолчал. — Вообще я тебе признаюсь: немножко и мы торопимся.

— Как это?

— Так. Повременить бы надо. Не три-четыре года, как Кречетов предлагает, а с годик хотя бы. Надо сперва в тех совхозах, какие уже есть, как следует дело поставить. Тогда и агитировать никого не надо будет — сами начнут проситься.

— Не понимаю тебя. А почему же ты...

— А потому самому... почему! Потому что не сумел ничего доказать в крае. Поработаешь подольше, будешь понимать.

— Но времена-то не те!

— Люди остались те. И много еще.

— Ты мне расскажи толком... Я же в глупом положении могу оказаться. Пройдем ко мне?

Родионов кивнул головой, зашагал дальше — мимо дома.

— Дело такое, Петро: совхозы — дело хорошее, нужное... Тут и рассуждать не приходится. Но горячку пороть ни в каком деле не нужно, особенно в таком. Это же люди! У нас есть уже семь совхозов, в них не все благополучно, как ты знаешь. С зарплатой не отрегулировано, без работы зимой сидят, это факт... А самое главное — мы в долгах, как в шелках. Хоть ты и говорил давеча, что расплатимся, а вот никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не чужое какое-нибудь, не Америка — наше, Неловко в нахлебниках-то ходить. И знаешь, что я думаю? Сейчас придем, расскажу.

Вошли в квартиру Ивлева. Родионову шибанул в нос застарелый, тяжкий запах табачного дыма. В квартире кавардак, на столе объедки.

— Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли... — заговорил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, нахмурившись, стирал газеткой со стола. Потом открыл окно.

— Ну?

— Совхозы надо круто поднимать. К примеру, Бакланский: убыток — два миллиона. Сокращаем мы его из года в год на триста-четыреста тысяч. Это кот наплакал. А между прочим, выход есть, — Родионов ходил по комнате, несколько ссутулившись. Слегка размахивал правой рукой, левую держал в кармане кителя. — Смотри: поголовье рогатого скота в нем уже сейчас в три с лишним раза больше, чем при колхозе, — так? А будет еще больше: с кормами легче стало, молодняк растет, фермы механизированы — молока

будет пропасть! А что мы с ним делаем? Возим в город — это за семьдесят километров! Гробим машины, горючее жжем, молоко квасим...

— Ну?

— Надо строить маслозавод.

— Хм... Это что-то вроде техникума?

— Техникум не поднять, черт с ним пока. А завод поднимем. Электроэнергия через полгода будет — раз, строительные организации к нашим услугам — два. С клубом и с баней можно пока повременить...

— С клубом нельзя временить. Это отпадает.

— Найдем выход. Но зато сколько мы выиграем? Мы же в год окупимся.

Ивлев сидел на подоконнике, смотрел на Родионова — соображал.

— Да?

— Да!

— Что-то слишком уж просто.

— Зато верно.

— А почему раньше такая мысль никому в голову не пришла?

— Потому что скота столько не было, потому что не стоила овчинка выделки. Потом: раньше построить завод — это надо было, самое малое, три года. А сейчас нам его в полгода отгрохают. Понял?

— Понял.

— Теперь смотри: будет завод — можно увеличивать поголовье дальше. Опасности никакой: кормов с кукурузой хватит, молоко — определено. Будем окупать себя — можно еще фермы закладывать. И мы не только будем план выполнять, мы будем производить продукцию — масло, сыр, творог Нам за такое дело только спасибо скажут. И помогут всегда. Понял? Будет завод, будут фермы — у нас люди будут при деле зимой и летом. У нас отрегулируется зарплата. Вот тогда-то нам не надо будет ездить в Верх-Катунск и убеждать колхозников переходить в совхоз.

— Это верно, — Ивлев встал с подоконника, тоже прошелся по комнате. — А с Верх-Катунском как же?

— По-доброму, там надо сейчас действительно готовить базу. Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все силы бросить на фермы. Когда база там будет готова, когда мы с нашими совхозами вылезем из долгов и пойдем в гору, все получится само собой. На это уйдет два года — от силы.

Ивлев внимательно посмотрел на Родионова.

— Выходит, Кречетов-то был прав?

— Кречетов неправ, потому что он о другом думает. Про базу он говорит так... слышал звон, да не знает, где он. Он действительно побаивается перестройки.

— Кузьма Николаич, как же так?.. — Ивлев остановился против Родионова. Тот вскинул голову.

— Почему же ты на бюро-то другое говорил?

Родионов обошел Ивлева, сел к столу, вытащил из кармана пачку «Беломора», бросил на стол. Долго молчал, глядя в открытое окно. Впервые, может быть, за много-много лет его так просто, так убийственно просто спросили: почему он поступил не так, как считает нужным? И он не может так же просто и ясно ответить: потому. Говорить о том, что есть партийная дисциплина, что он научился свято чтить ее, не хотелось. Ответ должен быть такой же простой, а его нет. Говорить длинно, что-то объяснять — язык не поворачивается.

Ивлев жестоко молчал. Ждал.

— Не смог доказать в крае, поэтому и говорил так. Неужели не ясно?

— Не верю. Ты же мне доказал! А уж я-то уверен был, что надо торопиться с совхозами. И тебя я считал...

— Перестань наивничать, — резко сказал Родионов; шрам его потемнел. — Почему ты Ивлев, а не Докучаев? — это было совсем не то, что он хотел сказать, но как-то ничего другого не нашлось, и он сказал это.

Ивлев стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы галифе, подтянутый, худой, с усталыми, сверкающими решимостью глазами. Плечи развернуты, грудь — вперед.

— Я — Ивлев, потому что я врал, — отчеканил он. — Я обманывал. Мне хотелось жить, как всем...

Родионов, глядя на него, усмехнулся.

— Тогда другое дело. А я думал, тебе жить не хотелось, поэтому ты врал.

Ивлев осекся. Крутнулся на носках, прошел к двери, обратно к столу. Родионов все смотрел на него. Не усмехался.

— Сядь, — сказал он.

Ивлев сел, потянулся к пачке «Беломора». На Родионова не глядел.

— Больно мне от тебя, молокососа, такие слова принимать, а ничего не сделаешь, нужно, — негромко и грустно сказал Кузьма Николаевич.

— Не надо об этом, — попросил Ивлев.

— Я, каяться перед тобой не собираюсь, — возвысил голос Родионов.

— Мне покаяния не нужны.

— И бить себя в грудь, и гордиться тем, что я врал, тоже не стану.

— Я, по крайней мере, честно говорю, — жестко сказал Ивлев.

— А я тебе тоже честно говорю: горько мне от тебя упреки слышать, а надо. Если мне перед кем стыдно, то не перед тобой, а перед своей жизнью.

Ивлев встал, начал ходить по комнате.

Долго молчали. Ивлев все ходил, поскрипывая сапогами. На него опять накатила волна противной слабости: в ушах шумело.

— Значит, так: завтра снова собираем бюро, — заговорил Родионов сурово, — и выкладываем все, что мы думаем. Надеюсь нас поймут и поддержат. С решением бюро ты едешь в край. Если там сорвется, давай телеграмму — я тут же направляю копию решения бюро в ЦК.

Ивлев остановился. Ему стало почему-то жалко Родионова. Все-таки человеку уже под шестьдесят; то, что раздражает и злит в тридцать, то больно и надолго ранит в шестьдесят.

— Может быть, мы сначала съездим в Верх-Катунск? Неудобно — сегодня одно говорили, завтра другое. Побудем там пару дней, изучим обстановку...

— Чего ее изучать, она и так вдоль и поперек изучена. Неудобно перед членами бюро? Ничего, поморгаем. Не бойся, я все скажу честно, тебе моргать не придется.

— Я не боюсь! — воскликнул Ивлев.

— Ну и хорошо, — Родионов вертел в пальцах пачку «Беломора». — На том и договорились.

Электрическая лампочка трижды мигнула. Родионов посмотрел на нее, не пошевелился. Лампочка начала медленно гаснуть. Ивлев сел к столу.

— Зажечь лампу?

— Не надо. Долго в крае не задерживайся.

— Ладно.

— Вот так, Петр Емельяныч... — непонятно было, что хотел сказать этим Родионов.

Ивлев промолчал.

Родионов нащупал папиросы, закурил.

— Ты долго сидел, Кузьма Николаич? — спросил вдруг Ивлев.

— Полтора года, — не сразу ответил Родионов. — А что?

— Так просто... Горько это?

— Горько? Черт его знает... Горько, конечно. Не от тюрьмы горько — вообще жить в такое время очень горько. Бывают штуки пострашней тюрьмы.

— В чем обвиняли?

— Та-а... неизвестно в чем. Бывают, я говорю, штуки пострашнее тюрьмы. Меня, когда освободили, вызвали в Москву. А в Москве в то время был мой один старинный дружок, мы с ним на заводе вместе работали. В Москве он в больших чинах ходил. Нашел я его, рассказал свою историю. Он пообещал на другой день разузнать все и помочь, если что, вылезти из грязи — я чуял, что меня неспроста опять вызвали. Ну, поговорили с ним с глазу на глаз, он порассказал многое... На другой день встречаемся, он мне: «Беги, куда хочешь, иначе худо будет — опять посадить хотят». Я и дернул. На курорт! Бумажку мне там сделали, какую надо. Два с лишним месяца отсиживался на курорте, а тем временем связался с бывшими друзьями отца, с которыми он в ссылке был, и выкарабкался. А дружка моего... — Родионов помолчал, достал из пачки папироску, но прикуривать не стал. — Дружка моего, Сергея Малышева, самого забрали. Как я узнал потом, на другой же день после моего отъезда. И расстреляли. И вот с тех пор — двадцать уж лет! — как вспомню Сергея, так сердце скулить начинает: мог ведь он перед смертью подумать, что это я донес на него. Рассказал он мне по дружбе кое-что, никто больше не слышал, только, значит, я и донес.

— Ну, зачем так-то уж...

— Подумал, наверно, что я тем самым решил шкуру свою спасти...

— Не мог он так подумать.

— А кто его знает. Всякое думается, когда ждешь себе... Может, с тем и погиб человек. Вот что горько так горько! Надо хуже — не придумаешь.

Ивлева не тронул рассказ Родионова.

«Отец мой на курортах не отсиживался», — подумал он.

«К чему рассказал? — мучился в это время Родионов. — Ни к селу, ни к городу. Все равно им сейчас не понять ничего... Только уважать перестанут, и все».

Он встал.

— До свидания.

— Спокойной ночи.

Родионов вышел из комнаты и тотчас вернулся.

— А здоровье-то как?.. Тебе же лежать надо.

— Ничего.

— Смотри, легче не станет утром — не выходи. Лучше отложим бюро на пару дней.

— Ладно... утром видно будет.

Родионов ушел.

Ивлев, не зажигая огня, снял сапоги, китель... Лег на кровать в галифе, укрылся тулупом. Знобило.

На другой день, часа в три, он выехал в край.

...Молодые Любавины яростно принялись за дом. Через полторы недели сруб был готов. Иван работал с плотниками (отпросился на неделю у Родионова), ворочал бревна, накатывал ряды, тесал, пилил... Настолько ушел в дело, что забыл все на свете, даже Марию.

К дню, когда надо было плотить, Пашка привез Гриньку. Рано утром.

Гринька походил вокруг дома, постучал обушком по бревнам, сказал:

— Ничего, ребятишки, на наш век хватит. Давайте плотить.

Раскатали сруб, выволокли бревна на берег и к вечеру сплотили плот.

— Завтра с утречка тронемся. А сейчас спать, — распорядился Гринька. — Пить с плотниками не вздумайте. Дома выпьем.

— Тогда я пойду на плот спать, а то они меня соблазнят, гады, — сказал Пашка. — Я слабый на это дело.

Утром, чуть свет, поднялись.

Выгреблись, благословясь, на середину реки и поплыли.

— Три места будет гиблых, — рассказывал Гринька, лежа на спине. — Первое — у Ярков, другое — где Иша втекает, третье — около нас там... Как только Бакланский порог проплывем, так, считай, мы дома. Эх, хорошо проплыть!.. Люблю.

Иван — посильнее — стоял на носовом весле, Пашка на кормовом. Плыть было легко. Слегка только подправляли плот, чтобы его не разворачивало, дело даже приятное. Вокруг буйствовала природа. Берег в первобытных зарослях;

чуть не в воду свисают кусты ежевики, смородины, калины. Заманчиво пламенеет в кустах малина. На полянах, на солнечных местах, растопырив колючие ветки, бережет свои редкие, никому не нужные ягоды боярка. Торчмя торчат рясные початки — желтые и красные — облепихи. И все это перезрело, осыпается. Человек здесь бывает раз в год по обещанию.

«Ну и места! — с восхищением думал Иван. — Носил же меня где-то черт полжизни».

— Ярковские камушки я хорошо знаю, — вспоминал Гринька. — Когда-то разбой там держал.

— Один? — поинтересовался Пашка.

— Один. Я почти всегда был один. Значит, так орудовал: брал цепь хорошую, присобачивал ее одним концом к камням, а к другому концу «кошку» приделывал, какой ведра из колодцев достают. И сидел ждал. А место там не широкое, вода к одному берегу бьет, Плывет плот, как вот мы теперь, плавят шерсть, кожтовары в тюках, мед, меха разные — от алтайцев... Подплывают к моему камешку, а я сверху кричу: «Поберегись, ребятушки!» — и «кошку»-то на плот к ним кидаю. Она глядишь, и подцепит тюк с мехами... Прибыльное дело.

— А если б выскочили?

— Выскочи, у меня два ружья с собой да припасов — на три дня отстреливаться. Во-вторых, там не выскочишь: камень-то стеной к воде опускается. Выскочить только ниже можно, но... тогда ищи меня: кругом, вишь, что делается.

— Стреляли в тебя?

— Стреляли. Там не попасть сроду. Поплывем — увидишь.

— Хорошо устроился, — с завистью сказал Пашка. — Но уж материли они тебя, наверно, не приведи бог.

— Ага, лаялись. А я только хохотал над ними. Их несет, они ничего сделать не могут, а я у них на глазах тюк кверху подымаю. Потом стали по берегу милиционеров вперед высылать.

— Пожил ты все-таки, дядя Гриня! — сказал Пашка.

Гринька задумался.

— Не то чтоб пожил, а помаялся вволю. Такая житуха, она только с виду привольной кажется, а как на своей шкуре вынесешь все, так не пожелаешь лихому татарину.

В одном месте, на повороте, плот понесло прямо на крутой каменистый берег. Иван начал было отчаянно работать веслом, но Гринька успокоил:

— Не трусь, пронесет.

Плот разогнало на камень, он почти коснулся его, но затем плавно отвалил и поплыл дальше.

— Здесь все в штаны кладут, — пояснил Гринька.

Иван действительно перетрусил.

День проплыли благополучно. Ярковские камни проскочили. На ночь причалили плот к острову, развели костер и легли спать.

— Слышь, Иван, — толкнул Пашка брата в бок, когда Гринька уже храпел. — Спишь?

— Нет.

— А люблю ведь я ее, паразитку. Весь день про нее думал.

— Майю, что ли?

— Ну...

Иван ничего больше не сказал. Пашка подождал и добавил:

— Приплывем, надо что-то придумывать. А то высохнуть можно.

— Спи, — посоветовал Иван. — Или думай про луну вон... Там, говорят, холодище!..

— На луне?

— Ага.

— Я ему одно, он — другое. На кой она мне, луна, сдалась? Тут на земле никак не устроишься...

— Тогда спи.

— Легче всего сказать — спи. Не спится.

— Считай.

— Пробовал. До ста досчитал.

— А теперь наоборот считай: сто, девяносто девять, девяносто восемь... вот так.

— Эх, — вздохнул Пашка. И замолчал.

Приплыли в Баклань на другой день, к вечеру. На берегу их уже ждал Ефим с мужиками и пять подвод — спаренные передки от бричек.

— Вы идите отдыхайте, а мы его сейчас выдерем, — сказал Ефим. — Давайте, мужики!

Иван попросил Николая Попова (он тоже был на берегу) показать место, какое Пашка облюбовал для дома.

— Сейчас... помогу вот мужичкам... — сказал тот.

Иван тоже решил остаться помочь.

Пашка и Гринька ушли в деревню — торопились, чтобы успеть в магазин.

Скоро выкатили все бревна на берег; тогда только Николай пошел с Иваном смотреть место.

— Место хорошее, — похвалил Николай. — Жить да радоваться. Что же ко мне никогда не зайдешь?

— Да все как-то...

— Пошли сейчас? Посмотрим и пойдем. Не сильно устал?

— Можно.

— Вот и хорошо.

Посмотрели место (Ивану очень понравилось), пошли к Николаю.

— Ну, а как сердечные делишки? — спросил Николай весело. — Двигаются?

— Стоят. Махнул я на это дело рукой, — слукавил Иван.

— Как же так?

— Да куда уж мне... Раз ей Ивлев нехорош, то уж мне...

— Зря, — с сожалением сказал Николай. Он, видно, горячо и всерьез принимал эту любовь. — Ивлев Ивлевым, а ты сам по себе. Что же рукой-то махать! Это, брат, легче всего.

— Они жили с ним здесь-то? — поинтересовался Иван.

— Нет, не вышло у них здесь. А жил он с ней давно и мало, после него она еще раз замужем была...

Иван качнул головой, Николай заметил:

— А ты на это не обращай внимания, я тебе серьезно говорю. Она замечательная женщина. Ей только помочь надо...

— Да в чем помочь-то?

— А черт ее знает. Может детей ей надо... Черт ее знает.

— А Ивлев, значит, отвальную получил?

— Получил, да. Приехал, думал жить с ней, а она не захотела.

— Он давно приехал?

— С год, наверно. Работал сперва начальником милиции у нас, а потом его секретарем выбрали — тут Родионов постарался.

— Так и не захотела жить?

— Так и не захотела.

— Непонятная баба!

— Да ну!.. Непонятная. Все они непонятные — до поры до времени.

Ивлев вернулся из края через неделю. С ним вместе приехал представитель крайкома партии — толстый, добро-

душный на вид мужчина лет сорока пяти, Лукин Семен Спиридонович.

Лукин вошел в кабинет Родионова, как в родную хату.

— Здорово, старина! Что же это ты?.. А?..

— Здорово, Семен Спиридонович.

Лукин весь светился приветливой улыбкой.

— Что же это у тебя?..

— Что? — Родионов тоже улыбнулся.

Ивлев, неузнаваемо похудевший за эту неделю, стоял в дверях кабинета и мрачно смотрел в затылок крайкомовцу.

— Говорят, зашиваешься?

— Кто говорит?

— Протоколы. Ха-ха-ха... Садись. Помощник силен у тебя!.. — Лукин обернулся к Ивлеву; тот по-прежнему смотрел мрачно. — О!.. Ну хватит, молодой человек, хватит. Мир.

— Вы в курсе дела? — спросил Родионов серьезно.

— В курсе, в курсе. О делах пока не будем. Я бы, например, помылся где-нибудь... А? К тебе, что ли, пойдем, Родионов?

— Можно.

— Баньку бы сейчас, если можно. А?

— Можно, конечно.

— Це дило! Пойдемте попаримся, молодой человек. Весь крайком на ноги поднял твой второй секретарь. Как вихрь налетел, как ураган! Ха-ха-ха-ха...

— Мне, между прочим, не смешно, — сказал Ивлев.

— А мне смешно. Пойдемте в баню! Давай докладывай о поездке и... жду вас, — Лукин подхватил чемоданчик и вышел из кабинета.

— Ну? — спросил Родионов.

Ивлев сел на диван.

— Нас объявили консерваторами. Этот шкаф приехал наводить порядки.

— У первого был?

— Он в Москве.

— Так... — Родионов зябко поежился. — Это хуже. Он хочет провести собрание в Верх-Катунске, насколько я понимаю?

— Да.

— Пусть проводит. Не кручинься.

— Я его ненавижу, — признался Ивлев, глядя на первого секретаря с некоторой тревогой.

— Телеграмму почему не дал?

— Ждал первого, оттягивал, сколько мог, отъезд...

— Решение бюро пока подождем посылать. Посмотрим... Еще неизвестно, кому будет весело. Не вешай голову.

...Собрание в Верх-Катунском колхозе длилось часов пять. Иван успел выспаться в машине, почитал книжку, опять задремал... Проснулся от звука приближающихся шагов. Уже было темно.

Первым к машине подошел Лукин, рванул переднюю дверцу, рухнул на сиденье. Родионов и Ивлев уселись сзади.

— Домой? — спросил Иван.

— Домой, — сказал Родионов.

— Вы заранее настроили колхозников, — деловым тоном, как вывод, заключил Лукин. — Сыграли на слабых струнах людей... Я тебя не понимаю, Родионов: то, что простительно твоему второму секретарю...

— У меня есть фамилия, — резко сказал Ивлев. — И я не второй секретарь Родионова, а секретарь райкома партии.

— То, что простительно второму секретарю, то непростительно тебе.

— Я прощения ни у кого не прошу, — спокойно сказал Родионов. — И второе: не советую так легко швыряться словами насчет того, что мы заранее настраивали колхозников. Это надо доказать.

— Не будем здесь разводить дискуссию. Поговорим в другом месте.

— Поговорим, — согласился Родионов.

Замолчали.

В Баклани, возле райкома партии, Лукин тронул Ивана за рукав.

— Станови.

— Куда? — спросил Родионов.

— Я ночую в райкоме. С дежурным. До свидания.

— До свидания.

— До свидания.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Родионов, когда Лукин вылез и машина поехала дальше. — На тебе лица нет.

— Неважно. Сейчас лягу, отдохну.

— Может, врача вызвать?

— Зачем? Сейчас лягу, отдохну... Устал очень.

Около своего дома Родионов вылез, хлопнул дверцей.

— До свидания.

— До свидания.

— Спокойной ночи.

Оставшись один на сиденье, Ивлев прилег было, но тут же сел, коротко сквозь зубы простонал:

— Давай быстрей.

Иван подвез его к самым воротам дома. Ивлев кивнул на прощание, вылез... Подошел к пряслу, навалился на него грудью. Его вырвало. Иван подошел к нему.

— Что, плохо?

— Мм... На... тьфу!.. Упаду, кажется. На... открой дом, — подал Ивану ключ.

Иван отомкнул замок на двери, помог Ивлеву взойти на высокое крыльцо, вошел с ним в квартиру, включил свет... И тут только увидел, как перевернуло Ивлева. Провалившиеся глаза его горели нездоровым блеском, на скулах выцвел пятнами желтый румянец, руки тряслись.

— Захворал?

— А? Да... — Ивлев прилег на кровать. — Захворал.

— Я сейчас за врачом съезжу.

— Не надо. Пройдет. Побудь со мной, если не торопишься.

— Ладно. Мотор только заглушу пойду... — Иван вышел на улицу, заглушил мотор. А когда вернулся в квартиру, Ивлев без кителя, в одной нижней рубахе стоял на коленях перед тазом — его опять рвало. Причем рвать уже нечем было, и все равно выворачивало всего.

— Схожу за врачом?

Ивлев замотал головой.

— Чаю согрей... И затопи камелек.

Иван затопил камелек, поставил на плиту чайник с водой... Присел к столу. Ивлев лежал на кровати, вытянув руки вдоль тела, шевелил пальцами.

— Лучше становится, — сказал он.

— Ты сними сапоги-то и ложись как следует.

Ивлев сел, склонился к сапогам. У него, наверно, закружилась голова. Он схватился за спинку кровати.

— Эхх... Помоги, Иван.

Иван стащил с него сапоги. Ивлев лег, показал глазами на тулуп. Иван накрыл его тулупом.

Потом пили чай с медом. Ивлев сидел на кровати, глотал кипяток, обжигался, крутил головой и смешно морщился.

— Ничего, ничего, — говорил Иван. — Пусть продерет. Зато легче станет.

— Уже легче... чую. Вон, видишь? — Ивлев шаркнул ладонью по лицу, показал ладонь — на лице выступил пот, но очень слабо.

— Пей, пей.

— Хоть жилым духом запахло в комнате... Верно?

— Да... уже прохладно становится. Зима скоро.

— Зима, да. Черт с ней.

Говорилось легко, но говорить было не о чем, да и особой нужды в этом не испытывали оба. В комнате действительно стало тепло и уютно. Гудело в камельке, пощелкивало... Чуть припахивало дымком.

— Дом строишь? — спросил Ивлев.

— Ага.

— Зачем?

— Охота пожить по-человечески.

— Это надо... Я тоже, наверно, когда-нибудь себе дом выстрою.

— Тебе-то зачем? Тебе дадут.

— Нет, сам, в том-то и дело. По-моему, каждый человек должен построить хотя бы один дом на земле.

— Хм...

— Ты стихи любишь?

— Нет.

— Зря. Я б тебе прочитал...

— Прочитай.

Ивлев отставил пустой стакан, лег, натянул на грудь тулуп.

— Еще налить?

— Нет, все. Легче стало... Такое состояние сейчас, как будто водки стакан выпил.

— Читай стихи.

Электрическая лампочка трижды мигнула.

— Лампешка есть?

— Не надо. В камелек вот подкинь.

Иван подкинул в камелек. Свет погас. Только на полу и на потолке играли красноватые мягкие блики. У Ивана сделалось отчего-то очень хорошо на душе.

— Читай.

— Значит, так...

Тары-бары-растабары...
Чары-чары —
очи — ночь.
Кто не весел,

Кто в печали, —
Уходи с дороги прочь.
Во лугах,
под кровом ночи,
Радость даром раздают.
Очи-очи...
Сердце хочет...
Поманите —
я пойду.
Тары-бары-растабары...
Всхлип гармони.
Тихий бред.
Разбазарил...
Тары-бары...
Чары были,
Счастья нет.

— Ничего, — одобрил Иван.
— Да?
— А еще знаешь?
— Знаю.

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают!
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?..
Тихо в поле. Устали кони.
Тихо в поле —
зови, не зови.
В сонном озере,
как в иконе, —
Красный оклад зари.

— Это мне больше поглянулось.
— Правильно. Ты спать хочешь?
— Нет.
— Тогда полежим просто так. Устал маленько. Ложись на диван вон.

Иван прилег на диван и стал смотреть, как на потолке играют призрачные пятна света. Стихи разбудили какое-то затаенное чувство безболезненной грусти...

Утром Родионов вызвал врача к Ивлеву.

Молодой розовощекий врач деловито осмотрел Ивлева, обстукал, обслушал... Посмотрел значительно на Родионова. Тот вышел на улицу. За ним вышел врач.

— Ну?

— Воспаление легких. В самой такой... свирепой форме. Или в больницу надо, или здесь, но обязательно с врачом...

Родионов вернулся в комнату.

— В больницу ляжешь?

Ивлев хмуро смотрел на первого секретаря.

— Что у меня?

— Воспаление легких.

— Здесь можно лежать?

— Лучше в больницу...

— Я не могу в больнице. Мне там хуже будет.

— Давай здесь. Как же ты достукался до этого? В Барнауле-то можно было сходить... Нет, надо какой-то дурацкий героизм проявить.

Ивлев молчал. Смотрел на ковер, который висел над кроватью: Красная Шапочка и Серый Волк на поляне. А вдали, между деревьев, виднеется избушка с красной крышей, а в углу, справа, струится синий ручеек. А на полянке солнечно и много цветов. И волк на редкость нестрашный.

Иван был тут же. Смотрел на Ивлева и думал о Марии: «Дура ты, дура... От такого мужика отбрыкиваешься».

А вечером к Ивлеву пришла Мария. Он лежал один (старушка-сиделка пошла домой взять вязанье). Коротко скыргнула сеничная дверь... Незнакомые шаги по сеням. Легкий стук в дверную скобу.

Ивлев промолчал — лень было говорить «да!». Нужно было говорить громко, а он громко не мог. Дверь открылась... Вошла Мария.

— Здравствуй.

Ивлев приподнялся на локтях, некоторое время оставался в таком положении — трясся, потом опустился в изнеможении.

— Здравствуй. Садись.

Мария присела к нему на кровать.

— Как дела?

Ивлев усмехнулся, глотнул пересохшим горлом.

— Как сажа бела.

— Ничего, поправишься, — Мария положила ладонь на горячий лоб его... Сухие воспаленные глаза Ивлева зияли из подсиненных кругов глазниц напряженным, до жути серьезным блеском. Мария прикрыла их ладонью, склонилась и начала исступленно целовать Ивлева в губы. Шептала: —

Милый ты мой, хороший... Стерженек ты мой железненький... Устал? Занемог...

Ивлев чувствовал, как на лицо ему падают теплые тяжелые капли. Одна капля сползла к губам, он ощутил вкус ее — солоновато-горький.

— Зачем ты плачешь?

— Я тоже устала... Я пришла к тебе совсем.

Ивлев обнял се, прижал к груди слабыми руками.

— Ну, вот...

— Я тебя выхожу. Мы с тобой будем хорошо-хорошо жить.

К горлу Ивлева подкатил твердый комок.

— Конечно.

— Дураки мы, чего мы мучаемся?.. Можно так хорошо жить.

— Конечно.

Пришла старушка-сиделка и ушла.

— Вот и хорошо, — сказала она на прощанье. — Так-то оно лучше.

После старушки пришел Иван с одеялом и книжкой. И тоже ушел. Этот на прощание спросил только:

— Ничего не надо сделать?

— Ничего, — ответила Мария. — Спасибо.

«Вот и все, — думал Иван, шагая от Ивлева домой. — Так всегда и бывает. Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать сюда? Не поедет, ведьма...».

И дом расхотелось строить, и о будущем своем расхотелось думать... Захотелось напиться.

С Майей у Пашки так ничего и не вышло. Он не на шутку закручинился. Не радовал новый дом, не веселили мелкие любовные похождения. Опять пришла как будто настоящая большая любовь, и опять ее увели.

Жили они с Иваном пока в одной половине дома. Вечерами, если не ходили в кино или на танцы, сидели дома. Иван читал книги, Пашка крутил патефон. Один раз Иван пожаловался:

— Слушай, я уже озверел от этого «паренька кудрявого». Отдохни ты маленько.

Пашка остановил патефон, долго смотрел в черное окно, думал о чем-то — все о том же, наверно.

— Ваня, — заговорил он грустно, — у меня в кабине под сиденьем лежит «злодейка с наклейкой». Принести?

Иван отложил книжку.

— Неси. Закусить есть чем?

— Посмотри в сенях... Нюрка приносила что-то давеча.

...Выпили бутылку, закусили.

— Ваня, — опять начал Пашка грустно, — у меня в кабине под сиденьем лежит еще одна такая же сволочь. Принести?

— Неси.

Пашка ушел за «сволочью», а Иван задумался. У него на душе было не веселее. Радость, которую принес собственный дом, оказалась недолговечной, прошла. С любовью тоже не вышло. Стала одолевать тоска.

Пришел Пашка, поставил на стол вторую бутылку. Молча выпили ее.

— Ваня, — в третий раз заговорил Пашка, — у меня в кабине под сиденьем лежит хороший провод. Давай удавимся?

— Что же это такое получается, Павел? Ерунда какая-то. Почему мы так живем?

— Ерунда, — согласился Пашка. — Давай в самодеятельность запишемся?

— Пошел ты к черту, я серьезно с тобой... Почему мы так дохло живем?

— Пойдем к Майе? А?

— Зачем?

— А так просто. В гости. Пойдем?

— Пошли. Не выгонит она нас?

— За что? Мы же культурно... Помнишь, я ей проиграл бутылку коньяку?

— Ну.

— Пойдем отдавать. Я уж недели две как купил его, а отнести... все времени нету.

— Хм... Пошли.

Майя жила у стариков Сибирцевых, занимала горницу.

В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Александрович.

Юрий Александрович ходил по комнате и очень убедительно доказывал Майе, что дважды два — четыре.

— Пойми: если ты пойдешь работать в редакцию, ты должна проститься с профессией педагога. Навсегда.

— Почему?

— Потому!.. Ты что, всю жизнь здесь собираешься оставаться?

— Нет.

— Так в чем же дело?

— Поработаю в редакции, и все. Это интересно, — Майя сидела с ногами на кровати. Была она в простеньком ситцевом халатике... Волосы слегка растрепаны; шпильки лежали на этажерке с книгами, которая стояла у изголовья кровати. Юрий Александрович — без пиджака, галстук — на спинке кровати.

— Ты упустишь время, и тот опыт, который здесь все-таки можно получить, работая в школе, ты не получишь. Тебе трудно будет начинать в городе. Ты приобретешь никому не нужный опыт литсотрудника районной газетки — для чего?

— Это интересно, — капризно повторила Майя.

— Это неинтересно! Это значит — тратить попусту время! — Юрий Александрович заметно нервничал. — Скажите, пожалуйста, ее убедили!

— Меня никто не убеждал!

— Тебя убедили.

— Юрка, ты иногда становишься невыносимым. Меня никто не убеждал. Мне сказали: «У нас очень трудное положение в редакции — нет толкового литсотрудника». И все. Спросили: «Вы не хотели бы пойти поработать туда?». Я сказала: «Можно».

— Тем хуже! У них трудное положение! А у тебя...

Тут вошли Пашка и Иван.

— Здравствуйте! — громко сказал Пашка.

Майя и Юрий Александрович слегка растерялись. Майя опустила с кровати ноги, нащупывала туфли, смотрела на нежданных гостей.

— Здравствуйте. Проходите. Садитесь.

Пашка прошел к столу, достал из кармана коньяк.

— Долг принесли. Должны были Майе Семеновне, — особо пояснил он Юрию Александровичу.

Иван стоял у двери, жалел, что согласился идти с Пашкой.

«Какого черта приперлись. Помешали, кажется».

Юрий Александрович взял коньяк, посмотрел этикетку... Качнул головой, тонко улыбнулся, подал бутылку Пашке.

— Возьмите. Выпейте где-нибудь в другом месте.

Пашка взял бутылку, снова поставил ее на стол. Терпеливо объяснил учителю:

— Мы же не к тебе пришли, верно?

Майе было очень неловко. А Иван — наоборот — успокоился. Тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя.

— А давайте выпьем, правда! — громко сказала Майя. Сказала — как головой в речку; покраснела, глянула на Юрия Александровича, тряхнула головой: — А что?

Учитель опять тонко улыбнулся, чуть заметно пожал плечами.

— Я не буду, например.

— А мы без тебя, — грубовато сказал Пашка. — Давай, Семеновна! Неси стаканы.

Майя, на ходу оправляя волосы, ушла в прихожую комнату. Учитель прошелся по комнате...

— Все-таки, ребятки, вваливаться поздно вечером к девушке... да в таком состоянии... это, знаете, не очень вежливо.

— А ты сидишь тут — это вежливо? — спросил негромко Пашка.

— Во-первых, не «тыкайте» мне! Во-вторых, я повторяю, что вваливаться ночью к девушке — это невежливо, некультурно. Ясно?

— А ты сидишь тут — это культурно?

— Мы коллеги с ней!

— А мы с ней друзья.

— Так не компрометируйте друзей! Она девушка, я еще раз повторяю, во-вторых, она учительница. А здесь деревня-матушка...

Вошла Майя. Сразу поняла, что без нее тут крупно поговорили, Расставила стаканы... Засмеялась неестественно.

— Ну, что вы? Давайте пить?

Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньяк по стаканам.

— А о вас я лучше думал, между прочим, — сказал вдруг учитель, глядя на Ивана. — Жаль, ошибся.

Иван понимающе кивнул головой, сказал серьезно:

— А ты не думай никогда хорошо про людей — ошибаться не будешь.

— Ты будешь пить с ними? — резко спросил учитель Майю.

— Да, — она посмотрела на него. — Буду.

Учитель подошел к стулу, на котором сидел Пашка, взялся за пиджак... Пашка прижал пиджак спиной.

— Не дури... Выпей с нами.

— Разрешите!

— Не обижайся... Просто нам тоскливо сделалось, мы и пришли к вам. Что тут обидного?

Учитель сел к столу, закурил.

— Не в такое время и не в таком виде надо приходить, — буркнул он.

— Давайте! — сказала Майя. — Тебе налить, Юра?

— Налей.

Иван внимательно смотрел на учителя, изучал. Тонкое бледное лицо, красивые волнистые волосы, большие темные глаза — красив, нежно красив. Глаза умные.

«Что он так рассвирепел на нас?»

Майя выпила первой... Поперхнулась, долго кашляла и стонала. Учитель смотрел на нее недовольно и грустно.

«Нет, Пашке с таким тягаться трудно», — думал Иван.

Учитель выпил с усилием, но не кашлял, не морщился... Отщипнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел.

Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил.

— А ты что, Павел? — спросила Майя.

— Я-то? — Пашка очнулся от своих невеселых дум. — Выпью... За твое счастье.

— Спасибо.

— И за твое, — Пашка кивнул учителю. — За ваше.

— Спасибо.

— Давай, Ваня.

Иван взял свой стакан, выпил.

— А вы за кого выпили? — спросила его Майя весело.

— Сам за себя.

— Это эгоизм.

— Ну и что? — просто спросил Иван. — За вас?.. А что за вас пить? Вы и без того счастливые, наверно, — он говорил искренно. Он завидовал учителю. — Вообще это глупость — пить за чье-то счастье. Да и не пьет никто за чужое счастье. В душе всегда пьют за свое.

Замолчали. Пашка опять задумался.

— Да... — сказал он. — Ну, что ж?.. Пошли, Иван?

— Пойдем, — Иван поднялся. Ему действительно хотелось уйти — тяжело было сидеть рядом с учителем, неловко.

Их никто не удерживал.

— До свидания. Извините нас.

— Ничего. До свидания.

— До свидания.

Ночь была морозная, лунная. Снег звенел под ногами.

— Фу-у, — вздохнул Пашка. — До чего же трудно с этими интеллигентами.

— Она живет, что ли, с ним?

— Что ты, не видишь? Живет, конечно. Знаешь что?.. Пойдем в одно место! Я не могу домой идти — зареву.

— Пойдем.

Одно место — это крайняя изба в Баклани. Рядом, через дорогу, лес. Ни ворот, ни плетней вокруг избушки... Торчит, как скворешня.

Пашка стукнул в окно.

В избушке вспыхнул слабый огонек.

Долго никто не выходил. Потом избяная дверь с треском отодралась, заспанный женский голос спросил недовольно:

— Кто это?

— Я, — ответил Пашка.

— Павел?..

Женщина медлила.

— Ты к свету еще не мог явиться?

— Спорить будем, да?

Громко звякнул железный засов... Дверь приоткрылась, Пашка сунулся было в сени, но его тотчас крепко толканули оттуда.

— Пьяный?.. Иди к черту! — засов коротко громыхнул. — Я тебе говорила, чтоб ты пьяный сюда не являлся. Говорила? Говорила.

— Нинка!

Избяная дверь захлопнулась. Свет в избе погас.

— Поджечь их, что ли? — подумал вслух Пашка.

— Докатились Любавины, — остервенело сказал Иван.

Пашка изо всей силы пнул в дверь.

Тотчас в сени из избы вышли, и уже другой женский голос — постарше — сердито предупредил:

— Пашка, если ты будешь фулиганить тут!..

— Открой, Муся.

— Зачем напился?

— Не откроешь?

— Нет. Не надо было пить.

Иван пошел от крыльца.

Пашка еще что-то говорил с Мусей, а Иван шел по улице и зло думал: «Докатились... Какие-то... и те гонят».

Пашка догнал его.

— Пойдем еще в одно место...

— Ну их к черту! Пойдем к Ивлеву?

— К Ивлеву?

— Ага. Он хворает — попроведаем.

— Нет, к Ивлеву ты один иди. А я пойду еще в одно место.

— Счастливо.

Разошлись в разные стороны.

«Что-то не так... не то, — думал Иван. — Надо как-то менять житуху».

Навстречу ему, из центра, стали попадаться люди. И чем дальше он шел, тем больше было людей. Шли группами, громко разговаривали о совхозных делах. Иван понял — с собрания идут. Остановился, подслушал разговор двух парней. Те спорили.

— Да знаю, знаю я это! — бубнил один. — Что ты мне на мозги капаешь, знаю я все эти штуки!..

— Пошел ты к... — заматерился другой. — Задолдонил: знаю, знаю.

— Знаю!

— Тебе бы наторкать полную кладовую хлеба и лежать на печке — это ты знаешь. А я плевать хотел на такое богатство! Понял? Я хочу телевизор купить. Понял?

«Может, мне тоже телевизор купить? — подумал Иван. — Что бы такое сделать?»

К Ивлеву он не пошел. Дошел до ворот его дома, постоял, повернулся и пошел домой.

«Что бы такое сделать?», — думал он.

Петр Ивлев поправился скоро. И не только поправился, а обрел какую-то особенную, редкостную энергию в работе. Казалось, этот невысокий, крепкого покроя человек хочет прожить пять жизней за одну хочет доказать, что сердцу человеческому нет износа.

Закладывали две новые фермы, строили новый клуб, строили общественную баню, завозили стройматериалы для строительства маслозавода и пенькозавода. Организовывали в Баклани школу механизаторов, начинал действовать штаб культуры, готовились к районной комсомольской конференции... Каким-то чудом Ивлев поспевал всюду.

...На очередном заседании бюро райкома партии обсуждали работу райкома комсомола. Первый секретарь райкома комсомола, долговязый парень, прилизанный и точный, нудно перечислял мероприятия райкома комсомола за от-

четный период, значительно паузил, хмурился, когда говорил о недостатках, важничал... И не догадывался по простоте душевной, как смешон он в роли молодежного вожака, организатора, запевалы в горячих делах.

Ивлев морщился, не глядел на комсомольского «лидера». Скулы воротило от скукоты, от безысходной, вялой казенщины.

«Гнать в шею, гнать. Но прежде измордовать публично, на конференции».

Секретарь кончил наконец жевать мочало мероприятий и цифр, сел, вытер лоб платком.

Встал Ивлев.

— Не знаю, как вам, товарищи, но мне этот доклад в одно ухо влетел, в другое вылетел. Что был он, что не было. А вид-то какой у секретаря — дело сделал! Панихида это, а не доклад!.. Молодой парень, комсомольский секретарь, час двадцать минут подсчитывал мероприятия, как старуха на базаре гроши считает — трясется. Как не стыдно?!

У секретаря райкома комсомола полезли глаза на лоб.

— Не так я понимаю комсомольскую работу, — продолжал Ивлев жестко. — Ну что это?.. Тридцать семь приводов в милицию дружинниками — сосчитал. И баста. А там хоть трава не расти. Тридцать семь раз отметил карандашом — привели! Кого привели? Почему? Не его дело.

— Приводили хулиганов!

— В селе тридцать семь хулиганов живут?! Да ты что? Откуда? Кто они? Ведь эти хулиганы, о которых ты говоришь, это же обыкновенные золотые ребята, они когда надо, по пятнадцать — восемнадцать часов из кабин не вылезают...

— Я не заношу их всех в хулиганы, — оправдывался секретарь, — но иногда эти «золотые ребята» выпивают и...

— Выпивают, потому что больше делать нечего. Потому что секретарем в райкоме комсомола сидит бесхребетное существо...

— Ивлев!..

— Я, что ли, им дело буду находить? — спросил секретарь.

— Ты. А кто же?

— Я не нянька.

— Нянька тут не нужна, тут нужен свойский парень, и не бюрократ. Тут голова нужна. Если не так, то зачем ты вообще нужен? Я побывал, товарищи, на многих отчетных собраниях в первичных комсомольских организациях, везде одна и та же картина: скука зеленая! Дышать нечем. Это на-

зывается работой? Вы по двадцать пять человек огулом в комсомол принимаете — это работа? Чем же вы, райком, еще-то занимаетесь, если вам некогда побеседовать с каждым вступающим в комсомол? Что же есть еще главнее этого в вашей работе, если это не самое главное? В общем, на районной конференции я буду выступать против такой работы, против таких комсомольских организаторов. Все. Предлагаю признать работу райкома комсомола за отчетный период неудовлетворительной.

Ивлеву не хватало времени. Он приходил домой поздно вечером. Рассказывал что-нибудь жене (не знал, чем еще развлечь ее, скучающую), старался вспомнить смешные или нелепые случаи. А иногда говорил серьезно, с горячим натиском о делах, волновавших его... Мария внимательно и терпеливо слушала. У Ивлева от ее подчеркнутого внимания пропадала всякая охота говорить серьезно, и вообще говорить ни о чем не хотелось. Ужинали, ложились спать.

«Что же делать?.. Как с ней быть? — мучился Ивлев, обнимая спокойную жену. — Критикую комсомольского секретаря, а у самого жена от скуки с ума сходит».

Утром вставали, и Ивлева снова подхватывал суетной вихрь срочных, неотложных, обязательных дел. Он забывал о жене.

Однажды, впрочем, попробовал заговорить с ней так:

— Думаем организовать выступление самодеятельности по радио. Спой чего-нибудь...

Мария посмотрела на мужа, горько усмехнулась.

— Ты это серьезно?

— А что? Хорошо ведь поешь.

Мария ничего больше не сказала. Ивлев тоже прикусил язык. В другой раз он предложил ей принять участие в работе штаба культуры...

— «Штаб культуры» — слова-то какие, — сказала она. — Там где «штаб», там не может быть культуры, и наоборот. Не делом вы занимаетесь, товарищ секретарь. Простительно отцу моему — он человек старых навыков, а вы-то молодые!

Ивлев решил серьезно понять ее.

— А как ты считаешь, надо насаждать культуру в селе? — как можно спокойнее спросил он.

— Все дело в том, что ее не надо насаждать. Это не кукуруза.

— А что надо делать?

— Ничего. Все придет само собой в свое время.

— Неправда. К нам с тобой ничего не пришло само собой, нас учили люди, нам рассказывали...

— Нас учили грамоте. А культура — это совсем другое. Ты считаешь себя культурным человеком?

— Во всяком случае, разберусь, где черное, а где белое, где настоящее, а где суррогат, наигрыш, кривляние...

— Меня, что ли, имеешь в виду?

— По-твоему, культурно — стать в позу и фыркать на все? Чем пропадать от безделья, подготовила бы хорошую лекцию о литературе, например, прочитала бы молодежи. Разве это плохо? А может, послушает какой-нибудь толковый парень и задумается... Или о живописи, о музыке... Ведь нужно все это! Ты посмотри, как тебя будут слушать, если будешь говорить интересно. Нет, вы от скуки чахнете. Бессовестные люди...

Мария опять усмехнулась. И замолчала.

Прошла районная комсомольская конференция. В райком избрали других людей. Членом бюро комитета избрали, между прочим, и Майю Семеновну, литсотрудника районной газеты «Боевой клич».

По этому поводу у нее состоялся короткий разговор с Юрием Александровичем.

— Поздравляю, — сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Спасибо. А почему ты с таким ехидством поздравляешь?

— Никакого ехидства. Я горжусь тобой. Ты здесь далеко пойдешь.

— Перестань, Юрка!

— Я серьезно. А выступила ты неважно. В институте лучше выступала.

— Ну... как могла.

Новым секретарем райкома комсомола стал Воронцов Степан, сын того Воронцова, который когда-то помогал Кузьме Родионову наводить в Баклани советские порядки. До этого Степан работал механиком в Бакланской МТС. Кузьма Николаевич с радостью поддержал кандидатуру Воронцова.

В субботу выехали на двух машинах в Краюшкино — Родионов, Ивлев, Воронцов, три инженера (двое молодых),

ревизор из сельхозотдела, Майя Семеновна — проверять положение дел в краюшкинском колхозе. После того, как Кибякова избрали секретарем парторганизации колхоза, оттуда опять посыпались благополучные сводки. Родионов настоял на немедленной проверке (вместе с благополучными сводками он получил из Краюшкина несколько писем, о содержании которых пока никому не сказал).

Инженеры ехали экзаменовать новоиспеченных краюшкинских механизаторов. Майя Семеновна — от газеты, секретари и ревизор — для общего знакомства с делами колхоза.

Кибяков не ждал такую страшную комиссию, растерялся, заегозил. Особенно старался перед Ивлевым — знал, что молодой секретарь пользуется у Родионова большим доверием и уважением. Ивлев сразу невзлюбил парторга.

Работать начали в тот же день.

В клубе за столом сидели инженеры. На столе на газетах лежали детали тракторных и автомобильных моторов, на стене висели схемы двигателей внутреннего сгорания, какие нашлись в райцентре. К столу по одному подходили молодые трактористы, шоферы... Им задавали вопросы, они отвечали, как могли.

Тут же, в клубе, в актерской комнате, Степан Воронцов знакомился с комсомольским активом колхоза.

Родионов, ревизор, председатель колхоза и бухгалтер сидели в конторе колхоза, считали, пересчитывали, сверяли сводки, складскую документацию, разные накладные. Ивлев изучал протоколы общеколхозных и партийных собраний, беседовал с коммунистами в отдельном кабинете.

Председатель колхоза, Цапов Федор Федорович, сидел рядом с Родионовым и хмуро смотрел, как тот въедается в бумаги. (Делами в колхозе ворочал Кибяков, председатель зачастую был ширмой.)

Кибяков сидел дома. Ждал.

Через три дня комиссия закончила работу.

— Нет худа без добра, — сказал Родионов Ивлеву. — Будь сейчас здесь другой секретарь, мы бы, может быть, и не собрались сюда еще два года. Ну, га-ад!

Кибяков развернулся здорово.

Было, например, в краюшкинском колхозе четыре пасеки. По документам везде проходило четыре. Но количество ульев в каждой было занижено. Фактически существовала пятая пасека, которая в документах нигде не числилась. Мед

с четырех пасек продавали государству, часть раздавали колхозникам на трудодни. Мед с «пятой» шел «налево» — на базар. Нужно было додуматься, как продавать колхозный мед. Так просто не вывезешь и не продашь: накроют. И тогда председатель, наученный Кибяковым, предложил колхозникам: «Давайте так — чем ездить в город продавать мед в одиночку (почти все колхозники продавали мед, потому что получали его много), мы здесь будем его собирать у всех, сливать в бочки и отвозить на машине в город. И продавать. А вы будете получать чистые денежки в зависимости от того, кто сколько сдавал. Цены базарные всем известны». Так и делали: собирали со всех дворов мед и отвозили в город. Кибяков даже хвастался, что они таким образом убивают сразу двух зайцев: помогают и колхозникам, и колхозу. Колхозу — потому что колхозники не «базарничают», а работают на общественных работах. Все было так, только убивали не двух зайцев, а трех: мед с «пятой» пасеки спокойненько сплавлялся на базар. Продавал мед свой человек, и никто не знал, сколько его там продано. С колхозниками честно расплачивались, а выручку от «пятой» пасеки делили между собой Кибяков, председатель колхоза, четыре пасечника и еще два-три человека, причастных к махинации.

Были и еще дела, более или менее пакостные и темные. Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для выведения черно-бурых лисиц. Сколько-то выводили этих самых лисиц, а в основном ловили их в государственном заповеднике, который был под боком. Подкупили для этой цели несколько человек из охраны заповедника. И «законным» образом отвозили драгоценные шкурки в «Заготпушнину».

Кибяков понял, что погорел, выпутаться невозможно. Два дня, пока комиссия работала, сидел дома, на третий не выдержал — сбежал. Потом на общеколхозном собрании выяснилось, что на его счету были и другие дела, не строго «коммерческого» характера: он, пользуясь властью в колхозе, склонял молодых женщин и девушек к сожительству.

Ивлев ехал из Краюшкина в подавленном состоянии. Ехал он один (оставался проводить партийное собрание).

— Вот дела какие! Слышал? — спросил он Ивана.

— Слышал, — откликнулся тот. — Главный-то сбежал?

— Найдется, дело не в этом... Когда они выведутся, эти паразиты? Все настроение убивают, сволочи.

— Когда выведутся? Никогда.

— Как так?

— Очень просто: кто же от денег откажется, какой дурак? Можно украсть — воруют.

— Ну, это ты, брат, сгущаешь краски. Ты воруешь?

— Мне негде.

— А воровал бы, если б было где?

Иван промолчал.

— Если так думать, лучше завязывать глаза и бежать куда-нибудь. Просто бдительность нужна. Давить надо гадов, уничтожать в каждом углу, где обнаружатся.

— Как здоровье-то? — спросил Иван.

— Все в порядке. Мое, что ли? Нормально. Нет, меня вот что удивляет: в колхозе полторы тыщи человек; пять-шесть человек воруют почем зря, ворохами, возами, и полторы тыщи человек ничего не замечают — этого я не понимаю, — рассуждал Ивлев. — Какая-то куриная слепота напала на всех.

— Кому какое дело.

Ивлеву вспомнилась Мария со своим божественным равнодушием; она, наверно, сказала бы точно так же: «Кому какое дело».

— Пошли вы к черту с такими взглядами! — рассердился он. — Тоже мне откопали философию.

Долго молчали.

— Построил дом-то? — спросил вдруг Ивлев.

— Построил.

— Ну и как?..

— Что? Живу...

— Жениться-то когда будешь? Пригласил бы на свадьбу хоть.

«Будь я малость понастырнее, я бы тебя пригласил на свадьбу. Только ты бы не пошел на нее». Иван в глубине души был уверен, что проморгал Марию из-за собственной нерешительности — все чего-то ждал, тянул резину.

— Жениться — не напасть, женатому бы не пропасть, — буркнул он.

Ивлев засмеялся. Ему почему-то стало весело. Он часто так переходил из самого мрачного настроения в самое веселое.

— Ничего, Ваня, не робей — все будет хорошо.

Штаб культуры начал разворачиваться. Делались первые шаги.

В работе штаба принял участие и Пашка Любавин. Это случилось так.

Однажды вечером в новый дом к Любавиным пришла Майя Семеновна. Братья опешили. Майя улыбнулась и повела такой разговор:

— Ребята, мы организовали в Баклани штаб культуры. Задача наша — поднимать культуру на селе. Мы обращаемся к вам за помощью.

— А что мы должны делать? — спросил Иван.

— Завтра, в воскресенье, мы, например, организуем рейд под названием: «Долой пошлость!». Будем заходить в дома и объяснять хозяевам, особенно молодым, что всякие картинки с лебедями, разные кошечки, слоники — все это ужасная безвкусица, мещанство. Это не красиво, а пошло! Надо объяснять людям, что это некультурно. Чем так засорять свои комнаты пестрым хламом, лучше купить две-три хорошие репродукции картин больших мастеров и повесить у себя. Это, кстати, будет и дешевле. И это будет культурно. Пусть не все сразу поймут, мы на это и не рассчитываем. Но не может быть, чтобы никто не понял. Поймут. Причем, когда говорить об этом будете вы, односельчане, это подействует сильнее, чем когда говорим мы, городские.

— Я согласен! — сказал Пашка, глядя на девушку влюбленными глазами.

— А вы?

Иван усмехнулся.

— Я нет.

— Почему?

— Не выйдет у меня ничего. И у Павла не выйдет.

— Пардон, пардон, — загорячился Пашка. — Как это у меня ничего не выйдет?

— Почему не выйдет?

— Да потому... На смех только поднимут, и все.

— Ну-у, напрасно вы так... Надо же попробовать.

— Правильно, надо попробовать! — Пашка ходил по комнате, делал вид, что он очень заинтересован, даже волнуется, а сам не спускал глаз с Майи.

— Попробуйте. А что, они мешают вам, эти слоники?

— Мешают. И потом... Вообще это уже другой разговор. Павел, ты согласен?

— Я за! Пора на самом деле привыкать к культуре. Что это такое!.. Зайдешь в избу — одни слоны. У нас — пожалуйста — никаких слонов.

— Мы с тобой перекультурили — у нас вообще ничего нет.

— Будет!

— Конечно, будет, — поддакнула Майя. И засмеялась. — А мне даже нравится у вас, вы знаете.

Пашка замер, как на стреме.

— На полном серьезе?

— Да. Только... А вам не скучно одним здесь?

Братья переглянулись.

— Слушай, — сказал Пашка, — приходи к нам жить?

Майя вытаращила на него глаза.

— Как это?

— Да не сюда, а в ту половину. Та половина тоже ведь наша.

— Серьезно?

— Абсолютно!

— Я бы с удовольствием... Только... я ведь не одна. Мы ведь поженились с Юрой. Правда, сдайте нам ту половину?

«Как дите малое! — изумился Иван, глядя на Майю. — Обрадовала — замуж вышла... Этот высох из-за нее, а она к нему на квартиру просится с мужем».

— С законным браком, — сказал Пашка упавшим голосом.

— Спасибо, — Майя сообразила наконец, что не обрадовала Пашку своей радостью. — Ну, хорошо. Приходи завтра в райком комсомола. Да?

— Ладно.

— До свидания.

— До свидания. Приходи хоть в гости.

Майя опять засмеялась и вышла. Сказала на прощанье:

— Спасибо.

— Вот так, Иван Егорыч!.. — Пашка опять заходил по комнате. — Они поженились с Юрой. С Юрочкой.

— Пойдешь завтра?

— Куда? А-а, схожу. Все равно делать нечего. Они поженились с Юриком. Слышал?

— Слышал. Комсомольской свадьбы почему-то не было.

— Неужели мы плохие ребята? — Пашка остановился перед братом. — Что мы, в поле обсевки, что ли? Почему нам так не везет? Ведь любил бы я ее!.. — Пашка почти заорал, показывая руками на дверь. — На руках бы носил, не дышал бы! В чем же дело?!

— Носом не вышел, — Иван отвернулся с книжкой к стене.

В воскресенье с утра в райкоме комсомола собрались человек двенадцать молодых ребят и девушек. Набились в одну комнату, расселись кто где. Пришел Ивлев, громко поздоровался со всеми. Азартно поблескивая глазами, стал говорить о задачах штаба культуры.

— Главное, ребята, чтобы мы сами в калошу не сели. Мы начинаем большое дело, начинать всякое дело трудно, а такое особенно. Брать на арапа нельзя. Убеждайте, критикуйте, смейтесь, но не становитесь в позу, делайте все просто, по-свойски. Если в дом войдет этакий молодой гений и начнет свысока все охаивать, — пропало дело.

Пашка слушал Ивлева, снисходительно сморщившись, выказывал заметное нетерпение, скучал — такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что боролся с пошлостью. Он был старше всех здесь и единственный из старожилов.

Майя сидела на подоконнике, что-то записывала карандашом в сиреневую книжечку. На ней было простенькое синее платьице, которое ей очень шло, волосы гладко зачесаны и собраны сзади в пучок — аккуратненькая, в меру полненькая, вся налита молодым добрым здоровьем, чистая, свежая. Какая-то особенно красивая в это утро. Пашка старательно не смотрел в ее сторону.

Пошли по деревне — кто куда.

Пашка направился к Лизуновым. Когда-то, когда он крутил с Катькой любовь, он видел у нее в горнице этих самых слоников и кисочек.

Все Лизуновы были дома. Завтракали.

— Приятного аппетита, — сказал Пашка.

— Садись с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо, — Пашка присел на припечье. — Только что из-за стола.

Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннего гостя; она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней? У нее не склеилась семейная жизнь: муж попался пьющий, драчливый... Пожила с ним года три, помучилась и выгнала. Теперь сидела — вдова не вдова и не мужняя жена.

— Я к тебе, Катерина, — сказал Пашка.

— Сейчас, — Катерина торопливо дохлебала из тарелки, вышла из-за стола. Прошли в горницу. — Ты что?

Пашка поглядел на слоников на угловом столике, на кисочек, на бумажные цветы... Потом посмотрел на хозяйку... Стоит — молодая, изождавшаяся... Легкое ли это дело — еще до тридцати лет остаться совсем одной, и никакой надежды, что впереди будет друг, семья, дети. А годы идут.

— Так... зашел попроведать тебя... Шел мимо, дай, думаю, зайду, — Пашка натянуто улыбнулся; ему стало жалко Катерину.

«Морду бить таким мужьям», — подумал он о муже Катерины.

Катерина недоверчиво смотрела на Пашку.

— Что-то непонятно...

— Как живешь-то? — спросил Пашка и опять невольно глянул на слоников.

— Ничего... Какая моя жизнь! Кукую, — Катерина присела на высокую кровать, задумалась.

«Приду сегодня к ней», — решил Пашка.

— На танцы пойдем вечером?

Катерина удивленно посмотрела на Пашку. Горько усмехнулась, вздохнула.

— Легко вам, ребятам... Куда же я на танцы попрусь? Ты что! Совесть-то у меня есть?

— Тогда я в гости приду вечером. Мм?

— Зачем?

— В гости.

Катерина опять посмотрела на Пашку долгим взглядом.

— От ворот получил поворот у Ниночки?

— Не в этом дело. Прийти в гости-то?

— Как же ты придешь? Что я, одна, что ли?

— А чего они тебе? Ты на них — ноль внимания.

— Ноль внимания...

— А приходи-ка ты к нам!

— В новый дом-то?

— Ну.

— А для чего, Павлуша?

Пашка ответил не сразу. Действительно, для чего? Жалко Катерину... Но, честно говоря, что это, выход из положения? Ну — ночь, ну — неделя, месяц... А дальше?

— А я откуда знаю? Так просто... тоскливо ж тебе одной. И мне тоскливо.

— Тоскливо.

— Ну вот!..

— Думаешь, вдвоем веселее будет?

— Не знаю.

— Нет, не будет. Так это... самообман.

— Ну, ты уж сильно-то не унывай.

— Я не унываю.

«Может, взять ее в жены? — серьезно подумал Пашка. — Чем не баба — все на месте. Заботливая будет, суп будет варить, ребятишек нарожает... Может, так все и делают? Она, правда, посплетничать любит... А кто из них не любит посплетничать?»

— Замуж-то чего не выходишь?

Катерина усмехнулась.

— Бери. Пойду.

— Вот и приходи сегодня, потолкуем.

— Перестань ты... ботало! — рассердилась Катерина. — Зачем пришел-то?

— Некультурная ты, Катерина. Темнота.

— Ох ты!.. Давно ты культурным-то таким стал?

— Что это, например, такое? — Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. — Для чего? Или кот вот этот... — Пашка презрительно прищурился на кота (кот, кстати, ему нравился). — Это же... предрассудки. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет; выкидывай все, пока не поздно.

Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашка начинал расходиться.

— Вы сами, Катька, виноватые во всем. Обвиняете ребят, что они за городскими начинают ударять, а вас забывают, а нет чтобы подумать: а почему так? А потому что городские... интереснее. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, три раза красивше ее, а нарядится в какой-то малахай... черт не черт и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе да пройтись по улице весело, станцевать там, спеть... Нет, вы будете сидеть на лавочке, семечки лузгать да сплетничать друг про друга. Ох, вот эти сплетни!.. — Пашка стиснул зубы, крутнул головой. — Это надо бросить к чертовой матери. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот она начинает тебе про своих же подружек: ля-ля-ля-ля... Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду.

— Ты что, с цепи, что ли, сорвался? — спросила Катерина. — Ты чего это?

— Ну вот, пожалуйста, сразу тебе по лбу — с цепи сорвался. А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой: «В чем дело, Павлик?».

— Пошел к дьяволу!.. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.

— А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся, как ни в чем не бывало. Вот тогда ты будешь интересная женщина. Ходи, будто тебя ни одна собака никогда не кусала: голову — кверху, грудь — вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи — это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нет подходить к тебе.

— Ну и не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили, пошли вы все к черту кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю. А туда же — некультурная. Ну, так и иди к своим культурным. Или не шибко принимают они тебя?

— Никакого движения в человеке! — горько воскликнул Пашка. — Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю! Ничего мне от тебя не надо.

— Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту. Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный — к чужим бабам в окна лазить. Кто к зоотехниковой жене вот сюда ночью приходил? Думаешь, я не знаю? Сидел бы... Полдеревни уж охватил, наверно?

— Я от тоски, — сказал Пашка. — Я нигде не могу идеал найти.

— Вот когда найдешь, тогда и читай ей свои молитвы по воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно?

Пашка оделся и с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах, вышел от Лизуновых. Буркнул на прощание:

— Поработай в таких вот условиях.

На улице сунулся в карман, закуривать, там лежат два маленьких слоника — положил их туда нечаянно и забыл.

«Нарушил теперь все твое счастье, Катя-Катерина».

Шел домой и пытался понять, почему этим «штабистам» не нравятся слоники, кошечки и коты — ведь красиво же. У Катьки Лизуновой, например, просто здорово в горнице...

Степан Воронцов рано остался без отца (Пронька Воронцов умер от тифа в 1934 году), рано узнал, что такое труд. Рано научился огромному русскому терпению.

Работать пошел лет с двенадцати. Бывало, поедет на мельницу зимой, а мешки — каждый пятьдесят-семьдесят килограммов. Навалят ему на спину такую махину, и он прет по сходне вверх: ноги трясутся, в глазах — круги оранжевые. Сходня — две-три сшитые тесины, поперек — рейки набиты. Обледенеет она, эта сходня, поскользнется Степан, мешок его и пришлепнет к тесинам-то. Морда в крови. Или за горючим в город ездили: тулупишко драный, пимы — третью зиму одни и те же — никакого тепла в них. А мороз градусов под сорок. И ехать не двадцать, не тридцать километров, а восемьдесят. Окоченеет Степан, спрыгнет с саней и бежит километра полтора-два. И так до самого города: половину едет, половину бежит.

Был он очень стеснительный парень, улыбчивый. Разговаривал мало. Потом уж, когда подрос, когда стал зарабатывать побольше, любил принарядиться... Но все равно то и дело краснел и с девками не дружил. И работал, работал... И всегда как будто немножко стыдился этого — что очень много работает. День, с ранней зари и до темна, жал жнейкой (очень любил машины) — весь черный от горячей пыли, с головой, опухшей от беспрерывного стрекота и звона, — а поздно вечером приходил на гулянье на улицу нарядный, нешумно веселый, вежливый. Откуда что бралось! Посмеивался застенчиво. Чуб у него был преотличный — волнистый, буйный, крашенный солнцем. Дрался Степан редко, не горланил под окнами у добрых людей частушки с матерщиной. И странное дело: «холостежь» уважала его за это. Уважали и тех, кто носил за голенищем нож или пружину от сеялки, но уважали и Степана. И всегда потом, всю жизнь, нес в себе этот сдержанный, крепкий парень что-то такое, что вселяло в людей невольное уважение к нему.

Потом они с матерью и с младшей сестренкой переехали в Светлоозерский совхоз (в восьми километрах от Баклани. Мать вышла туда замуж за фронтовика-инвалида). Стало немного легче. Устроился Степан работать слесарем в слесарную мастерскую совхоза, а вечерами стал ходить в Баклань — в вечернюю школу-семилетку. Окончил семь классов и двинул в автомобильный техникум, в город. Трудно было тогда учиться — шла война. Все три с половиной студенческих года он не переставал работать: грузил вечерами вагоны на товарной станции, чистил улицы от снега, колол лед на Бие... Все, что было приличного из одежды, все продал, проел. Доходило до того, что не в чем было идти на

лекцию. Однажды сидел в общежитии босиком (сапоги накануне продал), чистил картошку... Входит в комнату преподавательница немецкого языка, тихая добрая старушка не от мира сего (она была из эвакуированных).

— Воронцов, вы почему не на лекции?

Степан спрятал под кровать босые грязные ноги.

— Захворал.

— Что с вами?

— Голова болит.

В комнате был собачий холод. Старушка увидела, что он босой, раскудахталась:

— Да как же голова не будет болеть!.. И сидит — хоть бы что ему? Сейчас же обуйтесь!

Степан покраснел до корней волос.

— Ладно.

— Что «ладно»? Что «ладно»? Вы хотите воспаление легких схватить? Обуйтесь!

— Нету, — сердито сказал Степан. — Сапог-то нету.

— А где же они?

— Где... Нету. Проел.

— Поэтому и на лекцию не пошли?

— Как же пойдешь? Сегодня товарищ приедет из дома, привезет.

— Ая-яй, — вздохнула старушка. — Знаете, что? Я вам сейчас принесу. У вас какой размер?

— Сорок первый.

— Я вам сейчас принесу. Они хоть и женские, но вам подойдут — они разносились.

— Да что вы!

— Ничего. И вы пойдете на лекцию. Лекции нельзя пропускать.

Принесла старушка старые домашние шлепанцы с меховой опушкой.

— Примеряйте.

Степан, чтобы не обидеть заботливую старушку, напялил шлепанцы и пошел на лекцию. И проклял потом и эти шлепанцы и добрую старушку — товарищи подняли его на смех (шлепанцы не очень шли к солдатским галифе). На каникулы Степан приезжал домой и с остервенением принимался за работу. Нужно было еще помочь сестренке, которая оканчивала в Баклани десятилетку. Приезжал всякий раз веселый, обходительный — студент. Только не такой на-

рядный. И руки старался не показывать: они у него были огромные, твердые, как дерево, мозолистые.

Все выдержал Степан, все перенес — техникум окончил.

Приехал домой, выпил на радостях и плясал в совхозном клубе. А плясать не умел, а ему наверно, казалось, что он все умеет. Размахивал руками, высоко подпрыгивал и подпевал:

Пляшу, пляшу, пляшу я;
Подпояшу Яшу я
Тоненькой резиночкой —
Назову картиночкой!

Это было смешно. На другой день ходил он пристыженный, смущенно посмеивался, и ему очень хотелось уехать куда-нибудь из деревни недели на две.

Война к тому времени кончилась.

Устроился Степан в Баклани, в МТС, механиком по ремонту. А вечерами, после работы, рубил себе дом. Вдвоем с отчимом. Отчим без руки — помощник слабый.

Наняли как-то машину, поехали ночью за лесом — не хватало на сруб. Ехать надо было километров за сорок, на Бию. Грузили сплавной лес; бревна как свинцовые — под силу пятерым. Отчим и шофер выбились из сил, а Степан торопит:

— Давайте, давайте.

— Ну тя к черту, Степан! Давай хоть покурим, — взмолился отчим.

Степан улыбнулся, вытер рукавом пот с лица, сказал негромко:

— Покурите, а я пока буду подкатывать их к машине, — Степан торопился, потому что успел договориться насчет леса только с одной организацией, а с другой какой-то не договорился — не было начальства. Так вот эта вторая организация могла накрыть — доказывай потом, что договориться просто не успели, а время не ждет: лес сплавной — сезонный — можно прозевать. Ничего этого Степан не сказал ни отчиму, ни шоферу.

Нагрузили машину, стали выезжать на взвоз — машина не тянет. Шофер вспотел, перекидывает скорости, рвет мотор...

Степан попробовал выехать сам — тоже ничего не вышло.

— Давайте скинем половину, — сказал он, не глядя на отчима и шофера.

Скинули половину, выехали. Потом эти скинутые бревна затаскивали на себе на взвоз и опять грузили на машину. Когда оставалось уже немного, штук пять, Степан взвалил на плечо толстый комель, коротко, негромко вскрикнул, сбросил бревно, сел на землю. Сплюнул на ладонь, посмотрел — кровь.

— Надорвался.

Его усадили в кабину и повезли в больницу.

И это выдержал Степан. Отлежался в больнице, достроили дом, переехали из совхоза в Баклань. Сестру Степан отправил учиться в институт, в Томск. Жизнь пошла в гору.

Потом Степан служил в армии. Прослужил три года, вступил в армии в партию. Вернулся, опять пошел в МТС. Работал хорошо, товарищи любили его. На районной комсомольской конференции, когда предложили его избрать в новый состав райкома, все делегаты единодушно проголосовали — за.

Так Степан сделался первым секретарем Бакланского райкома комсомола.

В это же время приехали на практику в Баклань сестра Степана, Наташа, и с ней подружка — Оленька.

Степан, как только увидел эту Оленьку, так сразу понял, что он еще настоящего горя не знал, что это только предстоит ему.

Оленька не отличалась красотой. Но Степан был особенный человек: ему всегда нравились девушки с каким-нибудь недостатком. Если у девушки неровные зубки и она шепелявит, Степана это умиляло. Если девушка ходить не умеет, переваливается уточкой, Степан в восторге от нее. Он, правда, никогда не выказывал своего восторга. У него только ласково темнели серые задумчивые глаза.

У Оленьки было сразу два недостатка: первый — она страдала близорукостью, носила большие сильные очки, второй — Оленька была вертлява, звонко, часто без причины, смеялась, обо всем судила легко и просто. Таких людей Степан не уважал, но Оленьке это очень шло. А когда она снимала очки и беспомощно и несколько растерянно смотрела вокруг, у Степана тревожно и сладко ныло под сердцем, ему хотелось как-нибудь помочь Оленьке. Словом, Степан влюбился.

И вот как-то в воскресенье, вечером, пошел он с Оленькой в кино.

Погода была великолепная — тихо, морозец.

Шли, болтали всякую чушь.

Встречается Пашка Любавин (они товарищи со Степаном).

— Здорово!

— Здорово.

У Пашки — Степан знает — поганая привычка: как встречает незнакомую девушку (с кем бы она ни шла), так начинается: шуточки разные, хаханьки, хиханьки... И глаза у него становятся нехорошие — хитрые и озорные. Так и тут:

— Познакомь, Степа.

— Знакомьтесь.

Пашка долго держал в своей руке Оленькину маленькую ручку, смотрел ей прямо в очки и улыбался.

— Норсульфазол Пирамидоныч.

Оленька так и покатилась.

— Оленька, — так она представлялась всем. — А почему вас так зовут?

— Потому что я в аптеке работаю.

— Нет, серьезно? — Оленька посмотрела на Степана; тот сморщился, как от зубной боли, и с тоской посмотрел на Пашку. — А меня как бы назвали, если бы я в аптеке работала? Валерьянкой?

— Валерьянкой лечат сердце, — авторитетно пояснил Пашка, — а от вас... кхм... это — наоборот — болеть начинает.

Оленька опять засмеялась.

— Какие у вас красивые бусы! — заметил Пашка.

— Да ну... красивые. Обыкновенные.

— Вот именно, что необыкновенные. Они очень идут вам.

— Серьезно?

У Степана заболело сердце. Он курил, сплевывал в сугроб и в десятый раз, наверно, перечитывал надпись на дощечке, на дереве (они стояли в садике, возле клуба): «По газонам не ходить!».

— Можно я посмотрю? Хочу своей девушке купить такие же.

— Пожалуйста.

Пашка воткнул нос в бусы.

— Шикарные бусы!..

«Вот же зараза!.. — злился Степан. — Нужны ему эти бусы, как собаке пятая нога».

— Это Степан Прокопьич подарил?

— Что вы!.. Степан Прокопьич считает это мещанством — сделать подарок девушке. — Оленька засмеялась. Пашка тоже подхихикнул.

— Ошибаешься, Степа. Хоть ты и руководитель теперь, а все равно ошибаешься.

«Нет, какой паразит все-таки!..», — мучился Степан. Упорно молчал, смотрел на табличку негромко и фальшиво насвистывал «Пять минут».

— В кино пошли? — спросил Пашка.

— Да. Говорят, интересная картина. Вы не видели?

— Нет.

— Пойдемте с нами? — предложила Оленька.

«Все, готова! — горько изумился Степан. — Стоило поточить с ней лясы, и она испеклась».

— С вами?.. — Пашка мельком глянул на Степана, нахмурился и посмотрел на часы. — С удовольствием бы, но... в аптеку надо — инвалиды ждут, — опять дурацкая улыбочка, пожатие рук... — Хе-хе...

— До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья, Степа!

— Будь здоров.

Пошли.

Оленька посмотрела на Степана, улыбнулась.

— Это твой друг, да?

— Друг, — Степан был мрачнее тучи.

— Ты чего такой?

— Ничего.

Некоторое время шли молча.

— Хороший парень. Верно? — спросила Оленька. — Шутник...

— Он трепач хороший — это да.

— Да в чем дело-то? Вот не нравится мне в тебе...

— Ладно, — сказал Степан. — Нравится, не нравится... Нечего было идти, если не нравится.

— Я могу уйти. Пожалуйста, — Оленька серьезно обиделась.

— Ну и что?

Оленька, ни слова не говоря, повернулась и пошла назад.

Степан продолжал шагать к кинотеатру. На какое-то время он перестал соображать — что к чему. Знал только, что надо идти вперед и не оглядываться. И он шагал и ничего

не видел перед собой. Какая-то оглушительная пустота враз обрушилась на него и парализовала все чувства. Осталось одно тупое желание — шагать вперед, делать все так, как делали бы они вдвоем.

Он взял билет, вошел в зал и стал смотреть картину. Картину он, конечно, не видел, хотя старательно пялил глаза на экран.

«Это даже к лучшему, что так получилось, — думал он. — Лучше уж сразу... Жизни у нас все равно бы с ней не было, раз она такая. Я бы только измучился с ней. Пошла? — пожалуйста, будь здорова!»

Он высидел сеанс, вышел со всеми вместе... И тут на него навалилась такая тоска, хоть становись на четвереньки и вой.

«Выпить надо, — решил он. — А то пойду к ней унижаться».

Взял в дежурном ларьке бутылку водки, выпил в тракторном вагончике, который стоял во дворе конторы РТС, закусил снегом и пошел к Любавиным.

— Бусы, говоришь, понравились? — спросил он с порога, наводя на Пашку пьяный, страшный в тоске своей, взгляд. — Хорошие бусы?..

Пашка сразу сообразил, в чем дело, прикинул расстояние от порога до скамьи, где он сидел, — на случай, если Степан кинется: можно было успеть отскочить к печке и схватить клюку или сковородник.

— Ты что, чернил выпил? — спросил Пашка.

Степан медленно пошел к нему; он очумел от водки и от горя.

— Сколько я тебя, кобеля, знаю, столько ты вредишь людям... Получи хоть один раз за это...

Пашка поднялся с лавки. К печке за клюкой не побежал: Степан нетвердо держался на ногах, можно было обойтись без клюки.

— В чем дело, друг? — спросил Иван; он сидел за столом, разбирал карбюратор.

— А вот у братца спроси... вот у этого!.. — Степан размахнулся и ударил по воздуху. Пашка увернулся.

— Степан!..

— Что-о?.. — Степан опять размахнулся правой и неожиданно крепко завесил Пашке левой по уху. — Что?!

Пашка качнулся, переступил ногами... В мгновенье подобрался, подшагнул к Степану и умело дал ему в челюсть.

У Степана ляскнули зубы. Пашка еще раз изловчился, опять достал по челюсти... Из Пашки, наверно, вышел бы хороший боксер: Иван заметил, что он нисколько не изменился в лице, не ослеп от злости. Глаза были напряженно внимательны, ловили каждое движение противника, искали открытое место.

Степан ринулся на Пашку. Он был сильнее его, но не так ловок. Пока он достал своим кулаком Пашку, тот еще раза три угодил ему в челюсть. И всякий раз от его хлестких, точных ударов голова Степана моталась вбок, и сам он шатался. Зато, когда достал он, Пашка отлетел назад, сплюнул и опять мгновенно скрутился в боевой упругий узел. Еще несколько раз молниеносно сработала его великолепная правая рука... Оба молчали.

Иван отложил карбюратор и с громадным интересом следил за этой «культурной» дракой. Только когда Степан дал Пашке в лоб и тот отлетел к столу, Иван подошел к Степану, поймал его за руки.

— Ну, помахал, и будет. Иди отсюда.

Степан рванулся — не тут-то было: руки у Ивана как тиски. Тогда Степан раскачнулся и боднул Ивана головой. Иван отпустил его и ударил. Степан отлетел к двери, открыл ее затылком, упал в сенцы, Вскочил, схватил, что попалось под руку, — деревянный дверной засов — вбежал в избу.

— Иван!.. Смотри!.. — крикнул Пашка, подбираясь к прыжку.

— Я вас научу... паразиты... — у Степана по лицу текла кровь. — Я вам устрою веселую жизнь.

Иван отступил к печке.

Пашка сгреб табуретку и запустил ее в Степана. Тот загородился руками. А в этот момент Пашка прыгнул к нему и ударом ноги в живот посадил на пол.

Минут пять, наверно, корчился Степан. Пашка взял у него засов и стоял над ним, ждал... Вытирал подолом рубахи красные сопли.

— Ну, руководители пошли... кха!.. Не бюрократы — на дом приходят морду бить.

— Чего это он? — спросил Иван.

— А хрен его знает! Прическа моя не поглянулась.

— Про бусы какие-то говорил... Какие бусы?

Пашка ничего не сказал насчет бус. Отхаркнулся, толкнул ногой Степана.

— Вставай. Хватит.

Степан поднял голову... Посмотрел снизу на Пашку долгим внимательным взглядом.

— Я сейчас приду, — с трудом сказал он.

— Завтра придешь.

Степан кое-как поднялся, пошел к двери...

— Сейчас приду, — не оборачиваясь, сказал он. И вышел.

— В чем дело-то? — опять спросил Иван.

— С кралей его позубоскалил... Степка — телок-телок, а бить умеет. Глянь, что он мне тут натворил?

Иван подвел Пашку к свету, оглядел.

— Губу рассек. Иди умойся.

Пашка вышел в сенцы, закрыл дверь на засов, тогда только снял рубаху и стал умываться.

— Еще может прийти?

— Придет, наверно. Ему что втемяшится — не отступит. Пьяный, тем более.

Степан пришел. Толкнулся в дверь — заперто. Он постучал.

— Откройте!

Иван хотел было идти открывать, но Пашка остановил.

— Ты что!.. Он наверняка с топором там стоит.

Иван остановился посреди избы.

Степан долбанул чем-то тяжелым в дверь.

— Откройте!.. — еще удар в дверь. — Выродки кулацкие!

— Давай откроем. Что он, одурел, что ли?

— Сиди. В том-то и дело, что одурел.

Степан еще раза три-четыре грохнул в дверь.

— Выдержит, — спокойно сказал Пашка. Он имел в виду дверь.

Степан потоптался на крыльце. Слышно было, как скрипят под его ногами промерзшие доски.

— Ну, гады!.. я так не уйду, — сказал он и пошел с крыльца.

Пашка подскочил к выключателю, вырубил свет.

— Отойди от окна!

— Ты что?

— Отойди, говорят!

Иван отошел к двери. И в этот момент на улице грянул выстрел; окно с дребезгом разлетелось.

— Вот дура!..

— Ох ты!.. — Иван выскочил в сенцы, вырвал засов, прыгнул с крыльца, сшиб Степана в сугроб, долго топтал ногами... Взял ружье, вошел в дом, включил свет... Он был бледный.

— Ты, зас.., дозубоскалишь когда-нибудь! — рявкнул он на Пашку.

— Не ори, — сказал Пашка негромко. — Я не виноват, если люди шуток не понимают.

— Шутник.

Долго сидели молча. Иван вынул из казенника пустую гильзу, бросил в печку. Ружье отнес в кладовку.

— Замерзнет ведь он там, — сказал он, входя в избу.

Пашка поднялся и пошел на улицу за Степаном.

Степан плохо стоял на ногах, держался за Пашку. Его клонило в сон: не то он был сильно избит, не то вконец развезло от водки.

Иван расстелил на полу полушубок, свернул под голову фуфайку... Пашка раздевал Степана. Тот покорно стоял, свесив голову. Сопел.

— Эх, дура, дура, — ворчал Пашка.

Уложили Степана на полушубок, накрыли другим полушубком. Он моментально заснул.

Братья заделали выбитое окно подушками, разделись и тоже легли.

— Довел человека!

— Кто его доводил? Он сам себя довел. Подумаешь — приревновал к красотке, нужна она мне сто лет.

Степан храпел во всю ивановскую.

Утром поднялись рано.

Степан сидел на полу тупо смотрел вокруг — не понимал, где он.

— Ничего не помнишь? — спросил Пашка.

— Нет.

— Тц!.. ухлестался.

— Убить нас вчера хотел, — сказал Иван, с любопытством приглядываясь к красивому умному парню; Степан нравился ему. Он часто видел его в райкоме, несколько раз возил их вместе с Родионовым по деревням. Всегда думал про Степана: «Толковый парень».

Степан с видимым усилием стал припоминать. Посмотрел на Пашку...

— Вот, брат, как, — к чему-то сказал тот. — Опохмелиться дать?

— Дай, — посоветовал Иван. — Ты уж не выходи пока никуда, отлежись здесь, а то стыда не оберешься — опух весь.

— А что было-то? — спросил Степан.

— Ты сколько выпил вчера?

— Черт его знает... Бутылку, кажется.

— И с бутылки тебя так развезло?

— А что было-то?

— Убить хотел, я ж тебе говорю. Вон видишь окно-то... Стрелял.

Степан принялся искать по карманам папиросы.

— Я пока побуду у вас, — сказал негромко. Вытащил пустую пачку, смял ее, бросил в угол. Лег, закрыл рукой глаза. Ему было тяжело.

— Не переживай особенно-то, — сказал Иван. — Никто не видел, кажется.

— На, похмелись, — сказал Пашка, подавая Степану стакан водки.

Степан сел, выпил, опять лег, закрыл лицо рукой. От закуски отказался — закрутил головой. От папиросы тоже отказался — тоже мотнул головой. Молчал.

Пашка с Иваном ушли на работу.

О поступке Степана узнали в деревне. Поползли слухи! Пашка Любавин изнасиловал невесту Степана. Степан стрелял в него, не попал. Тогда братья Любавины зверски избили Степана и спрятали его у себя дома. К вечеру того же дня история эта гуляла втихаря из дома в дом. Дошла она и до райкома партии.

На другой день, с утра, Родионов вызвал Степана к себе в кабинет.

Степан вошел спокойный, готовый ко всему. Он и сам хотел прийти к Родионову.

— Здравствуйте, Кузьма Николаич.

— Здорово. Садись.

Степан сел в мягкое кресло, положил на колени большие жилистые руки... Посмотрел на них, снял с колен, сунул в карманы. Посидел немного, вынул руки из карманов, опять положил на колени, но тут же убрал, положил на пухлые боковины кресла. Но опять убрал, — зажал между колен. Так остался сидеть.

Родионов дописывал что-то. Дописал.

— Ну? — спросил он, поднимая глаза на Степана. — Рассказывай.

— Напился вчера, подрался с Любавиными.

— За что?

— По дурости своей...

— Ну, а все-таки.

— Та-а... — Степан мучительно сморщился. Он жестоко страдал. — Девку приревновал к одному Любавину...

— К какому?

— К Павлу... Я сегодня все обдумал: снимайте меня с секретарей, а из партии, я прошу, не надо. Любое взыскание... самое строгое, только не исключайте.

Родионов встал из-за стола, прошелся по кабинету.

— Это до каких же соплей надо упиться, чтобы поднять ружье на людей?! — резко и горько спросил он. — А? Ты что, бочку выпил?

— Бутылку, — Степан положил огромные кулаки на колени и мрачно рассматривал их.

Родионов остановился около него.

— Ты секретарем сам теперь не хочешь быть или боишься, что все равно не оставят?

— Сам, конечно. Какими же я глазами на них глядеть буду?

— На кого?

— На всех... На комсомольцев.

— Тьфу!.. Черт, — Родионов опять стал ходить по кабинету. — Это уж я не знаю, какими ты глазами будешь глядеть на них. А глядеть придется.

— Я перееду куда-нибудь.

— Будешь секретарем, как и был, — твердо сказал Родионов.

— Вы что?

— Ничего.

— Так сами комсомольцы снимут...

— Поговорим с комсомольцами. Я лично буду настаивать, чтобы тебя оставили в райкоме. Получишь взбучку хорошую и будешь работать.

— Войдите в мое положение, Кузьма Николаич...

— Я вошел! — рявкнул Родионов. — Вошел — и вышел! Бежать собрался? Вот! — секретарь показал Степану кулак. — И запомни мой совет: от себя не бегай — не убежишь. Нашкодил? — смотри в глаза людям! Кровью плачь, а смотри! — секретарь застучал казанками пальцев по столу; он обозлился, говорил с придыхом, смотрел прямо и гневно, шрам на лбу побагровел. — Семьдесят семь потов прольешь, глаза на лоб вылезут, тогда приходи снимать выговор. Все.

Можешь идти. Тебе еще на бюро пустят ежа под кожу, так что приготовься. И не распускай слюни, и не психуй. Работай.

Степан поднялся. Родионов пошел вокруг стола — садиться на место.

— И еще вот что, — вспомнил он. — Такие слова, вроде «кулацких выродков», выбрось навсегда из разговора. Понял? Кулаков давно нету и выродков тоже нету — есть люди.

Степан вышел из кабинета.

Часа через два после этого Родионов поехал в Ключевской сельсовет — это километров семьдесят пять от Баклани. Ехали вдвоем, разговорились.

— Что же ты не расскажешь ничего? — спросил Родионов.

— А чего рассказывать?

— Что у вас сегодня ночью было?

Иван посмотрел на Родионова.

— Ничего.

— Драка была?

— Была небольшая.

— Даже стрельба, говорят.

Иван промолчал. Родионов посмотрел с усмешкой.

— Старая тюремная привычка — не болтать?.. Силен мужик. Я уже все знаю, не скрывай. Здорово подрались?

— Ерунда... шуму только много.

— Шуму много, — согласился секретарь.

Помолчали.

— Что ему теперь будет? — спросил Иван.

— Кому? Воронцову? Что будет... Снимут с секретарей, исключат из партии...

— Зря, — убежденно сказал Иван.

Родионов с интересом посмотрел на него.

— Что «зря»? Мало?

— Зря исключите. Так можете пробросаться хорошими коммунистами.

— А ты откуда знаешь, что он хороший коммунист?

— Видно человека...

— Ну-у... внешность обманчива. Слышал такую присказку — про внешность?

— Слышал. Не знаю, как кто, а я по-своему рассуждаю: если человек хороший, значит, и коммунист хороший. А хорошего человека всегда видно.

— Ох ты?

— А что, не так? Вы, конечно, по-своему цените: для вас — чтоб биография была чистая, чтоб говорить умел человек, чтоб у него вид важный был...

— Конечно, — согласился секретарь. — Не рецидивистов же восхвалять. Но ты все-таки ошибаешься, — добавил он серьезно. — И беда в том, что многие так думают, не один ты — помолчал, глядя вперед на дорогу, подумал. — Ничего, все войдет в норму. Все будет как надо. А Ивлев, по-твоему, хороший коммунист? — Кузьма Николаевич опять с интересом посмотрел на Ивана.

— Ивлев? Он и коммунист и человек хороший, — не задумываясь сказал Иван. — Он такой... настоящий.

— А я?

Иван посмотрел на секретаря.

— Ничего.

Засмеялись.

— Спасибо и на этом. Значит, по-твоему, не надо исключать Воронцова?

— Нет. Этот, если выйдет, скажет что, так ему хоть поверишь. Видно, не болтун. А вот таких, которые полтора часа алилуя поют, я бы на вашем месте гнал в три шеи. Неужели не видно, кто себе жирный кусок хлеба зарабатывает, а кто действительно коммунизм строит?

— Легко рассуждать...

— Они вам всю обедню портят, горлопаны эти. У нас в автобазе в Москве был один: как собрание, он первый орет: «Коммунизм!» «Коммунизм!» А потом два контейнера с барахлом со склада увез по фальшивым документам. Вот тебе и «коммунизм». А этого вот разоблачили, в Краюшкино-то... Тоже небось убеждал. Ненавижу таких гадов. Воруешь, так уж молчи хоть.

Родионов чему-то вдруг негромко, весело засмеялся.

— Иван, а ведь вы совсем другие стали... Совсем непохожие!

— Как это? Кто?

— Вы... — Родионов хотел сказать «Любавины», но не сказал. — Люди.

— Все меняется, — Иван не понял, о чем говорит секретарь.

Родионов отвернулся и задумчиво, с легкой усмешкой, смотрел вперед. Мысли его были где-то далеко.

— Все будет хорошо, Ваня, — сказал он. — Будет на земле порядок. И нас добрым словом помянут.

На бюро Родионов коротко доложил:

— Воронцов приревновал невесту к одному парню, к Любавину, напился и учинил драку. Стрельбу открыл. Серьезного ничего нет, но шуму много. Предлагаю выслушать его...

— Простите, Кузьма Николаич, — перебил его Селезнев, — мы это дело сейчас рассматриваем как персональное? Или в порядке предварительного знакомства? На бюро комсомола разбирали поступок Воронцова?

Родионов поморщился от обилия вопросов, пояснил:

— Я опасаюсь, что на комсомольском бюро могут погорячиться и вымахнуть с водой ребенка. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у райкома партии до разбирательства этого дела там было свое определенное мнение. Рассматривайте это как предварительное знакомство, все равно. Суть не в этом. Я прошу учесть вот что, — Родионов встал. — Прошу учесть вот какое обстоятельство, товарищи: проступок Воронцова тяжелый, и наказать мы его накажем, но это парень наш. Это честный, преданный партии человек. Как секретарь он начал работать хорошо. И думаю, что и дальше не подкачает. Жизнь он прожил трудную, всего добился своим горбом и головой, авторитет среди молодежи у него крепкий...

— Мы что, благодарность ему собираемся выносить? Я не понимаю... — Селезнев поглядел на членов бюро.

— Сейчас я тебе дам слово, Селезнев, — резковато сказал Родионов. — Я повторяю: Воронцов — не белоручка, не маменькин сынок, это рабочий парень, и он в любых обстоятельствах не растеряется и не раскиснет. Сейчас комсомольская жизнь в районе усложнилась, почти половина комсомольцев — механизаторы, комсомольский вожак должен быть свой человек для них. Воронцов на месте. Предлагаю объявить ему строгий выговор и ограничиться этим. Прошу Селезнев.

Селезнев заговорил сидя.

— Я слышал о подвиге, в кавычках, Воронцова и совершенно не согласен с вами, Кузьма Николаич. Первое: вы говорите: «Воронцов — наш парень». А кто, простите, не наш? Есть такие?

— Есть, — бросил реплику Ивлев. — Полно.

— Не знаю. Не думаю.

— Надо думать.

— Ивлев, я дам потом тебе слово, — сказал Родионов. — Не перебивай.

— Вы поймите, товарищи... — Селезнев, задетый за живое Ивлевым (они с самого начала невзлюбили друг друга), встал и, обращаясь почему-то к военкому, заговорил громко и отчетливо: — Если мы оставим Воронцова секретарем, мы подведем под моральный удар весь райком комсомола. Я не собираюсь отнимать у Воронцова его хороших качеств, они, может быть, есть у него, но как комсомольский вожак и как коммунист он себя дискредитировал. А если учесть, что вся общественность страны, а комсомол — в первую очередь, как никогда серьезно поставили перед собой...

— Это все ясно, — не выдержал сам Родионов. — Что мы, не знаем, какие задачи ставит себе общественность и комсомол? Что ты предлагаешь?

— Вывести Воронцова из состава райкома комсомола и поставить вопрос о пребывании его в партии. Его поступок несовместим с членством в КПСС. То же самое нам скажут в крае.

— Не знаю, что нам скажут в крае, — загорячился Ивлев, поднимаясь, — но я знаю теперь одно: Селезнев — перестраховщик.

— Полегче, — посоветовал Селезнев.

— Я присоединяюсь к мнению Родионова. Добавлю только: до каких пор мы будем выдвигать в комсомольские секретари или юных карьеристов, или кисейных барышень! До Воронцова был секретарь — эта бледная глиста с дипломом, извиняюсь за грубость. А Селезнева такие устраивают. Такой уж не ошибется, не пойдет драться, хоть жену у него уведи. Я не оправдываю Воронцова — он свое получит. Но замахиваться на его партийность — извини, Селезнев, — руки коротки. Он в партии не потому, что он пай-мальчик, который никогда не ошибется, он — вот почему! — Ивлев гулко стукнул себя в грудь кулаком. — Сердцем в партии. Нам этих пай-мальчиков, этих вежливых карьеристов гнать надо, а не выпячивать. Мы — не институт благородных девиц, мы — партия. Нам нужны работники, выносливые, преданные люди. Он в партии потому, что связал с ней свою нелегкую судьбу, а не потому, что хочет урвать от жизни как можно больше. Кому же быть еще в партии, как не таким! А между прочим, Воронцов как раз очень скромный и глубо-

ко культурный человек. То, что случилось... — это обидно. Но ничего: за битого двух небитых дают. Вперед умнее будет. И не бойся, Селезнев, что мы подведем под моральный удар: Воронцова знают. Все.

— Кто еще?

— Ясно, — сказал военком. — Давайте его самого послушаем, а потом уж...

Степан вошел в большой кабинет, окинул всех тоскующим взглядом, сел на стул.

— Ты часто пьешь? — спросил его военком.

Степан качнул головой.

— Нет.

— Раньше были какие-нибудь взыскания?

— Нет.

— Он кооптирован краем? — спросил Селезнев.

— Нет еще, — ответил Родионов.

— Ясно.

— Есть еще вопросы?

Молчание.

— Как сам думаешь о своем поступке, Воронцов? — спросил Родионов.

Степан пожал плечами...

— Плохо.

— Как же ты так?.. — сказал военком, глядя на него с искренним участием.

Степан опять пожал плечами, ничего не сказал.

— Еще вопросы?

— Нету... Ясно.

— Все, Воронцов. Твое персональное дело будет рассматриваться на бюро райкома комсомола, потом здесь.

Степан вышел из кабинета, ни на кого не глядя.

— Переходим к следующему вопросу.

Через три дня бакланских секретарей вызвали в край. Посоветовали быть готовыми к отчету — на всякий случай.

Родионов и Ивлев решили, что первый секретарь хочет познакомиться с ними, и ехали с легким сердцем.

Селезнев не выказывал ни воодушевления, ни тревоги. Помалкивал.

С отъездом секретарей Иван оказался совершенно свободным человеком.

В первый день с утра часов до двух читал, валяясь в кровати (Пашки дома не было), потом наколол дров на неделю вперед, вычистил в ограде... Опять почитал — книжка показалась неинтересной. Оделся, пошел к Нюре в библиотеку — менять книжку. Уже вечерело.

Когда шел из библиотеки, встретил около школы Марию. Она возвращалась со школьниками с лыжного похода. В шерстяном лыжном костюме (красном), разрумянившаяся, веселая... Увидев Ивана, несколько отстала от школьников.

— Здравствуй, — улыбнулась; зубы ослепительно белые, ядреные, ноздри крупные, шевелятся. Дышит — пар идет.

«Царь-баба», — с восхищением подумал Иван.

— Здравствуй, — Иван тоже остановился.

— Через час... — она посмотрела на часы. — Через час и пятнадцать минут быть около моего дома. С машиной.

— Слушаюсь, товарищ генерал!

— Можете быть свободны... пока, — Мария смотрела на Ивана весело. Ей нравился этот сильный, остроумный парень.

Шли некоторое время вместе — до школы.

— Что читаем?

Иван показал: «Наполеон» Тарле.

— Ух ты! — удивилась Мария. И опять полоснула по сердцу ослепительной, как всплеск ножевой стали, улыбкой. — Ну, ну.

«Боже ж ты мой!!. Толкуют: счастье, счастье... Вот — ходит счастье — обыкновенное, на двух ногах, — и попробуй возьми его», — Иван сунул книжку в карман полушубка.

— Куда поедем?

— Подчиненные не задают вопросов. Подчиненные — подчиняются, и все. Ясно?

— Ясно, товарищ генерал.

— Вот так.

Через час пятнадцать минут Иван был у дома Ивлевых.

Мария стояла у ворот в черной шубке, в коричневом пуховом платке — опять невозможно красивая. Села рядом с Иваном, кивнула — «поехали».

— Куда все-таки?

— На тракт. А там видно будет.

Выехали на тракт.

— Теперь — прямо. Жми изо всех сил.

Иван решил, что ей нужно в Горный. Нажал.

Мария посмотрела на спидометр.

— На сто можешь?

— Нельзя... это не лето.

— Давай на сто.

— Хочешь перевернуться?

— Да, — Мария расстегнула шубку, распахнула полы, откинула назад голову, закрыла глаза. — Буду вот так ехать и ехать...

Иван глянул на нее, и у него заныло в животе от неодолимого мужского желания.

«Зараза... наведет на грех», — подумал он.

Сам толком не понимая, что он делает, взял одной рукой ее за подбородок, сдавил.

— Мм, — негромко, коротко простонала Мария. Открыла глаза, посмотрела на Ивана и опять закрыла.

— Куда едем? — хрипло и зло спросил он.

— К черту на рога, — серьезно сказала она. Оттолкнула его руку, села нормально.

Иван взялся за баранку обеими руками, вывел машину на середину тракта и дал полный газ.

— Вот так, — сказала она, опять откидываясь на сиденье. Закрыла глаза. — Так держать.

Иван загляделся на нее... «Победа» загрохотала на выбоинах. Мария вскинулась, посмотрела на Ивана. Тот, прикусив губу, притормозил, прижал машину к правой стороне.

— Давай разобьемся? — предложила Мария.

— Давай — ты сегодня, а я завтра, — вихрь обжигающего чувства изрядно трепанул Ивана, поднял с земли и бросил опять на землю.

«Вот так и теряют головы», — думал он.

Мария опять откинулась назад, раскинула руки. Иван поглядел на нее уже спокойнее. Родилась злость.

— Ты что, специально поиздеваться выехала?

— Уже? Заскулил?

— Нечего на служебной машине без дела разъезжать.

— Тогда поворачивай.

Иван развернулся и погнал обратно в Баклань. Молчал. Мария тоже молчала. Не глядели друг на друга.

Перед Бакланью Мария села нормально, застегнула шубу.

— Я сейчас приду к тебе, — твердо сказал Иван. Сказал — как шагнул в черный подвал, где ничего не известно, где может быть все.

Мария негромко засмеялась.

— Начитался про Наполеона?..

«Там увидим, про кого начитался», — ничего не сказал.

Высадил Марию у дома, отогнал машину в райкомовский гараж и решительным шагом пошел к дому Ивлева. Ни о чем не думал. Сжимал в кармане кулаки, смотрел себе под ноги. Торопился.

— Ну? — встретила его Мария. — И что же мы будем делать? — сидела с ногами на кровати, привалившись спиной к стене; крупные белые руки безвольно лежат на коленях. Смотрит вопросительно и спокойно.

Иван смахнул с плеч полушубок, шапку, пригладил ладонью густые, жесткие волосы.

— Посидим... потолкуем за жизнь.

— Тебе нравится жить?

— Ничего.

— А мне — нет.

— Врешь. Давеча испугалась в машине...

— Я просто боли не выношу. Если бы не было больно, — я бы сейчас готова.

— Скажите пожалуйста!.. какие мы.

— Вот такие.

— Чего же тебе не хватает?

— Любви.

— А Ивлев?

— Ивлев... Ивлев... Ивлев коммунизм строит.

— Одно другому не мешает.

— Ошиблась я, Ваня, — раздумчиво сказала Мария, глядя перед собой — куда-то далеко-далеко. — Позволяла из-за себя драться, мне это нравилось, а надо было самой драться за свою любовь. И сил бы хватило... Я ведь красивая? — она посмотрела на Ивана.

— Красивая, — согласился Иван.

— Вот это меня и сгубило. Ивлев счастливый — он помрет и не заметит как. А мне жалко, боязно — я ничего не сделала в жизни.

— Хм...

— Ум у меня не бабский... — она раскинула руки по стенке, вздохнула. — А полюбила бы сейчас, как самая обыкновенная баба — до слез. Унижалась бы, тряслась над своим счастьем...

— Хм... — Иван не знал, что говорить. В нем боролось два чувства: хотелось слушать Марию — она интересно говорила, и хотелось просто смотреть на ее грудь — два высоких бугра, туго обтянутых красным шерстяным свитером, хотелось подойти, смять их.

— Что ж не полюбишь, раз такое дело?

— Некого. Мне нужно, чтобы любимый мой страдал от любви, мучился, пел, плакал... Ты библию не читал?

— Нет.

— Там есть одна такая любовь... На любимое существо надо молиться. Вы не умеете так.

— Кто это вы?

— Вы: Ивлев, отец мой, ты...

— А меня-то ты откуда знаешь?

— Ты такой же... Не совсем еще, правда. Скоро будешь. Тебе понравится строить коммунизм. Это же очень важно — строить коммунизм. Очень серьезно.

— Едва ли из меня коммунист получится.

— Получится. Они умеют обрабатывать. Мужиков особенно.

— Ты про отца, что ли? Никого они не обрабатывают... Они работают. Честно работают.

— В том-то и дело: они верят и честно работают. И тебе когда-нибудь захочется верить. Это ужасно приятно — верить. И это ужасно глупо. Верить надо только себе. И то — не всегда.

— Мудреная ты... баба.

Мария ленивым движением поправила волосы. Помолчала.

— Ты в тюрьме не сидел?

— Нет, — зачем-то соврал Иван.

— Там есть интересные люди.

— Везде есть интересные люди.

— Иногда мне опять хочется в тюрьму.

«С жиру бесится», — думал Иван.

А она, между тем, говорила:

— Хочется каких-то необычных переживаний... Хочется, чтобы любимый человек был гений, которого никто не понимает...

— Ну, ладно... Я примерно знаю, чего тебе хочется, — сказал Иван изменившимся голосом. Он уже не владел собой. Встал, подошел к выключателю, погасил свет.

— Включи, — негромко потребовала Мария.

Иван пошел к кровати. Кровать скрипнула: Мария не то встала, не то отодвинулась вглубь. Было совершенно темно.

— Включи свет, — опять сказала она. По голосу Иван понял, что она стоит. Он протянул руку и коснулся ее груди.

— Уйди! — оттолкнула руку.

Иван обхватил ее и легко повалил на кровать. Но зато здесь Мария неожиданно оказала сильное сопротивление. Короткая, яростная возня... Иван, стиснув зубы, гнул, мял упругое тело, ждал, когда оно ослабнет, станет податливым. Оно ослабло, но сник и Иван — Мария плакала. Второй раз сегодня больно сбросила его на землю. Он почувствовал себя ужасно гадким и жалким. Включил свет.

Мария села, вытерла рукавом свитера слезы. И она тоже показалась Ивану жалкой и беспомощной. Даже смешной, после всех этих заявлений — что она хочет в тюрьму и гения в возлюбленные.

— Сама виновата, — сказал он. — Нечего было дразнить.

Мария молчала.

Иван оделся, взял шапку в руки... Подумал, что бы еще такое сказать... Ничего не нашлось. Надел шапку и вышел. На улице подумал: «Если расскажет Ивлеву, придется куда-то уезжать от позора». Уезжать никуда не хотелось.

Отчет Родионова о положении дел в Бакланском районе прозвучал, в общем, довольно бодро.

Лукин, слушая доклад, значительно усмехался про себя, все время записывал что-то себе в книжечку. После доклада он первый взял слово и неожиданно для бакланских секретарей повернул дело так, будто Родионов не просто знакомил обком с положением дел в своем районе, а оправдывался всеми правдами и неправдами.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он к Родионову и к Ивлеву (они рядом сидели), — почему этот вопрос о строительстве животноводческих помещений встал перед вами только сейчас, когда уже имели место случаи падежа животных? А о чем вы думали год назад?

— Год назад этот вопрос тоже стоял перед нами, но не так остро, — ответил Родионов. — А сейчас он стал главным для нас. Я уже говорил об этом.

— Да, но случаи падежа имеются?

— Имеются.

— Это нельзя было предвидеть?

— Можно было... Не всегда руки доходят. Мы делали упор на хлеб.

— Как видите, товарищи, — продолжал Лукин, — положение дел в Бакланском районе, если не угрожающее, то... оставляет, так сказать, желать лучшего. Видимо, тут не только руки у секретарей не дошли, но и еще кое-что. План хлебозаготовок едва-едва выполнен, скот падает, строительство ведется из рук вон плохо...

— Строительство ведется!

— ...Строительство ведется из рук вон плохо, товарищ Родионов! — я держу в руках документы. — Лукин потряс бумажками. — С начала зимы Бакланская и Катунская РТС — крупнейшие в районе — должны были по плану вывезти к местам строительства две с половиной тыщи кубометров леса, а вывезено... триста! Из чего же вы строите? Может быть, вы воздушные замки строите? Но это делается только в сказках, а мы с вами живем в реальной действительности. Или вы надеетесь на строительные организации, на государство? А думаете вы когда-нибудь расплачиваться за это? Дальше: вы утверждаете, что проблему кормов вы полностью решили, но почему же, позвольте спросить, план молокосдачи выполнен вашим районом только на семьдесят пять процентов? Почему?

Родионов посмотрел на Лукина... потер ладонью подбородок и потянулся к графину с водой. Ничего не сказал.

— Если ты, Родионов, не в состоянии ответить на все эти «почему», то это сделаю за тебя я. Твой метод руководства безнадежно устарел. Ты как руководитель совершенно растерялся перед тем новым, которое за последние три... два-три года прочно вошло в нашу жизнь. Ты перестал разбираться в людях. Твоими стараниями устранен от работы бывший второй секретарь Бакланского райкома Кузнецов Егор Степанович, и твоими же стараниями введен в состав райкома Ивлев, человек, далекий от сельского хозяйства, не имеющий никакого опыта руководящей партийной работы... Здесь... — Лукин показал пальцем в длинный стол, — посчитались тогда с твоим авторитетом, решили, что достаточно одних твоих заверений, чтобы утвердить Ивлева вторым секретарем, и напрасно. Ивлев как партийный руководитель не выдерживает критики. И дело тут не только в молодости и неопытности товарища Ивлева, он по своим деловым и партийным качествам, по натуре своей не организатор: он невыдержан, заносчив, самонадеян.

Дальше — больше: секретарем парторганизации в краюшкинском колхозе райком утверждает Кибякова, проходимца и расхитителя колхозной собственности, человека морально неустойчивого, развратника. Но и этот горький урок ничему не научил Родионова: Родионов способствует продвижению на пост первого секретаря райкома комсомола некоего Воронцова. Воронцов, считая, очевидно, что заступники у него теперь найдутся, устраивает в райцентре пьяный дебош, стреляет в людей... Казалось бы: налицо грубая ошибка райкома партии, которую нужно исправить немедля. Не тут-то было: Родионов созывает бюро райкома партии, доказывает всем, что Воронцов незаменимый человек. Но особенно горячо это доказывает Ивлев. Для большей убедительности он даже такую поговорку привел: «За битого двух небитых дают». Я позволю себе сострить тут: товарищ Ивлев, били-то не Воронцова, а Воронцов бил двух шоферов...

— Почему не батальон сразу? — спросил Ивлев. Глаза его, устремленные на Лукина, сухо горели. Первый секретарь крайкома посмотрел на него, постучал толстым карандашом по чугунной пепельнице, покачал головой укоризненно.

— Ивлев может, например, выгнать из кабинета лектора, приехавшего из краевого центра читать лекцию молодежи района. Ему, видите ли, показалось, что лектор не так читает. Лекция утверждена отделом крайкома, а Ивлев находит ее неподходящей. Ивлев вообще может поставить под сомнение весь опыт работы партии с комсомолом. Да, да! Иначе как же понимать твои слова: «До каких пор мы будем выдвигать в комсомольские секретари кисейных барышень!»?

Ивлев глянул на Селезнева; тот, прищурив хитрые глаза, смотрел на Лукина, внимательно слушал.

— Ивлев может на отчетно-выборном собрании в крупной комсомольской организации стукнуть кулаком по столу и заявить отчитывающемуся секретарю: «Ты не секретарь, а марионетка». Ивлев может сказать директору Бакланской средней школы, старому заслуженному педагогу: «Не устраивайте из школы богадельню». Ивлев все может!..

— Ты — шулер, — сказал Ивлев, глядя прямо в глаза Лукину. — Ты передернул карты!..

— Товарищ Ивлев! — резко сказал первый секретарь крайкома. — Потрудитесь вести себя приличнее.

— У меня сейчас такое впечатление, — заметил Лукин с добродушной улыбкой, — что Ивлев часто забывается: ему кажется, что он все еще допрашивает преступников. Секретарь по пропаганде... Я кончил, товарищи. Вывод: Родионову надо помочь. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он уже сейчас понимает необходимость коренного пересмотра методов своей работы. Насчет Ивлева... Ивлев, говорят, был отличным работником милиции, и я не понимаю, почему мы должны отнимать у милиции хорошего специалиста и приобретать посредственного партийного работника. В этом, кстати, есть и вина крайкома: мы поторопились тогда утвердить Ивлева, почти не зная его.

— Ивлев, что ты можешь добавить к докладу Родионова? — спросил первый секретарь. — Как дела в Бакланском районе? Коротко. На критику Лукина пока не отвечай.

— Да хорошие у нас дела! — убежденно воскликнул Ивлев, поднимаясь. Все невольно рассмеялись. Даже Родионов усмехнулся.

— Оптимист, — усмешливо сказал незнакомый пожилой в золотых очках, с седым ежиком на большой голове; он с интересом приглядывался к Ивлеву.

— Я не понимаю, почему вообще возник вопрос о нашем районе и о нас? Мы ехали, думали, с нами хотят просто познакомиться.

— Разве это не так? — спросил мужчина с ежиком.

— Это не так, конечно. Лично мне такое знакомство... уже боком начинает выходить, я же вижу. Но не думай, товарищ Лукин, что я легко подниму лапки кверху. Сначала я скажу все, что о таких, как ты, думаю. Лукин, ты сейчас самый опасный тип в нашей партии. Разве тебя наши дела волнуют? Нисколько. Ты, конечно, постарался обставить дело так, будто они тебя действительно волнуют. А я утверждаю, что нисколько не волнуют, потому что ты схватил одни вершки, да и то только те, которые тебе нужны. Разве это забота? Разве это критика? А сколько труда потратил!.. Тебе ведь не понравилось, что мы осенью дали тебе отпор, качнулся твой авторитет... И сейчас, при новом руководстве, тебе его нужно поправить. Ты и попер на нас. А что мы сделали? Мы доказали, что в интересах дела в нашем районе не надо торопиться с совхозами. Ты бы радовался, что тебя поправили, что не случилось ошибки, а ты на дыбошки стал.

Ты надергал фактов, насобирал кляуз всяких и высыпал все в кучу. И доволен. Эх, коммунист!.. Я о тебе никаких фактов не знаю, но я сердцем чую, что... не друг ты мне, не товарищ. Я ненавижу тебя и оправдываться перед тобой не стану.

— Ты хочешь сказать, что коммунист — ты, а Лукин не коммунист. Так? — Первый секретарь строго и внимательно смотрел на Ивлева. — А почему я должен думать так же? Только потому, что ты горячо и взволнованно говоришь об этом? Это же не доказательство. Ты же говоришь серьезные вещи.

— Здесь не все знают, что Ивлев в свое время был исключен из партии, — отчетливо проговорил Лукин. — Я хотел бы, чтобы он рассказал об этом. Если уж он заговорил о том, кто настоящий коммунист, — это — сказанное Лукиным — шлепнулось на стол как нечто сырое, холодное, гадкое. Стало тихо.

Ивлев побледнел.

— А потому!.. Потому... — на глазах его, на ресницах, сверкнули злые слезы; он изо всех сил крепился, это было видно. — Потому, что... Пошли вы к черту! — Ивлев толканул ногой стул и вышел из кабинета.

В кабинете опять стало тихо. Долго молчали.

— Я отвечу за него, — заговорил Родионов. — Он был исключен из партии за то, что скрыл из своей биографии тот факт, что его родители были репрессированы. Узнал он об этом — что его отец и мать посажены — семнадцати лет. А потом было тяжело признаться, стыдно. Это не вина человека, а беда наша. Но когда он понял из письма, которое отец оставил ему что родители были честные люди, он сам попросил исключить его из рядов партии.

— На кого же он обиделся? — жестко спросил Лукин. — На себя или на партию? Как понимать его просьбу?

— И на себя и на партию.

— Товарищи!.. — Лукин встал. — Я хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли. Я знаю, это вопрос не из легких... У меня у самого в тридцать шестом году погиб брат...

— Лукин!.. — прервал его вдруг пожилой человек с ежиком. — Не надо так. Имей совесть.

— Что? А в чем дело?

— Про брата — не надо. Ты же сам его посадил.

Опять в кабинете воцарилась тишина. Лукин растерянно улыбнулся и посмотрел на первого секретаря.

— Донес, что ли? — спросил тот.

— Донес, — сказал человек с ежиком.

— А я, собственно, и не скрываю этого!.. — Лукин сурово нахмурился. — Мы с братом разошлись идейно, я ему говорил прямо...

Человек с ежиком бесстрастно смотрел на Лукина; широкое лицо его с каменной серой челюстью не выражало ничего.

— Говорил прямо, а заявление писал — не прямо. Под чужой фамилией.

Лукин опять растерялся. Он не мог знать, что где-то каким-то образом всплыли на поверхность неприятные дела минувших лет.

— Я же вам говорю, что не скрываю этого...

— Скрывал. Девятнадцать лет скрывал.

— Я говорю: я сейчас не скрываю!..

— Сейчас смешно скрывать.

— Это Игната Лукина, суховского комиссара?! — дошло наконец до Родионова. — А?

Ему никто не ответил. Человек с ежиком и Лукин смотрели друг на друга...

— А я тебя, Лукин, всю жизнь уважал из-за брата, — сказал Родионов. — Собака ты.

Лукин бросил на стол бумажки.

— Хватит!..

— Лукин, тебе истерика не идет, — сказал первый секретарь. — Сядь. Мы потом поговорим об этом. Родионов, тебе предъявлены серьезные обвинения.

— С Кибяковым правильно — прохлопали. С Воронцовым... тут сложнее...

— С Воронцовым тоже правильно!

— Я тебя не слышу и не вижу, Лукин. Тебя нету!

— С Воронцовым — правильно!

— Перестаньте! — первый секретарь пристукнул ладонью об стол.

— Позвольте мне! — решительно встал Селезнев. — Товарищи... хочу внести ясность: когда меня направляли в Бакланский район, меня инструктировал Лукин. Он просил меня извещать его о всех делах, решениях и поступках Родионова и Ивлева... Я тогда не понял, что он копает под них...

— Извещал? — спросил первый.

— Извещал.

— А сейчас что?.. Побежал с корабля?

— Я тогда не понял, для чего это нужно Лукину.

— Продолжай, Родионов.

Ивлев ходил по номеру гостиницы, курил. Ждал Родионова.

Родионов пришел поздно. Уставший, злой... Молча разделся, взял полотенце, пошел в ванную. Ивлев походил еще немного, не выдержал, тоже пошел в ванную.

— Ну, что там? — спросил он.

— Пошел к черту, — усталым голосом сказал Родионов. — Баба... Орешь против кисейных барышень, а сам хуже всякой барышни. Истеричка.

— Ну, ладно... — Ивлев сморщился. — Мне стыдно, что я тебя одного оставил... Извини за это.

— Пожалуйста, — Родионов раскорячил ноги, сунул голову под кран, долго кряхтел, мотал головой, фыркал... Ивлев ждал.

— Ну, что там? — опять спросил он, когда Родионов начал вытираться.

— Буфет открыт еще?

— Открыт, наверно.

Родионов пошел в номер, Ивлев — за ним.

— Ты что, не хочешь разговаривать со мной?

— Не хочу, — Родионов бросил полотенце, надел китель, причесался перед зеркалом и ушел в буфет.

Ивлев опять принялся ходить по комнате.

Когда Родионов вернулся, Ивлев лежал на кровати в кителе, положив ноги в носках на стул.

— Вот теперь можно разговаривать, — сказал Родионов.

Ивлев сел на кровати.

— Ухожу опять в милицию, Николаич. Звонил сегодня в управление — берут.

Родионов посмотрел на своего помощника.

— Да?

— Предлагают в Салтонский район. Если, конечно, в крайкоме... ничего страшного не случилось. Чем там кончилось-то?

Родионов все смотрел на Ивлева, и взгляд его был неузнаваемо холодный, чужой, пристальный.

— Иди, пожалуй, в милицию, — согласился он. — В крайкоме все обошлось... Но выговор тебе будет — чтоб ты умел вести себя.

Ивлева поразили глаза Родионова. Даже в минуты ярости они у него никогда не были такими, даже — когда он очень уставал. Сидел другой Родионов — пожилой, глубоко и несправедливо обиженный человек.

— Кузьма Николаич...

— Ладно... — Кузьма Николаевич махнул рукой, встал и начал раздеваться. — Давай спать.

Разделись, легли. Ивлев не выключил на своей тумбочке свет.

Слышно было, как подъезжали к подъезду гостиницы такси, жалобно взвизгивали тормоза, хлопали дверцы... В соседнем номере бубнил репродуктор и разговаривало сразу несколько людей, смеялись — выпивали, наверно. По коридору прогуливались две женщины — туда-сюда; когда они приближались к дверям, Ивлев разбирал отдельные фразы:

— Дорогая моя, я вам говорю: не сдавайтесь!

— Возмутительно то, что он не может понять... — дальше не разобрать.

— Не сдавайтесь! — опять восклицала женщина с низким сильным голосом. И еще несколько раз слышал Ивлев, как она говорила: «Не сдавайтесь!».

Потом из репродуктора в соседнем номере грянула удалая русская песня. Ивлев придвинулся ближе к стене и стал слушать песню. И в голове начали слагаться стихи... Интересно, что охота к стихам пробуждалась у Ивлева только в трудные для него минуты жизни.

Утром Родионова разбудил голос Ивлева — тот негромко разговаривал с кем-то по телефону.

— ...Да, да... Я понимаю. Нет, просто... да, да. Нет, просто я... — долго слушал. — Выговор. Не знаю еще. Будьте здоровы! Мгм... Конечно. Будьте здоровы!

«Сопляк», — с удовольствием подумал Родионов. Полежал еще немного, потом потянулся и «проснулся».

— С добрым утром! — приветствовал его Ивлев. Он успел побриться, помыться... Сиял, как новый гривенник.

— Рано ты, — сказал Родионов.

— Что будем делать?

Родионов откинул одеяло, опустил на пол худые, волосатые ноги. Ивлева удивили мешки под глазами первого секретаря; вообще вид у него был неважный, усталый.

— Что делать?.. Позавтракаем, потом пойдем получать твой выговор. А потом... выпьем на прощанье. В ресторане. Я уж лет десять не был в ресторане.

— Я раздумал, — сказал Ивлев.

— Чего раздумал?

— В милицию идти. Пойду в крайком, извинюсь перед всеми... Надо, как думаешь?

Родионов посмотрел на него, ничего не сказал на это. Снял со спинки кровати галифе, запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину.

— Ты в парикмахерской брился? Где она тут?

— На нашем этаже, в конце коридора. Иди, там сейчас никого почти нету.

Юрий Александрович, учитель, был парень неглупый, но очень уж любил себя, просто обожал. Началась эта нехорошая любовь давно. Юрий был единственный сын у обеспеченных папы с мамой. С детства привык к тому, что всякое его требование уважалось. Потом, с возрастом, пришлось убедиться, что мир «жесток». Юра стал изворачиваться, и если другие — кроме папы с мамой — не всегда уважали его требования, то сам он уважал их. Любвеобильные родители по-прежнему изо всех сил заслоняли от него свет. Так в сыром затемненном месте созрело бледное, гибкое растение.

Юрий окончил пединститут. Комиссия по распределению не долго думала — в Сибирь.

— Как?

— С удовольствием, — сказал Юрий. Тут надо еще раз сказать, что парень он был неглупый. Он не стал, как другие, упираться. Он даже попросил родителей, чтобы они не обивали пороги разных именитых людей. Он знал: биография в наши дни, в нашей стране, имеет серьезное значение. Квартира с удобствами подождет — немножко терпения. Терпение, плюс спокойствие, плюс голова — будет и квартира и все другое. Уже с самого начала в биографии будет одна очень звонкая фраза: «Три года работал в Сибири».

Приехав в Сибирь, учитель Юрий Александрович решил писать книгу. С ходу. А что? И пусть в редакции журнала или издательства попробуют отнестись к ней неуважительно. Называться она будет «Даешь Сибирь!» или «Дорогу осилит идущий (Записки учителя)». Начнется книга с того, как героя — «я» — провожают в Сибирь. Потом размышления в

купе, на верхней полке... А за окном поля и поля. Велика ты, матушка-Русь! Дорожные знакомства. Перевалили Урал... Когда проезжали столб «Европа — Азия», крики «ура», смех, шутки. А кто-то плачет (как потом выяснилось, девушка-десятиклассница, сбежавшая из дома в Сибирь: ей, видите ли, страшно стало). Опять дорожные знакомства — скуластые сибиряки, ужасно темные и добрые. Тоска и размышления на верхней полке интеллектуального, чуточку оппозиционного «я». Дальше — деревня, школа... Первые уроки. Класс — хулиган на хулигане хулиганом погоняет, «Я» волнуется, срывает пару уроков. Размышления дома, «у бабки Акулины». Бабка Акулина, это дитя природы, «глаголет истину» (привести дословно несколько темных ее выражений и настаивать в редакции — не убирать их). Потом рассказывать знакомым, как отстаивалось каждое слово в повести. Вместе со всем этим — письма далеких друзей, письма далеким друзьям... «Я» держится с завидной стойкостью, зовет далеких друзей в Сибирь, попрекает их ваннами и теплыми уборными, дерзит. С двумя-тремя расходится совсем. Дела в школе налаживаются (класс-то был не такой уж плохой). И так далее.

Чего хотел он от жизни? Многого.

Однажды (он учился в девятом классе) отец купил ему ружье. Было воскресенье, во дворе полно знакомых девчонок и ребят. Он взял ружье, вышел из дома (ружье за плечом, дулом книзу), на виду у всех прошел по двору сел в «Москвич» и поехал за город. Пострелял в консервные банки и вернулся. Все. Но этот вот момент, когда он шел с ружьем по двору и затем сел в собственную машину то чувство, которое он испытал при этом, он запомнил надолго. Он хотел, чтобы в его жизни было как можно больше такого — когда ты обладаешь тем, о чем другие только мечтают, когда на тебя смотрят с жадным интересом, когда отчаянно завидуют. Хотелось, например, приехать из Сибири и, здороваясь с товарищами, так, между прочим, спрашивать: «Читал мой опус?». Нет, лучше не спрашивать, а просто улыбаться... Да, конечно, не спрашивать. Наоборот, когда скажут: «Читал твой опус», — тут взять и снисходительно поморщиться. Хотелось славы, уважения к себе, и как можно скорее. А как все это добывать, черт его знает. Писать — это доступнее всего. На фоне общей бедности нашей литературы, может быть, и удастся возбудить интерес к себе. Он был как-никак преподаватель русского языка и литературы,

много читал о тяжелом пути писателя, сам рассказывал о всяческих терниях, мучительных поисках, кризисах и срывах. И всегда искренне недоумевал в душе — не понимал, какого черта еще нужно признанному писателю. Но, если бы волею судьбы он сделался вдруг известным писателем, он, наверно, не отказал бы себе в удовольствии говорить: «Сложное это дело, старик, — писательство. Внешне все хорошо, а вот здесь (пальцами — на грудь) скверно».

Хорошо бы стать грустным писателем...

С Майей, теперешней женой, он дружил еще в институте. Она уважала его честолюбивые помыслы. Правда, перед нею он свои помыслы всегда несколько облагораживал.

Здесь, в Сибири, Майя удивила его своей жизнеспособностью. Если он, приехав сюда, призвал на помощь всю волю, которой обладал, решил выстоять, то Майя сразу, без усилий вросла в непривычную деятельность. Для нее как будто ничего в жизни не изменилось, как будто она переехала из одного квартала в другой. Он прилепился к ней...

С Марией Родионовой он познакомился еще в начале учебного года. Он тогда подумал о ней: «Красивая самка». И все. Здоровались, иногда сидели рядом на педсоветах, перебрасывались незначительными фразами.

Как-то в начале марта Юрий Александрович пошел вечером смотреть новый фильм — один (Майя заседала в райкоме комсомола). По дороге встретил Марию. Она тоже была одна — Ивлев мотался по району. Пошли вместе. Разговорились.

— Что это у вас? — спросил Юрий Александрович (у Марии в руках была книга).

— Шиллер.

— О-о!

— Что?

— На трагедии потянуло?

— Что делать, если все в жизни — комедия.

Юрий Александрович удивленно посмотрел на рослую Марию: в самом деле так глупа или дурачится? Не понял.

— Вы находите?

— А вы нет?

— Нет, я так не думаю. Если уж определять жанр, то это скорее трагикомедия. Или фарс.

— Или форс.

— Вы о чем?

— Нравится у нас?

— Привыкаю, Человек везде привыкает даже в петле — побрыкается две минуты и привыкнет. В сущности, мы в жизни только и делаем, что привыкаем. Это ужасно глупо, если вдуматься... Если бы я был бог, я бы переделал мир.

— Как?

— Я бы закрыл его, впрочем. И никогда больше не открывал. То есть признал бы, что мой опыт с людьми не удался, — Юрию Александровичу это показалось чрезвычайно остроумным, он глянул на Марию. Она как раз в этот момент зевнула, вежливо прикрыв ладошкой рот. Это не покоробило Юрия Александровича, а вселило в него вдруг какую-то веселую наглость. — А ваша половина где? — спросил он.

— А ваша?

Юрий весело засмеялся.

В кино сидели вместе.

Как-то само собой получилось, что рука Юрия Александровича нашла руку Марии. Горячая, трепетная, чуть влажная рука мужчины трусливо и крепко пожала крупную, спокойную руку женщины.

Женщина не оттолкнула руку. Это был странный договор странных людей: объявлялась игра в любовь. Любви не было и не могло быть. Мария понимала это. Ее взволновала возможность досадить людям и себе за ту пустоту, которая образовалась в ее жизни. И лучший способ сделать это был тот, который предлагал Юрий.

Юрия этот молчаливый договор взбудоражил вдруг настолько, что у него в зубах заныло. Сердце, излюбившее себя, ленивое сердце его опалила вдруг страсть.

Так встретились и затеяли увлекательную игру в любовь два человека: одна — зло и страстно, другой — замирая перед возможностью испытать красивое, тайное чувство «незаконной» любви.

Кому не дано испытать настоящую сильную страсть, тот ценит ее, много знает о ней, не боится мучений и боли, которые всегда почти приходят с сильной страстью. Тот, кто действительно готов к сильным страстям, тот тоже не боится мучений и боли; вся разница в том, что тот, кто не в состоянии вынести страсть и обрести счастье, при первой же боли, после первых же истинных усилий души уйдет в кусты и никогда не будет жалеть об этом. Тот, кто сильнее, тот переживет боль и радость, отдаст силу души, но будет идти до конца. Не всегда в конце — победа. Но слабее такой человек не становится.

Марию и Юрия роднило в этом мире одно: очутившись не у дел, наблюдая житейскую кипень со стороны, не имея желания броситься в нее с головой, они чувствовали свою обездоленность. Одна принялась ждать: придет кто-то необыкновенный, увлечет ее, даст большую работу ее сильной натуре... Этот «кто-то» медлил, не приходил. Приходили обыкновенные сопляки, немощные и самолюбивые, предлагали содружество, предлагали уйти еще дальше от жизни, замкнуться в чахлый мир искусственных переживаний. Приходили обыкновенные подлецы, предлагали сожительство без любви, без дум. Пришел Ивлев, вынесший из жизни главную, предельно ясную мысль: надо работать. Мария, вкусившая прелестей полубогемной, полупреступной жизни, была несогласна с Ивлевым. Она слишком дорожила собой, своей красотой, чтобы так просто израсходовать годы. Мария называла это самообманом и искала другой какой-нибудь обман — более увлекательный, не такой обыденный. Юрий же, очутившись в положении наблюдателя, принялся заполнять образовавшуюся пустоту все тем же непрочным материалом — собой, не ведая по наивности, что так гибли куда более сильные натуры.

Словом, два человека нашли друг друга и, не сговариваясь, ни на что не надеясь, с большим желанием решили разыграть комедию.

В течение всего сеанса Юрий Александрович тискал большую руку Марии и задыхался от желания. Желание это подхлестывалось непонятной покорностью Марии. Она отдала ему руку и сидела, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза. Она тоже была взволнована. Волновала утонченная беспомощность Юрия, его робость и трепетность. Его желание волновало ее тоже.

Вышли из клуба. Юрий Александрович закурил... Некоторое время молчал, глядя перед собой, часто затягиваясь папироской.

— Что произошло? — спросил он несколько осевшим голосом.

Мария молчала.

— Вместо фильма я видел какой-то голубой сказочный мир... А ты? Ты видела что-нибудь?

Мария молчала. Она знала, что Юрий Александрович будет обманывать ее и себя искусно, красиво. Она с удовольствием слушала.

— Мария!..

— Да.

— Что произошло? Что происходит?

— Флирт.

— Нет!

— Значит, любовь.

— Мария!..

— Не кричи.

В темном месте Мария остановилась. Юрий Александрович обнял ее, стал жадно целовать, впиваясь в мягкие податливые губы... Долго целовал.

— Хватит, — сказала Мария. — Пошли.

Юрий Александрович опять закурил. Первая волна страсти, взлохматившая все его чувства, схлынула, он обрел дар мысли.

«Что это такое? Неужели действительно любовь?»

— Я опять видел сказочный мир... Я, кажется, схожу с ума. Я влюблен.

Мария беззвучно засмеялась.

Подошли к ее дому.

— Подожди здесь, я сейчас выйду. Только не у ворот, а вон там, у столба.

Юрий отошел к столбу, опять закурил.

«Тройку бы сейчас... Уехать бы в снега, в степь».

Мария взяла ключи от школьной кладовой, где хранились лыжи, коньки, спортивные костюмы... Вышла к Юрию Александровичу.

...В кладовке было темно. Пахло лыжной мазью, опилками, ветошью. И было почему-то тепло.

Мария сняла шубу, ушла куда-то в угол.

— Иди сюда.

Юрий Александрович ощупью пошел на голос. Сердце прыгало в горле.

— Осторожней, тут банка с мазью. Правее... — голос шел снизу — Мария лежала.

Юрий Александрович нагнулся, нащупал ее. Стал поспешно, дрожащими руками рвать с себя пальто.

— Не торопись...

...Ивлев досматривал десятый сон, когда Мария пришла домой.

— Ты где это гуляешь? — спросил он, глядя на нее заспанными глазами.

Мария засмеялась.

— С молодым человеком была.

— С молодым человеком... — Ивлев хотел отвернуться к стене и продолжать спать, но Мария села к нему на кровать, затормошила.

— Ну, ревнуй же!.. Устрой скандал! — у нее было весело на душе, легко, покойно в утробе. — Я действительно с молодым человеком была.

— Перестань, слушай!.. Чего ты?

— Ревнуй!

Ивлев внимательно посмотрел на жену.

— Выпила, что ли?

— Фи-и... Петенька. А почитай мне стихи, Петенька.

— Ты что? Какие стихи?

— Почитай!

— Перестань. Ложись спать.

— Я прошу, Петр!

— Ложись спи... Мне завтра вставать рано.

Мария пристально посмотрела на мужа. Сказала серьезно:

— А еще хочет, чтобы его любили. Спи.

— Ну что за стихи — три часа ночи!.. — крикнул Ивлев.

— Спи.

Ивлев соскочил с кровати, надел галифе и, расхаживая босиком по комнате, с остервенением стал читать:

Эй, стихи мои — голь неумытая!
Узкоглазая,
    милая,
        дикая рвань!
Из степей обожженных,
По бездорожью,
Мы пойдем на рысях в кровяную рань.
Наши сабли каленые
В синь,
    с пересвистом
Засмеются на воле...
Поберегись!
Во имя счастья —
    я отвечаю —
Руби пополам поганую жизнь!
Крой бессовестных!
Бей зажиревших!
С маху.
    Наискось.
        До пупа.
За каждого барина,
    изувеченного стихами, —
Сорок грехов

долой.
Без попа.
Я впереди —
не робей, косоглазые!
Наша попляшет!..
Но я — это я.
Может статься —
споткнусь от страха.
Не останавливайтесь.
Заслоните от света,
Изрубите в куски
И —
Вперед!
Без меня.
Так, мои милые.
Так.
Так.
Так.
Неумолимые,
Только так.

Мария лежала на спине, раскинув руки. Улыбалась.

— Все?

— Все.

— А еще?

— Хватит, — Ивлев сам себе показался смешным — босиком, в нижней рубахе, ночью — с боевыми стихами.

— Почему ты не пошлешь их в краевую газету? — Мария села, насмешливо посмотрела на мужа. — По-моему их напечатают. Был бы ты... известным в крае поэтом.

— Я хочу быть известным в крае секретарем.

— Петя, тебе хочется сделать карьеру? Хочется быть секретарем обкома, например?

— Мне здесь работы хватает.

— Ну, а хочется?

— Это надо еще заслужить... — Ивлев почему-то смутился. — Мало ли чего нам хочется, — пошел к столу, нашел среди бумаг пачку «Беломора», закурил.

— Хочешь, я научу тебя, как... заслужить?

— Как?

— Надо писать книгу. Стихи — это несерьезно для сек ретаря. А вот книга, это другое. И ты бы смог написать. «Дневник секретаря» какой-нибудь. Тебя бы заметили, продвинули... Знаешь, как Чкалов говорил? «Если быть, так быть первым». Неужели ты обыкновенный заштатный секретарь райкома! Ты же неглупый мужик...

— Что, секретари райкомов глупые мужики, что ли?

— Не в этом дело. Секретари райкомов все ужасно походят друг на друга. Надо же чем-нибудь отличаться.

— Я и стараюсь отличиться — работаю.

— Эх, Петя... — Мария встала, начала раздеваться. — Давай спать.

Весна в Баклань всегда приходит ударная. Развезет в три недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги, и, глядь, — по косогорам, на солнечной стороне, уже зеленеет травка. Даже ранней весной дни стоят солнечные, теплые.

В апреле пришел со службы Андрей Любавин, коренастый, неразговорчивый матрос Тихоокеанского флота.

Служба Андрею пошла впрок: он получил там специальность дизелиста, окончил десятилетку, вступил в партию и получил за что-то орден Красной Звезды. За что — не говорил. «За одно дело».

Отгуляли. Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком — насчет работы.

Родионов долго, с удовольствием беседовал с молодым человеком, открыто любовался его литой фигурой, спросил про орден...

— За что это?

— За выполнение...

Родионов засмеялся.

— Я понимаю, что за выполнение... Ну, раз нельзя, так нельзя. Вовремя ты прибыл, моряк, у нас самая горячка начинается. Дизелист, говоришь? Приступай с завтрашнего дня к работе. Иди сейчас к Косых, это директор РТС, поговори с ним. Наверное, на дизель и поставят. Жизнь у нас сейчас интересная, молодежи много... Ошибок всяких, недостатков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай... по-матросски. Парторганизация в РТС крепкая. Желаю всего хорошего. Если что, приходи в любое время.

Через пару дней Андрей уже шуровал на дизеле... Приходил домой чумазый. Нюра кипятила в большом чугуне воду, совместными усилиями кое-как отмывали грязь.

— Что уж ты такой грязный-то? — выговаривала ему Нюра. — Другие все-таки чище приходят.

— Я ж на одном работаю, а другой ремонтирую. А там, как с завода выпустили, так ни разу не чистили, наверно.

Ефим недовольно смотрел на Андрея, не нравилось ему, что сын — моряк, партийный, с десятилеткой — возюкается в машинной грязи, как самый захудалый шоферишко. Он думал, будет иначе: придет Андрей, ему дадут какое-нибудь место в учреждении или пошлют учиться в город. Все-таки не так уж много возвращается народу со службы с десятилеткой да с орденом... К тому же партиец.

— Не я буду, если не выжму из дирекции душ с горячей водой, — говорил Андрей, докрасна растираясь мохнатым полотенцем. Под кожей на руках, на спине, на широкой татуированной груди (татуировка — до флота еще) взбухали, перекатывались тугие бугры мышц.

— Кошмар, — сказал Пашка, увидев однажды брата без рубахи. — Ты служил там или гири качал?

Андрей коротко хохотнул.

— Первый разряд по борьбе.

— Попробуй с Иваном, — посоветовал Пашка.

— Он боролся когда-нибудь?

— У него тоже полно этого... — Пашка показал на бицепсы.

— Можно попробовать.

— Еще чего!.. — Встрял в их разговор Ефим. — Сгребутся на смех людям. У тебя, Пашка, одна дурь в голове. Надо же умнеть маленько — лет-то много уж.

— А что тут такого? Это же не бокс.

— Пошел к дьяволу...

Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея:

— Ты что, так и будешь всю жизнь вот такой ходить?

— Какой? — не понял Андрей.

— Такой вот — ни глаз, ни рожи.

— Специальность такая.

— Бросить ее надо к чертовой матери, специальность такую. Плохая, значит.

— А мне нравится.

— Ехал бы учиться... Может, в люди выйдешь. Башка-то есть ведь.

— А сейчас я что, не человек?

— Тэ-э... человек, — Ефим презрительно сморщился, махнул рукой. — Костомелить-то так любой сумеет, дело нехитрое.

Андрей промолчал. Ефим ушел в горницу, пнул кошку, заматерился в полголоса. Ему очень хотелось, чтоб Андрей вышел в большие люди. Он завидовал отцам, у которых сы-

новья служили офицерами или учились в институтах. Он не одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, как тот приедет к нему на побывку и они пойдут вместе по деревне. Хотелось на старости лет доказать людям, что и Любавины тоже могут башкой работать. На Пашку он давно махнул рукой, а на Андрея крепко надеялся, радовался его успехам во флоте... Он знал, что Андрей упрям, если бы захотел, то добился бы многого.

Еще раза два заговаривал Ефим с сыном насчет его дальнейшей жизни. Хитрил, старался разжечь в нем самолюбие.

— Ты же башковитый парень, Андрюха. Ты далеко пойдешь. Давай вот поработай до осени, а там в институт. Все пять лет буду посылать деньги. И братовья помогут. Иван тоже поможет, я говорил с ним. С радостью, говорит, на такое дело не жалко. Ты поговори с ним, он парень умный.

Андрей отмалчивался. Сказал свое и молчал. Ефим злился, но сдерживал себя.

— И баба у тебя вон какая хорошая. От такой не только на пять лет, а на десять можно уехать, и душа будет спокойная. А?

Сын молчал.

...Однажды Андрей пришел домой поздно (в РТС было комсомольское собрание). Было уже темно. Открыл ногой воротца, пошел в ограду. В углу двора, под навесом, невидимая, хрустела овсом лошадь.

«Отец приехал», — подумал Андрей (Ефима попросили помочь перегнать косяк совхозных молодых коней на летнее пастбище, в горы).

Идти в избу не хотелось: Андрей присел на крыльцо, закурил.

Отовсюду капало; ночь исходила соком. Пахло погребом. Нехолодный ветер налетал порывами, шебуршал в огороде сухими листьями подсолнухов, стихал опять.

Андрей запахнул плотнее фуфайку. Он любил сидеть ночами на крыльце. Ночью вокруг много непонятного. В тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает... И думается ночью легко.

Неслышно выкатился откуда-то пес Борзя, тихонько визгнул, кинулся Андрею на грудь.

— Ну, шалавый! — незлобно ругнулся Андрей, откинув ногой пса. Затоптал окурок и шагнул в сени. Вытирая сапоги о свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. «Баню пропустил... Ворчать будет Анна Ивановна».

Открыл дверь в прихожую избу, позвал:

— Нюр!.. Вынеси полотенце с мылом.

Нюра вынесла полотенце.

— Попозже нельзя было?

— Нельзя.

— Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару много...

— Я сегодня не очень грязный.

Нюра ушла.

Вода в кадушке настыла, о края жестяного ковшика певуче тюкались льдинки (по реке еще шла шуга).

Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от удовольствия... Потом догоряча тер пахучим полотенцем гудящее тело.

— От так... Хорошо-о, — приговаривал он.

Вошел в дом.

Ефим ужинал, устало облокотившись на стол. Он был в одной нижней рубахе и в галифе. Еще красный после бани. На стук двери медленно повернул большую голову, кивнул сыну.

Нюра возилась с чугунами в кути.

В доме было тепло, пахло вымытыми полами, свежестираным бельем и березовым веником.

— В баню-то чего не пошел? — спросил Ефим.

— Неохота, — Андрей присел к столу, облокотился, как отец, рассматривая синие квадратики клеенки.

На столе тихонько шипела и потрескивала десятилинейная лампа. Ефим сонно щурился на огонь, нехотя, с сытой ленцой жевал.

Одним только походили друг на друга отец и сын: оба медлительные, оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, пожалуй, одинаково думают — спокойно, тягуче... И с большим сожалением отрываются от своих дум. Обликом Андрей походил на покойную мать: скуластый, с ровной прорезью губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любавинские — маленькие, умные. Ефим смолоду был поживее, чем сейчас Андрей, побольше говорил, чаще улыбался. В отличие от брата Павла у Андрея постоянно при всех обстоятельствах было одинаковое настроение — спокойное, ровное. Как у человека, который наладился в долгий, знакомый путь.

Нюра поставила мужу тарелку с супом. Он склонился и стал есть.

Ефим облизал ложку, скрипнул стулом — отодвинулся, вынул из кармана кисет.

— Как дела? — спросил он, разравнивая желтым, прокуренным пальцем табак по бумажке.

Андрей, не поднимая головы, сказал:

— Ничего.

Ефим прикурил от лампы (спички лежали рядом на столе, но въедливая крестьянская привычка — на всем экономить, даже на спичках, — брала свое), склонился, локтями на колени... Он устал. И был чем-то недоволен.

— Лога разлились? — спросил Андрей.

— Уже. Реки целые, а не лога.

— Не успеть с ремонтом.

Ефим встал и, сгорбившись, пошел в горницу. Сказал на ходу:

— Четырех жеребят утопили в этих логах-то. Завтра разговор будет с начальством.

— Как так?

— Так... снесло, — Ефим прилег в горнице на кровать; старое железо жалобно скрипнуло под ним.

Долго молчали.

— Меня секретарем выбрали, — сказал Андрей жене.

— Каким секретарем?

— Комсомола.

— В райком, что ли?

— Нет, у нас, в РТС.

Нюра весело посмотрела на мужа.

— Поздравляю, — она была рада за него, только не понимала, за что такого небойкого, неразговорчивого человека избрали секретарем комсомольской организации.

Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в горницу, хлопая рукой по карманам, искал папиросы.

— На, опробуй моего, — предложил отец, протягивая свой кисет. — С донником. Гринька сегодня угостил.

Андрей взял кисет, свернул папиросу, прикурил от зажигалки, присел к столу.

— У вас собрание, что ли, было? — спросил Ефим. Он слышал разговор сына с женой.

— Ага.

— И кто же тебя выдвинул?

— Вообще... на собрании.

— А от партии кто там был?

— Ивлев.

Ефим сел на кровати, усмешливо прищурил глаза.

— Ну и как ты теперь?

— Что?

— Ну... — Ефим шевельнул плечом. — Как жить-то будешь?

— В смысле работы, что ли?

— Ну.

— Как жил, так и буду. Это же не освобожденная должность...

Ефим задавил в пальцах окурок. Сказал с сожалением:

— Добродушный ты, ничего у тебя не выйдет на этой работе. Тут надо... — он сжал большой жилистый кулак, показал. — Твердость надо иметь.

Андрей усмехнулся, промолчал.

— И смекалку, — добавил Ефим. Заложил руки за голову снова прилег на подушку. — Это мне бы грамотенку смолоду иметь, я бы шагнул, может... А ты... простой. И шибко доверчивый.

— Работать надо, и все выйдет, — сказал Андрей.

Ефим немного подумал и сказал:

— Конь тоже работает.

— При чем здесь конь?

— Как при чем? Он работает.

— Ну и что?

Ефим ничего не сказал, но, глянув на него, Андрей понял, что он обозлился.

— Ты что думаешь, если человек работает, так и все тут? — заговорил Ефим, повернув в сторону сына лобастую голову.

Андрей листал какую-то книгу. Молчал.

— Я, к примеру с пашни не выезжал вот с таких лет, а ко мне, когда я бригадиром работал, прикатит, бывало, какой-нибудь хрен на легковушке да при галстучке. «Как дела?» А он дел-то этих сроду не знавал. Он их в институте — в тепле, чистенький — выучил, дела-то эти. И я же перед ним хвостом виляю, как пес виноватый.

— Зря, — убежденно сказал Андрей.

— Чего зря?

— Вилял-то.

— Попробуй ты не повиляй!.. Герой нашелся. Он образованный человек, а я кто?.. Шишка на ровном месте — бригадир. Седня бригадир, а завтра конюх. И то, если трудящие доверют.

— К чему ты это?

— К тому, что жить надо уметь, — Ефим поднял ноги на спинку кровати. — У тебя вон десятилетка, а горб ломаешь больше моего. Как, по-твоему, много тут ума?

— Мне нравится моя работа. Все.

Ефим смерил сына насмешливым взглядом... Заговорил, сдерживая злость:

— Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как девку, слов красных наговорили, ты и губы распустил. Своим-то котелком надо варить!.. Они вот тебя похваливают, в секретари выбрали для утешения, а сами небось все институты позаканчивали, все людями стали...

— Я без красных слов проживу, честным трудом.

— Я тебя что, воровать посылаю?

— Да это... черт знает, сколько уж можно об этом! — Андрей захлопнул книгу, встал. — Вдолбил в голову...

— Тьфу! — Ефим сел на кровати, взбил кулаком подушку, хотел промолчать, но не вытерпел, сказал: — Я думал, тебя хоть в армии обтешут маленько — нет! Партейный, с орденом явился, а дурак дураком.

— Тц...

— Почему ты такой добродушный-то, Андрей? Для чего же ты тогда в партию вступал? Дизелистом-то без партии можно засмаливать — на здоровье.

Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим голосом:

— Просто стыдно слушать, тятя. Ей-богу. Такую ахинею развел...

Ефим громко глотнул слюну.

— Я разведу сейчас ахинею!.. Бичом трехколенным! — холодно вскипел он.

Андрей подошел к окну прислонился лбом к стеклу.

Молчали долго.

Ефим скрипнул кроватью, позвал:

— Нюр! Зачерпни-ка кваску там!

Нюра принесла в кружке квас.

— Тятенька, вы сейчас нисколько не правы...

— Я, конечно, не прав! — Ефим осушил кружку, вытер рукавом губы. — Конечно, везде правы вы. Научили дураков богу молиться...

Нюра взяла у него кружку ушла в прихожую, не скрывая, что обиделась.

Ефим зазвякал пряжкой ремня, готовясь ко сну.

— Если уж пошел на такое дело, на секретарское, так просись, чтобы хоть по этой линии учиться послали, —

примирительно сказал он. — Может, выйдет что. Я тебя восемь лет тоже не зазря учил... горбатился.

— Заслужу — пошлют, чего без толку проситься.

— Дятел!.. Задолбил одно! — крикнул Ефим. — Что, все так и заслуживают?! Чем это Степка Воронцов так уж заслужил, что его выдвинули?

— Трудом.

— Техникум кончил, вот чем! Трудо-ом... Много ты трудом заслужишь...

— Мне надоели эти разговоры, — резко сказал Андрей. Он тоже начал терять терпение. — Поганые они какие-то. Заслужишь, не заслужишь... Да что у меня, рук-ног нету? Что я, инвалид первой степени? Ни стыда, ни совести у людей. Даже удивительно...

— А ты не удивляйся. Ты еще сопляк, чтобы на отца удивляться! Не гляди, что под потолок вымахал, так огрею, враз перестанешь удивляться! — отец наливался гневом, темнел на глазах. — Удивляться он будет!..

Андрей вышел из горницы.

— Будет по-моему. Все.

Отец резко, как будто его толкнули сзади, шагнул за сыном, нехорошо оскалился и стеганул его брюками по голове.

— Разговаривать с отцом научился, обормот!

Андрей крутнулся на месте, вытаращил на отца удивленные глаза.

— Ты что делаешь!

— Я те покажу, что я делаю! — Ефим хотел еще раз хлестнуть Андрея, но тот вырвал у него брюки, бросил их на кровать.

Стояли, смотрели друг на друга горящими глазами.

— Зря ты так, — сказал Андрей и пошел из дома.

На улице прислонился к углу сеней, скрипнул зубами — обидно было и стыдно. До службы отец частенько поднимал на него руку... Но сейчас-то!

Сзади в ноги ткнулся Борзя. Андрей взял его на руки и пошел на сеновал. «Уйду к ребятам жить», — решил он. Выгреб в сухом сене удобную ложбинку, лег и устроил рядом довольного пса.

Было тихо. Только внизу под крутояром, глуховато и ровно шумела Катунь да хрумкала овсом лошадь в ограде и звякала уздой.

Вдруг за плетнем, в курятнике, шумно всхлопнули крылья и оглушительно заорал петух. Борзя вздрогнул, заво-

рочался, лизнул Андрея в лицо и снова спокойно задышал, мягко и дробно выстукивая сердцем.

Андрей негромко засмеялся...

Утром Андрея разбудили холод и звук шагов в ограде. Борзи не было рядом.

Только что начало светать. Чистый холодный воздух легко вздрагивал от первых звуков молодого дня.

По ограде, покашливая, ходил отец, запрягал в дрожки коня. Борзя крутился около него.

Андрей вытянул занемевшие ноги, слез с сеновала. Долго отряхивался внизу.

Увидев сына, Ефим насмешливо прищурился.

— Как спалось?

Андрей тряхнул головой, ответил:

— Ничего... Холодно малость.

Отец захомутал рослого мерина, попятил в оглобли.

— Ну-ка, дьявол, ну-у... — гудел он, заворачивая сильной рукой лошадиную морду.

Андрей глянул на него в этот момент и впервые подумал об отце, как о чужом: «Сильный он еще мужик».

— Принеси вожжи, — попросил отец.

— Где они?

— В сенях.

Андрей принес вожжи и, разбирая их, сказал негромко:

— Тять, я уйду из дома.

Ефим в это время затягивал супонь, положив широкое колено на клешню хомута. Андрей видел, как дрогнули руки отца, большие рабочие руки... Некоторое время подрожали, потом привычно захлестнули супонь петлей.

— Обиделся?

Посмотрели друг на друга... Обветренные, с трещинками губы отца мелко прыгали. Он хотел улыбнуться и не мог — не получилось. Смотрел серьезно, с горьким упреком. Андрей отвернулся, зашел с другой стороны лошади, пристегивая вожжину, сказал твердо:

— Трудно нам вместе будет. Сам видишь.

— Не пори дурочку, — сказал отец, пробуя успокоиться. — Выдумал черт-те что...

Андрей перебил его:

— Не надо, зря это все...

— Что зря?

— Уйду ведь все равно.

У отца тяжело опустились руки. Он нагнул голову и двинулся на сына — большой, страшный и жалкий.

— Уйди пока... Отойди, а то зашибу! — глухо попросил он.

Андрей отошел в сторону.

Ефим сел на край дрожек, склонился, зажав в колени руки. Его трясло. Он дышал глубоко, с хрипом. Труднее всего справлялись Любавины с гневом.

Долго молчали. Андрею жалко было отца.

— Иди сядь со мной, — сказал Ефим, не поднимая головы.

Андрей подошел, присел на край дрожек.

Ефим помолчал еще и заговорил тихо:

— Сынок... — ему трудно было говорить. — Я же тебе добра хочу, как ты не поймешь!.. Ты же сознательный... Я все время думал про это: вырастет Андрей, выучу его, большим человеком станет. Ведь мы же умные — порода наша. Старший брат у тебя был умница, да и Пашка... что он, дурак, что ли? Только поздно уж ему сейчас учиться. Когда надо было — то война шла, то голодуха, то армия подоспела... Не до учебы было. А тебе-то сейчас — самое время! Все есть: деньги есть, голова на плечах есть, молодой — учись! Нет, он взял и всю мою мечту нарушил к чертям собачьим, — голос Ефима подсекался, вздрагивал. — Ты вот обиделся, что я ударил. А мне не обидно? Ты глянь!.. — показал сыну широкие бугристые ладони. — Весь век работаю, а для чего? Имею я право хоть под конец жизни на счастье свое поглядеть? А? Да для чего же тогда вся партия ваша, для чего вы сами толкуете про светлую жизнь, если я этой самой светлой жизни даже во сне не видел? А я бы выучил тебя и помер спокойно. Ехай, сынок, учись. Согласись со мной. И власть к тому же призывает. Ты посмотри, какие свистульки учатся! Она, может, всю жизнь лаптем щи хлебала, а поехала, выучилась — на нее и поглядеть любо. И отцу с матерью радость. А ты... Ехай — на судью или на доктора. Сам после спасибо скажешь... — Ефим кашлянул, полез в карман за кисетом. — Привязался с какой-то работой!.. Разве ж она уйдет от тебя? Наработаешься еще. Я тебя еще пять лет кормить и обувать буду — учись. Сейчас время хорошее... Плюнь на все. Трактористом или дизелистом этим любой дурак сумеет. Не зря я тебе говорю, Андрей, не плохого желаю... Ты поверь мне, я уж век доживаю. Сейчас не ранешная жизнь. Ну как?

— Тять...

— Ну?

— Я тебя хоть немного понимаю, но ты совсем не хочешь. Ты послушай меня-то...

Ефим игранул желваками, отвернулся, подстегнул коня. Дрожки дернулись... Андрей соскочил с них и остался стоять посреди двора.

Дрожки протарахтели по переулку, свернули на улицу и пропали за плетнями. Только вздернутая голова мерина виднелась еще некоторое время между кольев, потом и она скрылась.

Андрей пошел в дом.

...Вечером того же дня у них состоялся еще один разговор.

— Уходить все же хочешь? — спросил отец.

— Уйду.

— Опозорить захотел на старости лет?.. Спасибо, сын.

— Ты же видишь...

— Вижу! Слова уже отцу нельзя сказать... Вольные шибко стали. А что я тут буду делать один-то? Выть по-собачьи?

— Тогда не мешай мне.

— Живи как умеешь... — Ефим махнул рукой. — Больно мне надо.

Андрей остался в родительском доме.

Гудели на полях тракторы, лязгали многокорпусные плуги, резали благодатную алтайскую землю... Скопища грачей и воронья кормились по пашням, по маслянисто-черным пластам.

Гул тракторный не прекращался и ночью. Ровный, баюкающий, он нависал над селом с вечера и до самой зари на одной ноте, нисколько не тревожа ночной тишины. Иногда только прерывался, иногда там что-то стреляло... А иногда несколько тракторов ползало около самого села, и тогда рев их железных утроб становился ощутимее, в крайних домах дребезжали окна.

Медленно блуждали по пашне одинокие огоньки. Там и здесь горели костры.

Родионов бывал теперь в Баклани наездами. Зеленая райкомовская «Победа» носилась по району, буксовала на дорогах...

...В тот день поднялись чуть свет. Побывали в Краюшкине, в Лебяжьем, в Верх-Катунске... Часам к трем поехали в Баклань.

Кузьма Николаевич сидел рядом с Иваном, курил, думал о чем-то.

На подъеме, перед Бакланью, машина забуксовала. Иван долго раскачивал ее, пытался с ходу выскочить из вязкой ловушки — безуспешно. Он вылез и пошел рубить кустарник. Родионов тоже вышел.

— Выезжай, я вон там тебя подожду, — сказал он, показывая вперед.

Иван нарубил веток, накидал под колеса, выехал. Подъехал к Родионову.

Родионов стоял и смотрел на Баклань; все село отсюда было как на ладони. Иван открыл дверцу.

— Поедем?

— Иди сюда, — сказал Кузьма Николаевич.

Иван подошел к нему.

— Ничего? — Родионов кивнул на село.

— Что? — спросил Иван.

— Вот сюда я угрохал всю жизнь, — с непонятным удовольствием сказал Родионов, продолжая разглядывать село.

— Говорят, разрослось оно здорово, — поддакнул Иван.

— Не в этом дело...

Иван посмотрел на Родионова; тот стоял, заложив руки за спину, с веселым любопытством, с каким-то даже изумлением смотрел на село.

— Да-а... много всякого было, — сказал он. Долго после этого молчал. Потом решительно сказал: — Едем.

В машине Родионов опять курил и опять думал о чем-то.

— Сколько тебе сейчас? — спросил он вдруг.

— Годков-то? Тридцать третий.

Кузьма Николаевич посмотрел на Ивана... Усмехнулся. Ничего не сказал больше. Молчали до самого райкома.

Когда подъехали к райкому, Кузьма Николаевич посмотрел на часы, пощелкал в раздумье по стеклышку циферблата.

— Никуда не уходи... Дождемся Ивлева — он должен быть сейчас, — поедем в Усятск. Заправь машину.

— Есть.

Родионов ушел в райком.

Иван съездил в РТС, залил полный бак, сменил масло и опять приехал к райкому. И пошел в приемную Родионова — потрепаться с хорошенькой секретаршей Зоей.

Когда в приемной никого не было, Зоя с удовольствием беседовала с Иваном, то и дело хихихала негромко и всякий раз при этом поднимала кверху пухлый пальчик и смотрела на кабинет Родионова.

В приемной было пусто. Даже Зои не было.

Иван уселся на мягкий диван, закурил.

Зоя пришла через несколько минут, просияла, увидев Ивана, сделала рукой жест — «сейчас», вошла с бумагами в кабинет.

Родионов уже вовсю работал. Когда открылась дверь, Иван услышал его недовольный густой басок — он говорил с кем-то по телефону.

Зоя вышла из кабинета, села за свой столик. Улыбнулась Ивану.

— Как съездили?

— Хорошо.

— А у нас тут новость.

— Какая?

Под столом коротко звякнул звонок. Зоя встала, сделала Ивану тот же знак — «сейчас», вошла к Родионову. Тут же вышла и стала созваниваться с Усятском. Созвонилась, стала по всему Усятску разыскивать тамошнего председателя колхоза. Председателя нигде не было.

— А заместитель?

Из колхозной конторы ответили, что за ним побежали. Через несколько минут заместитель пришел.

— С вами будет говорить товарищ Родионов, — сказала Зоя строго и нажала пальчиком кнопку на столе. Сказала в трубку: — Пожалуйста, Кузьма Николаевич, это заместитель, председатель в поле, — положила трубку и опять улыбнулась. — К нам карлики приехали.

— Какие карлики?

— Ну, карлики!.. С цирком. Цирк приехал, и с ним карлики. Я двоих видела давеча. Интересно до чего!.. Один пожилой уже, серьезный...

В этот момент в приемную вошел огромный детина со свирепым выражением на красном лице. Брезентовый плащ его, задубевший от степных ветров, от дождей и от солнца, сердито громыхал.

— Здесь? — спросил он, не останавливаясь.

— Одну минуточку! — вскинулась Зоя, но детина уже распахнул дверь.

— Вот что, — угрожающе загудел он с порога, — мне эти шутки, Кузьма Николаевич, сильно не по нутру!

— Какие шутки? — спросил Родионов.

— Людей взяли?

— Взял.

Детина сорвался на крик:

— Так с кем же я сеять-то буду? Вы что тут!.. Совсем уж?!

Родионов прищурил усталые глаза.

— Во-первых, не ори, во-вторых, выслушай...

— Я не ору! — грохотнул детина. — А сеять отказываюсь. Все!

Секретарь крепко припечатал к столу широкую ладонь.

— Ты можешь не кричать, бурелом?! На кого ты кричишь?

— Отдайте людей.

— Ни одного человека. Люди твои наводят мост, ты знаешь об этом. Ты знаешь, что без моста нам всем хана. Чего же ты кричишь? Сеять он не будет!.. Турусишь чего попало.

— Кузьма Николаевич, — взмолился детина, — отдай людей. Мне без них хоть живьем в могилу лезь и закапывайся. Пусть лебяжинцы сами наводят, раз они не позаботились загодя. Что я им, стройбат, что ли? Или Николай-угодник?

Секретарь смотрел на детину темными немигающими глазами.

— Я думаю у тебя еще десять человек взять, — сказал он серьезно. — У тебя положение лучше, чем у других, не прибедняйся. Как думаешь?

Детина сразу обмяк, грузно опустился на диван и стал вытирать фуражкой могучий загривок.

— Без ножа режут... Только начнешь малость подниматься, тебя опять — раз! — колуном по башке. А план давай!

— До завтра еще десять человек надо... Они хотят ночью работать с кострами.

— Только наладишься, понимаешь, только начнешь шевелиться — раз, палку в колеса. Тц... — детина горестно покачал головой. — Ну, ладно... пойду. Буду выкручиваться как-нибудь. — Он встал и пошел к двери.

— А как насчет этих десяти? — спросил Родионов.

— А?

— Десять человек, говорю, еще надо.

Детина сделал вид, что оценил «шутку» секретаря, криво усмехнулся на прощание и выскользнул из кабинета.

Зоя встала и прикрыла за ним дверь кабинета.

— Никакой культуры у людей!.. Прет, как в лесу.

А Ивану сделалось вдруг стыдно. Стыдно стало за то, что сидит он на мягком диванчике, покуривает «Беломорканал», болтает с девкой и ни о чем не заботится, не волнуется, не переживает... Последнее время его что-то частенько стала покалывать совесть.

Трепаться с Зоей расхотелось. Он встал и хотел идти к машине, но в этот момент в приемную почти вбежала Майя Семеновна. Заплаканная... Мельком, отсутствующим взглядом посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет.

Зоя значительно посмотрела на Ивана.

— Чего это она? — спросил Иван.

Зоя так же значительно промолчала.

— А?

— Семейная драма, — не выдержала Зоя. — Ее муж, учитель, спутался с Марией Кузьминичной. А Майя Семеновна — в положении. Да и вообще это дико, хоть бы она и не была в положении. Верно ведь?

Иван не знал, верить Зое или нет. То есть он ей верил, но настолько это было чудовищно, так неожиданно, что сразу не укладывалось в голове.

Майя вошла в кабинет, села на диван и заплакала, склонившись к коленям.

Родионов растерянно смотрел на нее.

— Вот вы, Кузьма Николаевич... — заговорила Майя, пытаясь унять слезы. — Вы говорили, чтобы мы приходили к вам, если что... Вот я и пришла, — она опять склонилась к коленям, закрыла ладонями лицо, затряслась.

— А что случилось-то?

— Мне не к кому больше, поэтому я к вам... Не жаловаться, а просто... Так трудно сейчас, так трудно...

— Дома что-нибудь? С мужем?

— Да... Он связался с дочерью вашей. Я никогда не думала, что он такой. Я думала, он любит меня. Боже, до чего трудно!.. — Майя посмотрела мокрыми, по-детски растерянными глазами на Родионова. У Родионова от жалости, от горя и от стыда вступила в сердце резкая боль. Он встал, потом сел, расслабил тело, чтобы унять боль. Она не унималась. Было такое ощущение, будто сердце какой-то своей нежной частью зацепилось за ребро... Он незаметно поше-

велил левым плечом, положил левую руку на стол — боль не унималась.

— Давно они?..

— Говорят, давно.

— Он сам сказал?

— Нет... Он трус, он, оказывается, совсем-совсем не такой. Он стал кричать на меня...

— А чего ты плачешь?

— Мне просто стыдно... Я просто растерялась. Я сейчас не знаю, что делать...

— Ничего не надо делать. Тут ничего не сделаешь, — Родионов глубоко вздохнул — боль не проходила. — Не показывай никому, что у тебя горе. Ему особенно. Ничего страшного нет, — он встал, начал небыстро ходить по мягкому ковру. — Это даже к лучшему, что он сейчас раскрылся.

— У меня ребенок будет.

Родионов долго молчал. Ходил.

— Тем более тебе надо спокойней быть. А то родишь какого-нибудь психопата... Все в жизни бывает. Трудно бывает, — Родионов опять незаметно вздохнул и сел на место. — Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут. Но убиваться, показывать слабость свою — это последнее дело. Плюнь на все, держись, другого выхода все равно нету.

Майя справилась наконец со слезами, сидела, безвольно опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, который держала в руках, шмыгала носом, слушала.

— У тебя жизнь только начинается, — говорил негромко Родионов. — Много будет всякой всячины — и хорошего и плохого... — говорил, успокаивал, и непонятно, кого успокаивал: женщину или себя. Он чудовищно устал за эти десять-пятнадцать минут, даже постарел. — Плохого иногда больше бывает. Но на то мы и люди, чтобы не сдаваться... Так что не плачь.

Вошел Ивлев, внес в кабинет запах талой земли, унавоженных дорог и бензина — он гонял по району на мотоцикле. Грязный. Веселый.

— Здравствуйте!

— Здорово.

— Здравствуйте, — Майя посмотрела на Ивлева и опять склонилась к платочку, опять затряслась.

Родионов встал.

— Вечером я приду к вам. Успокойся. Вечером обо всем поговорим.

— Хорошо, — Майя наспех вытерла слезы и вышла из кабинета, не посмотрев на секретарей.

— Что с ней? — спросил Ивлев.

Родионов отошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть вниз, во двор райкома. Ивлев стоял сзади и требовал ответа. Всю жизнь, с молодых лет, люди так или иначе требуют у него ответа.

— Ты ее мужа знаешь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Учитель? Знаю. Говорят, хороший учитель, хвалят его.

— А насчет быта?

— Не знаю, не слышал ничего. Семейный разлад?!

— Разлад, — Родионов прошел к столу, сел на свое место, потрогал ладонями виски. Сказал, не глядя на Ивлева: — В Усятск один поедешь. Я, кажется, заболел.

Ивлев стоял посреди кабинета — руки в карманах, грудь вперед; поза вызывающе спокойная, а в глазах смятение, и левое нижнее веко заметно дергается — о чем-то стал догадываться.

— А что за разлад у них?

— Не знаю... Муж с кем-то связался, с другой.

— С кем?

— Не знаю. Вечером пойду к ним... узнаю, — Родионов упорно не смотрел на второго секретаря. Смотрел на телефон — ждал, что кто-нибудь позвонит, спасет. Было очень тяжело. Жалко было Ивлева, жалко Майю, больно и стыдно за дочь... Невмоготу было. И никто не звонил. — Поедешь, я говорю, в Усятск без меня.

— Ладно. А что с тобой?

— Черт его знает... голова что-то.

— Ладно... Я поехал тогда, — Ивлев пошел к двери, остановился, взявшись за ручку. — А поедешь... к этим-то?

— Схожу.

— Надо сходить, — согласился Ивлев.

— Заверни по дороге в Лебяжье. Там мост наводят, побудь с людьми. — Родионов посмотрел на Ивлева; Ивлев все еще держался за ручку двери, смотрел на него. Родионов опустил глаза.

— Ладно, — сказал Ивлев.

Иван все еще сидел в приемной. Зоя, ужасно смущаясь, рассказывала, как школьная уборщица нечаянно застала

учителя с Марией Кузьминичной... Позор, такой позор — педагоги!..

«Что с ней происходит?», — думал Иван. Он, не понимая в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому учителю.

Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану:

— Поедем.

...Ивлев сел сзади. Иван видел в зеркальце его лицо — серое, с горестными, злыми глазами. Губы плотно сжаты.

«Знает», — подумал Иван.

— Куда?

— В Усятск.

Поехали. Иван еще раз поймал в зеркальце лицо Ивлева; Ивлев смотрел прямо перед собой.

«Сволочь, — подумал Иван о Марии. — Самая обыкновенная сволочь». До щемления в сердце стало жалко Ивлева. Он бы помог ему сейчас, если б мог помочь.

Выехали за село.

— Останови здесь, — сказал Ивлев.

Иван остановился.

— Я выйду... А ты вернись назад. Только в райком не езди. Поставь машину в гараж и иди домой. Мне нездоровится малость... Я побуду здесь пока, — Ивлев вылез из машины и пошел через кустарничек к реке.

Иван развернулся и погнал обратно в Баклань.

«Сволочь. Если уж так требуется кусать кого-нибудь, так кусала бы себя. Как змея».

Пашка был дома, копался в моторе старенькой своей полуторки.

— Чего ты? — спросил Иван.

— Да вон!.. — обиженно воскликнул Пашка и кивнул на кабину. — Номера начала выкидывать.

— Пора уж... Ей, наверно, в субботу сто лет будет.

Пашка опять полез было в мотор.

— Слышь... муж-то Майи с дочерью секретарской снюхался, — Иван сказал это с каким-то нехорошим, неприятным злорадством — так, будто собственная его жена «снюхалась» с известным хлюстом и подонком. Сказал и вопросительно смотрел на Пашку, точно ждал, что тот объяснит ему, как это могло случиться.

Пашка повернул к нему голову, долго молчал.

— Да?

— Да.

Дальше Пашка повел себя странно: он как будто знал заранее, что этим все кончится, как будто никогда в том и не сомневался — в непрочности любви учителя к Майе...

— Ну вот, пожалуйста! — сказал он. Положил ключи на капот, спрыгнул на землю. — Я всю жизнь говорил: не присылайте вы к нам этих обормотов! Для чего они здесь нужны? Ответь мне на один вопрос: для чего они здесь нужны? — разглагольствуя, Пашка по привычке стал ходить взад-вперед. — Для чего? Интеллигентов не хватает? У нас своих девать некуда... А учителя этого я давно понял. Он же тихушник. Алкоголик. Это же страшный народ. Я уверен, что он неспроста сюда приехал: он кого-нибудь искалечил там по пьянке, его по глазам видно...

— Будет тебе, — недовольно заметил Иван. — Понес.

— Зараза!.. Тихушник, — Пашка вытер ветошью руки, бросил ветошь на крыло, пошел в дом.

Иван сел на дровосеку, закурил. Легче нисколько не стало оттого, что он рассказал Пашке. Тоскливее стало.

Пашка вышел из дома в хромовых сапогах, в диагоналевых галифе, в бостоновом своем пиджаке, в синей шелковой рубахе... Он умывался наспех — за ушами и на шее осталась грязь. Иван хотел сказать об этом, но не сказал — лень было говорить.

— Пока, — сказал Пашка.

Иван кивнул ему, затоптал окурок, пошел в дом. Лег на лавку, заложил руку за голову и стал смотреть в потолок.

Часа через полтора после этого в дом вбежала запыхавшаяся Нюра.

— Ты дома! — Слава богу. Ох...

Иван вскочил с лавки. «Пашка что-нибудь», — мелькнуло в голове.

— А у нас ни тятеньки, ни Андрюшки... Павел дерется! Мне позвонили в библиотеку...

— Где?

— У чайной, на тракте... Скорей, Ваня, а то он наделает там...

Иван побежал на тракт. Дорогой обогнал милиционера, понял: милиционер бежит туда же, куда и он. Махнул через плетень, выбежал кратчайшим путем — огородами — на тракт, к чайной, увидел толпу...

Пашку прижали к заплоту два каких-то мужика — держали. В сторонке еще кого-то держали, двух шоферов, кажется. Пашка был без пиджака, рубаха разодрана, на лице

кровь. В тот момент, когда Иван подбежал, один из шоферов, которого держали в сторонке, вырвался, кинулся к Пашке. Пашка тоже рванулся, но его не выпустили. Иван схватил шофера за ворот, отбросил в толпу. Его там подхватили, зажали.

— Ваня! — обрадовался Пашка, увидев брата. — Меня тут уродуют! Ты видишь?.. Давай понесем их!

Иван взял его железной рукой, выдернул из толпы и повел в переулок. Кто-то догнал их, отдал Пашкин пиджак.

— Предупреди этих: милиция идет, — сказал Иван тому, что отдал пиджак. — Пусть уходят от греха.

— Куда мы идем? — спросил Пашка. — Фотографироваться?

— Сфотографировал бы я тебя сейчас... Осел. Не сидел еще? Сядешь.

— У меня душа кипит, Ваня...

— Тут поблизости из знакомых живет кто-нибудь?

— Где? Тут? — Пашка огляделся. — Гринька Малюгин вон в той избе живет.

Зашли к Гриньке. Он был дома.

— Где это его так?

— У чайной. Воды дай.

Пашка умылся до пояса, взял у Гриньки чистую рубаху, свою, окровавленную, бросил на крыльцо. Притих.

Сидели на крыльце, курили.

Гринька, пристроившись на ступеньках, катал двумя сковородками дробь: резал ножом свинцовые палочки на мелкие ровные кусочки, насыпал на дно перевернутой сковородки, а другой — тоже дном — крутил, обкатывал. Когда дробинки становились круглыми, они сами выкатывались из-под сковороды на разостланный половичок.

— Запасаюсь на лето.

— В магазине-то нету, что ли?

— В магазине магазинная, не такая. Я магазинной сроду не стреляю. Да и не всегда она бывает там.

— Пойдем? — сказал Пашка.

— Посиди маленько, пусть стемнеет.

— Сейчас что за драки, — стал вспоминать Гринька. — Разве это драки? Раньше драки были!.. Убивали. Дадут стягом по голове — готов. Или на задницу сажали. Посадят разок-другой — тоже не жилец: почахнет с полгода и сапоги снимает. Дядька ваш, Макар, царство небесное, тот умел драться. Но он больше с ножом ходил, я это не уважаю.

Гирька — милое дело. Возьмешь ее в карман, она тебе не мешает. А когда надо, выручит. Меня один раз прищучили на Куделькиной горке низовские ребята, думал — каюк. Человек шесть, все со стежками. Покрошил я их тогда... Один еще сейчас живой — Семен Докучаев. Помнит. Эта, выпили в ларьке, он говорит: «Помнишь, как мы тебя стежками уходили?». Хэх... Они «уходили». А сам первый пятки смазал.

— Из-за чего дрались? — поинтересовался Иван.

— Да из-за чего... Молодые, охота кулаки-то почесать. Вообще из-за девок большинство. Из-за девок много хороших людей пропадает. У меня дружок был, Ванька Отпущеников, так этот Ванька ходил с одной девкой, с Нюркой Беспаловой. Ну, и задумал ее обмануть. Давай, говорит, женимся. Ночь-то переспал с ней в кладовке, а утром вытурил. А она, Нюрка-то, к матери его. Стучится чуть свет в дверь-то, заполошная девка. Она потом куда-то уехала от стыда. Вот стучит что есть мочи... А мать Ванькина была сердцем слабая. Выскакивает на улицу-то, а Нюрка кэ-эк кинется ей на грудь да как заорет: «Ой, да что же он со мною наделал-то!». Мать, как стояла, так упала. Тут же и померла. А у Ваньки три брата еще было. Осерчали они крепко, братья-то, побили его, да, видно, чересчур — помер Ванька тоже. Жалко мне его было, хороший товарищ был.

— Да-а... — задумчиво сказал Иван. — Не шутили.

— Какие шутки!

— А милиция была? — спросил Пашка.

— Никакой милиции. Это потом уж, в году в двадцать пятом, стала милиция. Родионов вон, секретарь теперешний, первый милиционер у нас был. А до этого никаких милиций. В районе — тогда центр-то в Старой Барде был — имелась каталажка. Кто шибко уж набедокурит, приедут отвезут туда.

— Ну, Иван, пойдем? — не терпелось Пашке.

— Пошли.

Уже начало темнеть. День угомонился, отсверкал, отзвенел... На землю опустились сумерки, и природа, люди зажили другой жизнью — приглушенной, спокойной.

— Пойдем к ней? — сказал Пашка.

— Ты что? К Майе? Да ты что?

— Я буду говорить, ты... просто так.

Иван остановился, посмотрел на брата.

— Не гляди, я трезвый уже. Возьмем ее к себе, и все.

Ивана поразила такая простая мысль: взять к себе, и все. И все мучения долой. Неужели так можно?

— Как же так?..

— А что?

— Пойдет, думаешь?

— Пойдет. Вот именно сейчас самый такой момент: когда бабе изменяют, ей кажется, что она уже никому больше не нужна. А мы придем и скажем, что она нам нужна. Она и пойдет с нами — назло своему бывшему мужу. Ясно? Их понимать надо.

— У нее ребенок будет, — вспомнил Иван. — Ты знаешь об этом?

— Ну и что?

— Пошли.

Пошли к Майе.

— А если он там, этот?..

— Ноль внимания. Как будто его нету, — Пашка подсобрался, похорошел, как петух перед дракой.

— Сомневаюсь я здорово.

— Все будет в порядке. Даже не размышляй сейчас, — Верил ли Пашка сам в успех или шел просто так, уступая своему авантюрному характеру, — непонятно. Он не думал ни о чем. Он шел. Он не мог не идти, поэтому шел. А уж если он шел куда, он не останавливался — шел. — Он сам ей об этом сказал? — спросил Пашка.

— О чем?

— Что он больше ее не любит.

— Не знаю, — Ивану не хотелось передавать Зоин рассказ о том, как учителя и Марию застала где-то школьная уборщица. Даже думать об этом было противно. Чудилось что-то нехорошее, насильственное в этом содружестве учителя и Марии. Одно из двух: или учитель — тот самый никем не признанный гений, какого искала Мария, или он ловкий и нахальный гад, который сумел обвести ее вокруг пальца.

«Дура ты, дура... Дуреха большая».

Озлобления, какое он испытывал днем, не было. Было тоскливо и грустно. Было жалко Марию.

Майя была одна дома. Сидела у стола спокойная, не рвала на себе волосы, не рыдала... Даже улыбнулась, здороваясь.

— Здравствуйте, ребята. Садитесь.

Может, это и сбило Пашку с панталыку, он оробел. Одно дело, когда человек убит горем, когда он от отчаяния на стенку лезет, и совсем другое — когда он, как говорят, ничем ничего.

— Как живешь? — спросил Пашка.

— Хорошо.

— Попроведать зашли тебя...

— Спасибо, что не забываете...

Иван видел, какая Майя была в райкоме. Удивляла разительная перемена, которая произошла с ней.

«Может, помирились уже, — подумал он. — Наверно, это была сплетня и сейчас все, слава богу, выяснилось».

— А мы, значит зашли вот... — заговорил было Пашка, но Иван сделал свирепое лицо, наступил ему на ногу и мотнул головой — «молчи». — ...Зашли вот попроведать.

— Еще раз спасибо. — Майя улыбнулась. — Вы как живете?

— Тоже хорошо, — Пашка уловил момент, когда Майя не смотрела на него, тоже сделал свирепое лицо и тоже молча спросил у Ивана: «В чем дело?».

«Молчи».

Майя заметила, что братья что-то мнутся, вопросительно уставилась на Ивана; она только сейчас вспомнила, что видела его днем в райкоме, а значит, и он видел ее. Иван, встретив такой откровенно вопросительный взгляд молодой женщины, смутился.

— Ну, пойдем, Павел?

— Пошли.

Попрощались с Майей, вышли на улицу.

— По-моему, они помирились. Вранье, наверно, это все, сплетни.

— Да?

— Давеча так плакала, а сейчас... Нет, кумушка какая-нибудь болтанула давеча, она и взвилась... Молодая еще.

— Значит, все, — Пашка сплюнул на дорогу. — Ну как тут не напиться?

— Брось, это не выход.

— А что делать?

— Влюбиться в кого-нибудь.

— Да я всю жизнь только и влюбляюсь!.. А видишь, что получается.

— Значит, не так что-то.

— Что не так?

— В чем-то ошибаешься. Может, хамить сразу начинаешь — баба не выносит этого. Вообще я тебе откровенно скажу: будь я бабой, я бы тоже не посмотрел на тебя — болтаешь ты много, куда к черту!

— Так ведь стараешься, чтоб ей веселее было! Не умирать же от скуки.

— Ты говори, только не пустозвонь. Дельные какие-нибудь слова... А то как пойдешь: «пирамидон», «сфотографирую», «тапочки в гробу»... Трепач получаешься. А девки трепачей не любят. Посмеиваться посмеиваются, а как до дела доходит, выбирают скромного.

— Зараза — язык! Все, с этого дня кончаю трепаться. Молчать буду. Пусть лучше сохнет от скуки, а буду молчать. Верно? Пусть, если хочет, сама трепется.

— Кто?

— Ну, с кем познакомлюсь.

— А-а... Ну, конечно! — Иван думал о себе. Понятно, почему Пашку не любят, но почему Мария его не полюбила — это непонятно. Обычно, когда он хотел, чтобы его любили, его любили.

«Что-то у меня тоже не так».

Дома их ждал Андрей. От нечего делать зажег факел и копался в моторе Пашкиной полуторки. Он был в комбинезоне, грязный — видно, как пришел с работы, так сразу сюда.

— Ну, что? — спросил он.

— Что?..

Андрей погасил набензиненную тряпку, затоптал сапогами.

— Пойдем в дом.

Вошли в дом, включили свет.

— Тебя милиция ищет, — сказал Андрей, сурово глядя на Пашку. — Что ты делаешь? Когда ты бросишь свои дурацкие замашки?

Пашка ходил по комнате, покусывал губу, не глядел на братьев.

— Когда были?

— Недавно. Велели утром прийти.

— Что уж я, совсем дурак? Сам пойду...

— А я считаю, надо сходить.

— Зачем? — спросил Иван.

— Затем, что хуже может быть.

— Ничего, он завтра уедет на неделю, а там... забудут. А сейчас, под горячую руку, посадят.

— Докатился!.. — Андрей сел на припечье, вздохнул. — С какого горя ты опять напился-то? Хоть бы людей постыдился — сев идет.

Пашка сморщился, потер ладонями виски.

— Тебе мое горе не понять.

— Фу ты!.. Сложный какой.

Помолчали.

— Здорово они там? — спросил Андрей Ивана, кивнув в сторону Пашки.

— Да нет... Но суток на десять намахали.

Андрей покачал головой.

— Тц... Дурак, больше я тебе ничего не скажу, — встал и вышел, крепко хлопнув дверью.

— Андрюха в начальство попер, — сказал Пашка.

— Он тебе верно говорит: бросать это надо. Никому ты ничего кулаками не докажешь. Дурость это... Если не умеешь пить, лучше не пей. Без этого тоже можно прожить.

Пашка стал снимать парадный костюм.

— Пойдем посмотрим машину... Я прямо в ночь уеду.

Часов до двух возились с машиной. Наладили. Пашка зашел в дом, взял на дорогу папирос... Хотел было забрать с собой выходной костюм, но махнул рукой.

— Временно прекратим, — сказал он.

— Чего?

— Так... Пока.

— Счастливо. Куда сейчас?

— В город за горючим. Придет милиция, скажи... А вообще-то ничего не надо говорить. Я постараюсь подольше не приезжать.

Иван закрыл за Пашкой ворота, пошел в дом.

«Бабенку, что ли, завести какую-нибудь», — подумал он, представив себе все одинокие долгие вечера в большом пустом доме.

Родионов пришел, как обещал, поздно вечером.

Юрия Александровича не было дома.

Майя сидела все на том же месте — за столом, у окна.

— А где... нету еще? — спросил Кузьма Николаевич.

— Нету еще.

Родионов повесил на гвоздик фуражку, присел к столу, облокотился.

— Подождем.

— Мне ужасно стыдно перед вами, Кузьма Николаич, — призналась Майя. — Я не знаю, зачем я давеча в райком побежала... Я уже все теперь сама решила: мы разойдемся.

Родионов понимающе кивнул головой, достал папиросы, положил перед собой.

— Ничего, мне тоже охота с ним поговорить. Курить можно?

— Пожалуйста.

Родионов закурил.

— Привыкаешь у нас?

— Привыкаю. Трудно, конечно.

Родионов опять понимающе кивнул головой, посмотрел на Майю... Невольно опустил глаза на ее живот, потом опять глянул ей в глаза.

— Ты сама из каких людей?

— Папа у меня научный работник, мама — домашняя хозяйка.

— Трудно, конечно, — согласился Родионов.

— Я не о таких трудностях говорю... Вы подумали, наверно, что вот, мол, одна, без папы с мамой осталась, поэтому трудно.

— И поэтому тоже трудно. А интересно?

— Здесь?

— Да.

— Мне нравится. Здесь как-то... обнаженнее все, здесь работаешь и как-то чувствуешь, нужна твоя работа или не нужна. Я имею в виду нашу, умственную работу. В городе все запутаннее. Мой папа доцент, всю жизнь пишет какие-то брошюры о воспитании, как будто важно все, нужно, а я сейчас понимаю, что не нужно. Никто его брошюры не читает. Это ведь очень обидно. И особенно обидно, когда видишь, сколько еще вокруг работы!.. Ну что эти его брошюры?! Все ведь проще и все ужасно труднее.

Родионов с интересом слушал молодую женщину.

— Папу очень уважают все, потому что он хороший, добрый человек, он привык, что его уважают, он очень много работает... А я сейчас лежу иногда ночью и думаю: неужели он не понимает, что не так надо?

— Хорошие брошюры тоже нужны, — заступился Родионов за незнакомого доцента.

— Да я понимаю!.. Но это, если бы человек ни на что другое не был способен! Он же очень умный, папа, но вот он уверен, что делает большое дело, и от этого спокойный такой. Сумбурно так выражаюсь... Не знаю, я боюсь, что он возьмет да под старость лет поймет, что всю жизнь обманывал себя, вот тогда... трагедия будет.

— Ну, а что бы ты посоветовала ему делать?

— Да теперь уж ничего... Чего делать? Пусть пишет брошюры. Не переделается же человек в пятьдесят лет.

— А ты попробуй все-таки напиши ему вот об этом. Интересно, что он ответит.

— Ну-у... нет, не стоит. Он обидится. Он меня недалекой считает. А ведь он мог бы, знаете, каким редактором у нас быть!.. Он же писать может.

— Он партийный?

— Да.

— Напиши ему, — серьезно стал настаивать Родионов. — Ты не думай, что пятьдесят лет — это все. Это в двадцать пять так кажется, а в пятьдесят кажется, что еще ничего не начиналось. Ты вот напиши ему.

— Он скажет... Не знаю, — Майю тоже заинтересовал тот вопрос: поймет ли отец или не поймет. — Не знаю...

Уличная дверь хлопнула.

— Идет. Сейчас подумает... А ну его к черту, буду я еще думать, что он подумает.

Вошла женщина, соседка Майи.

— Маечка... Здравствуйте. Маечка, я пришла попросить: не поможешь нам в одном деле? Написать надо бумагу одну... Получше бы надо, а мы не умеем.

Майя встала, накинула на плечи шаль.

— Извините, Кузьма Николаич. Я наверно, скоро.

— Давай, давай, Я посижу.

Майя ушла с женщиной.

Родионов пододвинул к себе какую-то книгу, полистал, посмотрел заглавие: «Байрон. Избранное». Отодвинул книгу, навалился грудью на стол, положил голову на кулаки, попытался собраться с мыслями. Решил выделить что-то самое главное для себя сейчас. Но в мозгах все перепуталось, переплелось. Тут же подумалось и о посевной, и о дочери, и о лебяжинском мосте, опять о посевной, об Ивлеве, опять о дочери, о Майе, даже об ее отце-доценте... И все как-то неопределенно думалось, рвано. Тяжело было на душе, смутно. И болит сердце, физически болит.

«То ли старею, то ли устал крепко», — подумал он. Прикрыл глаза.

В сенях послышались чьи-то шаги. Родионов вскинул голову.

Вошел Юрий Александрович. Очень удивился, увидев секретаря райкома, заметно растерялся... И от растерянности улыбнулся и сказал громко:

— Добрый вечер, товарищ секретарь!

— Здравствуй.

Юрий Александрович, не снимая плаща, сел к столу, положил перед собой шляпу.

— Ко мне жена твоя приходила, — сразу начал секретарь, в упор, внимательно глядя на учителя. — Что у тебя происходит?

Юрий Александрович невольно окинул быстрым взглядом комнату, остановился на некоторых вещах жены... Опять посмотрел на секретаря. Он растерялся совсем. Он не мог представить себе раньше, что когда-нибудь вот так, с глазу на глаз будет беседовать с секретарем Родионовым о своих отношениях с Марией — с дочерью одного секретаря, с женой другого. Положение пиковое.

— Прорабатывать меня пришли? — он неопределенно усмехнулся. Он, как это частенько бывает, слегка обнаглел от растерянности. — Я же не член партии.

— Тебя когда-нибудь обижали люди? — спросил Кузьма Николаевич. — Крепко?

— Нн... нет. Я не понимаю, о чем вы?

— За что же ты обидел столько человек сразу?

— А в чем, собственно, дело? Я полюбил женщину... да! Я этого не скрываю. Ну и что теперь?

— Ты на ней жениться хочешь?

— Конечно! — Юрий Александрович решил вымахнуть на волне благородства, прямого, открытого благородства. — Я все понимаю... Мы поженимся с Марией. Не могу же я...

— Ты все можешь! — рявкнул Родионов. Он быстро стал терять власть над собой. В груди образовалась какая-то пустота, и в эту пустоту несколько раз замедленно, с болью, сильно садануло сердце. — Ты трус! Ты готов жениться, но это из-за трусости. Любить ты не умеешь. Когда любят, так не делают. Ты самый обыкновенный паразит!..

— Вы меня можете сколько угодно оскорблять... — красивые девичьи глаза учителя потемнели от обиды и страха.

— Тебя убить надо, а не оскорблять. Милость сделал — он женится. Я те женюсь!.. — на скулах секретаря, которые уже успел тронуть ранний загар, выступили белые пятна. — Я тебе покидаюсь такими словами. Ты о другой семье подумал? Ты обо мне подумал... прежде чем втоптать в грязь меня? Образованный человек!..

— Что же теперь делать? Разве так не бывает?

— Так не бывает! Так бывает, когда любят.

— Я люблю.

— Ты завтра уедешь отсюда, — секретарь встал. — Не уедешь, пеняй на себя.

— Я же на работе, как же я...

— Вот так! — секретарь шагнул к двери, снял с гвоздя фуражку, оглянулся на учителя. — Эх, парень... — смотрел убийственно просто, горько и беспомощно. Надел фуражку и вышел.

Майя сидела на крыльце; она увидела через окно, что муж дома, и не стала входить. Родионов остановился около нее, закурил.

— Он завтра уедет на пару недель, пусть едет. За это время... Мы хоть очухаемся все за это время, соберемся с мыслями, — сказал он.

— Я больше с ним жить не буду, — негромко и упрямо ответила Майя.

— Я не заставляю жить. Если за это время ничего не изменится, значит, не изменится. Но сгоряча такие вопросы не решают. Пусть он подумает. И ты подумай. И не расстраивайся, держи себя — о ребенке надо думать, — Родионов склонился к Майе, поднял ее. — Давай руку... Крепись. Мне тоже горько, поверь.

— Я понимаю, Кузьма Николаич.

— Ну вот... До свидания.

— До свидания.

Родионов широким шагом пошел из ограды.

«Ничего я не сделал. Ничего не сделаю, — думал он. — Что я могу сделать».

За воротами — лицом к лицу — столкнулся с Ивлевым. Тот ждал его.

— Ты чего тут?..

Ивлев зажег спичку, прикурил. Пальцы его тряслись, он быстро погасил спичку, чтобы этого не увидели.

— Так...

— Я думал, ты в Усятске давно.

— Сейчас поеду.

Пошли. Долго молчали. Молчание было мучительным.

— Это правда? — спросил Ивлев.

— Правда, — не сразу сказал Кузьма Николаевич.

Опять замолчали. Дошли до колодца. Ивлев бросил папироску, сказал бодрым голосом:

— Подожди, я напьюсь.

...Колодезный вал с визгом, быстро стал раскручиваться. Все быстрее и быстрее. Глубоко внизу гулко шлепнулась в воду тяжелая бадья... Забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьи...

Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом вал надсадно, с подвывом застонал, точно кто заплакал. Цепь с противным, коротким, трудным скрежетом наматывалась, укладывалась на вал. Громко капали вниз тяжелые капли.

Ивлев подхватил рукой бадью, поставил на сруб, широко расставил ноги, склонился, стал жадно пить.

— Ох, — вздохнул он, отрываясь от бадьи. — Холодна!.. Не хочешь?

— Нет.

Ивлев еще раз приложился, долго пил... Потом наклонил бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю, в грязь чистая вода.

«Вот так и с любовью, — думал Кузьма Николаевич, — черпанет иной человек целую бадейку глотнет пару раз, остальное — в грязь. А ее бы на всю жизнь с избытком хватило».

— Ну, пока, — сказал Ивлев, вытирая о галифе руки. — Зайду сейчас домой, потом в Усятск поеду.

— Пока.

Ивлев быстро стал уходить по улице и скоро исчез, растворился во тьме. Кузьма Николаевич подвесил бадью на крюк и тоже пошел домой.

Мария сидела в плаще на кровати, слегка откинувшись назад, на руки, покачивала одной ногой, смотрела перед собой. На стук двери повернула голову, перестала качать ногой, но положения тела не изменила.

Ивлев с порога долго смотрел на нее.

— Уходи.

Мария легко поднялась, окинула глазами комнату, подошла к угловому столику, взяла альбом с фотографиями и пошла к двери. Ивлев посторонился, пропуская ее. Дождался, когда хлопнули воротца в ограде, сунул руки в карманы и стал ходить по комнате. Остановился над платочком, который обронила Мария, долго смотрел на него... Лежал маленький комочек — тряпочка, нежно розовея на грубоватых, давно не мытых досках пола. Ивлев наступил на него сапогом... Потом стал топтать каблуком, точно вколачивал в пол всю боль свою, всю обиду.

Родионов тоже шагал по комнате (по комнате Марии), курил без конца, мял под кителем одной рукой кожу под левым соском. Клавдия Николаевна тихонько звякала на кухне посудой.

Вошла Мария.

Кузьма Николаевич остановился посреди комнаты.

Мария с альбомом в руках стояла в дверях, смотрела на него.

— Иди сюда, — сказал отец.

Она подошла.

Кузьма Николаевич больно ударил ее по лицу... И потом бил по щекам, по губам, по глазам... Она пятилась от него, он шел за ней и бил.

— Папа!..

— Шлюха.

— Ты что?..

— Шлюха. Гадина.

Мария открыла ногой дверь, выбежала... Кузьма Николаевич схватился за сердце и стал торопливо искать глазами место, куда можно присесть. Он был белый, губы посинели и тряслись.

— Кузьма!.. — заполошно вскрикнула Клавдия Николаевна. — Ты че? Кузьма?!

— Давай звони!.. Звони... Пойдем! — Кузьма Николаевич пинком распахнул дверь и быстро пошел из дома. — Пошли!..

Клавдия Николаевна почти бежала за ним.

— Да погоди ты!.. Да не беги ты!..

Кузьма шел, не сбавляя шага, крепко держался за сердце... Торопился донести его.

— Кузьма!..

— Давай, давай... скорей, — шептал он.

...В больнице переполошились. Уложили Кузьму Николаевича на кушетку, расстегнули китель... Сестра сунула ему под руку градусник, другая стала готовить шприц с камфарой. Пожилая толстая няня покултыхала за дежурным врачом, который куда-то отлучился.

— Ну-ка!.. Упал он, — шепотом быстро проговорил Кузьма Николаевич, глядя на жену. — Подержи его, прижми руку...

Клавдия Николаевна насилу поняла, что он имеет в виду градусник, который выпал у него из-под руки. Поправила градусник, прижала руку к боку... Кузьма повел глаза к потолку, куда-то назад, дернулся — хотел встать... И уронил голову.

Мария, выбежав из дому, быстро пошла к Ивану Любавину. Дорогой зло и скупо всплакнула, вытерла слезы, гордо вскинула голову... В осанке, и в походке, и в опущенных уголках губ — во всем облике снова утвердилась непокорная, дерзкая уверенность в собственном превосходстве.

Такой она и явилась к Ивану. Он почему-то не удивился, увидев ее. Он знал, чувствовал, что сейчас в Баклани, наверное, в трех местах сразу разыгрывается нешуточная драма, в центре которой стоит Мария. И неудивительно, если та роль, какую она приняла на себя, окажется на этот раз ей не по силам и она захочет уехать. Или кто-то другой захочет уехать... Он безотчетно ждал кого-то о т т у д а весь вечер.

— Поедем, — сказала Мария.

— Куда?

— В город. На вокзал.

Иван лежал в постели, читал. Не стесняясь Марии, откинул одеяло, обулся...

— Пошли.

— У тебя деньги есть? — спросила Мария.

— Есть.

— Мне рублей пятьсот надо.

— Сейчас посмотрю... — Иван порылся в чемодане, где у них с Пашкой лежали деньги (на мебель копили), отсчитал пятьсот... — На.

— Я пришлю потом.

...Шли темной улицей, молчали. Прошли мимо больницы...

Иван шел несколько впереди Марии, думал о ней: «Поехала?.. Скатертью дорожка, — думал без всякой злости. —

Хороших мужиков хоть мучить не будешь. В городе нарвешься на какого-нибудь... Там найдутся и на тебя».

— Уезжаешь?.. Или бежишь? — не вытерпел и спросил он.

— Не спешу, но поторапливаюсь.

— В какие края?

— Далеко.

...В машине Мария стала приводить себя в порядок. Долго причесывалась, пристроив на коленях зеркальце... Держала в губах заколку, шелестела плащом... От нее — от ее рук, волос, плаща — веяло свежим одеколонистым холодком. Чуточку искривленные, яркие, полные губы, в которых была зажата заколка, начали беспокоить Ивана. Поправляя волосы, она часто задевала его локтем, это тоже беспокоило. Он прибавил газку.

Примерно на полпути к городу обогнали Пашку. Иван приветственно посигналил ему, мигнул трижды задними огнями.

...Народу на вокзале было немного. Поезд Марии отходил через полчаса. Она взяла билет и пошла к окошечку «Телеграф». Иван (он решил проводить Марию) сидел на широком жестком диване, разглядывая огромную картину на которой матросы Черноморского флота бились с немцами.

Мария отправила телеграмму, подошла, села рядом. Посмотрела на часы.

— Ну... скоро.

Ивану сделалось очень грустно. «Зачем нужно, чтобы она уезжала? — думал он. — Куда она едет?..».

— Какой сегодня день? — спросила Мария.

— Вторник.

— Слава богу, что не понедельник. Не могу уезжать в понедельник и тринадцатого.

«Ну куда она едет? Куда?», — Иван представил ее, одинокую, на вокзале в большом каком-то городе, торопливо и жадно оценивающие взгляды сытых прохиндеев... «Ну куда, к черту едет? Зачем?».

— Куда едешь-то все-таки?

— Далеко, — Мария посмотрела на него, улыбнулась. — Пока до Новосибирска.

Иван тоже посмотрел на нее.

«А ведь не будет ее сейчас. Ведь уедет она», — понял он.

До отхода поезда оставалось десять минут. Они все еще сидели на диване. Мария казалась спокойной.

— Пойдем?

— Сейчас... успеешь.

И — как будто его только и не хватало здесь — в зал торопливо вбежал Юрий Александрович. Ринулся к кассе. Марию не увидел. Он никого вообще не видел. Он торопился.

Иван встал.

— Дай-ка твой билет.

— Зачем? — Мария тоже поднялась. В сторону кассы, где, склонившись у окошечка, стоял Юрий Александрович, не смотрела. Растерянно и насмешливо улыбалась.

— Дай, мне нужно.

Мария отдала ему билет.

Иван пошел к кассе... Подошел, вежливо постучал в узкую согнутую спину Юрия Александровича. Тот торопливо обернулся, выпрямился...

— На, — сказал Иван, подавая ему билет. — Все равно пропадает.

Юрий Александрович, не понимая, смотрел то на билет, то на Ивана... Потом повернул голову, увидел Марию. Мария стояла на том же месте, где ее оставил Иван. Смотрела на них. Через весь зал почти встретились взгляды Юрия Александровича и Марии. Юрий Александрович поспешно отвернулся...

— Зачем он мне? Я сам возьму.

— Да бери-и!.. — Иван лапнул учителя за грудь, сорвал пуговицы пиджака и рубашки и старательно засунул билет ему за майку. — Бери... не потеряй, — отпустил его, посмотрел в красивые, слегка выпуклые глаза, повернулся и пошел. — Пойдем, — сказал он Марии. Сказал твердо, требовательно. Мария пошла за ним.

— Ты почему так сделал?

Иван тоже остановился.

— А куда ты, к черту, поедешь? Пойдем, — он двинулся вперед. Мария прошла еще за ним несколько шагов, остановилась. Иван тоже остановился.

— Что же мне теперь делать-то? — негромко спросила она.

— Поедем в Баклань.

— Где мне там жить? У тебя?

— Найдешь. Можешь у меня, если захочешь. Можешь у Ивлева. Можешь у отца... Тебя никто не гонит, не психуй, пожалуйста.

— Меня бьют! — сердито сказала Мария и топнула ногой. — Бьют, а не гонят! — и заплакала.

Иван взял ее за руку и повел к машине. Мария покорно пошла. Всхлипывала, размазывала по щекам слезы.

— Бьют за дело. Ты сама бьешь так, что... Ты сама не жалеешь, чего же ты обижаешься.

Сели в машину, поехали.

— А куда я сейчас-то денусь? Ни к отцу, ни к Ивлеву я не пойду.

— Переночуешь у меня. А завтра видно будет.

— Ты что?!

— Что? Не бойся... ничего с тобой не случится. Я уйду к Андрею.

Пашка ехал не торопясь, думал.

Ночи весенние, темные, мучительные... О чем только не думается, о чем не мечтается. Всякая всячина в голову лезет.

Пашке было грустно.

Пошел мелкий косой дождик. Первый в этом году.

Перед городом, километрах в восьми, у деревни Игринево, на дороге впереди замаячили две человеческие фигуры. Одна высокая, другая пониже. Махали руками. Пашка остановился.

— До города подбрось, пожалуйста! — офицерик был совсем молодой, весь в ремнях и старался говорить басом. Он был чем-то чрезвычайно доволен, наверно, ночными блужданиями с любимой. Конечно, так. Девушка прижималась к нему, весело смотрела на Пашку. Она тоже была довольна.

— Садитесь.

Девушка села в кабину и начала вертеться, отряхиваться... Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться между собой, смеялись.

Пашка искоса разглядывал девушку. Хорошенькая, белозубая, губы бантиком — загляденье!

— Куда это на ночь глядя? — спросил Пашка.

— В гости, — охотно откликнулась девушка. И опять вылезла наполовину из кабины — говорить со своим дружком. — Саша! Саш!.. Как ты там?!

— В ажуре! — кричал из кузова лейтенант.

— Вам что, дня не хватает — по гостям ездить? — опять спросил Пашка.

— Что? — Девушка мельком глянула на него и опять полезла говорить: — Саша! Саш!..

«Саша! Саша!! — съехидничал про себя Пашка. — Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас — впереди машины побежит».

— Я представляю, что там сейчас будет! — кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась.

«О! О!.. Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», — сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

— Саша! Как ты там?!

— Порядок! — не сдавался лейтенант. — На борту порядок!

— Скажи ему: там под баллоном брезент лежит, пусть накроется, — сказал Пашка. — А то захворает в гостях-то.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

— Саша! Саш!.. Там под баллоном какой-то брезент лежит!.. Накройся!

— Я уже накрылся! Порядок!

Пашка закурил и опять задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

Перед фарами летела, косо падая, серая сетка дождя.

...В город приехали еще до света.

— Спасибо, — сказал лейтенант, спрыгнув на землю.

— На здоровье.

Пашка заехал к знакомым, отоспался на полатях, встал, плотно пообедал, погрузил на складе пустые бочки и поехал на центральное бензохранилище — километрах в семнадцати от города.

День был теплый, тусклый... Дороги раскисли после вчерашнего дождя. Колеса то и дело пробуксовывали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

...Бензохранилище — это целый городок, строгий, стройный, однообразный, красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стояли огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, овальные, врытые в землю и просто так, не врытые...

Пашка пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином.

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими, тоже уже груженными, и зашел в контору — оформить документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это произошло, отчего, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек восемь шоферов, две девушки за столом и толстый мужчина в очках (тоже за столом), он-то и оформлял бумаги. Девушки — одна писала, другая крутила арифмометр.

Свет вспыхнул сразу... Все на мгновенье ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестанул чей-то вскрик:

— Пожар!

Шарахнулись из конторы...

...Горели бочки на одной из машин.

Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый мужчина (который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давай брезент! Э-э!.. — заорал он. — Куда вы?! Успеем! Успеем же!..

— Беги!.. Сейчас рванет! Беги, дура толстая!.. — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Пашка тоже остановился.

— Сейчас... — сказал сзади голос. — Ох, и будет!..

— Добра-то сколько! — сказал другой голос.

Кто-то негромко заматерился.

— Давай брезент! — непонятно кому кричал мужчина в очках и сам не двигался с места.

— Уходи!.. Вот ишак.

Пашку точно кто толкнул сзади... Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком колотили мягко и больно: скорей! Скорей! Видел, как впереди, над машиной, свиваются яркие космы огня.

Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, воткнул первую передачу и даванул газ... Машина рванула и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин.

...Река была в полукилометре от хранилища; Пашка правил туда, к реке. Машина летела прямо по целине, прыгала... Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови нижнюю губу, почти лег на штурвал... В голове больно колотилось: скорей! Только скорей!

Крутой обрыв реки приближался угнетающе медленно. На небольшом косогорчике колеса забуксовали... Машина юзом поползла назад. Пашка вспотел. Молниеносно перебросил скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега оставалось метров двадцать. Пашка открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку... В кузов не глядел — там колотились друг о дружку бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Пашка чего-то медлил, не прыгал... Прыгнул, когда до берега оставалось метров десять. Упал. Слышал, как особенно сильно грохотнули бочки, взвыл мотор... Потом внизу, под обрывом, с силой рвануло, и оттуда стремительно вырос красивый столб огня. И стало тихо.

Пашка встал и тут же сел — в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

— ...Ногу сломал, — сказал Пашка самому себе.

К нему подбежали, засуетились... Подбежал толстый мужчина в очках, заорал:

— Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести?!

— Ногу сломал, — сказал Пашка.

— В герои лезут!.. Подлецы! — кричал толстый.

Один из шоферов взял его за грудки.

— Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера... Снял очки, высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

— Все сердце перевернулось. Опять лежать теперь.

Пашку подняли и понесли.

...В палате кроме Пашки было еще четверо мужчин. Один ходил с «самолетом», остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги.

Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

— Слышь, Микола!.. Неужели ж у тебя сердца нету?

— Нельзя, — спокойно отвечал Микола. — Не положено.

— Эх...

— Вот те и «эх». Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?

— Я.

— Ты... Я же и отвечу. Терпи. Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта игрушка? Тоже надоела.

— Ты же ходишь, оглоед!.. Сравнил.

— И ты будешь.

— А чего ты просишь-то? — спросил Пашка детину (Пашку только что внесли в палату).

— Просит, чтоб я ему гири отвязал, — пояснил Микола. — Дурней себя хочет найти. Так ты полежишь и встанешь, а если отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

— Не могу больше. Я психически заболею. Двадцать второй день сегодня... Сейчас орать буду.

— Ори, — спокойно сказал Микола.

— Ты что, дурак, что ли? — спросил Пашка детину.

— Няня! — заорал детина.

— Как тебе не стыдно, Иван! — укоризненно сказал один из лежащих. — Ты же не один здесь, верно?

— Я хочу книгу жалоб и предложений.

— Зачем она тебе?

— А чего они... Не могли уж умнее чего-нибудь придумать? Так, наверно, еще при царе Горохе лечили.

— Тебя не спросили, ученый нашелся.

— Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища). Увидел Пашку, заулыбался.

— Привет! Лежишь? На, еды тебе принес... Фу-у! — мужчина сел на краешек Пашкиной кровати, огляделся. — Ну и житье у вас, ребята! Лежи себе, плюй в потолок.

— Махнемся? — предложил мрачно детина.

— Завтра.

— А-а... Нечего тогда вякать.

— Ну, как? — спросил мужчина Пашку — Ничего?

— Все в ажуре.

— Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко оставалось?

— Та-а...

— Машину что ли, хотел сохранить? Так она — так и так — сгорела бы.

— Да нет... я и не думал про машину. Не знаю.

— А меня чуть кондрашка не хватила. Сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

— Я ж танкистом в армии был, — хвастливо сказал Пашка. — Попробуй пощекоти меня — хоть бы хны.

— Машину достали. Всю, в общем, разворотило... Дал ты ей по целине-то. Сколько лежать придется?

— Не знаю. Вон, друг двадцать вторые сутки лежит уже... С месяц, наверно.

— Перелом бедренной кости? — спросил детина. — Три месяца не хочешь? С месяц... хэх, быстрые какие все.

— Привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда — не пускают. Меня, как профорга, и то еле пропустили, еле уломал. Журналов вот тебе прислали... — мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, спрашивали про тебя... А мы и знать не знаем. Только в командировке сказано, что Любавин Павел, из Баклани... Сюда, наверно, придут.

— Это ничего, — сказал Пашка самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— Хэх... Ну, ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай!

— Счастливо!

Профорг пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку детина.

Пашка некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? Должны были по радио передавать.

— Нет, — сказал детина, — у меня наушники не работают.

— Произошла авиационная катастрофа. Самолет летел с такой скоростью, что загорелся в воздухе. Пилотировал самолет Любавин Павел Ефимович, то есть я. Преодолевал звуковой барьер.

У всех вытянулись лица. Детина даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха.

— Врешь ведь?

— Ну вот!.. Не веришь, не верь, я тебя не заставляю. Какой мне смысл врать!

— Ну и как же ты?

— Преодолел барьер, дал радиограмму на землю и прыгнул затяжным прыжком. И ногу вот сломал.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня аж дыхание остановилось.

— Трепач, — сказал детина разочарованно. — Я думал, правда.

— Вот так, — сказал Пашка и стал смотреть журнал. — Состояние невесомости перенес хорошо... Пульс нормальный.

— Во-первых, на самолетах не бывает невесомости, — сказал детина.

— Привет! Хэх... — Пашка перелистнул страничку журнала. — Много ты знаешь.

— Невесомость вообще-то бывает, — сказал человек с «самолетом», — но все равно ты загибаешь, парень. Кто это к тебе приходил сейчас?

— Приходил-то? Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме — стесняется по городу в форме ходить.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

— Генерал!.. Я ж его знаю! Он же на бензохранилище работает!..

— Знаешь?

— Знаю!

— Так чего же тогда спрашиваешь?

Детина раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Пашка тоже засмеялся. Потом засмеялся человек с «самолетом» и остальные. Лежали и хохотали, глядя друг на друга.

— Ой, мама родимая!.. Кончаюсь, — стонал детина.

Пашка закрылся журналом и хохотал беззвучно.

В палату вошел встревоженный доктор.

— В чем дело, больные?

— О-о!.. — детина показывал пальцем на Пашку и не мог произнести ничего членораздельного. — Гене... ха-ха-ха... барьер... хо-хо-хо!..

Старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

В палату вошла девушка лет двадцати трех... В брюках, накрашенная, с желтыми волосами, красивая. Остановилась в дверях.

— Здравствуйте, товарищи.

Смех потихоньку стал стихать.

— Здравствуйте, — сказал Пашка.

— Мм-м... ха-ха-ха, ох-ха-ха... — мучился детина.

— Кто будет товарищ Любавин? — спросила девушка.

— Я, — сказал Пашка и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! Я вот тут присяду немножко... Можно?

— Конечно!

— Я из городского радиокомитета, хочу поговорить с вами.

Детина перестал хохотать — смотрел то на Пашку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Пашка и мельком глянул на детину. Детина теперь начал икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— На пять с плюсом. Фотографировать будете?

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Пашку. Пашка тоже улыбнулся. Девушка опустила глаза к блокноту...

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Пашка, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Ага.

— Хорошо... Я могу записать вас. В другой раз только.

— Значит, так: родом я сам из... из Баклани... А вы откуда? — спросил он игриво.

— Я? Я из Ленинграда, — девушка спокойно, весело смотрела на Пашку. — Но только при чем же здесь я? Не я ведь совершила подвиг...

У Пашки сладостно заныло в груди. Ему до слез захотелось узнать, замужем она или нет.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил он. — Я вам могу сказать следующее...

Детина неудержимо икал и во все глаза смотрел на яркую девушку.

— Выпей воды! — разозлился Пашка.

— Я пил только что, — сказал детина, сконфузившись. — Не помогает.

— Значит так, — продолжал Пашка, затягиваясь папиросой и оттопырив «интеллигентно» мизинец. — О чем мы говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — серьезно сказал Пашка. — Мне трудно...

— Вот уж никогда бы не подумала! — воскликнула девушка. — А вести горящую машину — это легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг негромко и доверчиво спросил: — А что тут такого? Вы только это не записывайте. Я на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы расскажете по радио, а мне потом стыдно будет перед людями... Вон, скажут, герой идет. Народ же, знаете, какой! Или это ничего?

Девушка тихо засмеялась... Перестала смеяться, некоторое время с интересом, ласково смотрела на него.

— Нет, это ничего. Это здорово!

Пашка приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка покраснела.

— Нет, а что?

У Пашки радостно сдавило сердце.

— Можно, я вам письменно все подробно опишу? Вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу рассказывать, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал детина и опять икнул.

Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.

— Понимаете... я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Баклани... Так?

— Так, — Пашка скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе. Где вы учились?

— В школе, в Баклани.

— Сколько классов кончили?

Пашка посмотрел на детину.

— Восемь. Не женатый.

— Отец, мать?..

— Матери нету. Отец плотничает.

— А дальше?.. Служили?

— Служил. В танковых войсках.

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Не знаю, — сказал Пашка.

— Ну, о чем вы подумали в первую минуту? Вы, наверно, подумали, что если взорвутся бочки, то пожар распространится дальше — на цистерны? Да?

— Да, — Пашка задумчиво смотрел на девушку. И эта торопится скорей уйти от него.

— Так, — сказала довольная девушка. — Ну, хорошо. А речь вы будете говорить?

— Нет. Раздумал, — Пашка обиженно поджал губы.

Девушка посмотрела на него и вдруг сказала:

— Я завтра приду к вам. Только... я вот не знаю, приемный ли день завтра?

— Приемный день в пятницу, — подсказал детина.

— Да мы сделаем! — напористо заговорил Пашка. — Тут доктор старичок такой... Я его попрошу, он сделает. А?

— Приду, — девушка улыбнулась. — Обязательно. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо!

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — да, можно.

В палату вошел доктор, посмотрел на часы.

— Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?

— Все, доктор. Ухожу. Поправляйтесь, Павел.

Пашка взял девушку за руку подозрительно посмотрел на нее.

— А вы же сказали, что вам завтра уезжать надо.

— Я как-нибудь сделаю.

Пашка поманил ее к себе пальцем и, когда она склонилась, прошептал на ухо:

— А ты скажи, что ты захворала. Бюллетень у доктора достану... Ладно?

Девушка, не распрямляясь, близко заглянула в глаза Пашке, засмеялась. Пашка смотрел на нее, и ему опять казалось, что он самый «везучий» человек на свете.

— Я приду, — сказала она, поднимаясь. Потом опять склонилась и шепнула: — Только бюллетень не просите у доктора. Хорошо? Я так, просто останусь.

— Хорошо, — сказал Пашка. — А когда ты придешь?

Девушка оглянулась на доктора... Тот разговаривал с больным в углу.

— В это же время. Хорошо?

— Только не обманывай.

— Да что ты!..

— Девушка, милая, — сказал доктор, направляясь к Пашке, — пора и честь знать.

— До свидания, — сказала девушка, улыбнулась и вышла из палаты.

— Как дела, герой?

— Лучше всех, это я вам вполне авторитетно говорю, доктор. Пусть она завтра придет, а?

— Кто? Корреспондентка? — доктор усмехнулся. — Пусть.

— Пусть, когда захочет, тогда и приходит. Ладно?

— Ладно, — доктор похлопал Пашку по плечу и пошел в другую палату.

Пашка повернул голову к стене и задумался.

— Слышь, друг, — окликнул его детина.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди.

— Шебутной парень. Люблю таких, — сказал детина.

Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом закрыл их и действительно заснул.

...И приснился ему такой сон.

Будто он в какой-то незнакомой избе — нарядный, в хромовых сапогах, которые оставил дома, в синей шелковой рубахе, которую ему разорвали в драке, — вышел на круг, поднял руку и сказал:

— «Барыню».

И три баяниста развернули баяны... И грянула «барыня». Пашка смахнул с плеч пиджак, раскинул руки и пошел осторожненько, пробуя незнакомый пол...

Барыня ты моя,
Сударыня ты моя.
Эх, барыня угорела!..

Дал крепче... И тут, откуда ни возьмись, в круг вышла девушка-журналистка. Вышла, вскинула гордо голову с желтыми волосами, пошла вокруг Пашки. Она была такая же, какой приходила в палату, только не в штанах, а в юбке.

Пашка хэкнул, сыпанул на пол четкую, крепкую дробь. Сверкала его ослепительная добрая улыбка, синим пламенем струилась великолепная шелковая рубаха...

...Вечером Пашку разбудили ужинать. Поужинали...

Пашка закурил и спросил детину:

— В стихах понимаешь?

— Понимаю, — с готовностью откликнулся тот, ожидая, что Пашка опять будет их смешить. Но Пашка сделал серьезное лицо и вполне серьезно прочитал:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом;
Тридцать лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты!

— Как?

— Расскажи лучше еще чего-нибудь, — попросил детина. — Как ты с самолета прыгал, а?..

На другой день, утром, когда Пашка еще спал, в палату осторожно вошел Иван. Увидел Пашку присел к нему на кровать, тронул за плечо. Пашка вскинул глаза... Не понял сперва, сон это или явь.

— Здорово.

— Здорово. Это на самом деле ты, или я сон вижу?

— На самом деле. За машиной приехал вчера... Как же ты так?

— Ерунда, — сказал Пашка. — С месяц полежу и все. Доктор сказал, что нога такая же будет.

Вид у Ивана был какой-то усталый.

— Ты чего такой?.. Снулый какой-то.

— Буду на твоей полуторке работать, — сказал Иван, не отвечая на Пашкин вопрос. — А тебе потом новую дадут.

— Ушел из райкома?

— Да.

Несколько минут молчали. Иван держал в руках узелок с продуктами, смотрел на него.

— Вот Нюра собрала тебе... Куда его?

— Вон в тумбочку.

— В воскресенье Андрей приедет попроведать... Знаешь... У нас Родионов умер.

Родионов лежал в здании райкома, на первом этаже, в зале.

Играла скорбная музыка, шли люди... Белый, в цветах, в красном гробу крепко спал Кузьма Николаевич Родионов. И какой же это был нерушимый, какой глубокий сон! Отрешенно, непостижимо спокоен был он во сне своем.

Иван всматривался в знакомые черты лица — узнавал и не узнавал их. Трудно было понять, что человека Кузьмы Родионова больше нет. Будут другие — лучше, хуже, умнее, глупее, интереснее, а такого не будет.

«Вот тебе и сердце», — думал Иван.

...Могилу копали Иван, Степан Воронцов и еще два райкомовца. Иван показал место, где надо копать, рядом со

своей матерью. Никто не стал спрашивать, почему именно здесь. Выкопали.

...Гроб несли на полотенцах. На ходу молча сменялись.

Впереди несли бесконечные венки, ордена на красной подушке.

Сзади шел оркестр, вызванный из города. Музыканты часто отдыхали.

Никто не выл. Огромная толпа медленно, с глухим шаркающим шелестом двигалась по дороге. Проходили так метров двести, потом оркестр, пугая тишину, громко ударял в медь, зыбкие, воющие звуки, покрывая шелест и дыхание толпы, плыли над головами людей, назойливо втискивали в грудь тяжелое чувство тоски. Без оркестра было лучше.

Ивлев шел рядом с Клавдией Николаевной, упорно смотрел в землю. Редко поднимал голову, видел блестящий белый лоб покойного, заострившийся нос, белые беспомощные руки на груди... Опускал голову, на скулах обозначились крепкие желваки, левое веко плясало. Он страшно похудел за эти три дня. Клавдия Николаевна плакала тихо, шепотом.

Иван в паре со Степаном подменял у гроба Николая Попова и Гриньку Малюгина.

Марии не было. Мария сидела дома за столом, обхватив руками голову, тупо смотрела в одну точку. На клеенку капали редкие крупные слезы.

...Поставили гроб на скамьи у могилы. Стало тихо. Долго стояли так. На Ивлева начали посматривать — ждали, что он будет говорить. А он упорно глядел на Кузьму Николаевича, молчал. Тогда к нему подошел председатель райисполкома, что-то негромко спросил. Ивлев отрицательно качнул головой.

Председатель взошел на сырой холмик, посмотрел на Родионова и сказал:

— Товарищи!.. От нас ушел большой души и совести человек, наш дорогой друг и товарищ Родионов Кузьма Николаич. Он был верный сын партии и народа. Всю жизнь свою, не жалея сил, отдал он день за днем нашему общему делу. И пусть прямая и ясная жизнь твоя, Кузьма Николаич, будет служить нам примером. Память о тебе мы сохраним. Память о тебе светлая... кхах... Спасибо тебе за все. Спи спокойно.

Клавдия Николаевна заревела в голос.

Ивлев остервенело шаркнул ладонью по глазам.

Гроб накрыли крышкой, заколотили, опустили на веревках в могилу Иван, Степан Воронцов и Николай Попов взялись за лопаты... Через пятнадцать минут все было кончено.

Весь остаток дня Иван не находил себе места. Хотел было заняться машиной, бросил, ушел в дом и стал ждать вечера. А вечером пошел на кладбище... Что-то не додумал он давеча днем. Хотелось одному постоять над двумя могилами — матери и Родионова, хотелось понять что-то для себя.

Могила была вся обложена венками. На кладбище тихо.

Иван навалился грудью на железную оградку, долго смотрел на могилы... Он ждал, что тут сейчас много будет думаться, а тут ни о чем не думалось. Просто хотелось стоять и смотреть.

Стал накрапывать дождик. Шуршал по бумажным цветам венков... Свежая глина могилы быстро темнела.

Сзади зашелестели чьи-то осторожные шаги... Иван обернулся — шла Мария. Подошла, стала рядом...

Большой дождь так и не собрался; туча сползла за гору. Потянул сырой теплый ветерок; крепко запахло прошлогодней полынью и молодой травой.

Как-то чисто, хорошо было в этот час на земле. Покойно.

Примечания

«ЛЮБАВИНЫ». Роман. Книги 1,2

Замысел романа (первоначальное его название «Баклань») относится ко второй половине 50-х годов: в эту пору В.М.Шукшин, студент ВГИКа, приезжая на каникулы в родное алтайское село Сростки, подолгу беседует со старожилами о временах гражданской войны и коллективизации.

В основу романа положены семейные предания. Вопрос о прототипах ждет отдельного исследования: Байкаловы, Колокольниковы, Малюгины, Поповы — фамилии реальных, живущих в Сростках семейств. Очевидна связь образа Марии Поповой с матерью писателя Марией Сергеевной Шукшиной (урожденной Поповой). Менее очевидна, но не менее реальна связь романа с воспоминаниями В.М.Шукшина об отце. В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный «Отец» и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину. Он публикуется в примечаниях к 1-й книге настоящего издания.

Этот набросок существен для творческой истории «Любавиных». По свидетельству близко знавших Шукшина людей, характер отца сложным образом ассоциировался у него также и с характером Степана Разина. Что же до «Любавиных», то черты Макара Леонтьевича Шукшина можно распознать у некоторых главных героев романа. Написанный в 1959 году набросок «Отец» является, по-видимому, первым подступом В.М.Шукшина к тексту романа «Любавины».

Роман, вернее, первая книга его, написан в 1959—1961 годах преимущественно в общежитии ВГИКа («четыре гаврика в одной клетке», М.И.Ромм — один из первых читателей). Думая, куда предложить текст, В.М.Шукшин колебался между двумя журналами, которые печатали в ту пору его рассказы: между «Октябрем» и «Новым миром». 16 ноября 1962 года главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов в «Комсомольской правде» назвал Шукшина постоянным автором журнала и добавил: «Мы знаем, что он готовит и крупное произведение».

«Крупное произведение» (роман «Любавины») в это время (ноябрь 1962 г.) уже лежало в редакции «Нового мира», о чем свидетельствует со-

хранившееся в архиве В.М.Шукшина от Виктора Некрасова осведомленного о том, как проходит рассмотрение рукописи «Любавиных» в «Новом мире».

«27 октября 1962 года.

Дорогой Вася! Я тоже очень рад, что ты «прошел» в «Новом мире». Ася (очевидно, А.А.Берзер) *мне сказала, что ты написал серьезную и талантливую вещь. А она редко кому такое говорит. И Герасимов* (член редколлегии журнала С.Н.Герасимов) *вроде одобрил. Но есть, конечно, и «но». Первое — это размер. Для журнала 20 листов, да еще не на современную, а 40-летней давности тему — это тяжеловато... Посему, насколько я понял, тебе предложено сделать сокращенный, журнальный вариант. Кроме того, Герасимов и Ася сватают тебя в издательство «Советский писатель». У них есть там с кем разговаривать. И у меня тоже. Так что все в порядке...»*

Однако судьба рукописи сложилась не так благополучно, как предполагалось в этом письме: «Новый мир» в конечном счете «Любавиных» отверг. Через работников журнала роман попал в издательство «Советский писатель». В течение 1963 года шло рецензирование. Рецензенты: Георгий Радов, Евгений Белянкин, Николай Задорнов и Ефим Пермитин — были достаточно жестки к автору; однако замечания Е.Н.Пермитина, вполне конкретные, М.В.Шукшин принял и по ним рукопись доработал. К весне 1964 года доработка была закончена, и текст издательством одобрен. 5 апреля отрывок из «Любавиных» появился в газете «Московский комсомолец».

К этому времени вновь возник вопрос о публикации романа в журнале — на этот раз в журнале «Сибирские огни»: осенью 1964 года текст был запрошен журналом из издательства. К декабрю собрались внутренние рецензии членов редколлегии и работников редакции (Анатолий Иванов, Леонид Чикин, Анатолий Никульков, Алексей Высоцкий). Замечания рецензентов носили еще более жесткий характер, чем в издательстве: требования простирались от общих претензий к «атмосфере» до поправок бытового и хронологического характера. Сознавая серьезность претензий, редакция направила к В.М.Шукшину в Москву Н.Н.Яновского. Переговоры прошли успешно, однако через некоторое время В.М.Шукшин написал Н.Н.Яновскому письмо, в котором взял назад свое согласие на переделки, — письмо это ценно как пример авторского отношения В.М.Шукшина к тексту:

«Дорогой Николай Николаевич!

Я еще раз прочел рукопись (с замечаниями) и еще раз (честно, много-много раз) рецензии на рукопись и понял: мы каши не сварим. Надо быть мужественными (стараться, по крайней мере). Я признаю, что довольно легкомысленно и несерьезно кивал Вам головой в знак согласия. А когда по-

думал один — нет, не согласен. Кроме одного — времени. (Время — да! — как говорит Иванов.)

Меня особенно возмутил т. Высоцкий (я его тоже возмутил). Так прямо и махает красным карандашом — хошь не хошь — клони грешную голову <...> Он у меня хочет отнять то, что я прожил, то, что слышал, слушал, впитал и т.д. Я не в обиде, я просто хочу сказать, что так не размахивают красным карандашом. Да еще и безосновательно.

Я готов спорить с Вами, т. Высоцкий, по любому «пункту» Ваших замечаний, но это уже не будет касаться романа. Вы тоже — о времени? Согласен. Да. А еще о чем?.. О ком? Что, не важно, что ли? А то ведь пошли — «сапоги не дегтярят в избе», «обрезов не бывало из дробовых ружьев»... — да все с таким несокрушимым обвалом, что уж тут — ну и бог с вами! А я знаю, что так было. Знаю, вот и все.

Озадачила меня рецензия Л.Чикина. «При большой работе...» Сколько? Лет пятнадцать? Простите меня, Леонид, это пугает смертных. Я хожу и думаю: сколько мне осталось? И неужели это действительно так важно, что в деревне (нам с Вами двоим известно) живут еще люди с фамилиями из романа? Ну? И что? Смею тебя уверить: они наши книжки не читают, ибо им часто — неинтересно. Господи, когда же мы почувствуем, что ведь это нужно — чтоб нас читали.

Как будто трудно исправить некоторые неточности в смысле времени — раз плюнуть! По ведь тут и одно, и другое — и «стиль», и «фамилии» — да все: карандаш! Увольте. Простите.

Николай Николаевич! Прошу наш договор перечеркнуть — я в тех размерах исправления, какие предлагает редакция <делать>, не согласен. Смалодушничал, простите, — согласился. Не надо всего этого. Я начну исправлять — угодничать: кому это надо?

Простите, ребята, что морочил вам голову. Простите, правда, — мне, поверьте, не очень уж легко.

P.S. «Чтобы сапоги мазали дегтем в избе — не видывал...» Эх-хе!.. А сапоги-то — не мажут! Кто же их мажет? Их можно измазать в грязи. А дегтем — дегтярят.

А обрез (дробовой) мой дядя хранил до 33 года, и хранил его на полатях, под подушкой без наволочки. Мне всегда было неловко спать — выпирал то ствол, то ложе, тоже угловатое, врезалось.

Не надо так, т. Высоцкий: Вы свыклись с своим представлением о том времени (из личного, наверно, опыта). Я — с другим. Убьем друг друга?

И еще, если б все это сделано было с доброй душой! Впрочем, когда убивают, то — наверно, не с доброй душой. Привет!»

(Архив В.М.Шукшина.)

Однако разрыва не произошло: автор и журнал все же находят общий язык, и роман, доработанный Шукшиным, — был напечатан в «Сибирских огнях» летом 1965 года (№№ 6—9) — практически одновременно с выходом отдельного издания в «Советском писателе».

16 июля отрывок из «Любавиных» появился в еженедельнике «Литературная Россия». В.М.Шукшин предпосылает этой публикации вступление, интересное как с точки зрения его авторских чувств, так и в плане развиваемой им концепции русского крестьянства. (Текст вступления под заголовком «Отдавая роман на суд читателя...» опубликован в т. 5 настоящего издания.)

Шесть лет спустя, с согласия автора, «Любавины» были экранизированы режиссером Л.Головней по сценарию Л.Нехорошева; фильм вызвал сдержанно-отрицательные отзывы прессы; сам В.М.Шукшин в печати не высказывался.

О месте романа в дальнейших литературных планах автора можно судить по интервью, данному В.М.Шукшиным корреспонденту газеты «Молодежь Алтая» (1 января 1967 г.):

«...Думаю года через два приступить к написанию второй части романа «Любавины», в которой хочу рассказать о трагической судьбе главного героя — Егора Любавина, моего земляка-алтайца. Главная мысль романа — куда может завести судьба сильного и волевого мужика, изгнанного из общества, в которое ему нет возврата. Егор Любавин оказывается в стане врагов — остатков армии барона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала тридцатых годов. Он оказывается среди тех, кто душой предан своей русской земле и не может уйти за кордон, а вернуться нельзя — ждет суровая расплата народа. Вот эта-то трагедия русского человека, оказавшегося на рубеже двух разных эпох, и ляжет в основу будущего романа».

«Рубеж эпох» оказался непростой задачей. Дело в том, что в замысле Шукшина (как и во всей первой книге романа) самоочевидна хронологическая «аберрация», а может быть, и сознательный сдвиг эпох. Обстановка смертельной схватки — ненависть, раздирающая русское село, не соответствует тому времени, к какому Шукшин ее отнес. Двадцатые годы, годы нэпа — это расцвет крестьянства; катастрофическая ситуация, которую Шукшин в этом времени усмотрел, явно перенесена туда из времени другого, причем не из раннего, как можно предположить по сюжетным «связкам», а из позднего. То есть не из эпохи гражданской войны, а из эпохи коллективизации, тяжесть которой Шукшин познал уже сиротством своим.

Анахронизм ли общей схемы затруднял Шукшина, или он не смог довести свой замысел до конца по каким-либо иным причинам, — но он эту работу не сделал. В том виде, в каком «Любавины» первоначально задумывались, они так и не были дописаны. План работы кардинально изменился. Настолько изменился, что в 1965 году Шукшин снял слова «первая книга» из журнальной публикации «Любавиных». Так эта книга и пошла в мир — в качестве завершенного произведения.

Она вызвала при своем появлении умеренно-хвалебные отзывы критики, носившие скорее дежурный, чем спонтанно-страстный характер. О романе писали: «Литературная газета», «Литературная Россия», жур-

налы «Знамя», «Москва», «В мире книг», «Семья и школа», — но писали вяло: роман Шукшина оказался вне главных споров момента; такие споры кипели в ту пору вокруг первых фильмов Шукшина; к фильмам охотно подключали его рассказы из книги «Сельские жители» и тем более из периодики; в тогдашнем злободневном контексте роман казался слишком углубленным в историю и вместе с тем слишком традиционным по фактуре. Впрочем, некоторую беглую дискуссию вызвал и роман, но по «косвенной проблеме»: академик В.В.Виноградов, анализируя в «Литературной газете» язык современной прозы, упрекнул автора в излишествах «диалектно-натуралистического стиля»; В.Гура в той же газете и В.Хабин в «Литературной России» мягко оспорили это мнение; оба критика, тем не менее, согласились, что роман небезупречен, и заметили, что над ним надо еще серьезно работать.

Возможно, В.М.Шукшин последовал бы этому совету, если бы соединил в новом единстве написанную первую и задуманную вторую книги, но он этого так и не сделал: вторая книга, законченная к концу 60-х годов, оторвалась от первой и сюжетно, и даже технически: она осталась лежать в столе. И пролежала до смерти Шукшина в 1974 году, а потом еще чуть не полтора десятка лет, пока не появилась в 1987 году в журнале «Дружба народов» в 3 и 4 номерах.

Вопрос, который сразу же встает в связи с этим: каким же образом этот текст пролежал в архиве времени? Почему не был напечатан в середине семидесятых годов, когда после смерти Шукшина каждое слово его потрясенно перечитывали, каждую новую строчку искали?

Тут причиной отчасти оказалась цепочка случайностей. Архив В.М.Шукшина при переездах его не всегда сохранялся в идеальном порядке: вышло так, что титульный лист, на котором стояло «Любавины. Книга вторая», затерялся, а может быть, и нарочно был положен автором отдельно. Без титульного листа рукопись, где действовали герои со знакомыми фамилиями и попадались куски, знакомые по прежним публикациям, казалась — при беглом просмотре — одним из черновых вариантов этих старых вещей. Прошло время, титульный лист обнаружился, «нашел» свое место во главе рукописи, и тогда стало ясно, что в архиве лежит вчерне законченная рукопись романа.

Вторая книга «Любавиных», конечно же, была бы найдена в архиве В.М.Шукшина намного раньше, если бы... ее искали, если бы о ней было известно, если бы, скажем, Шукшин в свое время предлагал ее редакциям, вообще как-то говорил бы о ней. Но он редакциям ее не предлагал и вообще о ней помалкивал. Потому ее и не искали.

В этой связи встает другой вопрос. Почему В.М.Шукшин, закончив эту вторую книгу, перевязал ее бечевкой и положил в архив? Хотел ли он публиковать эту рукопись? Считал ли законченной? Собирался ли продолжить работу над ней или решил вовсе от нее отказаться? Как-никак, а вторая часть романа оказалась совсем не такой, как он предполагал. Так и не решившись довести судьбу Любавиных до тридцатых го-

дов, Шукшин «прыгнул через эпоху» и описал следующее поколение своих героев, найдя их в алтайском селе конца пятидесятых годов. Было ли такое решение результатом внутренних трудностей в понимании событий тридцатых годов или следствием жгучего желания понять современного героя — вопрос весьма сложный. Писалась ли вторая книга как продолжение первой или писалась «в параллель» и автономно, а уж потом была окрещена и привязана к первой именами героев — тоже не вполне ясно.

Так или иначе, вторая книга, связанная с первой преемством героев («преемством» в прямом смысле слова, потому что действуют в ней дети героев первой книги), не стала ее непосредственным продолжением. Видимо, связь двух этих книг и для самого Шукшина была проблематичной, и он не случайно воздержался от публикации написанного им романа в качестве второй книги «Любавиных». Одну из сюжетных линий романа Шукшин выделил и, заменив некоторые имена, опубликовал в 1966 году как повесть «Там, вдали...».

Кроме этой сюжетной линии читатель находит во второй книге «Любавиных» несколько сюжетных ситуаций, использованных Шукшиным в фильме «Живет такой парень» и, возможно, введенных в роман уже после фильма. Однако эта перекличка не только не мешает восприятию текста, но создает неожиданный и очень интересный эффект: то, что в фильме окрашено легким чудачеством, в романе воспринимается тяжелее, глубже и говорит больше; возникает ощущение не просто живой характеристики, но исторической судьбы типа.

Вопрос об «исторической прописке» шукшинского героя вообще смутен. Круто действующие и смертельно обижающиеся герои первой книги «Любавиных» явно перенесены автором в двадцатые годы из психологической ситуации тридцатых; до некоторой степени эти крутые герои и во вторую книгу, в пятидесятые годы, перенесены из драмы «великого перелома», которая навсегда определила трагическое мироощущение В.М.Шукшина. Возможно, что некоторые проблемы пятидесятых годов, затронутые Шукшиным (например, идея преобразования колхозов в совхозы), покажутся читателю наших дней не столь уж актуальными, но проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского крестьянина и судьба русской земли — драма, о которой Шукшин изболелся и которой он искал историческое оправдание, — боль эта, конечно, бьет и теперь из каждой строчки.

Комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем собрании сочинений, подготовлены Л.Аннинским, Г.Костровой и Л.Федосеевой-Шукшиной.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Макарович Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах

Книга четвертая

«ЛЮБАВИНЫ»

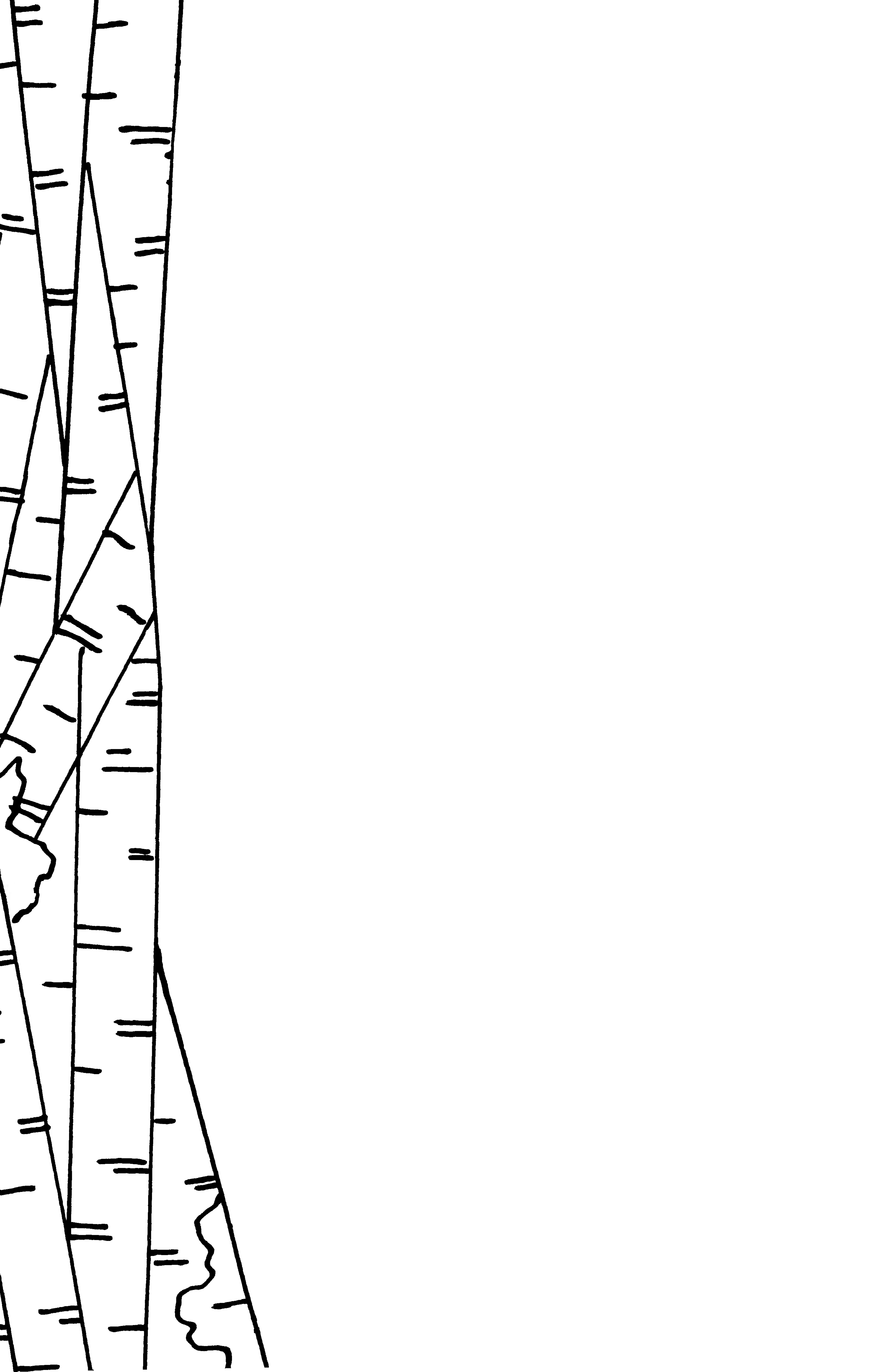
Роман

Лицензия № 063349 от 13 мая 1994 г.

Подписано в печать 16.12.1997 г. Формат 84×108/32.
Бумага типографская №1. Печать высокая. Уч.-изд. л. 30,6.
Усл. п. л. 28,56. Тираж 10000 экз. Заказ 424.

Издательство «Надежда-1»
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



И облака плывут
над головой,
И небо обнимается
с Пикетом,
А мне опять
На круче вековой
Недужить наступающим
рассветом.
В настроенной сторожке
тишине
Душа горит,
Коряжась как береста.
Непросто говорить
о Шукшине,
Живое слово подобрать
непросто.
Все это происходит
оттого,
Что сам бывал раним
слепым зарядом,
Что бунтари
и чудики его
Наверняка со мною
жили рядом.
Но и о спуске думаю
отлогом.
О Шукшине непросто
говорить,
О нем бы петь
И петь высоким слогом!

Михаил Борисов